
Борис Сергуненков

МОЙ ЛЕС







Борис Сергуненков

МОЙ ЛЕС



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1981

Р2
С 32

В книгу ленинградского прозаика Бориса Сергуненкова «Мой лес» включены два произведения: «Лесная лошадь» (1976) и «Осень и весна» (1979) — их связывает единая тема взаимоотношений современного человека с природой.

Художник ГЕННАДИЙ ГУБАНОВ

С $\frac{70302-261}{083(02)-81}$ 127—81 4702010200

ЛЕСНАЯ ЛОШАДЬ



1

В лес я пришел с флота и два года жил на кордоне со своим напарником Иваном Прокоповичем Леоновым.

Это был славный старик, бывший крестьянин с Витебщины, бывший рабочий, бывший солдат, в трудную минуту он спас меня от смерти, он показал мне пример бескорыстного, радетельного отношения к лесу, он помог мне обжиться, научил видеть лес, слышать, понимать, он поделился со мной чайником — своего у меня не было,— и я буду благодарен ему за все до конца своих дней.

Весной старик заболел и его вместе с немногочисленным барахлом увезли в Белоостров к родным. Я остался один. Впрочем, почему же один? В лес и на кордон ко мне заглядывали случайные гости. В разных отдалениях от меня жили соседи-лесники. Ближайшее село лежало хоть и не рядом, но в любое время до него можно было дойти пешком, а сев на попутную машину, попасть в город. Раз или два в месяц на пожарной машине, оглашая лес воем сирены, приезжал директор лесхоза выдать зарплату и узнать, все ли у меня в порядке: нет ли порубок, пожаров, не заболел ли я, жив ли еще.

Первое время с непривычки мне пришлось тяжело. Я скучал по людям. Когда мне было особенно невмоготу, я шел к шоссе, оно лежало метрах в трехстах от кордона, смотрел на проносящиеся машины и успокаивался. Я жил воспоминаниями. Чего я тогда не навспоминал! Службу на флоте, деда Ивана... Но сколько можно жить воспоминаниями молодому, здоровому человеку, не целую же вечность! Я пел от скуки и вскоре перепел все песни, которые знал, я пел так много, что удивляюсь, как не превратился в певчую птицу, в скворца, например, или в зяблика. Я спал по двенадцать ча-

сов в сутки, валялся в постели так долго, что у меня болели бока, а постель мне казалась тверже камня, и, хоть говорят, что от сна еще никто не умирал, я понимал, что это занятие не для меня.

Я стал больше бывать в лесу, наблюдал за повадками птиц и зверей, мастерил скворечни, пилил и колол дрова, вязал березовые метлы для лесхоза и рылся в огороде, мыл полы, стирал белье, перечитывал в сотый раз старые газеты и журналы, привезенные из города. Хуже было, когда дела на кордоне были сделаны и работы не находилось. Тогда я садился у окна и часами глядел в лес. Нет, я не обижался на лес и на свое одиночество и не собирался бежать отсюда. Я полюбил лес и разлуку с ним не представлял. Бросить лес было для меня преступлением. Но я хотел чувствовать себя человеком, а не медведем в берлоге. Я не признавал одиночества, боролся с ним и победил.

Для победы не потребовалось никаких героических усилий. Я вдруг увидел, что жизнь в лесу имеет еще неведомые мне законы. Ты вроде живешь один — и не один, а со всем миром; ты не видишь людей, не слышишь их голосов, люди от тебя далеко, а вместе с тем ты их видишь и слышишь так явственно, словно они с тобой рядом; ты сидишь на своем кордоне, а в то же время можешь находиться на кордоне соседа-лесника, в селе, в городе, на другом конце земли. Не знаю, как это возможно, но при этом и сам ты становишься иной. Ты слаб — и ты силен. Ты беден, у тебя есть только самое необходимое для жизни, но ты богат. Черствый, ты открываешь в себе любовь к людям. Ты можешь умереть, но ты продолжаешь жить.

И это не все. Ты слышишь не только голоса людей. Ты слышишь голоса дождя, ветра, земли. Ты начинаешь понимать язык птиц и зверей. Все, что есть на небе и на земле, родственно и доступно тебе, как будто ты — это мир, а мир — это ты.

Поистине удивительная жизнь, и кто хоть раз коснулся ее, тот счастлив!

Мне скажут: что же, это, выходит, чудеса? Иногда я думаю, что чудеса. Ну где видано, чтобы слабый человек был сильным, бедный богатым, сухарь открыл в себе любовь? И может ли человек слышать голос земли и понимать язык птиц и зверей? Такое бывает в сказках. И это верно. А в другой раз я думаю: какие же это

чудеса, ведь все, что я пишу,— никакая не сказка, все происходило и происходит со мной наяву, в жизни, и, окажись вместо меня в лесу кто другой, случилось бы с ним то же самое. Придумывай я что-нибудь, ври, как какой-нибудь разговорчивый охотник или рыбак, желая скоротать время или потешить честную публику, городи побасенки — тогда дело другое, но я ничего не придумываю и тем более не сочиняю.

Было время, в свои детские годы я любил чуточку преувеличивать, многое мне тогда хотелось видеть в ином свете. Если я обменивался с каким-нибудь дружком тумаками, это была обязательно кровавая драка, бой не на жизнь, а на смерть. Если я переходил через речку, в которой воробью по колено, речка превращалась для меня в море. Если я храбро прыгал с крыши сарая, то летел не иначе как с облаков. Юному возрасту свойственны горячность и преувеличения. Сейчас я совещусь тех лет. Я принимаю мир таким, какой он есть, не приукрашивая его и не подновляя, и не потому делаю это, что сердце у меня остыло и разуверился я в необыкновенном, а по той причине, что будничный и серый мир существует только для дураков. Натуры слабые пытаются его как-то расцветить, напустить на него тумана. Обмануться — вот их главная цель. Я же хоть и плохонький, но реалист. Мне беспочвенные мечтания ни к чему, с ними долго не проживешь, особенно в лесу. Меня удовлетворяет эта жизнь полностью. Я нахожу в ней все краски, которые нужны человеку. Добро для меня есть добро, а не выдумка утешающих, солнце есть солнце, а не какая-нибудь аллегория, пусть самая смелая. Я не хочу обманываться сам и обманывать других, говорить о том, чего нет. Во всякую сверхъестественную чушь я не верю. Я верю только в то, что есть, что я вижу, слышу, чувствую, ощущаю, о чем мыслю. Не знаю, как кому, а мне хватает и этого.

Вот мой портрет. Рост утром сто семьдесят пять сантиметров, вечером — сто семьдесят четыре, каждый день один сантиметр я снашиваю в ходьбе, а в ночь он нарастает вновь. Вес — семьдесят килограммов. Объем легких около пяти литров. Глаза у меня карие, волос черный. В парикмахерских я бываю редко, потому с волосами распорядился просто: на лето я их снимаю со-

всем, а в зиму они отрастают до плеч, так что я как бы ношу две прически — летнюю и зимнюю. От отца мне досталась широкая кость, узкое лицо с увесистым подбородком, толстые губы. Когда я иду, у меня, так же как у отца, правое плечо чуть выше левого. Материнского во мне немного — рост (отец был выше ростом), какая-то общая пропорциональность в теле и легкая походка. Пребывание в лесу наложило на меня свой отпечаток: лицо у меня стало малоподвижным, движутся губы, взгляд чересчур пристальный и открытый, как у птицы. Когда же я смеюсь, показываются зубы, они у меня неровные, как деревенский частокол, но я не стесняюсь их, — я всегда рад возможности улыбаться, иной раз и беспричинно.

Когда я остался в лесу один, мне было двадцать два года... Конечно, если считать, что есть старцы, которые живут по сто шестьдесят лет, я вроде бы еще не жил по-настоящему, а находился в младенчестве. По сравнению со столетними дедами я был тоже сопливый мальчишка. В наше время век человеку — шестьдесят — семьдесят лет. Значит, я прожил треть отпущенного мне срока и вступал в его золотую середину, а это уже кое-что. Мне скажут: какой же возраст в двадцать два года? Молоко на губах не обсохло. Но почему обязательно нужно вести счет от столетних старцев, не все же добираются до ста лет? Умирают в двадцать, в десять, умирают и едва родившись на свет. И вот выходит, если сравнить себя с этими умершими младенцами (а почему бы иногда не сравнить?), то я прожил уже целую вечность. Год я прослужил на флоте и прошел хорошую школу (правда, по болезни меня демобилизовали), два года жил в лесу. Нет, младенцем я не был. Кое-что и я знал и мог. Не много для больших дел, но для малых достаточно.

Детство я почти не помню. Иные отлично помнят, что делали в пять, четыре, три года. Некоторые счастливчики пестуют в памяти драгоценные минуты своих первых шагов, а некоторые умудряются не забыть, как они сосали материнскую грудь. Я не помню себя ни в пять, ни в шесть лет. Какие-то смутные видения всплывают передо мной, когда мне десять, одиннадцать. Еще четче, когда тринадцать, но, по правде сказать, я бы никогда не стал ручаться за свои воспоминания: каким я был в детстве? Иногда мне кажется, что я делал то, чего не

делал, и не делал того, что делал. Я, например, отчаянно убеждал всех, что в детстве я был не человеком, а ящерицей. Не знаю, убедились ли в этом люди, но себя я здорово убедил и в своих воспоминаниях вижу себя не иначе как юркой ящерицей, греющейся на солнце.

Детство для многих — счастливейшая пора. Его первозданная чистота для людей тот колодец, из которого они потом черпают всю жизнь. Мое детство тоже было счастливым, настолько, что ушло от меня в область забвения и теперь мне не отыскать к нему путей. Это не значит, что я абсолютно ничего не помню из детства, нет, я помню и в первый раз увиденную траву, и улыбку матери, но если сравнить ту траву и траву, увиденную в лесу, перевес возьмет трава леса.

Родители мои для меня люди в своем роде выдающиеся. Я горжусь ими, люблю их и глубоко почитаю. Отец с первых же дней передал мое воспитание матери. Он, как бог, остается для меня невыразим и необъясним. Я знаю, что он есть, был и будет, но что он собой представляет, я не знаю и, думаю, не узнаю никогда. Сухие цифры и сведения мало что прибавят к тому, что я сказал. Он родился на Волге и сейчас, наверное, на пенсии. Я говорю — наверное, потому что, где он и что с ним, я не знаю. Несколько лет назад мы обменялись с ним поздравительными первомайскими открытками. В свое время отец строил Комсомольск-на-Амуре — так говорят его товарищи, сам он о собственной работе отзывался более прозаически. По его словам, он закупал черемшу и другие продукты для нужд стройки. В войну отец воевал. Был ранен под Яссами. Потом занимал разные общественные должности, а в последние годы плавал матросом на Черном море. Причины такого поворота в его жизни мне неведомы, но, думаю, главная из них — возраст и малое образование: отец окончил семь классов, пошел работать в типографию переплетчиком. Правда, это только мои догадки. Всю жизнь отец хотел учиться, работа, а затем и война помешали осуществить его мечту.

Моя мать — полная противоположность отцу. Если отец — будто дух, невидимая материя, суровая и недоступная пониманию смертных, то мать — земля-матушка: женственна, заботлива, мягка, что, однако, не мешало ей в крутые минуты быть твердой и решитель-

ной. Летом сорок третьего года она открыто разошлась с отцом, перед самой его отправкой на фронт, — она отца не любила. Второй раз вышла замуж за военного музыканта, обрела свое счастье в любви, семье, заботах по дому, и до сих пор они с отчимом живут вдвоем в мире и согласии.

В детстве, в отрочестве я больше любил мать, чем отца, и очень переживал, что во мне больше отцовского, чем материнского. Я испытывал к отцу неприязнь. Мать была красива (соседи говорили, что она могла бы пользоваться у мужчин большим успехом, но она хранила чистоту и была верна отцу двенадцать лет), отец красотой похвастать не мог; мать была молода, отец старше ее на десять лет; отец суров, мать мягка сердцем. Я запомнил один-единственный подарок, который подарил мне отец. Он принес как-то кожаные тапочки, которые волей злой судьбы мне так и не пришлось поносить: их сгрыз приблудный щенок.

Сейчас положение выравнялось, и чаша весов даже несколько перевалила в сторону отца. У отца нет дома, семьи. Мне за него обидно. К тому же с годами, как это ни покажется странным, отец стал мягче матери. Мать не одобряет моего выбора, ей не нравится, что я лесник. В каждом ее письме — переписываемся мы регулярно, а два-три раза в год она присылает мне большие посылки с яблоками и свиным салом — слышится то укор, то упрек, то предостережение. Она считает, что я взялся не за свое дело, труд мне этот не по плечу, мне не снести головы. Идеальная для меня жизнь ей рисуется в образе ее собственной. Ей хочется, чтобы у меня была тихая работа, дом, набитый сундучками, горшками, ковриками, чтобы я был женат на заботливой жене и имел детей. Она думает, без всякого на то основания, что я болен, голоден, раздет, разут. Вершиной человеческих дерзаний ей представляется работа отчима, прослужившего в оркестре сорок лет, сочинившего три военных марша к юбилейным торжествам и дослужившегося до майора. Мне думается, втайне она желает мне такой же карьеры и потому настойчиво пытается обратить меня в свою веру.

Реакция отца была иной и для меня любопытной. Он заявил, что я нахожусь там, где нужно: в наше время, когда природу повсеместно теснят, лес — это передовой край и охранять его от гибели — первейшая задача.

Я верю в искренность отца, но думаю, что, стань я не лесником, а сапожником или пекарем, он бы, не покривив душой, и тут дал бы мне добро и обосновал его с не меньшей убежденностью.

Со временем, я надеюсь, мать смирит свою бесплодную настойчивость, доходящую до деспотизма, сменит гнев на милость и покорится тому, что есть. Она увидит, что до вершин отчима мне не добраться — не всем же ходить в майорах, есть еще и солдаты. Что же касается сочинения торжественных маршей, то этого удела достойны лишь избранные.

2

Сильва досталась мне в наследство от деда Ивана. Это была старая, слезливая и вечно жеребая кобыла, праматерь лесхозного лошадиного племени, многочисленных Стрелок, Вертолетов, Снегирей, которыми она одаривала нас регулярно, каждый год, и которых, чуть они подрастали, я передавал на содержание другим лесникам. Те в свою очередь, не желая обременять себя наличием живой тягловой силы, норовили сдать ее на убой, везли на мясокомбинат. Что делать, в этот атомный век даже в наш маленький лесхоз шумно врывалась техника и иные горячие головы спешно пересаживались с телеги на мотоцикл или велосипед с моторчиком.

Сильву я держал в трех шагах от избы в низком и тесном сарае с маленьким оконцем, наспех залепленным огрызками стекол. С тыльной стороны сарая, смотревшей в лес, имелось еще одно окно с фанерной заслонкой, через которое выбрасывался навоз. За зиму его скапливалось на метр толщины, Сильва поднималась вместе с растущим навозом, пока голова ее не упиралась в потолок. Не убирай я регулярно навоз, Сильва наверняка бы пробила потолок и поднялась вместе с растущей горой до неба. То-то было бы любопытных поглядеть на этот необычный монумент! На стенах сарая на толстых гвоздях висела конская упряжь: узда, дуга, согнутая из водопроводной трубы, латаный хомут, чересседельник, вожжи. В углу под яслями валялся серый кусок каменной соли «для аппетита», отсутствием которого Сильва никогда не страдала. Зимой в сарае было холодно, летом душно. Между избой и сараем стояла

телега-водовозка с укрепленной железной бочкой из-под солярки, в ней я возил из колодца воду. Рядом еще одна телега для возки леса и сани. Поодаль от сарая, в сторону луга, высился навес с сеном. В сене ютились мыши, пахло пылью. Зимой здесь мышковала лиса. Тут же валялись плуг, борона и предплужник.

Сильва была гнедой масти, с огромным брюхом и тонкими слабыми ногами. Шерсть у нее была сальная, жирная, а на боках потерта до кожи. Когда я гладил ее по спине, ладонь становилась жирной. На гнойниках у глаз гнездились мухи.

К работе Сильва была не угодлива, а что делала в охотку — плодила жеребят. Тут она была и резва не в меру, и хитроумна. Как я ее ни сторожил, ни приглядывал за ней, она, пользуясь моей оплошностью, сбегала с кордона и, взяв свое, нагулявшись вволю, пойманная, возвращалась уже жеребая. Но стоило мне подумать о том, что пора пахать огород или привезти из леса дрова, и я брал узду и вел запрягать ее в плуг или телегу, как она тут же теряла к жизни всякий интерес, становилась скучна, каменела, иначе не назовешь ее состояния. Она высилась в сарае неподвижно, как истукан, и, если б не ее вечно двигающиеся челюсти, которыми она истребляла траву, можно было решить, что она околела. Совершая с ней легкие рейсы в три — пять километров, я запасался терпением и продуктами на месячный поход. Она находила любой повод для остановки, засыпала у каждого пня, каждого куста, камня, лужи, цветка, бабочки, на нее не действовали ни ласка, ни хворостина. Летом, когда мне было лень косить для нее свежую траву, а выпускать ее стреноженной я боялся — она могла освободиться от любых пут и сбежать,— я снимал с гвоздя недоуздок, она покорно давала надеть его на себя, привязывал к недоуздку длинную веревку и, вбив в землю деревянный кол, вел ее пастись на луг или на лесную поляну. И она паслась вокруг кола, двигаясь, как часовая стрелка вокруг своей оси, пока не общипывала траву до земли или не запутывалась в веревке.

Но при лености и безмятежности своего характера коварства и строптивости ей было не занимать. Едва, зазевавшись и утратив бдительность, я подходил к ней

поближе, она норовила ударить меня копытом, хватала зубами за плечо, точно это была не живая человеческая плоть, не мое собственное плечо, а клок сена.

Летом, по плану, в двадцать четвертом квартале за Лосиной Гривой я прочищал молодняк, попутно заготовляя для лесхоза жерди. Выборочно я рубил молоденькие сосны, зеленые ветки жег, а тонкие стволы очищал от коры и складывал в штабеля. Место было топкое, и, когда я покончил с делянкой и жердей набралось достаточно, я решил вывезти их на сухое место поближе к шоссе: оттуда бы их прихватила машина.

Едва я втиснулся в сарай, чтобы снять с гвоздя узду и вывести Сильву во двор, как она, поняв, что ей предстоит работа, замерла, словно вросла в землю копытами. Напрасно я улещал ее, выталкивал плечом в открытую дверь, совал посоленную горбушку хлеба. Сильва стояла не шелохнувшись. А потом, улучив момент, больно лягнула меня копытом.

И тут я возмутился.

— Ах ты, травяной мешок,— закричал я,— нет на тебя волка, татарина нет, чтобы зарезал тебя на колбасу. И зачем только держат тебя в лесхозе, старую развалину! Она, видите ли, не желает жерди возить! Ей это неинтересно. А кто их будет возить? Сами они по воздуху перелетят?

Слов у меня не хватало, так я был зол на нее.

— Барыня объявилась. Целыми днями торчит в сарае и пошевелиться не хочет. Я ее кормлю, пою, я за ней ухаживаю, а она выручить человека брезгует. Да пропади ты пропадом, сгори синим огнем, чтобы я возился с тобой и гнул спину. Убирайся на все четыре стороны. Пусть тебя волк кормит. А я знать не хочу.

Подталкиваемая мной, Сильва не торопясь вышла во двор, хватила два-три стебелька и повалилась на траву. Перевернувшись вверх брюхом, она принялась кататься по земле.

— Иди-иди,— говорил я,— нечего тебе тут прохлаждаться. Чтоб больше глаза мои тебя не видели.

В сердцах я повернулся и направился в лес. Долго бродил по обходу и не мог успокоиться. Гнев мой стремился вылиться наружу. Я возмущался черной неблагодарностью Сильвы и утих не скоро. Лишь к вечеру вер-

нулся на кордон. Я заглянул в сарай — Сильвы не было. Обошел двор — во дворе ее тоже не было. Побежал на луг. И на лугу ее не оказалось. Я кидался на луг, во двор, заглядывал в пустой сарай — Сильвы след простыл. Я бегал и звал: «Силь-ва! Силь-ва!» Она не откликалась.

Вот когда я понял, какую совершил оплошность, отпустив Сильву на волю. Я бы с удовольствием плюнул и не искал ее, но лошадь была не моя, а казенная, она числилась в бухгалтерии на балансовом учете, и цена ей была двести рублей.

Утром, с твердым намерением отыскать Сильву, а заодно посмотреть, не шалят ли охотники, не стреляют ли уток, отправился я на Сестру. Речка моя мелкая и неказистая на вид, но я люблю ее не меньше моря. Летом на ее извилистые берега, заросшие ивняком и черной смородиной, приезжает народ погреться на песке, посидеть в лесной тиши.

Рыбы в речке нет. По словам деда Ивана Прокоповича, ловилась когда-то отличная форель, но от тех баснословных времен, напоминавших о богатой рыбалке, остались лишь полусгнившие шалаши, разбросанные по берегам у порожистых мест. Одни утверждают, что рыбу выловили рыбаки, другие — что ее выбрала выдра, третьи — что плотина, стоящая внизу, преграждает ход рыбе с Финского залива.

Встречаются на речке утки. Я не натуралист и не знаю, к какому виду они относятся, кряквы это или серые утицы. В руки они не даются, а в лет их не разобрать. Когда идешь по берегу реки, вспархивают они из-под самых ног, радуя и пугая тебя. Речка без уток немыслима. Пока на речке водится, жирует, чистит перышки это славное пернатое племя, пока заводи и травяные берега оглашаются их отрывистым кряканьем и воздух всполошен чирканьем крыльев, пока воды реки держат на себе их легкие чистые тела, а песок до очередного дождя оставляет следы их аккуратных лап, пока заросли и болотные камыши скрывают их от любопытных глаз и за зеленой стеной только угадываешь их присутствие и неутомимую возню, как угадываешь тайну, которую преступно потревожить, пока, как приливы и отливы в море, как вдох и выдох человека, существует

их весенний наплыв и осенний улет, свидания и разлука,— до тех пор речка есть речка, а не водопровод, не система труб, несущая неизвестно куда и почему мертвую массу воды.

Часто ходят по речке охотники и палят во все без разбору. Достается и уткам. Тогда речка пахнет порохом, а по лесу летают белые перья, цепляются за кусты, плывут по воде. Я не люблю охотников. Гляжу на них косо. Сердце у меня разрывается от их выстрелов. «Придет время,— думаю я,— выбьют они уток». И мне хочется как-то спасти уток. Мне трудно уследить за всеми охотниками. Я один, а их тысячи. У каждого ружье не в один, а в два, в три ствола, у каждого охотничий азарт, уйма времени, адское терпение высиживать в кустах и выслеживать добычу, у каждого желание убить как можно больше, а главное, непогрешимое право стрелять и убивать. Перед этим буйным охотничьим напором непросто устоять. Очутившись в лесу, вооружившись ружьями, люди словно дурели. Лес возбуждал их. Они любой ценой жаждали взять добычу.

И все-таки я уток спасал. Свидетельством тому моя речка. Хоть крупной рыбы в ней нет, шныряют в глубине уклейки и пескарики, я думаю, что со временем будет и рыба. Речка есть речка, настоящая, живая, холодная, с песчаными пляжиками и красноватой водой. Весной во время таяния снегов она заполняет русло до краев; опадает вода, и тут же, вслед за уходящей водой, на оставленных низинах зацветают подснежники и купавы. Летом она мелеет и в иных местах ее можно перейти, не замочив щиколоток. Осенью после дождей она набухает вновь. Зимой замерзает. Она жива, моя речка, она грызет берега, плещется на порогах, тычется мордой в запруды из веток и бревен, она радуется и сердится — не всегда поймешь ее настроение,— она капризничает, укатывает песчаное дно, то выбегает из темного леса и сверкает на солнце, то прячется в хмурые ельники. Она жива, как человек.

Дорога была легкая, под уклон. Я сбежал с крутого берега вниз к самой реке, как вдруг увидел потрясшую меня картину. На моих глазах совершалось самоубийство: девушка разбежалась и бросилась в воду. Я оторопел. «Она, наверное, разочаровалась в жизни,— подумал я.— Ей показалось, что ее не любит парень, и она решила утопиться, пропасть, исчезнуть навсегда».

За время службы лесником мне приходилось быть невольным свидетелем разных сцен. Люди, чувствуя себя в лесу, как за тысячью стен, вели себя свободно, не таясь. Одни объяснялись в любви, другие в ненависти, третьи, очутившись в лесу на свободе, начинали самозабвенно выпевать оперные арии, воображая себя редкими басами и тенорами, четвертые беззастенчиво ковыряли в носу. Люди полагали, что их никто не видит, не слышит, а лес все снесет, схоронит, спрячет. И они были правы. Если и слушали их лес, трава, звери, а они не могли их не слушать, то безмолвно, безучастно, не помышляя в чем-то укорить человека, считая, что каждый человек — хозяин своей судьбы и волен брать груз своих поступков на самого себя.

Признаюсь, и я никогда не злоупотреблял этим доверием и не грешил любопытством. В любом случае, увидев или услышав в лесу человека и убедившись, что он не делает лесу зла, я вел себя как зверь и уходил торопливо и незаметно.

Но сейчас я не мог оставаться безучастным. На моих глазах свершалось несчастье — девушка хотела утопиться, в этом не было сомнения. Я не мог этого допустить.

Однажды на речке, на этом же самом месте, я увидел подранка. Какой-то охотник стрелял в утку, ранил ее и не нашел. Она была на берегу, а когда я приблизился к ней, бросилась в воду. Вначале я не подумал, что это подранок. Я подумал, что это здоровая утка, увидела меня и решила от греха подальше удалиться. Но плыть она не могла, она суматошно била лапами, а одно крыло волочила по воде. Я решил взять ее, осмотреть рану и вылечить. Я полез за уткой. В страхе она пыталась уйти от меня и, когда я ее все-таки настиг у самых камышей, ринулась под воду. Я нырнул за ней раз, другой, глаза резало от воды, я различал на дне реки камни и коряги, но утки не видел. Наконец я заметил ее на дне возле камней. Я ухватил ее за хвост и потянул наверх, но она уходила от меня все глубже и совсем пропала. Когда я вынырнул, в руке у меня оказалось два перышка.

Конечно, утка — не человек. Хоть я и досадовал о случившемся, что не спас утку, а может, загубил ее невольным вмешательством — от боли и страха она наверняка погибла,— я все-таки не принял случай с уткой

так серьезно, как принял сейчас попытку девушки покончить с собой.

Но что я должен был делать? Спасать ее? А вдруг девушка, как утка, испугавшись меня, в отчаянии, в панике, нырнет под воду и уйдет на дно? Уж если кто решился на самоубийство, тот захочет довести дело до конца, а я своей услугой только ускорю эти события. Не спасать? Но это предательство. Мало ли желторотых юнцов, обжегшихся на пустяке, пытается рассчитаться с жизнью, свет им тогда немил, а спасенные, с ужасом вспоминают про свое падение. Как сделать, чтобы увести самоубийцу от беды? Вытащишь его, а он опять полезет в воду. Или вздернет себя на сосне. Поле для фантазии тут необъятное, и способов хоть отбавляй.

Нескольких секунд мне хватило подбежать к берегу и броситься в воду. Девушка упала в речку тихо, даже не всколыхнув воды. Речка несла ее вниз по течению. «Боже мой,— подумал я,— какая она легкая. Но немедленно, немедленно ее нужно спасти, вытащить из воды, иначе она утонет».

Я вынес ее на руках на берег. Она была жива. Я осторожно положил девушку на траву и увидел, как она несчастна (она, наверное, была из тех редких особ, которые жаждут любви и не верят в нее, хотят жить, а боятся; они считают, что на свете нет любви, что она выродилась, и потому жизнь им немила).

Наконец она открыла глаза.

— Я жива? — спросила она.

— Живы, живы, — подтвердил я. — Теперь вам нечего бояться.

— А чего я должна бояться, я купалась, а вы вдруг навалились на меня и стали тащить из воды,— сказала она.— Но почему вы меня держите? Пустите же наконец!

— Никуда я вас не пущу. Отпусти, а вы опять в воду. Нет, уж лучше лежите спокойно.

— Не волнуйтесь, я ничего плохого не сделаю. Разве я враг себе?

Она улыбнулась, желая успокоить меня. Но я чувствовал, что слова ее неискренни. Весь ее вид говорил: «Зачем вы спасли меня, жизнь зла, люди отвратительны, я не желаю жить в этом подлом мире».

И я напустился на нее.

— Как вам не стыдно,— сказал я.— Молодая, краси-

вая, и проявляете такое малодушие. Перед вами открыты все дороги, выбирайте любые пути, а вы вздумали топиться. Не жестокость ли это с вашей стороны? Не преступление?

Она хотела мне возразить, но я не давал ей сказать ни слова. Знаю я эти жалкие слова самооправдания. Кроме обмана, они ничего не несут. Сейчас, как никогда, ее необходимо было уверить в том, что мир добр и прекрасен, и я не жалея слов расписывал его красоты. Я говорил о мужестве, о добре, о дружбе. Как небесная птица, пел я гимны лесам, полям, горам.

— Вслушайтесь в этот мир,— говорил я ей.— О чем шепчут листья? О любви. О чем журчит ручей? О любви. Прислушайтесь к земле. О чем говорит земля? Она говорит о любви. Ничего нет прекраснее жизни, которая нам дана. Нужно только верить в любовь, быть достойным ее, и к вам все придет.

Наверное, в своем усердии я чуточку перестарался. Я хотел слегка ободрить ее, поднять на ноги, а вышло иначе. Увлеченный своим красноречием, не заметил я, что девушка уже не лежит на земле, а летит по воздуху.

— Куда вы? — крикнул я.— Подождите!

Девушка не отвечала. Я бежал за ней сколько мог, я хотел остановить ее — может, ей нужна была какая-нибудь помощь,— но ветер уносил ее от меня дальше и дальше и наконец унес совсем.

3

Устал я немного, отдохну. Хоть и не трудное дело писать, не бревна ворочать, а все работа. Погрызу корочку хлеба, воды попью. Выйду во двор. На небе звезды. Посижу немного в тишине — глаза режет от керосиновой лампы — и не буду ни о чем думать. А впрочем, вспомню сегодняшний день, он был совсем не плох.

Утром встал рано, при холодке. Сбегал к колодцу за водой, прибежал от росы мокрый, верхняя половина тела разогрелась от бега, а нижняя от сырости и холода зябнет. Растопил плиту. Поставил чайник, почистил картошку. Пока готовил еду, солнце поднялось, а мне уже не сидится в избе, раз на крыльцо вышел, другой и вдруг затопал по тропинке. Куда? Да недалеко, всего сто метров туда и обратно. Прошел сто метров, а ноги

дальше идут. Говорю ногам: «Куда вы, ноги, идете, пора возвращаться на кордон», а они меня не слушают, ведут дальше. Прошел еще метров сто. «Остановитесь,— говорю,— в избе плита горит, картошка варится, не упал бы уголек на пол, не быть бы пожару». А им, ногам, до меня дела нет, топают и топают дальше. Уж километр отмахал. Птицы поют. Тихо кругом. Не иду, а бегу вприскок. «До сосны дойду и поверну назад»,— говорю. Дошел до сосны и мимо нее, не сворачивая, продолжаю путь. «Что ж ты делаешь,— ругаю себя.— Ты ж не ребенок. Куда бежишь? Зачем огонь в избе оставил? Вдруг пожар, что с кордоном станет?» «Да, да,— отвечаю,— сейчас, сейчас». А сам бегу вперед. Уж солнце поднялось, стоит в зените, прошел, пробежал километров десять, а все не остановиться мне. Манит меня лес, тянет к себе, зовет. Вышел из избы поглядеть на утро. А где оно, утро? Уже полдень. Разморило лес, пить захотелось. А все иду лесом, и не к кордону, а от кордона. В голову навязчивые мысли лезут — оставил горячую плиту, спалил кордон. Не поел, не попил. Легкомысленный ты человек, приятель. И только пробежав километров двадцать, поворачиваю обратно. А тут и вечер наступает. Бегу домой, но уже не так быстро, устал. Из-за кустов и деревьев выглядываю — цела ли изба, не сгорела ли? Но вот она, стоит целехонькая. Крыша, труба, дверь, как оставил ее открытой. Захожу в избу — плита холодная, дрова прогорели, картошка сгорела, чайник выкипел. Опять принимаюсь чистить картошку, наливаю воды в чайник, разжигаю плиту. И усталый сажусь у окна.

Что я сегодня видел? Что слышал? Куда бегал как угорелый? Ничего не понять. На душе пусто, но это не та пустота, в которой ничего нет, в ней, я чувствую, что-то есть, она вся до краев наполнена, но чем, объяснить себе не могу. По-моему, я весь прожитый день в себя вместил и не отяжелел, потому что день был легкий, положи его на весы, сколько потянет? И одной пылинки не перетянет. И тяжелый день от напрасных страхов, что сгорит кордон, что бросил его так легкомысленно. Легкий день, потому что за весь день ничего не стряслось, разве что картошка сгорела. И тяжелый, потому что ничего не произошло. Но почему же ничего не произошло? Или беготня моя по лесу — это что-то пустое? Что-то я там искал, что-то надеялся увидеть, ведь не

просто так бегал, оттого что пятки чесались? Может, заблудился человек, звал на помощь, а я не пришел? Может, умирало какое-то дерево и хотело в последний раз повидаться со мной? Может, тетерка хотела показать мне своих детей, какие они у нее славные и послушные?

4

Сильвы на речке я не нашел и возвращался домой поздно. Солнце село. Взошел месяц. Умолкли в лесу птицы. От долгих переживаний дня я устал, мне хотелось спать, но я пересиливал сонливость и усталость. Я бы мог наломать еловых веток и устроиться на ночлег в лесу, я не раз так делал, для меня в этом нет ничего противоестественного — переспать в лесу, но привычка спать дома гнала меня на кордон.

Я подходил к кордону, как вдруг заметил на лугу большую черную корову. Она бежала прямо на меня. Вид у нее был свирепый.

— А вот и ты,— сказала корова, подбежав ко мне и остановившись.

Я ничуть не удивился ее появлению.

— Да, я, а в чем дело? — спросил я.

— В том, что я, черная корова, всех поборола и тебя поборю.

— Ну-ну, полегче,— сказал я.— Подумаешь, корова. Кого же ты поборола?

— Всех, кто попался мне на пути. Попалась свинья — я свинью поборола, попалась курица — я курицу поборола, попалась собака — я собаку поборола. И ты готовься.

Сдаваться просто так корове, хоть я и чувствовал себя усталым, я не имел права. Представляю, как смеялись бы надо мною лесники, узнав, что я струсил перед коровой. Попадись мне сразу десяток браконьеров, и то бы я с ними потягался. А перед коровой я и не думал робеть.

Глубоко ошибается тот, кто считает, что лесная служба — мирное занятие: ходи по лесу, смотри за деревьями да лежи на печи. Лесник — одна из воинственных профессий. К этому нас вынуждает война с браконьерами. Мне приходилось встречаться с браконьерами с глазу на глаз довольно часто. Многие пытались поме-

ряться со мной силой, по-разному протекала наша борьба: то я одолевал их, то они меня, но не помню случая, чтобы я отступил, струсил, признал себя побежденным.

Иногда со мной расправлялись очень круто.

В первый год службы меня привязывали к сосне, дважды стреляли в спину. Особенно упрямым оказался браконьер Кулик. Был он мужик здоровенный. Ездил в лес один. Сам, без чьей-либо помощи валил деревья, сам обрубал сучья, сам грузил хлысты на сани (как он умудрялся это делать — до сих пор не понимаю). Когда мы встретились с ним лицом к лицу (как лес ни велик, а дорожка в нем узка), Кулик без лишних слов шагнул мне навстречу с желанием раскроить мне череп. Чудо спасло меня от смерти, а может — влажный снежок. Кулик поскользнулся, и топор, занесенный над моей головой, миновав меня, вонзился в мерзлую землю.

Не хочу выглядеть хвастуном, но я не испугался ни Кулика, ни топора, я даже не пытался увернуться от топора. Я был уверен, что со мной ничего худого не случится, что топор минует меня. Откуда у меня была тогда такая дьявольская уверенность? Я и сам не смог бы ответить на этот вопрос, но она была. Наверное, это происходило оттого, что я был молод, глуп и наивен. Я считал себя хозяином леса, полагал, что своей верной службой несу добро и вправе требовать для себя добра. Я жил с непоколебимой детской уверенностью, что со мной не случится никакой беды, что мне не грозит опасность. Уходя в лес, я не запирал кордон на замок, ложась спать, не притворял щеколду, и, кто хотел, мог войти ко мне в любой час ночи. Но страха в лесу я не знал. И не потому, что был эдаким сверххрабрецом, презирающим смерть. Как-то я улавливал, что браконьер, замахиваясь на меня топором или целясь в спину, все-таки метит мимо меня, старается не столько разделаться со мной, сколько напугать, и стреляет не по злобе ко мне, а из жалости. Это еще больше придавало мне храбрости, и я раздувал свое бесстрашие, как огонь в горне. В своем усердии не знать страха я так настарался, что не представлял себя не только убитым — мне казалось, скорей земля и небо расколются, чем с моей головы упадет хоть один волосок. Воруй я лес, наживайся на нем, соверши какой подлог, чувствуй себя виноватым даже не перед людьми, а перед самим собой, тогда другое дело, тогда любое несчастье я принял бы

безропотно, как законное возмездие. Но этого-то ничего не было! Я не крал, не подличал, я не считал себя виноватым, напротив, безумец, я так высоко возносил себя и свою лесную службу, что временами мне казалось, что я не лес охраняю, а несу на землю свет и мир. Грех об этом говорить, но в такие минуты я почитал лес не райским садом с пташками, а добровольной каторгой, где я искупаю вину за других, и моя жизнь представлялась мне не просто жизнью, а подвижничеством, как будто я был один на свете такой прекрасный.

Эту корову я видел не в первый раз. Каждое утро и вечер стадо коров прогонял через мой лес пастух Смирнов. С коровами забот мне хватало не меньше, чем с браконьерами, черная особенно меня доняла. Как-то на старом пожарище я посеял сосну, всходы были удачны. Чтобы коровы не вытоптали только что проклюнувшиеся сосенки, я вбил в землю колья, принес колючей проволоки, ее в послевоенном лесу вместе с гильзами, касками, снарядами у развалившихся блиндажей осталось много, и соорудил ограду. Всем коровам ограды оказалось вполне достаточно, одной корове — нет. Свалив рогами ограду, она забиралась в молодняки, зовя за собой и остальных коров. Я выгнал ее раз, другой — не помогло. Я поговорил с пастухом Смирновым. Он только руками развел:

— Что мне с ней делать? Смолоду характер не слепили, сейчас не обернешь. У меня их вон сколько, сто штук. Разве за всеми усмотришь?

Я решил отучить ее сам. Но как? Выломать увесистый дрын и каждый раз молотить по костистым бокам смертным боем, пока она не поймет, что можно, а что нельзя? Не очень уверен, что такая метода, пользующаяся, правда, большим успехом в наших краях, принесла бы ощутимый результат. Я поступил иначе. Я проморил ее денек, привязав к дереву, а потом отогнал на пастбище, не давая, разумеется, по дороге съесть ни травинки. На пастбище в виде вознаграждения я преподнес ей буханку хлеба с солью, заранее приготовленную для этого случая. И что же? Метод себя оправдал. Не прошло недели, как корову мою точно подменили. Из упрямой и непонятливой она стала кроткой, как ягненок, и мудрой, как змея. Утром, выскочив из села, мчалась она по дороге во главе стада во весь коровий дух к пастбищу, минуя посадки и ограду.

Не знаю, как думают другие, но я убежден, что и звери, и животные, и травы чувствуют ласку не меньше, чем человек. Если не больше. Они, как маленькие дети, без ласки жить не могут. Она потребна им, как добрый отцовский наказ, как молоко матери, они тянутся к ней, как к солнцу. Чтó сама по себе ласка — вроде бы ерунда; что добрый привет, или добрый взгляд, или доброе расположение духа — в общем-то малость, ничего существенного по сравнению с нашими грандиозными делами; что доброе отношение, добрая забота — мелочь, не стоящая внимания. Но сколько раз я замечал: войду я в речные травы хмурый, недовольный, озабоченный какими-то неурядицами, и они, резвящиеся и играющие в свои игры, завидев меня, вдруг притихнут, примолкнут, поникнут головами, как сироты, ожидая грубого окрика или взбучки. Войду веселый, как в родной дом, и какая игра, какая возня, какое счастье обступают меня со всех сторон, шушуканье, перешептыванье, передразниванье, хихиканье. Добрые гении они, а не травы, так бы и сам вместе с ними завел кутерьму и возился бы и кувыркался, скакал и прыгал на зеленом лугу,— и ничего мне тогда не надо и не жалко ничего терять, потому что вот оно, все здесь, со мной. Не понимаю, почему некоторые считают, что встречному человеку можно улыбнуться, а завидев на тропе лису, принимаются вдогонку свистеть, улюлюкать, кидать камни и потом огорчаются: вот, мол, ушла, как воровка,— а ты и ей улыбнись, и, кто знает, может, и она улыбнется тебе навстречу.

Мне претензии коровы показались смешными. Завидев меня, ей бы бежать без оглядки, а вот, поди, решила повоевать. Удивительны превратности жизни. Какой-нибудь сморчок с ноготок, душа в нем еле держится, а тоже лезет в драку, в бой, и никакими силами его не остановить. Он видит себя богатырем, способным сравнять горы. Ему тоже хочется померяться силами, он тоже желает быть не в стороне от главных битв. И надувается, и пыжится, и грозит кулачком — покорись ему вся живущая тварь, на меньшее он не согласен.

Что толкало корову на столь рискованное предприятие? О чем думала она, становясь мне на пути? Какой план созрел в ее рогатой башке? Неужто вправду она решила побороть меня? Прекрасное дело затеяла, да не на того нарвалась. Мне стало жалко корову. Паслась

бы себе мирно на лугу, рвала ромашки и горя не знала, а теперь расхлебывай беду.

С собой у меня не было ни хворостины, ни палки, но я подумал, что справлюсь с коровой и без них. Схвачу руками за рога и повалю на землю. Я приготовился к схватке.

— Готов? — крикнула корова.

— Готов, — отозвался я.

Корова нагнула голову и ринулась на меня. Скажу, не хвастаясь, это был великолепный бой по всем законам испанской корриды. Я был ловок и смел и действовал как искусный тореадор, но и корова не пасовала.

«Главное — поймать ее за рога,— думал я,— схватить за рога и повалить на землю. Или, на худой конец, ухватить за хвост. А там она от меня не уйдет».

Корова бросалась на меня все злее и решительнее: я видел нацеленный на меня острый рог (он зловеще блестел в темноте) и был начеку. И вдруг я заметил, что она подмигивает мне правым глазом. «Это что еще за штучки? — подумал я.— Уж не хочет ли она усыпить мою бдительность? Стой, солдат, и не поддавайся врагу,— говорил я себе.— Следи за каждым ее шагом. Видать, она не так проста, как кажется с первого взгляда. Но и я не лыком шит».

Когда она приближалась ко мне, я быстро увертывался и ее рог проходил в нескольких сантиметрах от моей груди. Я норовил ухватить ее за рог, у меня ничего не получалось. Но я не отчаивался. Я был уверен, что выиграю бой и заставлю ее сдаться.

Долго длилась наша битва. Земля была взрыхлена копытами коровьих ног. Временами то корова была близка к победе, то я. Я подбирался к ней справа, слева, отступал, бросался вперед. Я чувствовал, что силы ее на исходе. Бока у нее были скользкие от пота. Она тяжело дышала, обдавая меня острым запахом. Был момент, когда я чуть было не схватил корову за рога, чтобы бросить на землю. Но тут я случайно оступился, корова боднула меня рогом, и я упал на траву. Мне хватило сил доползти до стога сена. Странно, я не чувствовал ни боли, ни страха, ни усталости. Мне вдруг стало совершенно не стыдно, что я проиграл бой корове. Я ощущал запах свежего сена. Я лежал опрокинутый на спину, глазами вверх. Я засыпал, я падал, проваливался в какую-то бездну.

Последнее, что я видел: черная ночь стоит надо мной.

Ох, эти ночи! Если кто-нибудь хочет испытать их красоту, пусть хоть раз в жизни отважится провести ночь в лесу, в горах, в поле. За цементным потолком ночи не увидишь. Блуждающие стада звезд не поприветствуют тебя с высоты неба. Месяц не снимет перед тобой шляпу. Луна не улыбнется. Широкий свод не сожмет твоего сердца, не заставит задуматься, что же ты есть, человек?

Сколько ночей провел я в лесу, ожидая в засаде браконьеров. И синих, холодных, зимних ночей с россыпью звезд и точеным месяцем на гребешке леса; и белесых, прозрачных июньских ночей, напоенных запахами трав и лесных ароматов; и серерьких, дождливых, волнующих ночек пролетья; и пасмурных, тяжелых ночей ноября. Видеть эти ночи, слышать их — уже награда, ради которой стоит жить на земле. Не раз, лежа на сонной траве или еловом лапнике, глядел я в небо сквозь листву деревьев и думал о своей судьбе, о смерти, о бренных и будничных делах. Небо было всегда постоянно: те же звезды, тот же свод, а в себе, в лесу, в природе я неизменно открывал что-нибудь новое. Когда же запустили первые спутники, а потом полетели и первые люди, с каким волнением искал я глазами пробегающие по небу светящиеся точки, как я завидовал людям, бороздящим небесные тропы и дороги. Я любил ночь, и, мне казалось, она любила меня.

5

Тропинка к колодцу начинается прямо у крыльца моей избы и заканчивается у сруба. Сошел с крыльца — тут она и началась. Правда, с крыльца начинаются не только тропинка к колодцу, а все тропинки: три в лес, две на луг, к сараю, к огороду, к уборной, к поленнице дров, к сосне, под которой я люблю иногда посидеть,— это если не считать дорог, их тоже несколько. Некоторые тропы на время зарастают. Скажем, была на кордоне Сильва, я возил из колодца воду на ней не по тропе, а по дороге. Нет Сильвы, я зачастил к колодцу по тропе, и она ожила. Если бы можно было оценивать тропы по их форме и содержанию, как, например, оценивают в школе сочинения, или давать им определения, как это

делают с облаками: грозовые облака, кучевые, перистые и прочие, я бы дал тропинке к колодцу самый высокий балл и самое поэтическое определение. Но тропам оценок никто не ставит. Говорят: хорошая тропа, плохая, но это разве те слова, которыми можно определить тропу? Такое определение тропе так же грубо и оскорбительно, как если бы мы стали своих друзей мазать одной черной или белой краской — этот хорош, этот плох — и удовлетворились этим. К счастью, с людьми мы этого не делаем, мы говорим о сложности человеческого характера, о противоречиях и прочем, а вот для троп у нас не находится должных слов.

А между тем каждая тропа, какая ни есть на свете, самая длинная, длиной в несколько сот километров, и самая короткая, в один-два метра, имеет свой характер, свое лицо, и лица эти так же бесконечно разнообразны и впечатляющи, как лица человеческие.

Из этого великого сонма лиц лицо тропы к колодцу, на первый взгляд, не очень-то выделится. Яркой броскости, как у какой-нибудь модной красавицы, у нее нет. Она скромна и почти незаметна. Человек, не зная о ее существовании, вряд ли ее найдет. Иногда я и сам теряю ее, особенно возле сруба и возле крыльца, тут земля выбита ногами и разглядеть едва заметную ниточку тропы не просто. Когда я тороплюсь, чтобы не тратить время на ее поиск, я лезу напрямик через траву и забираю немного в сторону, пытаясь подсечь тропу на ходу. И, уж подловив, ступаю в ее узенькое русло и продолжаю свой путь по лугу, как корабль по курсу в океане. Она добра. Я не помню случая, чтобы я когда-нибудь поскользнулся на ней, упал, пролил воду из ведра. Она не капризна и верна. Если ты нашел ее среди травы, ступай смело и она выведет тебя прямо к своему началу или к концу. Она нежна. Особенно это чувствуешь летом. В июле, в августе, когда солнце нагреет землю, приятно брести по ней босиком. Она мягка — сплошь застлана подорожником. Листья у подорожника широкие, прижались к земле и не мешают при ходьбе. В общем-то она вроде бы проста — длинная лента тянется среди летнего разнотравья, но это не прямая линия, тут свои загадки: то вдруг она качнется вправо, то отклонится влево, а почему она именно в этом месте качнулась влево или вправо, ломай над этим голову — тайны не найти. Простота ее в доверчивости, в добром

характере. Зимой она покрывается снегом и ее не видно, и все равно, если я иду к колодцу на лыжах, я иду примерно там, где лежит моя тропа. Она способна заряжать человека жизнерадостностью и веселием, лучше всяких лекарств лечит от хандры. Стоит мне утром встать, пробежаться к колодцу и обратно, с каким бы хмурым настроением я ни встал, я мгновенно преображаюсь, на лице у меня появляется улыбка, как будто я только что встретил веселого и доброго человека, я полон сил, мне хочется жить. Она чутка, неназойлива, умеет прислушаться к человеку. Иногда может подсказать верное решение, правильную мысль, точно угадает настроение, и, если тебе хочется побыть одному, не станет беспокоить понапрасну, а будет вести себя так, как будто ее нет вовсе. Она полна любви к людям, зверям, птицам, ко всему на свете. Она не очень-то рассердится, если по ней пробежит заяц, крот ночью нагребет гору, скворец прогуляется в поисках дождевых червей. Если кто приезжает ко мне из города, она первая встречает гостя. Поразительно, сколько душевной теплоты нужно иметь, чтобы каждого встретить с добрым участием. И не она виновата, если кто является ко мне с бранью, сердитый. Она сделала свое дело. Остальное зависит от солнца, от ветра, от дождя, от тебя самого.

Кто по ней не ходил! Ходил я, ходил дед Иван, ходили лесники, жившие на кордоне до меня и деда, о которых осталась в лесу до сих пор громкая слава, ходили шоферы с дороги взять у меня ведро, ходили туристы, выделывал вензеля лесник Букарев, потерявшись и заблудившись в тропиночных изгибах, как в глухом лесу. Тетка-цветочница рвала на лугу ромашки, разлеглась от усталости, задремала и спала, и так крепко спала, что я, гремя ведрами, проскочил мимо нее туда и назад и не разбудил. Какая-то городская красавица ловила бабочку и не поймала, а я этих бабочек мог бы, не ловя, поймать тысячу. В один душный грозовой день, когда тучи сгрудились на небе и вот-вот должна была ударить молния, мрачный человек долго стоял на тропе и вдруг побежал. Его поведение мне показалось странным, и я, не раздумывая, побежал за ним. Он остановился, оглянулся, строго посмотрел на меня, погрозил пальцем, сказал: «Не ходи!» — и скрылся.

Тут у тропы лесотаксаторы разбили палатку и жили все лето, и вдруг у них возникла ссора и один ударил

другого ножом в бок, и тот, раненный, зажав рану рукой, бежал ко мне и звал на помощь, и кровь текла у него между пальцев на траву.

А однажды весной в моем колодце ласточки устроили гнездо. Через некоторое время у них появились птенцы. Я их не трогал. Мне было интересно узнать, как вылетят птенцы из сруба, как осуществят свой первый полет, не упадут ли они в воду? Я боялся за них и приглядывал за ними.

В наше время колодец у дороги — все равно что беззащитный человек. Его и обижают, и бьют, и бросают в него каменья. Война колодца и людей, к сожалению, заканчивается победой людей. Удивительно, что человек дожил до такого времени, что он воюет с колодцем!

Мой колодец в этом смысле не был исключением. Чего только в него не кидали прохожие и проезжие люди! Камни, пустые консервные банки, полиэтиленовые мешки, бутылки, окурки, пуговицы, объедки, газеты, а однажды умудрились запихнуть целую раму от мотоцикла. Какими мазутными ведрами не грязнили его чистейшую воду! Как-то совхозный тракторист Зимин взял да и сгрузил минеральные удобрения прямо в колодец.

Я охранял свой колодец как мог, гнал хулиганов, регулярно очищал от всякой скверны и запирал на замок. Но когда, какой колодец у дороги запирался на замок?! Разве тот, что у дьявола в аду.

Однажды, когда молодым птенцам было время встать на крыло и взлететь, я увидел у колодца группу людей: очередные туристы утоляли жажду. По тому, как они весело и оживленно сгрудились у сруба колодца, как возбужденно кричали и носились, я сразу догадался о несчастье. Я пилил дрова и ревниво вглядывался в их пляску, а потом побежал к колодцу, на ходу крича и понося их дикими словами.

Лицо у меня было перекошено от гнева. Со стороны я был, наверное, похож на лесное чудовище, вырвавшееся на волю после долгого заточения и готовое уничтожить все живое на свете, потому что туристы, а их было человек двадцать, если не больше, вдруг испугались орущего и бегущего к ним одинокого человека и, похватав рюкзаки, как по команде, бросились удирать со всех ног.

Когда я подбежал к колодцу, было уже поздно,

Ласточкино гнездо было разорено, колодец забит камнями и травой, а мертвые птенцы плавали в воде...

Сейчас ветер с залива, низкие облака, крупный дождь прибивает к земле широкие листья подорожника. В руке у меня два ведра, в одном ведре день, в другом ночь. Я иду по тропинке и стараюсь не расплескать ни одной капли. Она не длинна, моя тропинка, шагов триста, не больше, есть куда длинней тропы и в моем лесу, и в других лесах, но мне она дороже всех. И не только потому, что ведет она к источнику жизни, к воде, а потому, что она сама — жизнь.

6

Меня разбудила заря. Я открыл глаза и увидел над собой утреннее небо. Оно было разделено на две половины: светлая, восточная, пламенела огненной чистотой, темная, западная, отступала. Я лежал на лугу у стога сена в нескольких шагах ходьбы от кордона. Я удивился, что лежу не в избе, а у стога сена, и тут вспомнил ночную схватку с коровой. Мне было неловко, что я проиграл бой. Но поражения свои, как и победы, нужно принимать достойно. Не ныть, не кукситься, не отчаиваться, а смело смотреть вперед. А иначе дело худо.

Сколько состояний переживает человек за свою жизнь, сколько пережил их я?

Было время, когда, прибыв в лес и готовя себя в лесное плавание, пылкой душой устремляясь в неизведанное, я самоуверенно полагал, что я для леса могу сделать все, я задавался не иначе как такими вопросами: кем мне лучше быть — прекрасным лесником или самим собой, как будто это не одно и то же. Но что я мог в ту пору? Бегать по обходу, как слепой котенок? Точных и определенных целей я себе не ставил, не имел их, я не очень-то понимал, кто я и что я, я не чувствовал леса, я был так неопытен, что был равно открыт для добрых дел и для злых. Я мог принести лесу радость, а мог — горе. Потом наступило время, когда я понял, что я чего-то не могу, а именно не могу делать лесу зла. Это состояние родилось во мне вместе с любовью к лесу. Я стал пытаться делать добро, а оно у меня не получалось. И я решил, что я ничего не могу. Это было тяжелое испытание. Но не может человек жить и ничего не делать. Постепенно ко мне приходило сознание, что я

что-то могу. Это «что-то» величиной с маковое зерно, но, чтобы его взрастить, вряд ли хватит десяти моих жизней.

Утро было холодное, от тумана сырое. Медленно луг просыпался. Свет с небес рассеивался по земле, выделяя гряду леса, кустарник, отдельные деревья, скошенную щетку травы. Упругие шарики росы дробно рассыпались на листьях. Одну росинку я слизнул языком. Она горчила. На небе угасал молочный месяц. Стебелек травы у моего носа прогнулся и раскачивался под тяжестью бабочки. Открыв крылья, она готовилась улететь. Лежа на земле, я продрог, но с каждой минутой туман в низине таял, солнце поднималось, открывались дали, становилось теплей. Была такая звенящая тишина, когда вместе с ростом трав и движением месяца в небе слышишь в унисон той, чужой жизни стук своего сердца, бег крови в сосудах, когда, слыша стук своего сердца, говоришь: «Это ты», а слыша движение месяца и рост трав: «Это ты», и не сразу понять: то — ты или — это.

Вдруг гармония нарушилась. Я услышал крик, слабый, как комариный писк. Он донесся до меня с той стороны, где находился кордон Маши Березко, а это от меня километров девять. Я вскочил на ноги и прислушался. Крик повторился. Раньше до меня доходило только пение Машиного петуха. Девять лесных километров — это не за фанерной перегородкой: хочешь слушай, а хочешь нет. Я понял, у Маши случилась беда.

Маша была необыкновенная женщина. Я считаю, что в ней сильнее, чем в ком-либо, проявлялась истинно женская суть, хотя убежден, что найдутся противники, которые не согласятся со мной. Это был не человек, а бездонная бочка добра. Краем уха услышав о чужой беде, мчалась Маша к потерпевшему и бедствующему, как будто семьей ей был весь лесхоз, весь мир, как будто не мы сами, не власти, о нас пекущиеся, а только она одна была в ответе за все человеческие неустройства и несовершенства. Помочь леснику найти браконьеров, рубить просеку, чистить гарь, косить сено — не было такого занятия, до которого ей не было дела, за которое она бы не бралась.

Но чем больше гармонии Маша восстанавливала в чужих лесах, тем меньше гармонии оставалось в ее собственном лесе. К тому же мужья Маше попадались

неважные (она была замужем три раза, от каждого мужа имела по ребенку) и в работе не помогали. Первый муж был пьяница, он хмелел от одной мысли, что где-то есть невыпитая без него водка. Второй был ревнив. В неоправданной ревности он перебил возле кордона все невинное зверье и птиц, и его отвезли в больницу, сняв с дерева в тот самый момент, когда он пытался добить последнего дрозда. Третий муж, водовоз Склярский, лентяй и неудачник, неделями валялся в постели и жаловался, что никто не хочет оценить его талант. Денег он не зарабатывал. Маше надоело кормить взрослого бездельника, а, по ее словам, «функционировать» он не хотел, и она выгнала его, как и первого, что, однако, не мешало ей поддерживать дружеские отношения с прежними мужьями.

Как, на каких столбах еще держался ее лес, умом понять было невозможно. В лесу у Маши царили анархия и запустение. Сухие ветки после зимних рубок не сжигались, лежали годами и готовы были загореться от легкого луча солнца. Просеки заросли молодняком. Троп было не отыскать. Квартальные столбы от давности сгнили. Упавшие деревья валялись неубранными.

Это была не просто анархия, а какое-то дерзкое кощунство, которое неизбежно вело к возмездию. Рано или поздно с лесом ее должно было что-то стрястись — его могли вырубить, могли спалить. Не лучше дела обстояли и с детьми. Старшая девочка Маши в свои восемь лет мечтала о замужестве и в коробку от конфет собирала огрызки пряников и печенья для будущего жениха. Средний сын, любимец матери, баловень и угодник, ничего не собирал и ни о чем не мечтал. Пользуясь попустительством матери, он мог так же смело залезть в колодец, как развести в избе костер. Третий, в свои четыре месяца, умудрялся орать даже тогда, когда был сыт и здоров.

Если мне приходилось заходить в Машин лес, я, жалея ее, пытался помочь ей навести кое-какой порядок: сжигал сучья, гнал браконьеров, тушил начавшиеся пожары. Но моя случайная помощь не могла исправить положения. И вот беда пришла.

Еще не добежав до кордона, я увидел дым и понял, что случился пожар. Горел лес. Дети Маши пытались его как-то тушить. Самой Маши не было. «Ах, какое несчастье,— думал я.— Неужто всегда и вечно человек,

одаряющий других, будет расплачиваться за свое добро?» Случись пожар у кого угодно, кроме Маши, погори я, я бы так не переживал, но за Машу мне было обидно и больно. Я сломил несколько веток березы и бросился тушить лес.

Если я чему научился, живя в лесу, так это тушить пожары. Правда, мой лес горел редко, но разве, когда горит участок соседа, делишь лес на мой или чужой? Едва завидев дымок, в какой бы стороне он ни был, хватаешь лопату, ломаешь на ходу березовый веник и бежишь что есть мочи на подмогу. И уж добравшись до него, топчешь огонь ногами, сбиваешь веником, забрасываешь землей, и мысль у тебя одна: не дать разгореться пожару, не быть беде. Вроде бы лопата да березовый веник не столь мощное оружие против разбушевавшейся стихии, но до страшных верховых пожаров, уничтожающих все на своем пути, у нас доходило редко, а низовые пожары, стелющиеся по земле, можно было при сноровке погасить и веником.

Тут, скажу не хвастаясь, я был мастером и мог поучить не одного пожарника. Моментально изучаешь обстановку: откуда, куда дует ветер, с какой силой, где больше опасность огню, где меньше, где травы, где валежник, где край болота. Голова работает лихорадочно, отчаянно машешь руками, а ногами выделываешь такие кренделя, будто русского отплясываешь.

Но случалось, что и мое умение не помогало. Если пожар прихватишь в начале, его одолеть легко. Но если зазеваешься, дашь ему волю, тогда пощады не жди — не поможет ни веник, ни лопата, ни самый сноровистый ум. Огонь ревет. Дым кружит. Все превращается в пепел и прах: и деревья, и зверье, и птицы. И сам ты вместе с ними горишь и превращаешься в обугленную головешку. Был у нас один такой пожар. За два дня он погубил семьдесят гектаров леса и утих, лишь дойдя до края болота. Мы вызвали пожарников, солдат, нам сбросили парашютистов, мы заливали лес водой, рыли траншеи, но одолеть пожара не смогли.

Это было страшное зрелище, и, глядя на пожар, сбивая и топча огонь, варясь в этом огненном вареве, я подумал тогда: не такая ли участь ждет Машу Березко и ее лес? Мне нравилась Маша за свою щедрость и доброту, да что нравилась, я был тайно влюблен в нее, я не встречал людей, которые могли бы с такой царской

щедростью одаривать других своим участием и добротой, и, если бы кто-нибудь сказал о Маше плохое слово или обидел, такому бы обидчику пришлось худо. Но иногда и я злился на нее. Какого черта она чужой лес одаряет, а свой держит в нужде? Разве это справедливо? Где здесь мудрость? Что было бы, например, если бы я, вместо того чтобы ухаживать за своим огородом, ухаживал за огородом Ивана Ивановича, да не просто ухаживал, а отдавал ему все силы, а свой огород забросил? Много ли было бы мне чести? Помочь в чем-то какому-нибудь Ивану Ивановичу я не против, но если я посадил свой огород, то я и должен за ним смотреть и приглянуть за огородом Ивана Ивановича в том случае, если он с ним не справляется по болезни или по старости. А если не так? Зачем же я тогда сеял свой огород, зачем принимал свой лес?

Березовым веником я сбивал огонь, а пожар разгорался пуще и пуще. В воздухе становилось жарко. Пламя и дым поднимались к небу. С каждой минутой огонь мог перекинуться на сухой лес, на сарай, на избу и начать полыхать таким костром, что давай бог ноги.

Я не заметил, как возле меня оказался мужичок с котом под мышкой. Он быстро стал командовать мной:

— Бей хлеще. Да не там, не здесь, не так, не этак. Ох и растяпа же ты, малый.

Вероятно, этот мужик был таким же пожарником, как его кот, потому что не имел никакого понятия, как тушить пожары, и только сбивал меня с толку. Сам же стоял не шелохнувшись.

Прибежали три женщины с ведрами. Одна из них, побойчей, кричала на нас:

— Чего стоите рты раззявив? Водой его нужно заливать, водой!

Стали заливать пожар водой. Я работал, не помня себя. Явились еще какие-то люди — студенты с гитарой, рыбаки с удочками, ягодники с лукошками. Все наперебой давали указания и ценные советы:

— Надо тушить с левой стороны.

— Надо тушить с правой стороны.

— Заходи слева.

— Заходи справа.

Попались некоторые с философским складом ума, умники, многознаи, любители не только дать указания, как тушить пожар, но главным образом охватить это

явление, так сказать, мыслью, рассмотреть его вширь и вглубь. Встречается еще в русском народе такой тип: глядя на какое-нибудь бедствие, он не ограничится одним лицезрением, комментарием, даже самым подробным, или помощью и участием, он залезет (от широты души и могучих ее дерзаний) в самую сердцевину явления, вытащит сладкое ядро и разжует до кашицы. И тут уж никак не обойтись ему без исторических параллелей. «Нет, это не пожар,— скажет он, глядя на пожар.— Вот в надцатом году у нас был пожар, так это пожар. Камни горели». Или: «Нет, это не потоп,— скажет он, глядя на потоп.— Вот в надцатом году у нас был потоп, всю землю залило». И слушатель, ничуть не усомнившись в правоте слов своего ведуна, послушно закивает головой, точно припоминая пожар или потоп, который он сам не видел и после которого на другой пожар или потоп уже и глядеть немило, и подтвердит: «Да, это был пожар так пожар. Всем пожарам пожар».

Завидев бедствие, с шоссе приехали солдаты на машине. Молоденький офицер с усиками безоговорочно взял полноту власти на себя и командовал:

— Лей туда. Беги сюда.

Мы сбивали пламя, но пожар не утихал. Напротив, разгорался еще пуще. Мы сделали все, что могли,— безрезультатно. Наконец, отчаявшись и выбившись из сил, мы стали в стороне и смотрели, как огонь свершал свое злое дело. И тут увидели Машу. Она спокойно подошла к нам и спросила:

— Из-за чего шум стоит?

Мужик с котом ответил за всех:

— Лес твой горит. Мы его тушили, тушили...

— Ну и что,— сказала Маша.— Сама вижу, не слепая. Делов-то. А ну, отвернитесь, бесстыдники.

Мужики отвернулись. Маша расстегнула верх платья, вытряхнула грудь и брызнула в огонь маленькую струйку молока. И пожар утих. Исчезли огонь и дым. Мы глядели и не верили своим глазам. Лес стоял целый и невредимый, как будто и не горел. А Маша, подхватив детей и поддав им легких подзатыльников, скрылась в избе.

Расходились мы неохотно: ушел мужик с котом, ушли бабы с ведрами, ушли туристы с гитарой, сели в машину и уехали солдаты с офицером, отправился в дорогу и я.

Потом, как и следовало ожидать, о пожаре было много разного вранья. Что пожар был, что лес горел, этого не отрицали, да и как будешь отрицать то, что было. Напротив, пожар приукрашивали самыми яркими красками, рисовали в самых превосходных степенях. Слушая отдельных живописцев, можно было решить, что горел не лес, а полыхал мир. А вот что Маша погасила пожар каплей молока, никто не признавал. Заслуги тушения приписывали мне и мужику с котом. Особенно усердствовали женщины, заявляя, что ко времени пожара Маша скормила свое молоко чужим младенцам и груди ее были пусты. К счастью, молоко у нее для этого пожара нашлось.

7

Я заметил за лесом одну особенность: он испытывает неловкость, когда делает какое-нибудь доброе дело. Но почему? Потом он с удовлетворением отмечает про себя, что поступил правильно, не сплоховал, не ударил лицом в грязь, а сделал то, что следует сделать, но в первый момент ему не по себе, как будто он совершил не доброе дело, а злое. Лес должен бы радоваться за успех и гордиться собой, и он радуется и гордится, но всеми силами старается забыть, что только что сделал, гонит от себя веселье и радость, они не к месту, напускает на себя хмурость и озабоченность, делает вид, что все образовалось само собой и, не будь его, все получилось бы гораздо лучше, ему неуютно, не дай бог начнут благодарить, смотреть разинув рты — ах, какой он молодец! — захотят познакомиться поближе и разглядывать будут не обычным глазом, а под каким-нибудь микроскопом, увеличивающим его малые заслуги до невероятных размеров, и он, чтобы оправдать доверие, изображай из себя не то, что он есть.

Трудно поверить, но лес стесняется добрых дел. Нет для него ничего противнее, чем казаться хорошим. Будь он по природе своей стеснителен — это бы понятно. Но лес не стеснителен. При случае и он может чего-то потребовать, постоять за себя. Стеснительность его, конечно, не похожа на угрызения совести после злодейства, она иного характера, она в конце концов приводит не к дисгармонии и душевному расстройству, а к чистому состоянию равновесия, но и она доставляет ему столько хлопот, что иногда лес готов с радостью отказаться от

добрых дел, и если этого не делает, то не потому, что не хочет, а не может. Вот напоил он жаждущего человека, накормил ягодами, одарил красотой, уберег от злого глаза, сделал то, что в обычае сделать, и что же, не благодарят его люди, не смотрят разинув рты, не охают от изумления, не разносят молву о его необыкновенных качествах? И смотрят, и благодарят. По-моему, только одно и делают, что благодарят. Встретит человек в лесу анютины глазки, нагнется разглядеть получше и удивляется — вот вы какие прекрасные! Зайдет в заросли папоротника — блестит он на солнце, точно литой,— и тоже удивляется: вон ты какой! Очутится человек на вересковых полянах, фиолетовые цветочки у вереска маленькие, крохотные, где их разглядеть, но и тут человек восхищается: вон ты какой прекрасный! Погонится девочка за бабочкой-капустницей — посмотрите, какая прелесть! И такой заведут люди хоровод, загалдят, как на базаре, высматривают, оценивают, обсуждают, любуются лесом и гордятся. «А чем гордиться? — думает про себя лес.— Что я такого геройского совершил, чтобы мной гордиться? Жаждущего человека напоил, а скольких не напоил? Ягодами накормил, а сколько еще ненакормленных? Красотой одарил, а сколько еще ходят, не видя этой красоты, не чувствуя ее, не понимая?» Ночью стоят анютины глазки в темноте, вспоминают взгляд человека и виноватыми себя чувствуют, словно ответ на суде держат. Может, иной человек так заглянет цветку в душу, что все перевернет. «Ты виноват»,— говорит этот взгляд. «Но разве я за все в ответе,— отвечает цветок.— Есть кроме меня другие, посильнее». А взгляд твердит одно: ты виновен.

Не покоя хотелось бы испить и мира, а победы над собой. Но что это такое — победа над собой? Когда бегун говорит о победе над собой, это понятно. Трудно, мол, а все равно бегу,— и появляется второе дыхание. А как мне, леснику, понимать эту победу? Бегать больше? Но иной раз самые быстрые ноги тебя не спасут от беды. Да и у бегуна не только в ногах дело. У бегуна, может быть, и не в ногах, а у меня в ногах. Для меня ноги — и голова, и руки, и глаза, и тело. Они и мыслят, и физическую работу выполняют. Левая нога, правая, опять левая, опять правая, и так далее. Прошел опреде-

ленное количество шагов — победил себя, не прошел — не победил. Кажется, просто — ходи, если тебе не лень, и вот победа. Но и тут есть тайна. Та ходьба, что ты совершаешь наяву, днем, это еще не ходьба, это половина ходьбы, ее четвертая часть, если не шестнадцатая или тридцать вторая. Главная ходьба — во сне. Тут больше всего ворочаешь ногами, тут самые большие расстояния преодолеваешь, тут стираешь ноги в кровь, пот лицо тебе заливает, тут ты умер, износился в порошок, а кости сами, постукивая, идут, и упрямому шествию их нет конца. Ходить в яви каждый дурак может, ходить в снах — единицы: люди, способные сравняться с богами. Если ты научился ходить во сне, тебе уже необязательно ходить наяву. Набродившись в снах и проснувшись, ты можешь спокойно околачиваться дома весь день, валяться на постели, ковырять пальцем в ухе, чесать в затылке, плевать в потолок — это смотря какое тебе занятие по душе. А ноги свои повесь на гвоздик, пусть проветриваются, отдыхают. Ценность шага во сне, какой бы ни был он маленький,— рубль золотой. Ценность шага наяву, сколь бы ни был он большой,— копейка.

Почему мы так мало встречаем людей, которые побеждают себя? Именно потому, что они одно считают за другое, шагают в яви, когда надо двигаться, находясь во снах. Иной раз так во снах этих надвигаешься, так за ночь, лежа в постели, устанешь, что проснешься и, кажется, рад бы встать, да не можешь, опять засыпаешь. И лес тебя ждет, и работа дожидается, а ты ни рук, ни ног поднять не можешь. Свалишься и лежишь. Тебя ругают, тебя стыдят, лодырем, соней, байбаком называют, а пусть! Все поношения перенеси спокойно. Великие люди всегда терпели. Откуда кому знать, какой внутренней жизнью ты живешь, какую работу выполняешь, когда больше ходишь — днем в яви или ночью во сне?

Люблю шум сосен. Шума нет, и лес тихий, пустой. Конечно, это только для чужака лес бывает пустой и тихий; стоит прислушаться, и сразу различишь и шум, и чье-то присутствие. Там пробежала к болоту лесная мышь, там комар пропищал над зацветшей лужей, там дождевой червяк зашелестел прошлогодней листвой, там ворона пролетела и оставила нам в воздухе свой

незримый след. Если чуть принапрячься и иметь чуткое ухо, можно услышать, как храпит под кустом можжевельника заяц, как быстро дышит белочка, набегавшись по веткам, как угрюмо ворчит в своей норе барсук, переваливаясь с боку на бок, но для этого, повторяю, нужно поднапрячься слухом: любой звук — писк ли это зверя или шепот травы — можно услышать в лесу и убедиться, что лес не пустой. Но когда прилетает ветер и начинает шуметь в соснах, возникает особенно радостное и светлое чувство. Казалось бы, ничего не случилось: ни зверь не пришел, ни человек, ни птица — обыкновенный ветер, и не к тебе явился, а просто так по своей воле погулять над лесом, порыскать в сосновых ветках прилетел, и нет ему до тебя никакого дела, а радует тебя его появление, как будто ты друга встречаешь и уже не один. И чем сильнее шум, тем радостнее. Особенно в ясный солнечный день. Тогда сосновый бор, по которому ты идешь, кажется пустым и полным. Но чем полным? Сказать — шумом, значит, ничего не сказать. Лес со своим непонятным, неведомым исчезает. Есть ты и шум, вас на свете двое, иного ничего нет. И шум этот — как человек, с которым ты можешь общаться.

8

Свою первую жену дед Иван Леонов потерял во время войны. Ее убили немцы вместе с другими жителями села за связь с партизанами. Сразу после войны дед поехал на Витебщину в родную деревню навестить общую могилу и прибрать ее.

В лесу он вырубил елку, вытесал крест, посидел у могилы, поскорбел и собрался домой.

Деревня лежала в развалинах, но новая жизнь уже начиналась. Ставили срубы, клали печи, пахали огороды. По деревне бегали оборванные ребятишки. Жизнь была голодной и тяжелой.

Когда дед проходил по деревне, его окликнула красивая молодая женщина:

— Здравствуй, дядя Ваня. Что не зайдешь, иль не узнал?

— Да кем ты будешь? — спросил дед.

— Я Анна, жена твоего племянника Василия.

— Вот как, — сказал дед, — я и вправду тебя не узнал.

Анна жила в землянке. Она пригласила деда к себе и рассказала о своей судьбе. Муж ее, Василий Леонов, погиб на фронте в первый же год войны, оставив молодую вдову с четырьмя детьми. Анна показала деду похоронку, расплакалась и заголосила:

— Пришла злодейка-душегубка из синих морей, с той окаянной Германии, обманула нас, черной вороной залетела. На что покинул ты нас, Вася, кормилец, без тебя погибнем мы, пропадем...

А кончив плач, утерлась и говорит деду:

— Возьми меня, дядя Ваня, в жены. Увези к себе. Помру я с детьми голодной смертью.

— Как же я женюсь на тебе,— сказал дед.— Я старый, а ты молодая. Когда буду с палочкой ходить, бросишь ты меня.

— Не брошу,— говорит Анна,— весь век за тобой ходить буду.

Дед пожалел Анну и взял ее вместе с маленькими детьми. Ехал дед с кордона в деревню один, а привез целое семейство. Молодая жена жить в лесу отказалась: «Скучно мне здесь. Я на людях привыкла». Дед взял в Белоострове участок и начал строить для них дом.

Анна сдержала свое слово, она не бросила деда, хоть действительно была молода и красива и на нее заглядывались многие мужчины. Но и деда она не баловала. Жил он на кордоне один, она не приехала к нему ни разу, сам варил, сам стирал, сам сажал огород, сам рубил лес для дома, позже ему стали помогать подросшие дети.

Когда я объявился на кордоне, дом у деда в Белоострове был построен, его и сейчас можно увидеть из окон электрички — слева, третий от речки, если ехать из Ленинграда в Зеленогорск. Недоставало бревен для сарая. Вот из-за этих бревен я поссорился с дедом в первый и последний раз в нашей совместной жизни. Дед был прижимист и скуп, это я сразу ощутил. Он не привык делиться с другим куском хлеба и в заботе по общему кордонному хозяйству требовал равной доли. Но скупость его была особой. Если он брал у меня взаймы кусочек сахара, то отдавал мне точно такой же. Не предполагая, что ему пришлют напарника, он сам заготовил на зиму дрова — сырую березу, а когда появился я, потребовал, чтобы и я заготовил дрова. Его требова-

ния я посчитал вполне справедливыми, но как нарубить машину дров и на чем привезти их, я не знал. Я пробовал спилить толстые сухостойные деревья, но у одного меня ничего не получалось. А дед не собирался мне помогать. Я бы мог нанять мужиков из села, они бы мигом помогли мне нарубить и привезти дрова, но для этого нужно было входить с ними в сделку, незаконно дать им лес, а сделать этого я не имел права. В довершение всего наступала зима, на землю вот-вот должен был выпасть первый снег. Дед торопил меня, намекал, что надо спешить, падает снег, занесет дорогу к кордону и тогда я останусь без дров. Я был в безвыходном положении. И тут вспомнил, что в Ленинградском лесном порту работает мой кореш по флоту Паша Аврамичев, сигнальщик с нашего эсминца. Дело он имел с лесом. Я решился на последнее — прибегнуть к его помощи.

В отчаянии я нарисовал ему мрачную картину. Я не предполагал, что он мне сразу поможет. Все оказалось проще, чем я думал. Он сбегал к начальству, рассказал обо мне, выписал квитанцию, и через два часа я ехал на кордон в кабине машины, доверху нагруженной прекрасными сосновыми балками. Это было вовремя — повалил густой снег. Мое радостное настроение, что все так удачно устроилось, нарушал только шофер:

— Ну, умора,— смеялся он всю дорогу, когда узнал, что я лесник и балки везу в лес,— ну, чудеса. В первый раз вижу, чтобы лесник вез дрова из города в лес. Ну, уморил ты меня, братец.

Но я помалкивал, я не обращал внимания на его насмешки, главное было сделано.

Мы удачно пробились к кордону, снег был еще не настолько глубок, свалили у дома балки, и я отправился в обход. Я шел по лесу и размышлял, как все удачно получилось. У деда сырые березовые дрова, они дают сильный жар, но плохо разжигаются, у меня сухая сосна, которая загорается, точно порох. Будем мы жить всю зиму в тепле, не зная забот.

Каково же было мое удивление, когда, вернувшись с обхода, я не увидел своих балок. Я вбежал в избу. Дед сидел у плиты и курил сигарету.

— Кто увез мои дрова? — спросил я деда.

— Я,— ответил он.

— Как ты?

И дед спокойно стал объяснять мне, что дрова, то есть сосновые балки, увез он к себе в Белоостров, они хороши для сарая. Напрасно я возмущался, поносил деда, что он обидел меня, предал, что не уважает меня, что балки достались мне с великим трудом и нужно было хотя бы спросить, прежде чем взять их,— дед вел себя так, как будто он сделал для меня доброе дело, забрав их.

Дед умер три месяца спустя после отъезда с кордона. Кроме болезни глаз, у него оказался рак желудка. Я видел деда перед смертью, когда приезжал проведать его в Белоостров. Глаза у него были тусклы, но он бодрился. Врачи предложили ему лечь на операцию, он отказался. Он боялся, что станет калекой и будет жене в тягость. Мы с дедом ходили к речке на луг, и я помог накосить для козы травы и принести домой, а потом чинил крышу сарая.

О смерти деда я узнал случайно, через чужих людей, когда его уже похоронили. Родственники деда не посчитали нужным ни сообщить мне о смерти, ни пригласить на похороны, и я не прощу им этого никогда. Но стоит ли их винить? Откуда им было знать, что я близко принял судьбу и смерть старика, что их дед Иван был для меня не просто сосед, напарник по работе, но близкий и необходимый человек. . .

Несколько дней я искал кобылу. Сильва не находилась. Я не мог представить, куда девалась эта старая развалина. Я облазил лес, она как сквозь землю провалилась. С каждым днем радиус моих маршрутов становился длиннее и длиннее. Однажды я пошел поискать ее на кладбище, там была хорошая трава, и совхозные конюхи частенько гоняли туда лошадей. Могла забраться туда и Сильва.

Кладбище было километрах в десяти от кордона, за речкой. От меня к кладбищу вела старая заросшая и заброшенная дорога, которую с трудом можно было отыскать, ее никто не знал, кроме Сильвы, меня и лосей. Нужно было пройти по сосновому лесу, по ельнику, через заросли вереска, по болоту, здесь дорога была выложена старыми прогнившими бревнами, а дальше те-

рялась в низких сосенках, в елках, в иве-бредунице, ближе к речке была перепахана трактором.

Я разделся, пошел вброд, вода была холодной, а ноги скользили по камням. Теперь было недалеко. Мимо кладбища я проходил раньше не один раз и всегда с неприязнью думал о кладбище и обо всем, что связано с ним. Хоть был я молод и скоро умирать не собирался, но мысли о смерти меня волновали. Я никак не мог согласиться с тем, что наступает срок — и человек покидает этот мир навсегда. Нет, я не верил ни в райскую жизнь, ни в страшный суд и муки ада, но мысль о том, что человек смертен, мне не нравилась. Здесь, на мой взгляд, что-то было не так. Для чего же тогда рождался человек? И куда он исчезает? Что такое смерть и что такое жизнь и должны ли мы бояться смерти или принимать ее спокойно, как должное? Мне приходилось видеть людей, умиравших тяжело, мучительно, они панически страшились смерти, они хотели жить. В страхе, в отчаянии они кричали, проклинали друзей, все то, что оставалось после них на этом свете, они завидовали каждому цветку, травинке, они готовы были, коль с ними приключилось такое несчастье, унести с собой все живое в мучительной обиде за себя,— и лес, и небо, и дома, и людей, как будто, унося с собой все земное, они тем самым остались бы жить и там, после смерти, имея для жизни все необходимое. Уже сами страдания этих людей говорили о том, что смерть — тяжелый шаг и сделать этот шаг человеку непросто.

Но я видел однажды и другую смерть — как умирала одна старуха (мне хочется думать, что так умирал и дед Иван). Она отходила тихо, как будто сознавала, что все в этом мире сделала и уходит не куда-то в страшную неизвестность, не в червей превращается, не в тлен и прах, а остается такой, какой и была. В это, конечно, трудно поверить, но это было наверняка так, а не иначе.

Я понимаю, что мне не дано понять, что такое смерть, и я не умру, как эта старуха. Как бы я ни бился над этим вопросом, это выше меня, но, думая о жизни и смерти, я всегда думаю о людях, умирающих мучительно, и об этой старухе. Почему она так бесстрашно смотрела в глаза той, на которую и взглянуть-то страшно? Что дало ей такую легкую смерть, какие добрые дела или прегрешения? Может, потому, что она считала, что

достойно прожила жизнь? Или она просто была глупа, бесчувственна? И не стоит ее принимать в расчет? Но почему тогда мне нравилась ее смерть (если можно так сказать о смерти), а смерть мучительная вызывала во мне тяжелые переживания? Я люблю лес, люблю жизнь, люблю траву, речку, друзей, я не представляю, как можно это не любить и как можно жить без всего этого, разлука со всем живым была бы для меня страшным испытанием. Я понимаю, что рассуждать о смерти одно, а встретить ее — другое (умом чего мы только не понимаем!), но, и любя этот мир, я хотел бы умереть так, как старуха: будто принимая смерть, ты становишься сильнее ее, не умираешь, а остаешься жить.

Размышляя подобным образом, в общем-то не умно и не оригинально, я двинулся дальше. День был ясный. Солнце стояло в зените. Я увидел перед собой избы, сараи, заборы. У края села — домик почты. Оттуда доносилось пение. Я подошел к домику и заглянул в окно. Девушка пела в глубине комнаты. Заслышав мои шаги, она метнулась к столу, села и, уронив на стол голову, притворилась спящей. Я открыл дверь в домик. Маленькая комнатка с перегородкой. На столе неотправленные телеграммы. Рядом гудел телеграфный аппарат. В углу открытый сейф с деньгами и документами. Девушка сидела в той же позе.

Я кашлянул, девушка не просыпалась, но я знал, что она не спала. «Вероятно, она приняла меня за другого», — подумал я. Я решил подшутить над девушкой. В руке у меня был пушистый стебелек тимофеевки (когда я хожу по лесу, я часто срываю травинку и грызу ее). На цыпочках я подошел к девушке и принялся щекотать ее травинкой за ухом.

«Пусть притворяется,— думал я,— ей кажется, что это ее любимый парень, а это я. Скажет: «Здравствуй, милый». Тут-то я на нее и напущусь: «Как так! Безобразие! Кто позволил спать в рабочее время? Почему телеграммы не отправлены? Сейф с деньгами открыт? Хорошо, что я человек честный. Не придет мне в голову ничего плохого. А вдруг был бы я бандит. Что бы тогда было? А ну, позвать начальство! Дать книгу жалоб! Я полдня жду, когда вы проснетесь». Представляю, как она смутится, думал я, станет меня уверять, что вздремнула всего на минутку, случайно, что больше с ней этого никогда не повторится. А я сделаю грозный вид, сдвину

брови, это у меня всегда здорово получается, и скажу: «Гулять, уважаемая гражданка, нужно по ночам меньше, с молодыми парнями поменьше целоваться, тогда и спать на работе не будете...»

Когда я состарюсь, буду дедом, я, наверное, стану ужасным ворчуном и моралистом. Не могу выразить, как люблю я читать другим нотации: мыслей полна голова, слова сами струятся с языка, удержать их нет мочи. И я не удерживаю, пусть их, я даю им простор, они выпархивают на свет, как птицы. Как я рад тогда, как чувствую я тогда себя сильным, умным, красивым, способным вести за собою весь род человеческий. Тогда мне кажется: не будь меня, не говори я умных, справедливых слов, не указывай заблудшему человеку истинного пути — и весь мир полетит в тартарары, развеется в прах. Правда, в детстве, когда я был маленький, сам я не очень любил родительские нотации, слова взрослых мне казались тогда скучными, а мысли банальными, никак к делу не относящимися, но сейчас свои слова я ценил высоко.

Девушка приоткрыла один глаз. Увидев, что это не ее парень, а чужой незнакомый человек, строго посмотрела на меня и сказала:

— Долго вы намерены ковырять у меня за ухом своей палкой?

Я растерялся. Я не ожидал такого оборота. Я стоял с травинкой в руке и не знал, куда ее девать.

— Ну? — сказала она.

— Извините,— сказал я.— Я зашел на минуту. Я думал, что вор придет, деньги лежат, аппарат работает...

Слова запутались у меня. Я не знал, что говорить.

— И что же дальше?

— Дальше ничего. Я Сильву ищу. У меня кобыла убежала. Вы случайно не видели Сильву?

Девушка смотрела на меня с подозрением.

— Немедленно отойдите на два шага от сейфа,— приказала она.

Я повиновался.

— А теперь, молодой человек, видите вот это? — и она указала мне на большую медную чернильницу, стоящую на столе.

— Вижу.

— А это видите? — она указала на входную дверь.

— И это вижу.

— Так вот, если вы хотите уйти отсюда живым и здоровым, шагом марш, чтобы через секунду вашего духу здесь не было.

— Вы меня неправильно поняли,— начал оправдываться я,— я слышал, как вы пели, и хотел над вами подшутить...

— Считаю до трех. Раз. Два...

Слова «три» я уже не слышал. Пулей я выскочил из домика почты. Вид у девушки был грозный. Она и впрямь могла запустить в меня чернильницей.

«Проклятье,— думал я, труся легкой рысью от домика.— Она приняла за вора человека, который сам ловит воров. Я не вор, не разбойник. Я ничего не хотел плохого. Я лесник. Я кобылу ищу. А она выгнала меня, как паршивую собаку. Сейчас же вернусь обратно и докажу ей, что я не тот, за кого она меня приняла... Ничего, она еще пожалеет, когда узнает, кто я такой. Как ей будет стыдно, неловко. Она наверняка начнет просить прощенья у меня, но я буду тверд и непреклонен в своей обиде. Конечно, можно ее и простить, но нельзя, чтоб на свете торжествовала несправедливость».

Я уже хотел повернуть обратно к почте, но тут вспомнил о Сильве и решил зайти к девушке на обратном пути.

Я прошел несколько шагов. Передо мной стояла старая изба, крытая прогнившей дранкой. Я стукнул и открыл дверь. Пожилая женщина в дремоте стирала в тазу белье. Увидев на пороге чужого человека, она распрямилась и с мокрыми руками бросилась ко мне.

— Васенька,— закричала она.

— Извините,— поспешил я.— Вы ошиблись. Я не Васенька.

— А где мой Васенька? Вы, наверное, его приятель и привезли от него весточку. Что с ним? Где он? — она забрасывала меня вопросами, не давая времени на ответ.

Не в моем характере огорчать людей, не люблю я приносить дурные вести. Даже если это неправда, даже если я ничего не знаю о человеке, не повернется у меня язык говорить худое. Есть такие горе-правдолюбцы, они режут правду-матку, не очень-то беспокоясь о том, какое она произвела впечатление. Им вроде бы все равно — говорить о свадьбе или похоронах. Они, кроме пра-

вды, ничего знать не хотят. Отрезало человеку трамваем ногу, убило упавшим деревом, они распишут смерть человека в таких пакостных деталях, такое вытащат на свет, что хоть сам умирай от уныния. И при том успокаивают: это, мол, мы делаем для истины.

Наблюдая за такими людьми, я часто думал: так ли уж они правы? Нет, не похожа что-то такая правда на правду. Как бы мне ее ни нахваливали, не смогу я стоять за эту правду, не смогу согласиться с ней. По мне, тогда лучше ложь.

Женщину эту я видел впервые, сына ее вообще не знал, поэтому говорить о нем что-то худое не имел права, а не говорить — тоже вроде нехорошо. Раз она так любит своего сына и ждет его, что посчитала меня за его приятеля, прибывшего к ней с весточкой от сына, пусть так и будет.

— Успокойтесь,— сказал я женщине.— Жив Васенька и здоров. Вчера, как вас, видел. Шлет он вам глубокий поклон.

Женщина заулыбалась, вытерла о фартук мокрые руки.

— Что же я вас на пороге держу, старая дура,— заторопилась она,— проходите в избу, будьте дорогим гостем. А я сейчас чай поставлю, варенья принесу, яблочек, конфеток.

Я вслушивался в разговор женщины и думал: как бы мне не оплошать, как бы чего не напутать, не натворить лишнего. Что это за тип, Васенька, где он живет? Кем работает? Женат ли, холост? Почему так ждет его мать? Или он в отъезде и поэтому не пишет ей?

Женщина накрывала на стол, а я, словно не желая стеснять ее, глядел по сторонам. Я искал хоть малую деталь, за которую можно было бы зацепиться. Например, фотографии, они в крестьянской избе летопись: читай каждый, при желании тут все открыто взгляду чужого человека.

И я увидел эту обычную рамку с фотографиями. Я увидел старика со старухой в лаптях. Это, наверное, предки, думал я, дед и баба. Увидел девушку, сидящую на старинном стуле в длинном платье, ботинках. Это — мать Васеньки. Увидел солдата с медалью, в зимней шапке со звездой. Не было сомнения, что предо мной был отец Васеньки. Были еще какие-то люди, наверняка родственники: сестры, тетки, дядья, шурины, девери,

зятья, золовки, кумовья, тещи... Я искал Васеньку. Он располагался на самом видном месте в нескольких видах: годовалый, на столе, в чем мать родила; в том возрасте, когда под стол пешком ходят; лет двенадцати — в пионерском галстуке; в шестнадцать — с вилами в руках возле коровника; а вот и то, что мне надо: Васенька собственной персоной в форме военного моряка. Все было ясно. Дальше я уже мог не смотреть фотографии. Жизнь Васеньки была у меня как на ладони. Я уже знал не только кем он был, но и кем будет.

Сознаюсь, мне не очень понравился Васенька. Был он, по-видимому, фитюг фитюгом — узкий лоб, толстые губы, а главное, взгляд какой-то нахальный и невыразительно-скучный. И то, как он носил бескозырку, и татуировка на руке, и картинная поза «знай наших» не вызвали в моей душе симпатии к нему. По всей видимости, был он сутяга и жлоб и на флоте ему крепко за это доставалось — там не любят таких типов. Но это теперь не имело никакого значения.

Я сел за стол и стал рассказывать женщине о сыне.

— Ну, стало быть,— начал я,— знакомы мы с ним давно, еще на флоте подружились. Плавали на одном эсминце. Парень он толковый, дельный и, я бы даже сказал, геройский. Осенью на маневрах вышли мы в море. Шторм девять баллов. А тут команда по кораблю: «Человек за бортом». Громадная волна смыла за борт командира корабля. И первым, кто бросился спасать командира, был Васенька. Любили его товарищи, и начальство уважало. Был он отмечен в приказах, а однажды командир наградил его именными часами.

— А пьет он? — спросила женщина.

— Запаха не переносит. Только чай и лимонад. На флоте у нас с этим строго. А как демобилизовался с флота, подался в лесники. «Сейчас, говорит, теснят природу. Ее защищать нужно». И уехал в лес. Приняли его хорошо. Дали дом, ссуду на хозяйство, обиход. Теперь он лес караулит. Дом у него просторный, теплый, свет ему провели, телефон, телевизор купил. Утром встанет и идет в лес. Воздух хороший, природа, благодать. Браконьеры его очень уважают. «Мы за вас, говорят, Василий Петрович, голову отдадим».

— Иванович он,— перебила женщина.

— Вот я и говорю,— бодрился я.— «Мы за вас, Василий Иванович, голову готовы отдать». И в лесхозе он

на виду. В праздники благодарности ему выносят, премии дают.

— А не курит он?

— Курил. Теперь бросил. Ни к чему, говорит, мне этот яд в себя пускать. Какая от табака польза, один вред. Я, говорит, до ста лет хочу прожить и много добра сделать людям. Вот поступлю в Лесную академию, лесничим стану.

— Это хорошо. Я всегда ему говорила: учись, Васенька. Ученье — свет, неученье — тьма. И отец, когда на фронт уходил, говорил: «Расти сына. Пусть он будет ученым человеком».

Она сидела передо мной, эта пожилая, усталая женщина. У нее были узловатые натруженные руки, пальцами она теребила фартук и вглядывалась в меня, стараясь не упустить ни одного моего слова, а я говорил и говорил о незнакомом мне Васеньке, расписывал его райскую лесную жизнь и думал: «Как прекрасна материнская любовь. Есть любовь жены к мужу, работника к работе, но любовь матери самая чистая и святая. Часто ли мы это осознаем, часто ли отвечаем своим матерям на их любовь? Нет. Гораздо чаще мы обижаем их, не пишем писем. Я и сам недалеко ушел от этого Васеньки. И моя мать месяцами не получает от меня писем, не зная, здоров я, болен, есть ли у меня что надеть, сыт я или голоден».

— Не женился он? — опять перебила меня женщина.

— Как нет, женился.

— И какая она у него, жена? — осторожно спросила женщина.

— Ну, какая. Молодая, заботливая. Весь день только и говорит: «Мой Васенька да мой Васенька». Очень она Васеньку любит.

— Ну и слава богу, главное, чтоб они друг друга любили, а остальное придет.

— Сын у них родился,— сказал я.— Васенька говорит: очень он на деда похож. Иваном они его назвали.

Женщина всплакнула.

— Вы не беспокойтесь,— заволновался я.— Все у них хорошо. Все у них есть. Он приехать сейчас не может, потому что у него работы много. А справится с работой, и приедет вместе с внуком.

— Хоть бы мне на него одним глазом посмотреть,— сказала женщина и глубоко задумалась.

Я сидел перед ней в смущении, что наговорил много лишнего. Было ясно, что Васенька, этот заскорузлый тип, не часто балует мать приятными новостями, что он отрезанный ломоть и вряд ли когда обрадует мать своим появлением. Пристроившись где-нибудь в городе, он давно забыл про нее, а если и помнит, то с досадой, что есть у него где-то в деревне старуха мать, которая не то жива, не то умерла. Я понимаю, что я делал плохое дело, говоря о том, чего я не знал. Но, может быть, все так и было на самом деле, как я говорил? Что есть у этого Васеньки квартира или дом, что есть жена, дети, что работает он и доволен своей работой, что не пьет и не курит, и вообще хороший парень! Может, этой женщине жить-то осталось совсем немного и она умрет прежде, чем Васенька соизволит обрадовать вестью о себе. Пусть же она останется с добрыми мыслями о своем сыне.

Тихо я оставил женщину и незаметно вышел.

На другой стороне улицы на завалинке сидел дед в валенках и в зимней шапке. Он грелся на солнышке и дремал.

— Здравствуй, дедушка,— окликнул я его.

Он встрепенулся, открыл глаза и сказал:

— А, наконец-то и без меня, старика, не обошлись. Ну-ка, сходи в избу да принеси мою шашку.

Не понимая, в чем дело, повиновался я приказанию деда, вошел в избу. Над кроватью висела старая кавалерийская шашка. Я снял ее со стены и вынес деду.

— Говори,— сказал дед,— а теперь с каким фашистом будем сражаться?

— Видите ли,— начал я.— Дело в том, что я ищу Сильву. Не встречалась ли вам моя кобыла?

— Ты мне не крути,— перебил меня дед.— Ты прямо объясняй. Я старый рубака. Я еще в первую мировую четыре Георгия получил. Со мной баланду разводить ни к чему. Очень плохи дела на фронтах?

Соображая, как ответить деду, я переминался с ноги на ногу.

— Ну ничего,— успокоил меня дед.— Не трусь. Бывало и хуже. Главное,— продолжал он,— быстрота и натиск. Нашего русского «ура» все враги боялись. Помню, в восемнадцатом году, ох и порубили мы тогда

беляков. Их была тогда целая тысяча, а нас, красных бойцов-молодцов, двадцать пять. У них винтовки, пулеметы, аэропланы. Они нас из пулеметов жарят, а мы их шашками. Они из пушек по нас стреляют, а мы их шашками. Они на аэропланах кружат, а мы их шашками. Порубили их тогда, как капусту, хоть соли. Веришь, руки с шашкой поднять не мог.

И дед стал поднимать руку, как будто она от той рубки и сейчас не могла отойти.

Воспользовавшись паузой, я спросил:

— Не видал ли ты, дедушка, Сильвы, кобыла у меня потерялась?

— Видал, внýчек, видал,— сказал дед.— Я много чего на свете видал. Много тогда наших бойцов полегло. Славные были ребята. Все как на подбор красавцы, молодцы. Шишков Иван, славный был парень, песни пел задушевные и на гармошке играл. Ох, как играл! Душа замирала. Пулей его прямо в сердце сразило. Подбежал я к нему, а он приподнялся из последних сил и говорит: «Прощайте, дорогие товарищи. Умираю я за рабоче-крестьянскую власть и мировую революцию. Бейте фашистов без пощады, а когда побьете, постройте светлое царство труда. А теперь, говорит, дайте мне мою гармошку, сыграю я на прощание мою любимую песню». Дали мы ему гармошку. Заиграл он песню, стоим мы над ним, плачем.

Дед смахнул слезу и опять задумался.

— Так как же? Видал ты, дедушка, кобылу или нет? — спросил я.

— Видал, внучек, видал. Была у меня в восемнадцатом году одна кобыла, от белогвардейского офицера досталась. Ну и конь, скажу тебе, был, больше такого нигде не встретишь. Землю копытами рвал. А до чего смышлен, жалко, не человек. Однажды приказывает мне командир в дозор идти. Делать нечего, сажусь на коня и отправляюсь. А тут беляков полным-полно. Я их рубить налево-направо. Вижу, не справиться. Наклонился и шепчу коню: «Ну, братушка, вывези, а не то пропадем». Как рванулся он, как понесся, как стал копытами врага давить, подавил их всех, ни одного не осталось. А вот, гляди, опять расплодились.

Дед глянул на меня внимательно и, словно спохватившись, спросил:

— Да ты кем будешь, командиром или бойцом?

Я ответил деду, что я лесник, живу за рекой.

— Значит, командир,— сказал он.— Парень, вижу, молодой да смышленый. Ну да в наше время такие уже армиями ворочали. Хоть ты и командир и обязан я к тебе в подчинение идти, но вот какой у меня с тобой уговор. Боец я грамотный, дисциплину знаю, как в атаку идти, как наступать, послушаюсь без промедления, но одно скажу: не встревай ты промеж меня, если я в азарт войду. Ты не гляди, что стар, больно я горяч и лих. Уж если начну с врагом рубиться, ничто меня не остановит, буду драться до победного конца. Да что это мы сидим,— встрепенулся дед.— Пора в поход.

Он хотел было встать, но силы его, должно быть, иссякли на разговор, он нырнул носом и погрузился в дрему.

Я вышел на другую улицу. Я не встретил ни одного бодрствующего человека. Несмотря на полдень, на жаркое солнце, люди спали. Спали в избах, в конторе, на скотном дворе. Спали трактористы, свинарки, спали доярки, конюхи, старики и дети, женщины и мужчины, даже собака и та спала, испуганно поскуливая во сне, наверное ей снился какой-нибудь страшный сон.

Озабоченный увиденным, не понимая, что случилось, бросился я будить людей.

— Что же такое делается, люди добрые? — кричал я им.— Что же вы спите? День на дворе. Солнце светит. Или усталость вас сморила, или больны вы какой болезнью? Встаньте, проснитесь, откройте глаза! Так и жизнь проспать можно!

Я бегал по селу до тех пор, пока не заметил в стороне совхозного конюха Митрофана. Я подбежал к нему.

— Смотри,— кричал я Митрофану,— день на дворе, а село спит. Я бужу их, они не просыпаются. Помоги мне.

— Какое это село,— сказал Митрофан.— Разве не видишь, это кладбище.

Я посмотрел внимательно. И точно, передо мной было не село, а кладбище. Вместо изб и домов могилы, кресты, звездочки и надписи: «Вера Панкратова. Трагически погибла от рук бандита. Спи спокойно, дорогая доченька», «Корнева Пелагея Михайловна. Мир праху твоему», «Герой гражданской войны Остап Тимофеевич Зуев. 1870—1941 гг.».

А вот и могила деда Ивана. Она заросла травой.

Крест слегка покосился. Видно было, что могилу никто не посещал.

«Вот и встретились мы с тобой, дед Иван! — сказал я.— Прости, что не пришел к тебе раньше. Ты не волнуйся. Все будет в порядке и с лесом, и с Сильвой. Где мне ее только искать?»

Дед мне ничего не ответил.

9

Солнце снижается, село на вершины деревьев. Небо чисто, ветер теплый. На открытом месте ветерок отгоняет комаров, и от этого на душе совсем благодать — не слышишь комариного писка над ухом, не шлепаешь себя ладонью по шее, не чешешь остервенело спину и искусанные голые ноги. Птицы за день напелись, устали и готовятся на покой. Деревья и травы устали — день был жаркий и прободрствовали они за день немало. Кому днем было слишком жарко, выползает, вылетает, выходит на свои тропы и дороги, но это не мешает тишине — ночные ходоки не шумливы. Для них тишина — добрая музыка, и они слушают ее затаясь. Впрочем, какая же тишина? Кричат в пруду оголтело лягушки, свистит в траве козодой, сверчат кузнечики. Дрозды за моей спиной никак не могут улечься, спорят и ворчат устало и недовольно. Покинули небо ласточки, небо опустело без них, но скоро загорятся звезды. Вечер мягок, вечер ласков, смена дня и ночи проходит без резких колебаний, почти незаметно, и эта мягкость приятна для тела: оно вроде бы живет днем и готовится к ночи. Листья березы лениво переговариваются между собой, каждый листок, пока есть ветер, торопится сообщить новость, заявить о своем существовании. Пролетела наискосок запоздалая ворона — где-то теперь ей придется ночевать? Усядется на первый попавшийся сук сосны, потопчется на месте, поглядит по привычке в темноту, нет ли поблизости опасности, нахохлится, замрет и так простоит до утра.

Добрая ночь. День погас, день ушел. Если иметь чуткие уши, можно услышать, как легкой рысью бежит по тропе лиса на поиски добычи, как, оглядываясь по сторонам, замирая, вприскок передвигается заяц, как кормится лось, ломая ветки, можно услышать легкий шум полета совы — все легкое, тихое, даже треск веток лег-

кий, даже шаги человека, который днем громко стучал железными подковами по каменной дороге, легки: то ли камни вдруг стали мягче воска, то ли железные подковы на сапогах поистерлись, то ли поубавилось в походке у человека уверенности.

Можно многое услышать, имея чуткое ухо. В лесной тишине можно услышать и свою тишину. Что там в тебе слышно? Какие бродят мысли в твоей голове, какие волнуют чувства? Злоба и ненависть из-за того, что коза соседа забрела в твой огород, или зародившаяся любовь к одуванчику, к родине, к миру? В такую ночь стоит прислушаться к себе, не каждую ночь мы это делаем, да и не каждая ночь нам это позволяет. Может, человек живет злобой, недовольством, обидой и, что страшнее всего, неверием? Считает себя неудачником, все у него не так, все не получается, и внутри себя слышит не тишину, а скрежет зубовный? Пусть прислушается повнимательней и услышит, да что там услышит, увидит в душе светлую поляну и цветок на ней. Разглядеть бы этот цветок, не пройти мимо, от него-то, может, все и начнется, переменится жизнь — только бы разглядеть. . .

Да, славная ночь, прекрасная ночь, тихая ночь над лесом.

Дикие голуби летают в поле и полощут в воздухе крылья, как в корыте белье. Непривычно от такого шума. Ну я, ладно, бельем занят, а они что, тоже крылья стирают в небе? Вот ведь до какой придирчивости может дойти человек: птица летит по своим делам, а ему не нравится, задевает она его. И готов он нагородить на бедную птицу бог знает чего — раз шумит крыльями, значит, их стирает. Такой чепухи и малое дитя не придумает. А все почему? Потому что я стиркой занят. Налил в корыто теплой воды, бросил грязное белье, взял кусок мыла и стираю.

Тем людям, которые никогда не занимались стиркой (найдутся ли на свете такие?), могу сказать, что это не самое приятное занятие. Например, куда приятнее сидеть на печи и плевать в потолок. Но не таскать же на себе грязь, приходится отскабливать ее регулярно. И хоть незаметная это работа и лень за нее приниматься, а кто, прожив жизнь, ни разу не очистился? Я таких

людей не встречал. Может, в какой тьмутаракани и водятся неряхи, что за жизнь ни разу лица не сполоснули, глаз не продрали, нам что до них, мы в чистюли не лезем, но и грязными ходить не собираемся. Помылим ворот тельняшки, пожамкаем рукава, чистой водой прополощем. Не поручусь, что после такой экзекуции будет тельняшка чистой, как сама невинность, но и грязи на ней не найти. Некоторые чересчур ревнивые хозяйки скажут — застирана. Что есть, то есть, как ее, эту проклятую тряпку, ни стирай, как ни мыль, в скольких водах ни полощи, а до конца не выстираешь.

Но вот тельняшка выстирана, высушена за ночь над плитой. С каким чувством ее надеваю? С тем, мол, что она до конца не выстирана, застирана, грязь на ней осталась? Ничего подобного. Только с одной мыслью, что чиста она, душиста и свежа, как это утро, которое перед тобой.

И этот день для меня как праздник. Встретит в лесу какой человек, поглядит на мое счастливое лицо и подумает, что я миллион на дороге нашел или солнце впервые на небе увидел, так легко мне и радостно.

Ну, а голуби, стирают ли они свои крылья в небе, полощут, или это только так кажется, одна видимость и говорится для сравнения? Наверное, говорится для сравнения. Но если глубже посмотреть, то и не так. Уж если мы хотим очиститься, если хотим ходить в этом мире чистыми, то почему бы и птице этого не хотеть? И летают они по небу, птицы, и машут, и чиркают крыльями по воздуху, очищают свои тела и души в синеве неба, и только этим и занимаются вечные прачки неба — потому и легки, и чисты, и поют сладкие песни.

Маленькие и большие лужи утром после дождя держались на дороге. Глянешь в лужу, а в ней весь мир: то старая сосна смотрится с огромной кроной, то ветка березы, то куст крапивы, то клок осоки, то ветка березы, и облако, и синица на ветке березы, то осока, и сгорающий иван-чай, и солнце в тумане, то сосна и прохожий в сапогах, а то прохожих двое или трое с ружьями, с корзинами, полными грибов, с папиросами во рту. Пролетит в небе самолет, и он отразится в луже, пробежит собака, потерявшая хозяина, и она тут, машины, телеги, кони, коровы, дети, жук на веточке бузины, яго-

да малины — все отразится в луже, не в той, так в этой, и нет ничего в этом мире, что бы в ней не отразилось. Я иду по дороге мрачный, и из лужи исправно смотрит на меня мрачное лицо мрачного человека, я улыбаюсь, и улыбка сюда переместилась, я стою подальше от лужи — словно на фотографии снят во весь рост, приблизился — уже я по пояс, наклонился ниже — одно лицо мое видно, не осталось в луже места ни березе, ни сосне, ни солнцу, ни облакам — все вытеснило мое лицо. Я еще ниже опускаюсь, едва воды касаюсь и вижу один свой глаз.

Вечером после работы на просеке прохожу той же дорогой. Луж нет. Земля за долгий день впитала воду. Ушли в землю облака, ушло небо, сосны, травы. Все, что день принес, то земля забрала. Там, в глубине, в ее чреве, хранится бесчисленное множество образов, она копит их, как копят дети медяки в копилке, вбирает в себя этот бесчисленный сонм. Возьмешь лопату, копнешь поглубже, где они? А там ничего...

10

Перед могилой деда я не пролил ни одной слезы и обвинял себя в бесчувственности. Это у меня с детства. Меня всегда называли толстокожим бревном, неспособным к страданию и состраданию. Наверное, они были правы — я был равнодушен к судьбам людей, близких и далеких, я не умел плакать, пекся ли о чужом горе или довольствовался своим. Чем больше я замечал, как гнула меня или других судьба, тем суше становилось у меня под глазами. Но что слезы? Копеечная влага. Что страдания? Выдумки нытиков, бездельников, плакс. Неужто слезами можно переделать мир? Слезы только растравляют человека, у него опускаются руки, портится настроение. Нет, я не завидовал тем, кто лил слезы, как баба. Переживая долго, мучительно, без слез, без облегчения, копил я свое невыплаканное горе, как скупец добро. Гордился собой и не видел в мире предмета, который мог бы тронуть меня до слез. «Болезнь, смерть, утраты, конечно, на это тяжело смотреть, но почему обязательно нужно рыдать? У мокрых глаз нет правды. Настоящий мужчина должен быть выше слез» — так думал я.

Но о старике мне хотелось пролить слезу. Я переживал его смерть. Он снился мне по ночам. Его смерть занозой сидела в моем сердце. Катились дни, а сердце, оттого что я не мог выплакаться, ныло сильней и сильней. Тут хоть стреляйся или — по совету одного знакомого — вытяни из земли луковицу и нюхай до слез.

Был вечер. У края дороги сидела старуха. Мимо нее проходили люди, и каждый, кто приближался к ней, заливался слезами. Вот огородница Поля. Она всегда поражала меня своим весельем, а сегодня у нее была свадьба, значит, она должна быть радостной вдвойне. Но что такое? У нее слезы. Она вытирает глаза. В недоумении я остановился. Вот проковылял на одной ноге Петр Деревянко, инвалид войны, теперь он работал сторожем на складе, а на войне был героем. Не раз он встречал смерть, бил врага и сам был ранен, и не ему, как говорится, распускать слюни. Но при виде старухи и он не удержался, всхлипнул. Вот пятилетняя девчонка проскакала. Она-то и горя в жизни никакого не знала, чистое сердце, чистая душа. Но и она ударилась в слезы.

Озадаченный увиденным, направился к старухе и поздоровался:

— Здравствуй, бабушка!

— Не подходи ко мне, внучек,— сказала она,— а не то лихо тебе будет.

— Да какое мне будет лихо? — удивился я.— Или съешь ты меня?

— Съесть не съем. Зубов у меня нет. А в слезы ударишься.

— Да почему же я должен в слезы удариться? — не отставал я.

— Потому что у меня вид такой, скорбный. Кто на меня посмотрит, тот заплачет.

Вид у нее действительно был скорбный, и я спросил:

— Отчего же у тебя вид такой?

— Ох, и не спрашивай,— вздохнула старуха.— Грех на мне лежит страшный, не отмолить мне его до смерти. Нет на свете злодейки больше, чем я.

— Что же ты натворила? — спросил я.— Уж не убила ли кого, не ограбила?

— Еще хуже,— ответила старуха.

— Да что же это такое? — нетерпеливо спросил я,

— А вот что. Пошли мы в лес по грибы. Говорит мне подруга моя, Карповна: «Пойдем на пятачок. Там еще сосна растет, одна половина у нее сухая, другая зеленая, а макушка золотая. Под этой сосной всегда много грибов». А я говорю ей: «Не ходи туда. Там нынче грибов совсем нет». А сама пошла к этой сосне, набрала целую корзину грибов. С тех пор сколько времени минуло, а мучает меня совесть, грех не отпускает мою душу. Зачем обманула я свою подругу? Зачем неправду ей сказала? Захотелось мне одной грибочки собрать. Страшен мой поступок. Греховодница я великая. Не будет мне прощения ни здесь, ни на том свете.

— Странно,— сказал я.— Мне кажется, поступок твой не такой уж страшный, чтобы убиваться. Другие посерьезнее дела творят — убивают, грабят, и то — снесут наказание, и прощается им.

— Это, конечно, так,— говорит старуха,— тем плохо, а мой поступок тяжелее.

— Пойми ты, старая,— сказал я ей,— не тяжелее, а легче. Да и вообще это не проступок, а ерунда. Подумаешь, подругу обманула. Да пойди ты с ней в следующий раз под эту самую сосну с золотой макушкой и наберите грибов вместе. И все образуется.

— Делала. И грибы собирала, и другое многое делала, а не отпускает меня грех.

Мне стало жалко старуху.

— Что же теперь делать? — спросил я.

— Казниться до гробовой доски,— ответила она.

— Это ты еще успеешь,— сказал я.—Может, тебе в город съездить, к юристу зайти, с ним посоветоваться.

— Ездила к юристу.

— Ну и что?

— А ничего. Он говорит: «Ты, бабка, меня пустяками не занимай. У меня серьезных дел хватает».

— Вот видишь,— сказал я.— Юрист тебе правду сказал. Он человек умный. Он все законы знает.

— Законы-то знает, а мое дело, видать, незаконное.

— Может, тебе в санаторий путевку достать? Отдохнуть на юге, полечиться? Отойдешь ты на море, и пустяком тебе покажутся твои страхи.

— И в санатории я была. Не помогает мне ни море, ни лекарство. Нет, наказал меня бог. Велико его наказание. Пропащая я.

Встреть я старуху раньше, я бы посчитал ее дурочкой, выжившей из ума, посмеялся бы над ее страхами и забыл. Виданное ли дело — убиваться из-за каких-то пустяшных грибов. Никто не спорит — обманывать нехорошо, а друзей особенно. Но не такой это груз, чтобы терзаться им вечно, не небо на плечи взвалил. Обманул товарища — сознайся, и кто тебя не простит? Я и сейчас хотел посмеяться, успокоить ее в зряшном волнении, но, чем упорнее я ее успокаивал, тем грустнее мне становилось. Может быть, я не прав, думал я. Может быть, я действительно деревянный обрубок, не чувствующий страданий? И так ли уж я сам чист и безоблачно светел, как кажусь себе? Правда, я никого не убил, не обманул, не ограбил, и в мыслях не держал такое, я бы скорее голову дал на отсечение, чем решиться на злодейство, но заслуга в этом невелика. Многим ли я помог, поддержал в трудную минуту, все ли отдал людям, что кажусь себе таким красавцем?

Ну-ка, напряги свою память, поройся в голове, может, и ты что-нибудь вытащишь, может, и у тебя рыльце в пушку? Я, например, говорил, что я не крал леса и был чист как стеклышко. А так ли? В первую зиму ко мне приехали из Дибунов двое старичков, он и она. Старики ушли на пенсию и собрались на старости лет построить дом. В лесхозе выписали им билет. Я отвел деревья. Было видно, что леса, выписанного им, на избу не хватит, и они попросили, чтобы я самовольно дал им еще пять деревьев, а они не останутся в долгу. Был мороз, старики беспомощно топтались в снегу, глазели на сосны, сокрушенно покачивали головами, шептались и жаловались, в какую цену им достанется дом — за лес плати, за рубку плати, за трелевку плати, машину нанимай и прочее. Сумма и в самом деле получалась немалая. Я понимающе кивал головой и отказывал. Сам я дать разрешение на порубку не имел права. А тем более брать за порубку деньги. Это было прямым воровством и предательством по отношению к работе, к лесу, к старикам. Понимал ли я это? Понимал. Больше того, в первый же день по приезде на кордон я дал себе клятву: что бы со мной ни случилось, не брать за лес ни копейки, быть честным и справедливым, иначе я жизни для себя не мыслил. А что вышло? Средств на жизнь мне в ту пору не хватало. И вот, в какой-то момент я пожалел стариков — вот, мол, сколько денег ухлопали,

а дома не построят,— и я дал им добро. И сжал в руке десять рублей, сунутых мне второпях.

Нанятые из села мужики быстро и ловко свалили деревья, так же быстро их стрелевали на дорогу, так же быстро, вытянув у стариков все деньги, не погрузив на машины хлысты, исчезли. Ждать их и искать было бессмысленно. Наступала ночь. Шофер нервничал. Я предложил старикам свои услуги, и вдвоем с шофером — стариков вряд ли можно было считать помощниками, они больше мешали, чем помогали,— мы погрузили хлысты.

Я взялся помогать старикам не только потому, что положение их было безнадежное и мне стало жаль их. Я взялся им помочь, чтобы как-то сгладить свой поступок. Я хотел думать, что получил от стариков деньги не за лес, а за погрузку леса. Мне казалось, что, отдай я старикам пять деревьев бесплатно, я был бы виноват — и все-таки не очень виноват, во всяком случае не так сильно. Случись у меня ревизия, обнаружь лишние пни, и я бы честно признался: так, мол, и так, и даже если бы пострадал за свое самоуправство, казнь моя была бы не слишком тяжела. Но ведь в том-то и дело, что деревья я отдал не бесплатно и деньги взял не за работу, а за лес. Я украл лес и краденый лес продал старикам.

Я никому об этом не сказал, не сознался ни деду Ивану, ни начальству, я таил эту тяжелую тайну в себе до сих пор (а что от себя скроешь, куда убежишь?), я боялся проговориться, ведь я так кичился своей чистотой, чуть ли не подвижником себя считал. По весне я закидал эти пни землей, заложил мхом, а пришел посмотреть — они обнажились. Несколько раз я скрывал неисчезающее доказательство моего падения, а потом мне все это осточертело, я разгреб пни обратно — пусть все видят мой позор, или я совсем лишился ума и чести? Если смотреть формально, в ту весну я искупил свой грех, я столько наработал в лесу добровольно добрых дел, о которых никогда не узнало начальство,— я точно эпитимью на себя наложил, рассаживал молодые саженцы, жег сучья, прочищал молодняки, убирал хлам,— что, думаю, моя работа целиком покрыла недостачу. Но по сути я ничего не перекрыл, даже если бы всю жизнь трудился и не получал ни копейки, и проступок мой остался на моей совести. Я стыжусь его

и буду стыдиться до конца дней. Нет, чтобы быть святым, подвижником, нужно иметь совесть почище, чем была у меня. Но только ли в истории со стариками была нечиста моя совесть? Был случай, когда я утаил от начальства еще одну порубку только потому, что порубка мне показалась не слишком значительной — туристы остановились у реки на ночлег и срубили на костер две сосны. Был случай, когда я не занес в акт гарь, я решил, что пожар был невелик и не стоит по пустякам тревожить начальство. Был случай, когда я должен был спасти и не спас утку... Много ли я ругал себя за это, казнил?

Я был готов излить море слез, чтобы очистить душу этой великой страдалицы. Но в моих глазах не было ни слезинки. Я отошел от старухи, и тут случилось то, чего я меньше всего ожидал,— из моих глаз потекли слезы. Поначалу они давались мне неохотно. Таким случается дождь в летний зной: вдруг на стороне появится долгожданная тучка, пробежит по краю неба, оросит брызгами землю, прибьет пыль и уйдет. Но потом слезы полили все сильней и сильней. Наконец наступил такой момент, когда из глаз моих хлынул водяной поток и словно две реки протянулись от меня и заструились к горизонту.

Я прекрасно знал себе цену. Я не настрадал стольких слез. Хоть я и говорил о черных днях, случавшихся в моей жизни, это было сказано для красного словца. Откуда у меня могли быть черные дни? Какие испытания? Что я видел, что перестрадал? Я был молод, здоров, полон сил, счастлив. Мир лежал у моих ног. Добрые люди оберегали меня. У меня был лес, работа, друзья, будущее. Я знал радость, счастье, а с горем не сталкивался.

Я сразу отбросил догадку, что это мои слезы, выстраданные в горниле жизни. Возможно, первую слезу я и выдавил за себя, за свой позор, но чьи были остальные? Я обернулся и посмотрел на старуху. Она все так же понуро сидела неподалеку от дороги. Ее горя я выплакать не смог.

11

Когда я встречаюсь с большими любителями природы, с академиками природы, завзятыми охотниками — их, правда, не так уж много, завзятых охотников, чаще

попадается охотничий сброд, не знатоки, а косяковая мелочь, которая без жалости расстреливает беззащитных дроздов и мажет в медведя,— когда я встречаюсь с такими академиками, мне стыдно признаться, что я лесник.

Мне так и кажется, посмотрят они на меня испытующим взором и спросят: «А ну-ка, скажи, любезный, какие виды уток встречаются у нас на севере?» Или: «Какого цвета яйца у сороки?» Или: «Сколько лет живет на свете зяблик?» А я стушуюсь и ничего не отвечу, потому что не знаю ответа на эти вопросы. Но это еще не беда — не знать, какого цвета яйца несет сорока, хотя при старании не так уж трудно узнать. Беда в том, что я не знаю более важных примет и явлений. Я, например, почти не знаю названий трав. Знаю одуванчик, анютины глазки, клевер, ромашку, ивай-чай, ландыш, фиалку, зверобой, тысячелистник, белену, лютик, сурепку, крапиву, чертополох, медуницу, львиный зев, подснежник, колокольчик (кто его не знает!), осоку, мать-и-мачеху, иван-да-марью — вот, если не считать еще нескольких трав, почти и все. А остальная тьма цветов и трав за бортом. Видеть я их вижу каждый день, а названий не знаю. Я думал, меня научит определять травы дед Иван, но и он их все не знал. Я пытался найти в городе книгу — определитель по травам,— не нашел и огорчился. Не силен я не только в цветах, но и в птицах (что уж тут говорить о яйцах) и редкую птицу смогу определить, когда она сидит на ветке, а в полете и того меньше. Неведомы мне многие повадки зверей. Видел как-то случайно, как лиса ела малину, узнал, что лиса лакомка. А не увидел бы, не узнал. А вот ест ли малину барсук или белка — этого не знаю, не видел. Не стану я утверждать, что и все лисы едят малину. Вдруг мне попалась любительница до сладкого — единственный экземпляр, а остальные лисы не только не любят малину, но запаха не переносят, смотреть на нее не могут, тошнит их от одного упоминания о малине. Видел я одну такую лису в малиннике, стоит, а морда у нее жалкая, грустная, недовольная, ну как будто нанюхалась малины и вот-вот ее стошнит. Не знаю я всех видов лишайников, ядовитых грибов (в съедобных грибах я немного разбираюсь), не знаю внутреннего строения комара, муравья, лося,— в школе знал, а потом забыл, не знаю

названий созвездий на небе, кроме Большой Медведицы. И прочей разности.

От испуга быть уличенным в элементарной лесной безграмотности, спроси меня эти самые академики: «А покажи-ка нам, любезный, где тут береза, а где сосна?» — я в страхе ткну им в ель.

Все это не смешно, а грустно. И в самом деле, прожил я в лесу не день и не год, а как будто и не жил.

Но самое страшное не только в том, что я не знаю разных важных вещей, в конце концов никто профессором на свет сразу не являлся, рождались в своем первозданном виде, несмышленышами, это потом их свет истины озарял,— самое страшное, что я не хочу ничего этого знать. И когда я говорю, что искал в городе определитель трав, не нашел и огорчился, я говорю больше для того, чтобы убедить себя и других, что я очень хотел его найти. Не стоит мне верить. Тут я сгущаю краски. Спросил разок-другой — и забыл. В чем тут вопрос? Почему я не знаю того необходимого, что нужно знать каждому любителю леса, и не хочу знать? Почему мне неинтересно изучать оперение птиц и строение цветка? На это трудно ответить. Я нахожу простой ответ — он в лени. И это было бы истинной правдой, хотя в лени меня трудно обвинить, если б не одно обстоятельство. Когда я смотрю на цветок, я совершенно забываю, что мне нужно его разглядывать. Какие у него пестик или тычинка? Я смотрю очарованно на цветок и думаю: откуда у него такая красота, а то и вообще ни о чем не думаю. Цветок отнимает у меня способность думать. Я радуюсь ему, что он вырос такой прекрасный, я люблю его в этот миг, я любуюсь им, как ребенком или девушкой. Какое мне дело, сколько у него пестиков и сколько тычинок! К чему мне это знать? То же самое происходит, когда я вижу какую-нибудь птицу. Я смотрю на нее, а совсем не вижу, какой у нее хвост или клюв. Я вообще не вижу у нее хвоста или клюва, я вижу ее бодрый поскок, слышу ее веселую песнь, я рад, что ей в лесу просторно и вольготно, я сам чувствую себя птицей и готов вот-вот взлететь. Когда же я невольно замечаю сидящую в гнезде сороку, я не вижу ни сороки, ни гнезда, а мать со своими будущими детьми, и что там трогать ее и совать свой нос в чужое дело, я бегу подальше, боясь напугать и потревожить сороку, и, если я ее все-таки напугал, мне становится так стыдно, так

обидно, что стыд перед академиками кажется мне детской забавой.

Такое отношение к лесу помогает мне понимать язык птиц и зверей, но начисто лишает возможности проявлять свое любопытство. Не знаю, какие яйца у сороки. Придет срок, понадобится узнать, я спрошу, и любая сорока сама мне ответит за милую душу не только какого цвета сорочьи яйца — все про себя опишет в таких тонких подробностях, что ни один знаток природы, ни один академик за всю свою жизнь не узнает.

С лосями накоротке я встречался дважды. Первый раз в первую на кордоне зиму. Ко мне тогда на машине приезжали охотники на зайцев. Вернее, приезжал один известный артист (мне не хочется называть его фамилию, в лицо я его сразу узнал), а остальных охотников с собаками он нанимал. Охотились они бестолково, по науке и, насколько мне известно, не убили ни одного зайца.

В то утро шел снег и нападало его до коленей. С утра я отправился в село за продуктами и по тяжелой дороге возвратился домой поздно с кругом колбасы и буханкой хлеба.

Я удивился, увидев во дворе охотников. По моим подсчетам, они должны были уехать. Они давно ждали меня, крепко озябли и жались у машины. У артиста, который в кино играл благородных героев, висела под носом зеленая сопля. Я пригласил их в избу, а они наперебой стали сообщать мне встревожившую их весть. Говорили они втроем, одновременно, а я устал, замерз и был голоден. Я попросил говорить кого-нибудь одного, а сам принялся растапливать плиту: в избе было холоднее, чем на дворе. Охотники еще немного покричали хором, решая, кому говорить, потом актер, он был тут и выше ростом, и главнее всех, длинными руками развел своих товарищей в стороны, как бы подальше от меня, и заявил:

— Я буду говорить.

И, заикаясь, он рассказал, что собаки нашли в лесу лежащего лося и слегка похватали его за гачи.

К охотникам я всегда отношусь с родительской любовью: она справедлива, но строга. Эти не являлись для меня исключением. Я напустил на себя важность и, хоть

прекрасно понимал, что мои охотники не могли ранить или убить лося, не похожи они были на браконьеров, сказал, что буду составлять акт о незаконном отстреле лося. Охотники стали возмущаться, а я, попугав, отпустил их с миром, взял топор и пошел посмотреть на лося.

День был на уходе. Скоро грозило смеркаться. Лося я нашел по слегка запорошенным следам охотников. Он лежал на боку. Он подняться не мог, а сучил задними ногами. Гачи у него действительно были слегка покусаны собаками. Лежал он, видно, не час и не два, снег под его ногами превратился в ледяную корку.

Я знал, что подходить к лосю со стороны ног опасно — он мог ударить меня копытом намертво, такие случаи в лесу бывали. Я подошел к нему со спины. Он не двинулся с места, он только повернул ко мне голову и смотрел на меня. В глазах его я видел боль и страдание. Мне было жалко лося, но, не рассуждая долго, я размахнулся топором и ударил в висок раз, другой. Я глядел на топор, на то место, куда наносил удар, а видел только глаз лося, он горел, в нем был живой свет, и вдруг он подернулся дымкой и потух. Мне казалось, я должен был сделать одно — избавить лося от страданий, он был уже не жилец: то ли рана, которую я не мог разглядеть, то ли болезнь приговорили его к смерти. С чувством исполненного долга я зашагал домой. Я был настолько преисполнен гордости за свершенное, что не догадался вспороть ему брюхо и взять печень, отрубить кусок мяса. Без тени сомнений, с легкостью, с какой я бы дал ему жизнь, я взял на себя право убить лося и тем самым прекратить его страдания.

Со вторым лосем я встретился жарким летним днем. На кордон заглянула на машине незнакомая пожилая пара, муж и жена. Сообщили, что видели в лесу лося со сломанной ногой и готовы отвезти меня на место.

Я выслушал их, взял ружье деда Ивана, три патрона с пулями и на машине отправился в лес. Приехали мы быстро. Лось лежал недалеко от лесной дороги, возле болота, возможно, там он и сломал себе ногу. При виде нас он поднялся, сделал несколько шагов в глубь зарослей и снова лег. Задняя нога в щиколотке у него была сломана, обнажилась белая кость. Я подошел к лосю поближе. Он не встал, но боялся меня; хотел подняться

и не мог. Он был очень худ — кожа и кости. Тучи встревоженных мух носились возле лося. Их было так много и они издавали такой шум, будто внезапно в лес пришла великая сушь, высушила на деревьях все листья и теперь они шумели, как при ураганном ветре.

Было ясно: лось обречен на гибель, ему ничем нельзя помочь. Я вложил в ружье патрон. Уже уехали старики, привезшие меня к лосю, уже канул день и наступал вечер, уже лось от боли, голода и страданий не реагировал на меня, положил на траву голову и не поднимал ее, а я с заряженным ружьем кружил вокруг лося, как заяц, гонимый собаками, и не мог убить его. Я так и не выстрелил. Рука у меня не поднялась стрелять. Я не считал себя вправе убивать этого зверя.

Я ушел домой, не застрелив лося. На кордоне я повесил ружье деда на стену. Я думал о лосе и его страданиях и проклинал себя за слабость и малодушие.

Я уснул в беспокойстве, а в середине ночи был разбужен грохотом ружья в избе. Ружье деда Ивана висело на стене, ствол у ружья слегка дымился. Я хорошо помнил, что разрядил ружье, у меня не было привычки оставлять в ружье патроны. Я думал, что оно выстрелило в меня, и это было бы справедливо. Но я был жив. Куда же оно выстрелило и почему?

Утром я снова пришел к лосю посмотреть, что с ним. Мухи так же остервенело зашумели при моем приближении. Лось не шелохнулся. Я подошел к нему поближе. Он был мертв. В черепе его мне сразу бросилась в глаза крупная дыра — след от тяжелой пули.

Я все понял. Лось сильно страдал. Я не посмел поднять на него руку, а никого другого не было. Ружье деда помогло мне и взяло на себя это убийство.

12

Сижу у ручейка и отдыхаю. Кто сидит у чьих ног, я у ног ручейка или он у моих? Я отдыхаю или он отдыхает? Мы оба примостились, каждый у чужих ног, и оба отдыхаем. Я сижу и отдыхаю. Он бежит отдыхая. Я слышу шум своего ровного дыхания и слышу ровное дыхание ручейка. Я устал с дороги, с утра на ногах, и до дома мне далеко. Он устал не меньше меня, если не больше. Начал он путь не сегодня и не вчера, и путь его не кончится завтра. Почему бы нам обоим, пользуясь

свободной минутой, не посидеть, не отдохнуть? Я гляжу на него и радуюсь ему, я думаю, что и он глядит на меня и радуется, правда особых причин для радости видеть меня у него, должно быть, нет, но, впрочем, почему бы и не порадоваться: не за меня, а потому, что рядом с ним сидит человек. Я не могу с полной очевидностью сказать, что́ он сейчас чувствует, каковы его мысли. Но разве я могу дать отчет своим мыслям? Они у меня туманны и отрывочны, и, скорей всего, их совсем нет. И чувства мои без формы, не выявлены, и можно сказать, что их нет. Я слушаю, как шумит ручей, он слушает мое дыхание. Я вижу в его водах свое лицо он видит в моих глазах свои струи. Мы вглядываемся друг в друга пристально. Что мы там видим, в глубине глубин?

Через несколько дней, поскорбев о старухе, вспомнил я о странной сосне с золотой макушкой и решил найти ее. Такого дерева в своем лесу я не видел.

«Где старуха могла найти эту сосну? — думал я.— Бездарь, раззява, разгильдяй,— ругал я себя.— И ты утверждаешь, что знаешь свой обход как свои пять пальцев? Можешь каждое дерево найти с закрытыми глазами? Как же так случилось, что самого главного дерева ты не заметил? Дряхлая старуха, оказывается, знает больше тебя. Какой же ты после этого лесник? Какой хозяин? Гость ты здесь случайный, случайно пришел, случайно уйдешь, и нет у тебя ничего, кроме тщеславия и самомнения».

Признаюсь, мне иногда действительно казалось, что я знаю свой лес. Мне казалось, что я знаю, где он начинается на севере и кончается на юге, где лежит поваленное грозой дерево, где молния расщепила ствол у старой ели, где растет малина, брусника, где ранним летом можно найти первые грибы сморчки, где выбрала лиса себе нору, где ходят на водопой лоси и спит старый ворон. Мне казалось, я знаю все тайные роднички, которых кроме меня не знал никто, где дупло пушистохвостой белки и где всегда можно встретить выдру. Я думал, что вижу в лесу то, чего не видят другие, что передо мной раскрыта вся природа.

Тысячи раз обошел я свой лес, забирался в самые густые заросли ельника, заглядывал в самые глубокие норы, не было дерева, которое я бы не осмотрел, не

потрогал руками, с которым не поговорил, не было пня, на который бы я не присел отдохнуть, не было куста, который не обтер бы о мои штаны свои мокрые ветки, не было травинки, которая бы не пошепталась со мной о своих секретах, а, как известно, у каждой травинки есть свои секреты; и что же, на поверку оказывается, что я не знаю, где растет у меня такая необыкновенная сосна?

«Что же это у тебя за глаза? — говорил я себе.— Если они не увидели этой сосны, значит, они ничего не увидели. Что это у тебя за уши, если они не услышали шелеста этой сосны? Что у тебя за ноги, если они не привели тебя к этой сосне? Что за голова, если она не подумала об этой сосне? Что же у тебя за душа, если ты не любил эту сосну, не торопился спасать ее?»

Бегом я пустился по лесу в поисках сосны. И что же? Я сразу ее увидел. Она стояла на самом видном месте, возвышаясь над лесом, самая высокая сосна, ее и слепой бы заметил. Старуха не соврала — с одной стороны сосна была сухая, с другой зеленая, а в макушке золотая. Вершина у нее блестела, как золотой шпиль, на нее больно было смотреть.

Я стоял перед сосной, разинув рот от восхищения. Она была краше дня, ночи и солнца вместе взятых. Ее могучий ствол поднимался в поднебесье, а корни уходили глубоко в землю. Такую сосну я видел впервые. Да и вряд ли подобная сосна есть где на свете. Еще не веря своим глазам, обошел я сосну, чтобы глянуть с другой стороны, а потом сел на пенек и заплакал от счастья. Нет, не потому я был счастлив, что эта сосна была у меня, и не потому, что такой сосны не было больше нигде, а в этом я не сомневался, я был рад, что она просто есть, существует, что, не будь ее у меня в лесу или у кого другого, было бы значительно хуже, а может, и вообще плохо. Я испытывал такое чувство, как будто без этой сосны не смогут жить ни зверь, ни человек, ни птица.

Постепенно моя радость исчезала. Червь сомнения точил мою душу. Что мне теперь делать с этой сосной? Как уберечь красавицу от порубщиков, ведь не пройдут они мимо нее, если заметят, не застонет у них сердце перед этим великолепием; не дрогнет рука, срубят они ее из жадности, из корысти, из простого любопытства. И упадет золотая сосна, и что тогда сделается в мире?

Был у меня такой случай. По дороге к речке, у поворота, росла маленькая осина. Зимой лось сломал ей вершинку, а весной осина ожила, затянула раны, но стала расти не как все осинки, вверх, а эдаким кренделем, колечком, словно в узел сама завязалась. Некрасива она была, но я очень дорожил своим уродцем. Оградил частоколом, написал табличку, чтоб случайно не тронули ее: «Опытный экземпляр. Не трогать. Академия наук». Пусть, думал, растет. Пусть набирается сил и будет примером тем слабым, что падают духом от малейшей беды, пусть рассказывает она им, как смогла пережить смерть и вернуться к жизни.

А через некоторое время вместо осины я нашел свежий пень. Какой-то турист срубил ее. С тех пор, скажу откровенно, я, лесник, не люблю туристов. Пусть мне объясняют сколько угодно, что люди приезжают в лес отдохнуть от города, от шума, что они хотят приобщиться к природе, от которой отрываются все больше и больше. А по мне, эти рюкзачники — злостные браконьеры, готовые уничтожить все живое на свете.

Не зная, как оградить сосну от гибели, сидел я перед ней до темноты. А ночью улегся у корней и обхватил ее руками. Так я и спал ночь, обхватив сосну, видел тревожные сны и просыпался в беспокойстве.

13

Наверное, уже неуместно мне петь гимны лесу и объясняться в любви. Похвал я раскидал достаточно. Боюсь, как бы любовь моя к лесу не выглядела неумеренной и сам я не показался экзальтированной девицей, боготворящей своего кумира. Нет, лес — это не комнатная собачка, которую можно тискать в руках. Иногда он показывает такие зубы, что становится страшно и хочется ненавидеть его лютой ненавистью. И все равно я его люблю и буду петь неустанно. Люблю его вечнозеленые тучные сосновые поля, уходящие за горизонт на тысячи километров, люблю острые хребты ельников, подпирающие небо, люблю светлое море берез, люблю его запах, цвет, шум ветра в листьях, перезвон птиц весной, речь и молчание бесчисленного зверья, обитающего в его недрах, люблю его травы, цветы, чистые зори, темные ночи, люблю его дни и годы, зимы и осени, люблю его красоту, благородство, величие духа и мно-

гое другое, что не может не любить мало-мальски живое сердце.

Я не мыслю себя без леса и отдался ему до конца. Мой рабочий день мог начаться в любой час суток, в зависимости от обстоятельств, впрочем, справедливей будет сказать, что день мой не начинался никогда, потому что никогда не кончался. Я мог встать в четыре часа утра и отправиться в лес. А мог вообще не ложиться спать и всю ночь пробродить по обходу. Я мог сутками тушить пожар или караулить в засаде браконьеров. Я был не на работе, где отгорюешь семь часов и иди отдыхай. Я был на службе и служил лесу полные сутки верой и правдой. Утром, едва я просыпался, я видел в окне ветки сосны, что росла у самой избы. Я вставал и шел во двор наколоть дров, и лес обступал меня с первого шага, с крыльца, близкий и далекий. Наскоро поев, попив чаю, отправлялся я в обход, и опять со мной был лес, уходил ли я в сторону от дороги, забирался в лесную чащу или выбирался на простор. Рубил я просеку, чистил гарь — лес не отступал от меня ни на шаг. Ложился спать — и видел в угасающем свете дня знакомую сосну. За свой рабочий день сколько сосен, берез, елей встречалось мне на пути, сколько судеб! Встречались обросшие зеленым мхом патриархи, повидавшие на веку и войн и мира, запечатлевшие тайны бытия. Встречались стройные мужи в полном цвете сил, празднующие свою зрелость. Встречались тонкоствольные отроки, вступающие в жизнь. Попадались и крохи-младенцы, едва проклюнувшиеся в этот мир. Группами, парами, в одиночку, стройные, прямые, горбатые, толстые, худые, здоровые и больные, красавцы и уроды — они проходили перед моими глазами бесконечной чередой, каждый требуя внимания. Нельзя было сказать: «Это дерево мне нравится, я его люблю, а это не нравится, я его не люблю». Или: «Это я буду охранять, а это не буду». Я должен был любить и охранять весь лес, и я любил и охранял его, все деревья, каждый ветровой листок.

О леса, о русские леса! Так богаты вы любовью! Кто вам не кланялся до земли, не объяснялся в любви, кто презрел вас, унизил, кто сказал о вас недоброе слово? Вас любить нелегко, но еще трудней не любить. Поражаюсь смелости тех вертопрахов, что бегут от вас, прельстившись чужбиной, кляня те святые рощи, которые их взрастили, кто злобствует и клевещет на вас, него-

дуя, кто поднимает на вас руку. Отказываясь от вас, изменяя вам, они отказываются от самих себя, они мертвецы. Заточи меня в темницу, посади в земляную яму, посули райскую жизнь, бессмертие, я вам никогда не изменю. Без вас я скован, стеснен, угнетен. Вам, леса, я отдал свою любовь. Примите ее незлобиво. Вам я низко кланяюсь до земли.

Как к человеку приходит любовь? Одни говорят, что она слетает с небес на крыльях, другие — что выползает из змеиной норы. Есть такие, кто вообще не признает любви и считает разговоры о любви выдумкой бездельников и краснобаев; по их мнению, любви не существует, а есть рефлекс, механика, химическая реакция клеток. Есть такие, кто говорит, что любовь нужно ждать, а есть такие, кто заявляет, что любовь сама не приходит, ты ее жди хоть миллион лет, а не дождешься, что ее нужно искать. Специалистов, толкующих о любви, тьма-тьмущая. Сколько людей, столько и теорий. Иной в своем пустяшном пустяке разобраться не может, не знает, как утром после сна глаза продрать, а спроси его о любви, и он такое разведет исследование, расцветит речь такими пышными цветами примеров из своей жизни или жизни великих людей, что послушаешь его, и готов ринуться в поиски этой любви, как на бой.

Чуден разговор о любви. Прекрасны люди любящие и рассуждающие о любви. Я готов слушать их вечно. Для меня такой разговор самый сладкий на свете. А сколько тонкостей и оттенков в любви изобличает этот разговор! Есть любовь матери, любовь сына, любовь отца, любовь брата, сестры, любовь человека и человечества, любовь ромашки. Любовь к делу и к безделью, к лесу, к корове, к пирожкам с капустой. У одних любовь движет звездами, у других одухотворяет червяка. Одни от любви умнеют, другие набираются сил. Конечно, любить тяжело, бывает любовь неразделенная, жестокая, бывает и так, что она губит человека, ломает его, но ни одному существу, ни одной пылинке она еще никогда не сделала вреда.

Как ко мне пришла любовь к лесу? Однажды на глаза мне попалась высокая сосна с лесенками — ступеньками наверх. А наверху едва заметное в зеленой хвое гнездо снайпера. Сделали это гнездо во время войны. С тех пор оно и осталось. В детстве я любил лазать по деревьям, это было любимым моим занятием — ле-

зешь на дерево, как будто в рост растешь; и, вспомнив детство,— не вспомнив его, я бы ни за что не полез на дерево — с какой стати леснику лезть беспричинно на дерево,— я устремился наверх. Лезть было опасно, ступеньки прогнили, некоторые рассыпались в прах, едва я к ним прикасался, но энтузиазм мой бил через край. Я залез на вершину сосны и огляделся. Панорама открылась величественная — такой я не ожидал. Лес, а за ним еще лес, и так до горизонта. Я заметил развилку дороги, она едва виднелась в зелени деревьев. Туда-то, наверное, и метил стрелок. Сейчас дорога была пуста, лес тих. Почувствовав печаль от мысли, что на этой сосне сидел когда-то вражеский стрелок и положил, наверно, не одного нашего солдата, я стал спускаться вниз. Куда там! Лезть наверх было намного легче, чем спускаться. Гнилые ступени, едва я ставил на них ногу или цеплялся рукой, отрывались. Ствол сосны толст — за него не ухватишься. Сучьев нет. С трудом, проклиная свое глупое мальчишество, опускался я на землю и метров с десяти полетел вниз. Мне кажется, я пролетел не десять метров, а всю вселенную насквозь. Падал я лицом к стволу, земли не видел, оттолкнуться от сосны не успел, и меня буквально протащило по шершавой коре, как по наждаку. Я упал на елку и подмял ее под себя. Я боялся, как бы мне иглами не выкололо глаза. Брюки и рубаху я изодрал в клочья. Лицо, грудь, руки, ноги, живот были в крови. Я шмякнулся об землю так, что от меня чуть не отлетел дух и не отскочила от туловища голова. В этот миг я и обрел любовь к лесу.

Когда я сверзился с сосны, чуть не распрощавшись с жизнью, а потом ходил исцарапанный и обклеенный листьями подорожника, не скажу, что я испытывал от этого буйную радость и вслед за падением у меня выросли крылья. У меня не только не выросли крылья, у меня и уши оглохли, и глаза ослепли, я и сейчас правым ухом почти ничего не слышу, а тогда не слышал обоими, и в глазах стояла белесая тьма, точно бельма сели на мою роговицу. Я не видел перед собой не только тропы, или дома, или какой малости, но и вещей покрупней — солнца, неба, леса... И в то же время я обрел и глаза, и уши!

Говорят, любовь с хорошей песней схожа. Милое сравнение. Я бы с удовольствием взял его в свой обиход, если бы это было так на самом деле. Но в том-то

и секрет, что любовь не имеет ничего общего с песней. Я бы сравнил ее с болезнью, с горем, а то и с самой смертью. Это не песня, а стихийное бедствие. И уж если нагнала она тебя — берегись!

С того самого дня, упав с сосны, я стал совсем другой. Все во мне переменилось: и голос, и походка, и мысли. До сих пор я чувствовал себя обыкновенным человеком — с руками, ногами, головой, как все люди, жаворонков в небе не хватал, но и пыли с ушей стряхивать не приходилось. Жил без забот и тревог. А тут меня словно стала колотить лихоманка. Шел ли я по лесу, спорил с браконьерами, готовил ли себе еду, делал ли какое дело, я думал об одном — о любви. Кажется, вселенная всей тяжестью легла на меня одного, и я задрожал как осенний лист. Я стал беспомощен. Все мне осточертело. Я думал только о моей любви к лесу, и, чем больше я о ней думал, тем больше хотелось думать, и я чувствовал, что силы мои не выдержат, еще немного — и я погибну. Лишь ночь давала мне кое-какой отдых, только во сне я не думал, не говорил о любви. Я не знал, как мне избавиться от нее. В другое время я призывал ее, а сейчас готов был отказаться — так тяжек был ее крест.

И самое отвратительное — вместе с любовью меня вдруг настиг страх. Прежде я отправлялся к браконьерам-порубщикам писать на них акт как к лучшим друзьям, и это обезоруживало их. Но теперь я стал пуглив как заяц. Мне казалось, что за каждым кустом меня караулит враг, я падал на землю от шороха листьев. До сих пор весь мир был ко мне добр, теперь он был мне страшен. На кордоне я стал запираться на щеколду и ночью клал топор у изголовья. Это граничило с умопомрачением.

Однажды в лесу я услышал стук топора. В двенадцатом квартале. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что рубили лес у меня. Я даже увидел след от машины, на которой приехали порубщики. В другое время я бы посчитал, что мне здорово повезло, я наткнулся на злодеев и кинусь на них, как голодный коршун на добычу. Что же случилось теперь? Побежал я к ним? Стал стыдить? Выгнал? Ничего подобного. Тихо и незаметно, крадучись, как вор, я поспешил уйти подальше и прошагал, наверное, с полкилометра, убеждая себя, что мне нет никакого дела ни до леса, ни до грабителей,

Не знаю, как бы я сейчас себя чувствовал, убеги я тогда, но и тогда моя трусость показалась мне отвратительной. Я сказал себе: если ты не подойдешь к ним, я тебя возненавижу,— и с великим усилием заставил себя вернуться. Страх прочно владел мною, я глядел на порубщиков робко, говорил заискивающе, боясь, как бы они меня не прибили, и потом все-таки оставил их. Правда, они уехали, не тронув леса. Это был мой последний приступ страха.

14

Своего ружья у меня на кордоне не было. Хотя лесникам по инструкции положено огнестрельное оружие, я был, наверное, единственный в мире безружейный лесник. Если я ходил с каким оружием, так в особо жаркое время с лопатой, чтобы, заметив начинающийся пожар, тут же погасить его. Ружье мне было ни к чему. Нападения зверя и человека я не боялся, а что касается страсти к охоте, то, к счастью, судьба обделила меня ею. При виде зверя или птицы у меня не загорается сердце, не дрожит рука, кровь не бросается мне в голову, возбуждение не теснит дыхания, у меня не появляется яростного желания убить, взять добычу (тогда, говорят, в человеке просыпается зверь), как это проявляется у охотников. Во мне не просыпается страсть. Я встречаю зверя или птицу спокойно, с готовностью оставить их в покое за тем же занятием, за которым застал,— за чисткой перьев, пением или добыванием корма, ухаживанием за младенцами, если птица сама первой не проявит интерес и готовность познакомиться со мной поближе.

Как-то я убил сороку. Это случилось в первый год пребывания на кордоне. Лес тогда для меня, флотского паренька, был новым, незнакомым, я не знал, как к нему приладиться. Он меня радовал и настораживал, я хотел утвердиться в нем, но как это сделать? Тогда, прочитав книгу одного писателя-натуралиста, стрелявшего зверье с тем, чтобы поглядеть на него поближе и удовлетворить свое любопытство, а тем самым обогатить нашу науку новыми сведениями о животном мире, я тоже решил внести в это полезное и благородное дело свою лепту. В тот день я долго ходил по обходу (браконьеры никак не давались мне в руки), устал и прилег

под березой отдохнуть. Была сухая осень, березы желтели, падали листья, и лес, освобождаясь от листьев, становился прозрачным, пустым. Нигде ни вскрика, ни малейшего живого шороха. Мне казалось, что звери, как и браконьеры, прятались от меня. Вдруг в стороне я услышал сорочье стрекотанье. Бойко тараторя, сорока опустилась на соседнюю березу, нетерпеливо потопталась на ветке, глянула на меня правым, левым глазом, тряхнула хвостом и расположилась совсем уже близко на березе, под которой я лежал. Я догадывался, что сорочье внимание привлекла моя персона. Но чем? То ли она почуяла запах бутерброда и захотела полакомиться его остатками? То ли посчитала, что я мертв, и решила отведать мертвечины? Она совершенно не боялась меня, она сидела на ветке так близко, что, если бы я поднялся, я бы мог достать ее рукой. Черные бусинки глаз с любопытством поглядывали на меня: это что еще за новый тип объявился в лесу? Я лежал не шелохнувшись. Ее прилет был для меня неожидан, необычен, ее доверие непонятно. Я не знал, как вести себя при нашей встрече. Окажись это человек, я бы знал, как с ним обращаться, я бы поздоровался, пригласил бы сесть, поговорил о погоде и прочем. Но с сорокой я не знал о чем говорить. И тут я вспомнил писателя-натуралиста и подумал: а не сосчитать ли мне, сколько перьев в хвосте у сороки? Хвост у сороки был длинный, но хвостовые перья были тесно прижаты друг к другу, и я не мог определить их число: пять, шесть, семь? И тогда я решил ее убить. В руках у меня было ружье деда Ивана, тульская одностволка. Я осторожно прицелился и выстрелил в сороку.

Сорока упала на землю. Она лежала возле меня. Я взял ее в руки. Она была мертва. Дробь изрешетила ее тело, а одна дробинка попала в глаз. Я развернул хвост, он раскрылся веером. Я сосчитал количество перьев и отбросил сороку в сторону. Я не обогатил науку ценными сведениями, потому что, сколько перьев в хвосте у сороки, я не запомнил тогда и не помню сейчас, но я хорошо запомнил свое ощущение. Мне было неловко от чувства никчемности, бессмысленности подобного убийства. Ну, посчитал ты количество перьев в хвосте, а дальше что? — спрашивал я себя и ответа не находил. Какая-то противная пустота навалилась на меня. Еще минуту назад рядом со мной было живое существо,

быстрый поскок по сучьям, живые бусинки глаз, доверчивое любопытство, а нынче валялась дохлятина.

С тех пор я перестал брать ружье старика и не позволял себе охотиться. Не будь у меня огорода, не имей я возможности закупать в селе продукты, я бы наверняка пристрастился к стрельбе, заимел бы свое ружье и припасы и стрелял дичь, как и те миллионы стрелков-охотников, что стреляли ее до меня и будут стрелять после. И свою бы охоту вполне оправдал. Но еда у меня была — хлеб, сахар, масло, картошка. Убивать ради интереса, пусть даже научного, ради щекотания нервов, ради утверждения собственной личности показалось мне неоправданной жестокостью. Я подумал, что если я, лесник, призываю к справедливости, если хочу мира в лесу и отряжен на защиту этого мира, я должен непременно определить свое отношение не только к браконьерам, но и к животным, к природе — кто я им, друг или враг?

...Несколько дней и ночей я провел под золотой сосной, охраняя ее. Много мыслей приходило мне в голову под ее могучими ветвями. Я думал о судьбе человека и о судьбах леса, о том прекрасном, что нас ожидает завтра, если мы будем неустанно любить и заботиться о нем, и о том непоправимом, что может случиться, пренебреги мы этими заботами и любовью и отдайся во власть зла. Меня ждали другие дела, но я как обнял сосну, так и прилип к ней и не мог оторваться.

О волке заговорили в ту ночь, когда пропал месячный поросенок Кузьмича. Старик мечтал, как выкормит поросенка, продаст на базаре, за вырученные деньги купит теленка, теленка выкормит в корову, как на проданное от коровы молоко купит еще коров, а потом продаст всех коров и на каком-нибудь заводе купит старенький паровоз. Поставит паровоз во дворе, пустит на холостой ход и объездит все страны мира (старик в молодости работал машинистом и жить не мог без паровоза). И вот тебе на — ни поросенка, ни паровоза!

Ночные сторожа зажгли фонари, побродили в кустах — волка след простыл. На следующий день с криком: «Окстись, окстись, проклятый» — в село вбежала перепуганная старуха Карпиха и уверяла собравшийся народ, что на речке, когда она полоскала белье, повстречался ей дьявол в образе волка. В тот же день

у тракториста Жукова пропал галстук модной раскраски — последняя надежда на удачное сватовство к неприступной красавице Соне Веревкиной. Правда, случайно галстук, грязный и помятый, нашла мать Жукова во дворе между бревен, на том самом месте, где ее сын накануне выпивал с дружками, и некоторые сомневались, не сунул ли он его туда сам, но после всех шумных приключений и разговоров о волке сидеть сложа руки не приходилось.

Спешно снарядили отряд из местного общества охотников, людей бывалых и знающих себе цену. Те потолкались в лесу, порыскали по буеракам и оврагам, постреляли с десяток зазевавшихся ворон и разошлись. Вызвали из Ленинграда Либертонского, лысого человечка, специалиста-волчатника, солидного ученого, защитившего на тему борьбы с волком докторскую диссертацию.

Либертонский подошел к отстрелу волка научно. Привез капканы с фотоэлементами, быстродействующие яды, флажки, ружья. Он ползал по земле не щадя своих коленок, примеривался, приглядывался, присматривался, принюхивался, брал на анализ в стеклянные пробирки волчьи экскременты, крутил ручку арифмометра, колдуя с одному ему известными цифрами, и после долгого и кропотливого изучения, сопоставления, приближения вывел место лежки волка.

Наступил самый главный момент — оклад и облава. Для участия в ней были подняты на ноги все умеющие ходить и кричать. Лежку окружили флажками, по номерам расставили стрелков (Либертонский занял самое опасное место), остальной люд вооружился кто чем мог: дырявыми ведрами, кастрюлями, сковородами, жестяными банками, пионерскими горнами и барабанами.

Сроду я не видел таким свой лес. Он гудел, как гигантская чаша стадиона, и еще несколько дней спустя сохранял шум на кончиках своих листьев. Перепуганные вороны взмыли в небо. Звери попрятались в норы. По моим предположениям, волк должен был подохнуть от одного этого шума. Многие торопливцы уже предвкушали победу и обсуждали, кому достанется награда за убитого волка. Мнения были самые противоположные: одни утверждали, что Либертонскому, поскольку он являлся инициатором облавы, ее мозгом, другие склонялись к мысли, что награда должна быть поделена поровну, исключая Либертонского, он-де человек науки и

старается исключительно в чистых целях, третьи — что больше всех в этой истории пострадал старик Кузьмич и деньги причитаются ему, паровоза он на эти деньги, конечно, не приобретет, но велосипед купит.

Пока спорили и обсуждали — волк исчез. На лежке, кроме помятой травы, пустой бутылки и консервной банки, ничего не нашли. Оставалось последнее средство — вызвали отряд вертолетов. Ощетиненные стволами пулеметов, несколько дней висели вертолеты над лесом, прочесывая его вдоль и поперек. И безуспешно.

Пока волка преследовали гуртом, я был в стороне и в дело не встревал, считая, что мое участие не поможет, а помешает. Да и чем я мог помочь? Волчьих повадок я не знал. Я никогда не встречал в моем лесу волков, их выбили лет двадцать назад, и если что осталось от них, так это недобрая слава. Особенно в ее распространении усердствовали бабушки перед расшалившимися внуками. По их словам, волки в ту пору были страшные, пожирали скот, нападали на людей, в страхе держали всю округу, никому не давали спуску. Пока не было волков, этим сказкам я не верил, но сейчас увидел, что они правы. Волк есть волк. Обосновавшись в лесу, он бы наделал немало бед и людям, и животным.

Теперь, когда все средства против волка были исчерпаны, а охота обернулась напраслиной, ответственность за волка ложилась на меня. Мое решение встретиться с волком один на один вызвало недоумение. Меня уговаривали не рисковать собой. Особенно горячо доказывал бессмысленность и безрассудство моего поступка Либертонский.

— По всем признакам видно, этот волк не простой,— говорил он.— Обращает внимание наличие на лежке пустой бутылки и консервной банки. Можно предположить, что это особая, неизвестная науке порода. Необходимо тщательное расследование, изучение всех данных. Любая самодеятельность может обернуться трагедией.

Я понимал, что, идя на волка, я собираюсь не к соседу в гости пить чай, я представлял возможность самых разных для себя последствий, но убедить меня отложить свидание с волком не могли даже веские доводы Либертонского. Слов нет, опасность идти безоружным против волка (а я собирался идти безоружным) была велика, но у меня был свой козырь: я не хотел убивать

волка, я шел к нему как парламентер, я хотел убедить его покончить с безобразиями, изменить свой образ жизни, сложить оружие. Я шел к нему не с мечом, но с миром и думал, что его благоразумия хватит на то, чтобы принять мои предложения.

Я встретил волка на тропинке между двадцать вторым и двадцать третьим кварталами. Он бежал рысцой, принюхиваясь к следам, опустив голову, не замечая меня. Я преградил ему путь. Он остановился.

— Послушай,— сказал я ему.— Чем ты занимаешься?

— А что? — спросил волк.

— Поросенка ты украл?

— Ну я.

— А Карповну напугал?

— Мое дело.

— А галстук у Василия спрятал между бревен?

— Тоже я.

— И тебе не стыдно?

— Чего мне стыдиться? — сказал волк.— Я волк, понял? Что хочу, то и делаю.

— А закона не знаешь, что нельзя безобразничать?

— Какого закона? Плевать мне на закон. Мне тайга закон. Говори короче, что тебе от меня надо?

— Немного,— сказал я.— Чтобы ты бросил свои старые замашки. Начни новую жизнь. Скажи, разве тебе нравится воровать поросят?

— Нет,— сказал волк,— мне это очень не нравится.

— А пугать старух?

— И это не нравится.

— А прятать галстуки?

— Я прямо слезы лью, когда поступаю плохо.

— Вот видишь,— сказал я.— Куда лучше делать добрые дела.

— Это верно,— подтвердил волк.

— Надо любить друг друга, не совершать злых поступков. Тогда будут все жить в мире и счастье. Верно я говорю?

— Истинную правду. Ты меня прямо растрогал, особенно когда о поросенке вспомнил.

— Значит, договорились,— сказал я волку,— кончаешь быть злодеем и начинаешь новую жизнь.

— Нет,— ответил волк.— У меня, приятель, от этой

любви и добра зубы болят. Очень скучно мне добро делать. Я уж как-нибудь обойдусь без добра.

— В таком случае,— сказал я,— пеняй на себя, а я, пока не исправишься, никуда тебя не пущу.

— Это как не пустишь? — возмутился волк.— Посмотри, какой я огромный. Когти у меня — во! Клыки — во! А ты что за букашка-таракашка — путь мне преграждаешь? А ну, прочь с дороги, пока цел!

Он двинулся на меня грудью, но я стоял на месте.

— Говорю в последний раз,— кипятился волк,— отойди. А не то худо будет.

— Нет,— сказал я.— Хватит, погулял ты вволю, пора и честь знать. Умру, а не сдвинусь с места.

— Ах, вот как, дело на серьез пошло,— сказал волк.— Ну, гляди, я тебя предупреждал. Не знаю, соберешь ли ты теперь свои косточки.

Волк был крупным, с огромной пастью, острыми клыками. Он лязгнул зубами, бросился на меня, сбил с ног. Удар был такой сильный, что я полетел кувырком. У меня заныло плечо. Я глянул на плечо — там зияла рана. Волк выдрал целый кусок мяса. Вторую атаку я встретил лежа на земле. Когда волк прыгнул на меня, я хотел схватить его за глотку и задушить, но промахнулся. Руки попали в пасть волка, его челюсти сомкнулись, и я услышал, как хрустят мои пальцы. Мы сошлись в схватке. Мы катались по земле, мне никак не удавалось подняться на ноги, наконец удалось, я вскочил и бросился от волка наутек. Я бежал что было мочи, но волк не отставал. Он догонял меня, прыгал сзади на плечи, как прыгают волки, настигая лося, вонзал в тело зубы и рвал его на куски.

— Ну что, приятель,— рычал волк.— Помогает тебе твое добро? Будешь еще вставать на пути волку? Я тебя научу жить. Ты у меня поймешь, в чем на земле правда. Добра ему захотелось, дружбы, в кружочке плясать, песенки петь, в щечку целовать. Ах, простите, я вам на ногу наступил. Ах, извините, я к вам в квартиру забрался. Где оно — добро? Где мир? Где любовь? Нет его и не будет никогда. Всех буду душить, всех давить, все погублю к чертовой матери!

Он рвал мое бедное тело, а я бежал, бежал. Не знаю, как у меня хватало сил бежать, на мне не было ни одного живого места. Я был искусан, истерзан, избит. Я был не человек, а какой-то рваный кусок мяса,

Сейчас, по прошествии времени, трудно сказать, что обратило меня в бегство, заставило спасовать перед волком. Скорей всего трусость, боязнь смерти. Я понял, что с волком мне не справиться, что он растерзает меня. Я не хотел умирать. Извинительна ли была подобная трусость? Думаю, нет. Когда я шел на встречу с волком, я знал, что разговор с ним будет непрост и не сразу он откажется от преступного ремесла, придется и поубеждать, и силу применить. Но я верил, что, как волк ни страшен, правда на моей стороне и никакие волки не могут меня уничтожить. Что же переменилось? Или волк оказался сильней, чем я ожидал, или не на моей стороне правда и добро не всесильно, а мои слова о добре — пустая болтовня, словесное блюдо из куропаток? И в лесу торжествует зло? А раз так, все переворачивается вверх дном: незачем сторожить лес, ловить браконьеров, уберегать золотую сосну. В зле, а не в добре видеть правду жизни. Но такой мысли я допустить не мог. Решиться на нее — значит стать на одну ногу с волком, быть злодеем и подлецом. Я знал, что это никогда не случится, зло никогда не будет сильнее добра, как бы оно ни извивалось, ни пыжилось. Но одно — думать и верить в добро теоретически, славить его, стоя в сторонке, а другое — гибнуть под клыками волка и не иметь сил постоять за себя. Тут дело было не в добре. Что его мусолить. Добро было, есть и будет, и оно непобедимо никогда. Причина была во мне. Это я оказался слабым, а не добро. Всегда люди будут охранять лес, вступать в битву с браконьерами, делать добрые дела. Но совершать это нелегко, такая борьба требует тебя целиком, наступает час, когда за лес, за его счастье необходимо платить головой, жертвовать собой. Только таким путем можно одолеть смертельного врага — волка. И вот мой час пробил. Я должен был пожертвовать собой. Я приносил свою жизнь в жертву лесу. Мысленно я прощался с этим миром. Я говорил: «Прощай, мой господин великий лес, прощайте, сосны, березы, ели, прощай, солнце, речка, травы, прощайте, звери, птицы, прощайте, друзья, люди знакомые и незнакомые, живущие в Узбекистане или в какой-нибудь одинокой Колумбии. Я прожил недолгую жизнь, мало я сделал добра, мне бы хотелось больше, но, видать, не судьба. Не поминайте лихом. У меня к вам одна просьба — похороните меня у опушки леса на кордоне, что-

бы я всегда слышал его шум, чтобы всегда был вместе с ним. А ты, волчище-гадина, ешь, насыщайся, все равно подавишься моей костью».

Когда я так сказал, мне стало вдруг легко, спокойно, свободно. Я остановился, обернулся к волку и приготовился к последней смертельной схватке. И тут что-то произошло со мной, словно какая-то неведомая сила влилась в мои члены, я вырос, ожил, окреп, раны мои исчезли, точно их никогда не было. Волк по инерции двинулся на меня. Я слегка отстранил его рукой. Он рухнул на землю точно мешок с гвоздями. Я глядел волку прямо в глаза. Минуту длилось наше молчание. Я не отводил от волка глаз. Что он прочитал в моем взоре — об этом можно только догадываться, но прочитал он наверняка для себя что-то очень существенное, потому что вид у него моментально переменился. Куда делись его наглость, нахальство. Я видел перед собой не волка, а паршивую дворняжку, которую мог пришибить одним плевком. Она скулила, угодливо махала хвостом, дрожала мелкой дрожью. Она глядела на меня, ожидая приказаний. Я поднял палец и сказал:

— Иди и помни о нашей встрече.

Волк поджал хвост и скрылся в кустах. Больше я его не видел.

15

Я трезво смотрю на вещи и не преувеличиваю своих возможностей. Мне кажется, лучше их недооценить, чем переоценить. Я знаю, как бы я ни бился, как бы ни метался по обходу, как бы круто ни расправлялся с браконьерами, как бы ни любил лес и ни отдавал ему все свои силы и помыслы — уберечь лес от гибели не в моей власти. К чему заниматься донкихотством и тешить себя несбыточными мечтами. Придет срок, и тот лес, что я охранял, который исходил вдоль и поперек, возможно, срубят на какие-нибудь надобности, а на его месте построят город или еще что-нибудь в этом роде (мне бы не хотелось, чтобы это случилось). Жизнь требует своего, и, если людям понадобятся новые земли и они будут тесниться в тесноте, а рядом будет стоять лес, справедливо ли будет обрекать людей на неудобства и любой ценой отстаивать лесные угодья только потому, что я их охранял? Думаю, что нет. Да я и не хочу этого. Конечно, каждому жалко расставаться с любимым детищем,

которое полюбил и в которое вложил столько сил, но свою боль и печаль я как-нибудь спрячу, переживу, лишь бы другим было лучше. Но вот ведь что получается любопытное. Даже если мой лес сожгут, изведут на дрова, искоренят до последнего листика и не останется на земле ни березовых рощ, ни душистых малинников, ни зеленых сосняков, я все равно буду твердо уверен, что они есть, что они живут и растут, как жили и росли при мне, что они будут жить вечно. То, что я сумел сохранить и сберечь,— это неуничтожимо.

Утром проснулся от карканья вороны. «Сейчас, — говорю,— встану». А сам одеяло повыше натягиваю, с головой укрываюсь. Слышу, не успокаивается она, орет. Чтоб тебя! Встал, оделся, вышел на крыльцо — не умолкает. В чем дело? Чего шум подняла? Сильва на кордон вернулась? Поглядел по сторонам — Сильвы нет. И во дворе все на месте, и лес за ночь не изменился, стоит, как был вчера. Разве что две новые ромашки на поле появились. Посидела ворона на толстом суку сосны и улетела. Я ей вслед: «Попусту, мол, орала». Не обращает на меня внимания. Скрылась за лесом. Вернулся в избу, сел у окна, задумался. Чего подняла меня с постели в такую рань? Если из-за двух ромашек на поле, то не такое это великое событие, чтобы кричать о нем на весь белый свет, сам вижу.

16

Понимаю, любое отступление задерживает нить моего рассказа. Он обрастает второстепенными деталями, рассуждениями, воспоминаниями, приуроченными к месту и не к месту. Я бы с удовольствием отказался от всех отступлений, однако не могу не сказать несколько слов о своих соседях-лесниках. И не потому, чтобы насытить повествование нужными и ненужными лицами, по принципу: вали больше, авось что и приглянется, а делаю это по глубокому убеждению, что, не скажи я нескольких слов о своих земляках, и вся моя история, и я вместе с ней, не будут стоить ломаного гроша. Что я? — былинка в поле. Что моя история? — коротенький эпизод из обыденной жизни, мелочной до скуки и приземленной до тошноты.

Живи я где в другом месте, может быть, я бы не принижал себя так, поставил вровень со всеми, а то и возвысил чуть-чуть от самообольщения, конечно. Но делать это, сравнивая себя с соседями,— дудки, я не так глуп. Равняйся я, не равняйся, а все равно не сравняешься.

К тому же боюсь и заранее испытываю стыд, как бы соседи мои, случайно услышав о моей похвальбе, не подумали, что я раскукарекался, как петух, я, мол, и такой, и сякой, и лучше меня никого нет. Заранее прошу у них извинения, да не примут они мои слова всерьез. Если что я и сболтнул, так только для склада, для красного словца, вылетело слово, а обратно не поймаешь. Им ли, моим сотоварищам, съевшим вместе со мной пуд соли, не знать, какими грешу я недостатками, каков есть на самом деле, слава богу, потерлись мы друг о друга предостаточно. Если о ком и говорить, если кто и обладает человеческими совершенствами во всех превосходных степенях — так это они.

Общеизвестно, что лесники повсюду народ заметный и резко отличаются от остального люда. То ли лес действует на человеческие характеры, закаляя их и укрупняя, то ли люди по прихотливой воле судьбы подбираются сами, но встретить лесника безликого, не отмеченного печатью какого-нибудь дарования, невозможно. Чаще всего поражает самобытность их натур, спокойствие и незамутненность духа. Никакой суеты, никакой спешки, так характерной для нынешних людей,— лесники живут не торопясь, как будто собираются жить вечно. Встреча с каждым из них — торжественная аудиенция. И если лесник не восседает на троне, окруженный многочисленной челядью, не держит в руках царский жезл, а, подцепив иголку с ниткой, пришивает пуговицу к штанам или полощет белье в корыте, это еще не значит, что он не царь в своем роде и не достоин приличествующих знаков внимания. Напротив, тогда в нем видится еще больше величия, и иголка или корыто — именно та житейская мелочь, которая подчеркивает разницу между ними и нами. Конечно, лесники тоже люди и, как говорится, родились не от быка, а от отца с матерью, встречаются и у них недостатки, но недостатки эти настолько малы и несущественны, что на общем фоне достоинств выглядят как необходимое добавление, чтобы мы не обознались и не приняли их за людей не от мира

сего. Встречаются среди лесников и шуты, они и дурачками могут прикинуться, чего-то не расслышать, не понять, сказать или сделать наоборот, но не стоит обольщаться, принимать это всерьез и обвинять их бог знает в чем. Это только личина, дань минуте, потехе, настроению. А кончится потеха, и они опять, как ствол дерева, стоят, возвышаясь над другими в своем великолепии.

Моим северным соседом был Петр Иванович Лешаков — великий ловец человеческих душ и тонкий психолог. Браконьеров он не ловил, не бегал по обходу высунув язык, как это делал я. Если он ходил в обход, то просто так, для разнообразия, размять ноги от долгого сидения. Ловить браконьеров ему не было никакой нужды. Браконьеры сами ловили его и умоляли приглядеть за лесом. Некоторые валялись у него в ногах, рвали на себе одежду, сулили взятки, лишь бы Петр Иванович удосужился хоть один разок поймать их и оштрафовать. Но Петр Иванович знал свое дело туго. Я не помню случая, чтобы он кого-нибудь оштрафовал. И порубок у Петра Ивановича не было. В чем тут секрет? Петр Иванович хорошо знал человеческий характер. Он знал, что человек, совершивший зло, страдает угрызениями совести и ждет наказания, и строил свой расчет на этом. Он говорил браконьерам: «Хотите красть лес — крадите, но как снесете потом наказание?» Простаки не понимали сокровенного смысла слов Петра Ивановича; обрадовавшись свободе, они шли в лес и крушили деревья. Тут-то их и подстерегала западня Петра Ивановича. Они думали, что Петр Иванович будет их за порубки ругать. А Петр Иванович и бровью не вел. Это браконьеров озадачивало и угнетало. Они приходили на кордон к Петру Ивановичу и хвастались своими победами. Вот, мол, открылся я перед тобой, срубил я дерево в твоем обходе, что ты мне сделаешь? Петр Иванович усаживал гостя за стол и угощал чаем. Такой оборот дела выбивал из-под ног браконьеров почву. Они озадаченно чесали затылки, воспалялись, махали руками, бранились, грозили подпустить на кордон красного петуха, а самого Петра Ивановича подкараулить в темном лесу и убить. Петр Иванович выносил из избы спички и заряженное ружье. Не в силах нести тяжкий груз содеянного, браконьеры подступали к Петру Ивановичу и умоляли его взять с них штраф или, на худой конец, сообщить об их преступлении в милицию. Петр Ивано-

вич брал чистый бланк и писал акт на порубку, но не на браконьера, а на самого себя. И вместе с актом отправлялся в суд вносить за порубку деньги. Этот поступок Петра Ивановича разил браконьеров наповал. Нечистая совесть не давала им покоя, грызла их души. Чтобы снять с себя вину, им оставался один путь — стать рьяными защитниками леса, помогать Петру Ивановичу в его нелегком деле. И они ими становились. Они охраняли лес, как верные псы, стерегущие добро своего хозяина, преисполнялись самой трепетной любви к природе и ко всему живущему, словом, на глазах перерождались в самом высоком нравственном смысле. Не скрою, способ борьбы с браконьерами у Петра Ивановича был жесток, я бы, наверное, на него не решился. Зато какой результат!

Степан Филимонович Пимов — добрейший человек. Я не знаю человека добрее, чем он. Быть добрым к людям, что может быть проще? Увидел плачущего ребенка — приласкай его, много ли надо — утешить малыша? Одно слово, один взгляд — и он уже счастлив. Встретил заблудшего человека — успокой его; зашел к тебе избитый и израненный жизнью скиталец-горемыка — дай ему кусок хлеба, уложи спать — ему этого как раз и не хватает. Нетрудно быть добрым и к скотине, корове, например, или к козе. Скотина, хоть она и скотина, а от доброты не портится, напротив, ближе привязывается к человеку. А вот как быть добрым к лесу, деревьям, травам, которые мы топчем, даже не замечая их? Не ропщут ли они каждый день на нас, не обижаются ли на наше бесчувствие и не страдаем ли мы сами, слыша этот ропот? Ох как страдаем! Рубим, и топчем, и мнем, и страдаем, и все равно мнем. Я много думал над этим вопросом, как его решить, но так до конца и не решил.

Перед Степаном Филимоновичем такой проблемы не стояло. Отчего же? Или он не рубил лес, не топтал трав? И рубил, и топтал. И побольше, чем все остальные. Но всегда лес у него рос отменно, и травы всходили густые, и душой он был чист, как ребенок. Его секрет был в особом подходе к делу. Когда он принимался рубить дерево, он не кидался на него сгоряча, как на заклятого врага, не видя даже, что перед ним стоит: дуб или осина. Не вгрызался в ствол дерева, как голодный волк в чрево обреченного лося, не пилил его плоть, как

бесчувственную деревяшку. Он подходил к дереву неторопливо. Он осматривал его, облюбовывал, охаживал, прежде чем приступить к рубке. Даже когда его торопили напарники по работе, он не торопился. Он говорил дереву: «Я вижу, ты выросло большое и красивое. Ты великолепное дерево. Ты мне очень нравишься. Мне жаль тебя рубить, но я должен тебя срубить. Не сердись на меня за это». Когда он бежал по тропке и задевал какой-нибудь колосок травы, он говорил траве: «Я вижу, вы славные травы, вы прекрасные травы. Я люблю вас и горжусь вами, и я бы вас не помял, но я тороплюсь. Простите меня за это».

И что же, прощали деревья и травы Степану Филимоновичу его жестокое с ними обращение? Я ни разу не слышал от них ни одного упрека, ни малого стона. Напротив, они с радостью отдавались Степану Филимоновичу, они согласны были умереть. Но умирали ли они? На следующий год на месте срубленного дерева вырастало другое, похожее на старое, срубленное, а может, и лучше. Трава поднималась высокая, душистая и невредимая, как будто она стояла здесь тысячу лет и еще простоит столько же. А ведь что есть на свете мимолетней и скоротечней жизни травы? Взошла и сгорела. У других умирала, а у Степана Филимоновича стояла, как прежде.

Ну а если Степан Филимонович никуда не торопился: ни на пожар, ни на свадьбу, ни на похороны, ни на собрание, ни на встречу с другом, что, правда, случалось с ним редко, а шел просто так, как ходят обычно люди, у которых все дела сделаны и торопиться им некуда? Что он мог тогда сказать травам в свое оправдание, когда оправдания никакого не было и оправдаться было нельзя? А ничего не говорил. Но он тогда и не касался ногами земли, его тогда возносило над землей сантиметров на двадцать — тридцать, а то и на полметра, он плыл над травами, скользил, как на лыжах, не причиняя обиды и боли ни одной травинке. Поистине добрейшей души человек был этот Степан Филимонович.

Соседом была мне и Поля Селиванова. Она да Маша Березко — две женщины у нас и работали лесниками. Поля в молодости была красавицей. У нее был муж Селиванов, лесник. Правда, если говорить строго, му-

жем Поли Селиванов стать не успел — пришла война и он погиб недалеко от кордона. После войны Поля вернулась на кордон и попросилась работать на месте мужа. Ее отговаривали. По инструкции вообще не положено работать женщине лесником: и тяжело, и страшно одной. Но Поля упросила начальство, и ее взяли. Многие гадали, как сложится у нее жизнь, кто приглянется ей, за кого она выйдет замуж? Подкатывались к Поле и местные, и приезжие, но она всех отвадила. И что же, жила она одна? Ничего подобного. Через год она забеременела и у нее появился сын, как две капли воды похожий на погибшего Селиванова, через год — другой, а там — третий. И все — вылитые Селивановы. Сейчас у Поли одиннадцать детей. Некоторые недоумевали, как же она, соблюдая верность мужу, могла забеременеть. А что тут непонятного. Она оказалась верна и лесу, и мужу, и кто ее за это отблагодарил? Не лес ли?

...Когда я стремительно убегал от волчьих зубов, то незаметно проскочил свой обход и очутился во владениях Кондрата Зиновьева. Единым духом я пролетел километров семнадцать.

Кондрат, как редкий валун в поле, жил один. Ему было под сорок, но он не был женат. Его затянувшееся холостячество объяснялось степенностью натуры, до всего он пытался дойти своим умом и, только пережевав и усвоив продуманное, принимался за дело. Сидя на кордоне, до сорока лет он размышлял, что есть жена, и лишь к сорока его осенило, что жена есть жена.

Известно: ничто не является к нам ни раньше срока, ни позже его — ни смерть, ни рождение, ни любовь, ни женитьба. Что понимал Кондрат под определением «жена есть жена», я не знаю, но едва он раскусил эту истину, как тут же нашел себе невесту. Клава Еремина, тощая длинноногая девица, работала на шоссе ремонтером. Я часто видел ее из окон кордона. Зимой и летом, в пургу и метель, вскинув на плечо лопату, она, как бравый солдат, широко взмахивая свободной рукой, отмеряла по шоссе километр за километром, она убирала снег у мостков и дорожных указателей, расставляла вдоль трассы ограничительные вешки, скашивала в кюветах траву. Случайно повстречавшись с ней на дороге, мы издавали слова приветствия и, не останавлива-

ясь, следовали дальше, каждый своим путем. Клава была девицей застенчивой и на разговоры скупой.

Их золотая пора протекала бурно, как весенний ручей. Кондрат, перед которым вдруг ниспали все завесы (что значит хорошо продуманная мысль!), действовал решительно. Клава не оборонялась. Он стал засиживаться у Клавы в гостях до первых петухов, он помогал ей обихаживать дорогу, каждый день он выныривал из своего леса, как медведь, и убирался обратно. Клава приодела Кондрата, съездила в город, купила три белые сорочки и новый костюм. Кондрат защеголял франтом, все сразу заметили, что он красив, приветлив и неглуп.

На первомайские праздники дорожники по обычаю собрались за одним столом, и мастер Аникеев, по прозвищу Давай-давай, любивший во всем торопиться, предложил тост за молодоженов. Но его тост не ускорил женитьбу, а расстроил ее. У молодых возник вопрос: где жить после свадьбы? Кондрат звал Клаву на кордон, Клава — к дорожникам. У Клавы в старом доме была крохотная комнатка, единственное, что туда влезало,— железная кровать, служившая Клаве и столом, и стулом, и печью, и горницей, а при надобности и лугом, и крылечком. Рядом собирались строить новый дом, каменный, и Клаве обещали выделить в нем отдельную квартиру по соседству с мастером Аникеевым. Это была большая честь для Клавы, честь авансом предназначалась и Кондрату, мастер метил заполучить его в дорожные рабочие. У дорожников было все как у людей: электрический свет, радио, телевизор в красном уголке, в пяти километрах автобусная остановка, откуда можно было доехать до магазина. Тут можно было посудачить с женой мастера Аникеева Настей и еще двумя женщинами, прогнать с огорода чужих кур, обсудить новую покупку, выразить претензии по поводу неправильно начисленной зарплаты. На кордоне же у Кондрата ничего этого не было: ни света, ни красного уголка, ни жены мастера, ни тем более чужих кур. У него был лес, колодец, речка и луг, а этого для Клавы было мало. Проведи к кордону Кондрату шоссе, построй там три-четыре дома, и Клава, не раздумывая, бросила бы насиженное место и переселилась к Кондрату. Но шоссе к Кондрату не собирались строить, не шла речь ни о свете, ни о радио, домик его стоял в глубине леса, соседями его были рыси, лоси да зайцы, зимние вечера он проводил

при керосиновой лампе. Бросил бы лесхоз и Кондрат, если бы его самого посетила эта мысль, но, поскольку она его не посетила, а была высказана Клавой, все оборачивалось значительно сложнее.

Попытка Кондрата доказать Клаве, что кордон — рай земной, ни к чему не привела. Клава твердо стояла на своем: жить у дорожников выгоднее, забираться в глухомань, терять работу, дом она не желает. Она во всем была согласна с Кондратом: когда и сколько сажать картошки, где купить поросят, сколько заготавливать на зиму дров, готова была быть вернейшей женой Кондрату до гробовой доски, но с одним условием — он переселяется жить к ней.

Это Кондрата потрясло. Жизнь холостяка до встречи с Клавой приучила Кондрата к мысли, что он все может. Верней, он даже не задумывался, что он может, а чего нет, он делал то, что хотел, чего требовали от него в лесхозе, и получалось, что он все может. Хотел он есть — он мыл кастрюлю, чистил картошку и принимался варить варево. Не хотел есть — не мыл кастрюли, не чистил картошки. Звали его заготовлять лес — он шел на делянку и валил деревья. Не звали — не валил. Если солнце показывалось на горизонте в пять утра, оно поднималось не потому, что Земля, как и другие планеты, вращалась вокруг Солнца, отчего и происходила смена дня и ночи, и не потому, что Солнце вместе с другими светилами совершило во Вселенной неведомый нам путь, а потому, что в пять ноль-ноль Кондрат, говоря по старинке, открывал свои вежды, зевал, чесался и любопытствовал глянуть на новый день. Если начинал идти дождь, виной тому были не атмосферные явления, связанные с испарением влаги, перемещением туч, циклонов и прочей ерундой, а настоятельные требования Кондрата оросить иссыхающий лес, избавить его от пожаров, а землю от неурожая. Если падал снег, значит, у Кондрата были готовы сани и он собрался запрягать лошадь в розвальни. Захоти Кондрат, чтобы солнце всходило не в пять, а в шесть или в семь пятнадцать, чтобы оно остановилось посреди неба или побежало вспять, солнце бы остановилось и стояло бы по желанию Кондрата ровно столько, сколько нужно, но, к счастью или несчастью, он этого никогда не желал.

Мир существовал для Кондрата постольку, поскольку Кондрат существовал для мира. Они жили в таком

полюбовном родстве, что Кондрат не мыслил, что есть что-то отдельное от него, несогласное с ним. Он был и чувствовал себя в этом мире властелином, он мог в нем рубить лес, пахать огород, строить дом, чинить мост, он, Кондрат, человек, вместе с другими мог бы вершить и пограндиозней дела — ворочать горами, менять русла рек, строить города. Клава оказалась той горой, которую невозможно было передвинуть, той рекой, которую нельзя было заставить течь вспять, тем городом, который не желал строиться. Отсюда выходило, что он не был властелином, что он чего-то не мог, что он ничего не мог. Предложив Кондрату переезжать к дорожникам, отказавшись ехать на кордон, Клава не представляла себе, какую смуту подняла в душе Кондрата. Не то чтоб рушилась вся созданная им система, но она требовала дополнительного осмысления. Теперь для того, чтобы привести в равновесие свои весы, Кондрату нужно было продумать не только, что есть жена, но и решиться на дерзновенное: понять, что есть муж.

Я замечал: стоит только один раз задуматься человеку, и он пропал. Занесло по бездорожью в лес, и нет путей назад. Вопросы, как деревья, слева, справа; где тропа, где дорога, где верный ориентир, как выбраться? Хорошо, если сияет над головой солнце. Ну а если солнца нет? Куда направить путь? Мечешься туда, мечешься сюда и чувствуешь, как сжимается лес; просторный, он для тебя становится все теснее и теснее. Какие только вопросы не лезут тогда в голову! И о погоде, и о жизни, и о летящем облаке,— что небо? что земля? что птицы? Вопросы набрасываются на тебя, как голодные волки. Кажется, еще немного, и ты от страха окаменеешь. Бежать бы от них, да поздно.

В том, как основательно мыслил Кондрат, берясь за какой-нибудь предмет, я убедился раньше, в ту пору, когда он обдумывал, что есть жена. Возводя свою постройку, как говорится, с нуля, он забредал в такие умственные дебри, что проблемы добра и зла, войны и мира, справедливости и милосердия, того, над чем безнадежно бьется вот уж сколько времени бедное человечество, были для него сущей безделицей. Он перелопачивал эти вопросы, как землю в своем огороде. Иногда, поднимая свой мысленный огород, он просил помощи у меня. Я был ему плохой помощник. Голова у меня ходит кругом от высоких тем. Меня не надо пу-

тать в сложных вопросах, я запутаюсь в них сам. Что такое добро? Что такое зло? Я пытался в этом разобраться и отступил. Любой самый легкий философский трактат или научная статья для меня непроходимое болото, я тону в таких словесах, как «субстанция», «императив», «модус». Для моего ума они если и не пустые слова, пустых слов в природе не бывает, то непонятные слова; нечто вроде магических знаков, заклинаний. Я предпочитаю иметь дело с обычными, простыми словами, которые слышу и произношу каждый день: «вода», «небо», «дом», «навоз». Мой мыслительный аппарат так устроен, что он принимает и запоминает только эти слова, другие уходят от меня, как сновидения.

То, что Кондрат одолел такой сложный вопрос и пришел к выводу, что «жена есть жена», было его большой победой. Теперь предстояла работа посложней. Для размышлений нужны были тишина и уединение. А где их взять, хоть и в лесу? Круглый год по лесу ходит люд: то туристы, галдя и распевая туристские песни, то грибники, ягодники, то просто встречный человек — с ним покури, познакомься, поговори о погоде, а потом забудь его навсегда.

Такое многолюдство Кондрата теперь раздражало. Чтобы не отвлекать себя от дум встречами с людьми, он стал ходить в обход ночью; заметив костер, сворачивал в сторону, с грибниками, ягодниками, забредшими на кордон, разговаривал через дверь, чтобы не соблазняться долгой беседой. Запирал двери, закрывал ставни, прятался на чердак, в сарай, в погреб. Да разве может убежать человек от людей, от мира? То друг тебя потревожит своей радостью или бедой, то зверь какой на тропу выскочит, то солнце выкатится из облаков — смотри на него, радуйся,— то осока у реки зашумит. Нет, как ни старайся человек, за какие двери ни прячься, не уйти ему от мира никуда.

А тут еще Клава появилась на кордоне, обеспокоенная исчезновением Кондрата, и, узнав причину, не из обиды, а дабы вернуть к себе заблудшее дитя, потребовала возврата сорочек и костюма. Куда тут деваться?

...Спасаясь от волка, отдышавшись от погони, я вышел по узкой тропинке, проложенной через колючие заросли ежевики и малины, в редкий березнячок, наполненный душистым запахом лесных опушек, и через полчаса между деревьями увидел кондратовский кордон.

Первого мимолетного взгляда мне хватило, чтобы заметить, что на кордоне произошли какие-то изменения. Меня насторожил нелюдимый вид избы — ни струйки дыма из трубы, ни стука, ни человеческой речи, Изба напоминала могильный склеп, а не жилье. Я не понимал, в чем тут причина, почему изба кажется нежилой. Я испугался. Я подбежал к избе и затарабанил по бревнам.

— Кондрат, ты жив? — закричал я.

Никакого ответа. Я застучал громче.

— Да жив ты или нет, отвечай?

— Я-то жив,— донесся до меня из избы приглушенный голос Кондрата.— А ты жив?

— Жив.

— А раз жив, так и живи себе на здоровье.

Я посчитал, что он меня не признал, спутал с грибниками, и застучал снова.

— Жив ты или нет?

— Сто раз тебе говорить, что ли? — сердито ответил Кондрат.— Сейчас-то ты понял, что я жив?

— Понял.

— А раз понял, зачем ломишься?

Я объяснил ему, что ломлюсь, потому что испугался за него, но Кондрат меня успокоил:

— Поначалу я сам испугался, а теперь привык.

— Зачем же ты замуровал себя? — спросил я.

— Так мне удобней,— ответил он.— А то грибников ходит тьма и от дум отвлекают. Воды им дай, спичек, никак не укрыться от этого чертова племени.

— И надолго ты туда забрался? — спросил я.

— А навсегда. Мне, браток, дело предстоит серьезное.

— Преставляешь ли ты, что тебя ждет? — сказал я.— Что ты есть будешь? Стены грызть, что ли?

— Мне эти стены слаще хлеба,— ответил он.

— А лес, кто его охранять будет?

— Об этом ты не заботься, как-нибудь сберегу.

— А Клава? Она тебя ждет.

— Я ее сейчас видеть не могу.

— Не говори так,— сказал я.— Пройдет несколько дней, и ты опомнишься. Соскучишься по солнцу, по траве, сбежишь из своей норы.

— Я скорей глаза себе выколю, чем они увидят свет,

Он замолчал. Я пытался с ним заговорить — бесполезно. Кондрат добровольно обрекал себя на полное одиночество, а эта штука пострашнее смерти. Я боялся, как бы с ним не случилось беды. Я хорошо помнил историю с шестилетней дочерью Гуляевых Сашей. Отправляясь к соседям на пированье, они оставляли девочку одну в избе. Окна закрывали, на дверь набрасывали пудовый замок, боясь, как бы не стащили их барахло. А чтобы кто-нибудь из случайных путников мог подкормить девочку, вырубили в двери небольшое окно с решеткой. Саша ждала родителей и день, и неделю. Она дичала, худела, перестала говорить, она была близка к смерти. Однажды я привел ее к себе. В считанные дни она переменилась, бегала по лесу, ловила бабочек, валялась на траве, она была счастлива, рада, что оказалась не одна.

Я понимал Кондрата: познать, что такое муж, удается не каждому, но жизнь не слишком ли великая цена за это?

— Кондрат, выбирайся оттуда,— сказал я.

— Не могу.

— Тогда я тебя вытащу.

— Попробуй.

Я нашел возле сарая топор, размахнулся и ударил по избе. Изба превратилась в камень! Я приложил к камню ухо — внутри раздавалось довольное хихиканье Кондрата. Он таки добился своего.

Через несколько дней я проверил, так ли уж верны слова Кондрата, действительно ли обход его в порядке? Налегке я проскочил самые уязвимые места и порубок не нашел.

Исчезновение Кондрата не на шутку встревожило лесхозное начальство. Как тут поступить? Признать, что Кондрат умер? Но обход он охранял и был как бы жив? Признать живым, но кому тогда платить зарплату? Остановились на том, что временно занесли Кондрата в графу бессмертных, то есть как бы живущих и неживущих. Тем и удовлетворились. Недовольной осталась одна Клава. Она распространяла слухи, что Кондрат испугался женитьбы и, чтобы в будущем не платить алиментов, сбежал в неизвестные края. Но всем было ясно, что она не права, в ней говорило обиженное женское самолюбие.

17

Если бы кому захотелось совершить надо мной насилие, он бы сделал его легко — лишил меня леса. Я бы жил в городе и не умер. Ходил по улицам, работал, смотрел на городские деревья (деревья — везде деревья), сидел в узкой комнате коммунальной квартиры и не вспоминал бы про лес. Я бы забыл о нем навсегда. Забыл, что было хорошего и плохого, и не рвался бы по весне за город. Я бы страшился встреч с лесом. Я, человек, не боящийся леса, пока я жил в лесу, я бы боялся его в городе, как смерти. И никакие говоруны не могли бы меня уговорить съездить на кордон и посмотреть, как там идет жизнь, кто новый лесник, как выросли мои молодняки, заменен ли сруб у колодца, висят ли скворечни, растет ли дубок, посаженный мной в первую весну? В чужой лес я бы еще пошел — глупо лишать себя радости побывать в лесу, пообщаться с природой. Пособирал бы грибов, порвал бы ягод, походил просто так, потоптал тропинку, увидел бы зайца на опушке, послушал щебет дрозда. Но в свой лес я бы никогда не поехал, пусть бы меня тащили на канате. А если бы все-таки, несмотря на мои протесты, привезли, и тут бы со мной ничего не случилось. Я бы пошел по родимой тропке, по чащам, по овражкам, заглянул бы на речку, на бережок, где я когда-то любил купаться, посидел бы на пеньке, памятном одному мне, обнял березу, я бы обходил сосняки, ельники, березняки, встретил бы лося, ушел вслед за ним в самую глухую глушь и не вернулся никогда.

Это день за меня говорит. Что он говорит? «Сходил бы ты сегодня на прополку».— «Что-то не очень хочется».— «Мало что не хочется, мне тоже многое не хочется, а делаю».

И вот он ведет меня по лесу то по одной тропинке, то по другой, то влево заглянуть заставит, то вправо, то куст боярышника заметить, то трухлявый березовый пень, то сосну в окружении молодняка. Пеший ход в лесу легок и незаметен. Это в чужом лесу он заметен, когда леса не знаешь, когда он чужой тебе и ты желаешь поскорей из него выбраться. Тогда ты думаешь — где конец? И не устал еще, а кажется тебе, что устал,

и весь день впереди, и солнце в начале неба, а оно для тебя уже к западу клонится, и крик птицы не ласкает слух, а назойлив и неуместен. Силишься глазом подальше заглянуть за край леса, и ходьба для тебя как тяжелый, обременительный труд, как каторга. И не велик лес, а чужой — он всегда велик. Это потому, что не знаешь ты его. А свой лес не то чтоб не велик и не мал. Он и велик и мал. Но в нем ты как бы всегда на месте. И незачем тебе торопиться, незачем заглядывать за горизонт, птичью болтовню принимаешь как приятное добавление к твоим мыслям, тело дороги — продолжение твоих ног. Лес стоит, ты идешь, птицы поют — где тут неправда? Все на месте, все как и должно быть.

Знаешь, вон там за елкой будет поворот; а за поворотом оставшийся с войны старый дзот, где живет лиса; а чуть дальше низина, стоит тут вода с весеннего половодья до жаркого лета; а здесь тетерку однажды встретил с семейством, испугались птенцы — были и нет, испарились в папоротнике, а ты и сам испугался не меньше их, пока тетерка клохтала и прикидывалась раненой.

Этот участок дороги хорош вечером, когда опускается солнце, золотит вершины деревьев, и когда безветренно, удивительная стоит здесь тишина, будто тут центр мировой тишины, и разносится отсюда тишина по всему свету.

А этот — на взгорке — всегда хорош: и утром, и вечером, и при солнце, и в дождь; тут чисто, сухо, уютно, так и манит здесь посидеть, будто в уютную квартиру зашел, в гости к хорошему другу.

А здесь — березки, густые, тонкие, подступили к дороге; осенью осыплется лист — пятачки на дороге валяются, поднимешь — лист, бросишь — пятачок.

Тут лося убитого нашел, тут зимой сломал лыжу — ткнулся в незаметный пенек, и нет лыжи. Случай не бог весть какой важный, а помнишь.

Дорога поднимается выше, и сосны выше, лес густой, плотный, а вот и просека, столб квартальный, половина мира впереди, половина позади.

А там совсем темень, ели густые, угрюмые, страху нагоняют, тут какой-то охотник однажды прикрепил к ели записку: «Осторожно, рыси!» Для людей написал, не поленился. То ли сам увидел, то ли почудилась она ему в густом чапыжнике, то ли от других услышал, то ли на снегу след заметил. Возможно, что и заметил —

где их нет, следов в лесу,— только рыси здесь не водятся, да если и появятся откуда, то не опасные: пробежала стороной проверить — нет ли чего на обед, нарвалась на человека и канула. А вот дятлов тут много, всегда стук их веселый слышишь и пеньки наковален встречаешь, а возле пенька распотрошенные шишки.

Тут старая ель помирает, трухлявая, но живая, обжили ее муравьи, муравейник внизу, а лазают наверх, на ель, она для них и дом, и усадьба, и край света.

Тут когда-то грибника встретил, а он испугался и убежал от меня, как от волка. И так неловко мне стало за него и за себя. Что ж я хожу по лесу, чтобы грабить человека? Не хотел познакомиться — и не надо, но и думать о человеке плохо тоже чести не делает.

Тут листок сорвал, тут оступился, тут коробка от сигарет валяется уже год, тут стоял и улыбался неизвестно чему, и сейчас встал и улыбаюсь.

Идет по лесу дорога. Не чужой тебе лес, не чужа и дорога. В душу она не лезет, в сердце не заглядывает, что ей откроешь, тому и рада, и сама открывается ненавязчиво. А какая она — кто ее мерял? Не в шагах расстоянье. Уходишь в лес, точно с жизнью прощаешься, а где она, смерть? За какими соснами, за какими горами?

18

Слухи в лесу распространяются живее, чем в городе. Не минуло недели, как о моей победе над волком узнали и стар и млад. Бабка Карпиха бегала по селу и вещала по углам о вездесущем боге и его карающей деснице, настигающей любого окаянца, вздумавшего покушаться на чужое. Петр Жуков «со товарищи» отметили это событие великим пиршеством. Местное общество охотников сочинило в мою честь хвалебный адрес, там было столько громких слов и перечислений моих несуществующих заслуг, что мне неловко об этом говорить. Оно выделило делегацию из особо почитаемых представителей для вручения адреса на кордоне.

Охотники во главе с волчатником Либертонским приехали на машине. Говорили речи, провозглашали здравицы, меня называли героем, спасителем человечества и прочее. Дали залп из ружья. Я чувствовал себя неловко и стеснялся.

Из района на велосипеде прискакал журналист, рыжий малый, чтобы написать обо мне заметку. Мне были заданы вопросы: когда родился, много ли на моем счету волков, как я отношусь к прозе местных начинающих авторов, не собираюсь ли в Индию — там недавно объявился тигр-людоед. Я отвечал как мог.

С охотниками приехали кинолюбители и, несмотря на мое упорное сопротивление, принялись снимать обо мне фильм. Меня обвешали ружьями, патронташами, засунули за пояс топор, заставили ходить перед камерой у привезенного чучела волка, задумчиво и в то же время с решимостью глядеть вдаль, лазить на пожарную вышку, ласково поглаживать листья деревьев — это должно было говорить о моей любви к лесу, а в конце спеть песню «Когда я на почте служил ямщиком».

В результате этого многолюдного и живого сборища у меня пропал единственный топор с топорищем, сделанным еще дедом. Как выяснилось впоследствии, топор прихватили в качестве экспоната для будущего музея.

Я стал знаменит. Когда я появлялся в селе, мальчишки тыкали в меня пальцем и кричали: «Лесник идет, лесник!» В магазине меня один раз пропустили без очереди, а у продавщицы Фени нашелся для пшена бумажный кулек, но он мне был не нужен — к тому времени я наловчился носить крупу в старых носках. Но это еще полбеды. Утром солнце заискивающе заглядывало ко мне в окно. Сосны восторженно лепетали при встрече. Травы и цветы склоняли свои головы. Птичий гам преследовал меня на каждом шагу.

Меня не занимала эта бестолковщина. Что слава? — суета сует, она недостойна уважающего себя человека и способна больше навредить, чем принести пользу. Она раздражала меня и мешала жить. Ко всему этому шуму, поднятому неумеренно восторженными охотниками, я не имел никакого отношения.

Конечно, в общем-то плохого ничего нет, когда тебя уважают и чтут, когда ты видишь, что родился не зря и приносишь какую-то пользу,— на земле нет бесполезных людей, и я не понимаю тех выскочек, которые пытаются собой заслонить других. Я не против того, чтобы человека отличили за подвиг, за геройство, за верность и добрый труд: похвала, одобренье достойны человека; тебя похвалили, тебе признались в любви — благодари же за то, что выискалась такая возможность показать

себя; но я не признаю безмерного захваливания, поросячьего визга по поводу даже заметных заслуг. Потише, поскромней, поменьше шуму, — так и хочется сказать мне. Какая слава? Какие аплодисменты? По мне, лучше всю жизнь оставаться безвестным и отверженным, чем выслушивать похвалу.

Другое занимало мой ум. После встречи с волком мысли о добре волновали мое сердце. Теперь я точно знал: добро побеждает любое зло. Я узнал это не из книг — мало ли что из книг можно выковырять,— а на собственной шкуре. Мне хотелось поделиться с людьми этой важной и простой мыслью. Я пытался говорить — меня не слушали. Я упорствовал — надо мной смеялись. Я говорил о добре — мне отвечали, что все дело в силе и ловкости рук. Больше того, на меня стали смотреть с подозрением. «Что за чушь он несет? О каком добре болтает? Бедняга, слава вскружила ему голову». Но чем больше я видел отпор, тем сильнее росло у меня желание убедить людей в своей правоте.

Я лишился сна. Бессонница мучила меня. Стычка с волком раскрыла мне многое, если не главное в жизни. Мне не терпелось учить людей азбучным истинам. Да что не терпелось! Я жить не мог, чтобы не выложить то, что имел.

В прошлом году в тринадцатом квартале у меня был пожар, сгорело четыре гектара леса: заготовители оставили сучья, весной они подсохли и воспламенились,— добрая половина лесных пожаров случается по вине заготовителей. Я очистил пожарище, весной обработал землю и посадил саженцы. Сосенки принялись, да вот беда — осока буйно пошла в рост и заглушила молодняки. Я взялся за прополку.

Из всех лесных работ прополка — самое утомительное и нудное дело. Я готов день и ночь клеймить деревья, рубить их, трелевать хлысты, чистить просеки, просветлять молодняки, заготовлять дрова, собирать семена и лекарственные растения, вязать березовые метлы, ладить скворечни, косить сено, тушить пожары, ругаться с браконьерами — все это, может быть, у меня не всегда хорошо получается, но получается; хуже прополки нет для меня занятия. Кажется, сам черт придумал ее для лесников — ходи в наклонку да дергай травинку за травинкой. Сколько их выдернешь на четырех гектарах! К вечеру так намаешься, что распрямиться не мо-

жешь — домой горбатым бредешь. Осока жесткая, острая, как полотно косы. Руки в крови, голова идет кругом.

Но прав ли я? Думается, всякая работа, как бы она ни была тяжела, все-таки не столь тяжела, как кажется. Действительно, чего человек не может? Сеять на необозримых просторах? Отковать в кузне небесный свод? Достать со дна огнедышащего змея? Построить из песка вечный двигатель? Дай ему только мысль, а исполнение не заставит себя ждать. Нет в мире таких дел, которые были бы ему не по плечу. Помаленьку, потихоньку, не торопясь примется он за труд, как бы не замечая величия и грандиозности замысла, а точней, и не считая его грандиозным, будто он не небесный свод задумал ковать, а подкову для своей лошади. На что уж тяжко безделье, кажется, нет ничего тяжелее его на свете, так иной раз оно скрутит человека, к краю могилы подведет, а глядишь, помается бедняга, поворчит, поохает, поклянет судьбу и весь мир в придачу, отряхнется — и ничего, не умер и радуется жизни, и тягот на нем нет — как не бывало.

Дни стояли отчаянно жаркие. На небе ни облачка, на горелом поле, казавшемся мне бескрайним, ни тенечка, ни дуновения ветерка. Я разоблачался по пояс — на меня, как обезумевшие, налетали слепни. Это было какое-то особенно густое лето на слепней. Сроду я не видел такого ярого полчища. С воем, упрямо, дерзко совершали они облеты вокруг меня, точно били в цель, прошивая насквозь,— не слепни, а пули из автомата. Кроме слепней, да меня, да палящего солнца, никого не было вокруг, все попряталось в тень — и люди, и звери.

Чтобы как-то облегчить рукам работу, я брал из дому нож с широким лезвием и, когда немели пальцы, резал осоку ножом. Качество работы было, конечно, похуже, окаянная осока опять лезла вверх, как будто прополка ей была только на пользу, но что мне было делать. Я бы зубами ее грыз, чтобы спасти молодняки.

С завистью я думал: есть же, наверное, в других лесхозах машины, освобождающие людей от этого каторжного труда, сидят на них счастливчики и обрабатывают не четыре гектара, а сотни. Им мой участок — что голодной корове клок сена. Но и в своей работе я видел смысл. Намаешься недели две в наклонку, выщиплешь поле раз-другой — вот тогда поймешь настоящую цену

леса, и землю разглядишь во всех подробностях, она тут, перед глазами, и запах травы услышишь — он с тобой неотступно.

Всласть натрудившись, я валился прямо в молодняках навзничь и, отдохнув, побуждаемый какой-то внутренней силой, невзирая на то, что рядом со мной никого не было, начинал ходить по полю, размахивать руками и глаголить истину. Я говорил соснам о добре. Угрожал страшными карами. Терпеливо разъяснял, почему я прав. Я заклинал поверить мне на слово, а кто не хочет верить, пусть испробует на себе. Голос мой, наполненный страстью, то переходил на завывание, то рокотал, как вода на перекатах, со стороны можно было подумать, что передо мной не молодые деревца, едва начавшие жизнь, а толпа народа.

Саженцы равнодушно внимали моим словам. Им бы хотелось больше простора, света, а что слова, они не солнце — не светят, не греют. Но я был рад и тому, что они слушали меня и не возражали.

Вскоре я закончил с прополкой. Как-то на кордон наехал директор лесхоза и захотел посмотреть молодняки. Мы отправились на бывшую гарь. Молодняки были хороши. Они быстро взялись в рост, окрепли, опушились. Директор придирчиво осмотрел мою работу, похвалил, сказал:

— Молодец, потрудился ты на славу.

Я промолчал. Я знал: виной всему не прополка, измотавшая меня. Мои слова пошли на пользу соснам. И в этом не было ничего удивительного. Я был молоднякам не посторонний человек; хоть родил их лес, нянчила земля, заботился о них дождь, желал им большой жизни и богатырской доли ветер, учило уму-разуму солнце — все равно я считал себя их отцом и твердил им слова добра. Могли ли они не внимать моим словам? Сказано: доброе слово не горит, не тонет, не рассыпается в прах, не пропадает.

К молоднякам у меня особая любовь, и, что не менее важно, я чувствую себя ответственным за их судьбу. Конечно, известную роль в их жизни играют и земля, и солнце, и дождь, но основную — я отвожу себе. Раньше, когда я старался не лгать даже себе, мне почему-то казалось, что если про мою ложь никто не узнает, все

равно про нее кто-то узнает. Раз ложь есть — она есть, и лучше не прятать ее, а не иметь. У меня не находилось таких тайников, в которых бы можно было схоронить ложь, спрятать. И я старался поступать в жизни так, чтобы отвечать за свои поступки сполна. Это меня подтягивало, очищало. Теперь моим строгим судьей, всевидящим и всезнающим, от глаз которого не скроется ни один волосок, упавший с головы, были мои молодняки, мои дети. Перед ними я желал быть чистым, справедливым. Вид у меня временами был суров, я поднимал кверху правую бровь, я нахмуривался, я говорил им, пеняя: «Это что за безобразие? До каких пор будет продолжаться? Почему так, а не этак?» — но в душе я никогда не был к ним жесток и несправедлив, я их любил и суров был внешне, чтобы скрыть свою доброту и беспомощность.

Думаю, они прекрасно меня понимали. Я мог и оступиться, мог не понять их, ошибиться, мало ли чего в жизни не бывает, но у меня всегда хватало смелости сознаться им в этом, положить голову под топор. Разные встречаются отцы-лесники: отцы-пророки, отцы-милиционеры, отцы-командировочные, отцы-деды-морозы. Я старался быть справедливым отцом. И тут не было никакой разницы — чужие это были молодняки или мои собственные, посеял их я или кто-то постарался до меня. Какая разница, явились они на свет от меня или от кого другого? Напротив, я даже перегибал палку и к своим относился суровее, чем к чужим. Я считал, что те, брошенные, сироты и к ним нужно относиться теплей и привечать их больше, а моим достаточно того, что есть возле них я, их отец.

Не знаю, во что выльется мое отцовство. Дети есть дети, и трудно сказать, куда поведут их пути. В некоторых и сейчас мне что-то не нравится, и я воюю с их недостатками сурово и беспощадно. Я не жду от них благодарности. Возможно, повзрослев, встав на ноги, мужая, забудут они меня или оценят мои поступки не так, как бы мне этого хотелось. Возможно, я им покажусь слишком суровым и менее справедливым и мне не следовало брать на себя отцовства, пусть бы росли как хотели. Возможно, для чужих детей я стану не отцом, а дядькой и они сердцем своим прилипнут к тем, кто дал им жизнь, а потом ушли от них навсегда. Меня это не волнует. Я тружусь над молодняками не ради благо-

дарности и не для того, чтобы потом, когда я состарюсь, они целовали мне руки. Лично мне от них ничего не надо. Меня не смутит их уход. Пусть идут и сами становятся отцами. Я буду считать, что я сделал свое дело, и сознания, что я выполнил свой долг с чистой душой, мне хватит с избытком.

19

Лесники — народ пунктуальный и на этот счет заткнут за пояс любого самого пунктуального профессора, щеголяющего своей точностью. Если был уговор собраться для общих работ в семь часов утра, без пяти минут семь они уже на условленном месте, а ровно в семь примутся за работу. Часов у меня не было, а определять время без часов я не умел. Поэтому на первых порах, чтобы не опоздать на работу, я выходил заранее часа за два-три, а то и вообще, боясь не успеть к сроку, оставался ночевать в лесу или приходил на день раньше. Приносил с собой еду, котелок, чайник, разводил костер и ждал остальных. Разницы между тем, проводил я время на кордоне или в лесу, я не замечал. И там, и здесь была еда, огонь, зато я был спокоен, что не опоздаю. Однажды я прождал лесников неделю и, когда кончились у меня продукты, не дождавшись, вернулся домой. Я был взволнован недисциплинированностью своих сотоварищей. И успокоился, когда узнал, что в этой истории был повинен сам. Я перепутал дни и пришел на неделю раньше. Летом ночевать в лесу — сущая благодать. Но зимой, но осенью, когда мороз, когда беспрерывно льют дожди, и земля и небо наполнены до краев влагой, и негде укрыться, испытываешь некоторые затруднения. Я стал приучать себя чувствовать время по солнцу, по звездам, по свету, рассеянному во тьме.

Была еще одна психологическая особенность, из-за которой я не хотел опаздывать. Так повелось у лесников, и не мне менять их привычки (в дальнейшем я к ним привык и целиком их принял), что главным в работе было начать ее в срок. Кто приходил на полминуты позже, считался уже как бы за чертой. Если я или кто другой появлялся на горизонте, а в это время артель, крякнув, издавала первый рабочий вздох, тебе уже не было прощения. Работай ты потом в поте лица, таскай самые тяжелые тяжести, надрывайся без переку-

ров, оставайся сверхурочно, на тебя будут смотреть как на славного, но ненадежного малого («С этим в разведку не пойдешь!») и весь огромный трудовой день не перетянет тонкой золотой секунды твоего опоздания. Зато если ты начал работу вместе со всеми, ты можешь работать вполсилы, можешь, сославшись на боль в пояснице и на неотложные дела, которых нет, уйти в середине дня, можешь вообще не работать — тебе никто слова не скажет.

Вскоре я достиг определенных успехов и мог с точностью до минуты определять время без часов. Я определялся по солнцу, по звездам, по каплям росы, по шуму ветра и дыханию листьев. Меня можно было разбудить в любое время суток и спросить: «Который час?» И я бы ответил: «Без пяти два» или «Десять часов сорок восемь минут». Проверять мою точность было излишне, я говорил наверняка. Но оказывается, самый верный хронометр был заключен во мне. Я лежал с закрытыми глазами, я совершенно не думал о времени, но стоило мне подумать: который час? — и ко мне приходил готовый ответ.

Развившееся во мне чувство времени, безусловно, было благом. Теперь я мог спокойно распределять свой день, не заботясь о том, что куда-нибудь опоздаю и подведу товарищей. Я приходил, как говорится, тютелька в тютельку, и не я уже определял время по солнцу и звездам, а солнце могло с полной уверенностью спрашивать время у меня и браться за работу. Но это чувство времени принесло мне и хлопоты. Ни с того ни с сего я вдруг начал торопиться. Я колол дрова и торопился поскорей наколоть их. Я ел торопясь, не прожевывая пищу. Я шел по обходу, и не шел, а совершал легкоатлетический кросс, рысцой труся по дорогам и тропам, и чем быстрее я бежал, тем быстрее мне хотелось бежать. Я стал жить так, будто мне не хватало времени, чтобы прожить жизнь. Получалось: чем точнее я научился определять время, тем беспорядочнее оно двигалось.

Лет пятнадцать обещал лесхоз дать леса на баньку, но баньки на кордоне нет и в помине. Дед Иван ездил мыться в Белоостров. Собирался тщательно, предупреждал меня заранее об отъезде, ему было приятно, что есть причина побывать дома. Возвращался свежий, в

чистой рубашке, отмытый и обстиранный хозяйкой, как будто праздники дома провел. Как мылся я? Зимой топил жарче плиту, грел в ведре воду и, разоблачившись, стоя голышом в старом, найденном в лесу корыте, поливал себя из ковшика. С одного бока пышет разгоряченная плита, с другого — леденит крещенским морозом, а наверху душ. Отогреешь один бок, подставляешь к плите другой. Процедура нехитрая, и удобств не много, но вода есть вода, смоешь с себя грязь, ополоснешься, и как будто заново на свет родился. Чистый и легкий ныряешь в холодную постель, стучишь зубами, отогреваешь окаменевшее ложе собственным теплом.

Зато летом я брал верх за все зимние неустройства. Купаться ходил на Сестру. Выберешь пляж позатененней, подальше от чужого глаза, с девственным песочком, с затишком, не пляж, а пятачок в два-три шага длиной, но много ли надо человеку места, чтобы уложить свое тело; речка струится вдоль раскаленных берегов, пескарики плавают в глубине, дятел на березе долбит свою судьбу, кулик озабоченно носится по открытой косе; намылишься, отдерешь себя травой до синяков и кровяных полос, нырнешь в студеную воду, выскочишь как ошпаренный и обсыхаешь на солнце. Возбужденное тело гудит, как телеграфный столб на ветру.

В этот день я был на прополке, а наполовшись вволю, пришел на свой пляж помыться. Из-под камня я достал спрятанный кусочек мыла и начал раздеваться. Вдруг в кустах послышался шум, показалась голова человека с удочкой. Рыбак поздоровался со мной и спросил: не укажу ли я ему дорогу, он заблудился и не может выбраться на шоссе. Я обстоятельно рассказал ему, как нужно идти. Он поблагодарил и тут же скрылся. Я снял штаны, тельняшку. Что меня заставило обратить внимание на тельняшку, не знаю. Обычно я стремительно сбрасываю с себя одежду, не разглядывая, как будто я устаю от нее и она мне помеха. Но сейчас я глянул и ахнул: по шву тельняшки ползла вошь. Вот так подарочек! Что это со мной происходит, отчего у меня взяться вшам? Неужели я так опустился?

Я человек не брезгливый. Приходилось мне иметь дело с грязью и ходить в ней по уши, и я не вижу в этом ничего зазорного, не всякая работа терпит белоснежных халатов. Но вши — это не то богатство, которым я бы

хотел гордиться. Конечно, не всегда волен человек быть хозяином обстоятельств, бывает, что мы предполагаем, а они, обстоятельства, нами располагают, но завести у себя вшей или не завести — это зависит от человека. Тут не было для меня никаких оправданий. С яростью взялся я уничтожать вшей. Я воевал с ними целую вечность. Как время, текла мимо меня река, всходило и заходило солнце, где-то кричали птицы, падали от старости деревья и нарождались вновь. Я только иногда замечал, как с леса облетали листья. «Это осень»,— говорил я. Падал снег: «Это зима». Возвращались из южных краев утки: «Это весна». Наверняка где-то гремели войны, стихийные бедствия обрушивались на людей. Мне было стыдно, что я был занят столь пустым и ничтожным делом. Я просматривал каждую строчку, каждый миллиметр ткани и возвращался снова и снова, я хотел разделаться с позором, постигшим меня, раз и навсегда. Имел ли я право тратить на такое занятие вечность? Думаю, что не имел. И, несмотря на это, я ее тратил. Удивляюсь, как у меня хватило терпения сидеть так долго.

Наконец я расправился со вшами. Торопливо сунулся в речку, оделся и побежал на кордон. И тут в кустах я столкнулся с рыбаком, с тем самым, который спрашивал у меня дорогу.

— Извини, братишка,— сказал он.— Какой дорогой мне нужно идти, правой или левой?

Я проводил его до шоссе.

20

Собрался в обход. День ясный, небо чистое, а в середине прямо надо мной белое облачко. Отшагал я километр — облачко надо мной. Отшагал еще километр — облачко надо мной. Я на речку — и облачко на речку. Я от речки — и облачко от речки. Я иду зигзагом вдоль границ крайних кварталов — и облачко движется за мной зигзагом. Вначале я даже рад такой привязанности — все не один. А потом это соседство меня начинает раздражать. «Ну, что ты за мной привязалось? — говорю облачку.— Лети с богом, куда тебе нужно». Сказал и жду — улетит ли? Не улетает. Я ускоряю шаги — и оно ускоряет. Я бегу бегом, и оно бежит бегом. Я пытаюсь от него оторваться. Куда там! Ни на шаг не от-

стает, словно веревочкой ко мне привязалось. Спрятался в густом ельнике, переждал. Выглянул, а оно тут. Говорю: «Черт с тобой. Живи, как тебе хочется».

Выхожу на шоссе и иду левой стороной навстречу машинам, а машин нет. Замечаю какую-то птичку. Дождавшись меня, она вспархивает из травы на обочине, пролетает метра два вперед и, когда я подхожу, опять отлетает. И эта решила пообщаться со мной. Сколько ж она будет провожать меня, пичуга? Сто метров, двести? Провожала целый километр, пока я не рассердился на нее — тоже придумала занятие меня провожать, как будто поважней дел нет.

Зашел в двенадцатый квартал, иду и чувствую на себе чей-то взгляд. Ног не останавливаю, а сам думаю: кто бы это за мной мог наблюдать, кому я так интересен? И не то что неловко мне от чужого взгляда — кто-то меня видит, а я его нет,— но смешно: спрятался сзади, за спиной, думает, что останется незамеченным. А не заметить невозможно. В лесу и спина имеет глаза. И не постоянно на меня смотрит, а с перерывом. Посмотрит, не посмотрит, потом опять посмотрит. Любопытно мне стало. Быстро оглядываюсь и вижу на тропе лису: она в это время пересекает тропу и смотрит на меня. Как это раньше я про нее не догадался. «Ага,— говорю ей,— меня сопровождаешь? Боишься, как бы чего со мной не случилось, тоже мне опекунша нашлась. А что со мной случится? Споткнусь ли я и расшибу голову о землю? Волк меня растерзает? Или от собственных дурных мыслей повешусь на сосне? Как бы не так. И голову не расшибу, и волк меня не тронет, а дурных мыслей у меня вовсе нет. Дурных — чтобы тянуть на шею петлю. Иди,— говорю ей вдогонку,— нечего попусту шляться. А за меня не бойся, не пропаду».

Добрался к полям — бабочка-капустница за мной увязалась. Обпорхала меня своими крыльями, обнежила, бесцеремонно села на вершинку уха и не улетает, как будто мое ухо — не ухо, а цветок или душистый куст. Так и иду с бабочкой на ухе. И спугнуть бы, и жаль — ноша не тяжела.

К вечеру возвращаюсь лесной дорогой домой. А над головой сова курсирует, то вперед улетит, то назад вернется. Низко летает, вот-вот заденет мою макушку. «Эй, слепая, что ли»,— говорю сове. Голову в плечи вжимаю,

кто знает, может, и вправду слепая. Да только слепых сов в лесу нет, все как есть зрячие.

На кордоне, уже ступив на крыльцо, гляжу на темнеющее небо. Белое облачко, как было надо мной утром, так и сейчас стоит. Целый день оно меня сопровождало, а я о нем забыл. Ложусь в постель, а сам думаю об облачке. Улетит или не улетит? Раз вскочил с постели, выглянул в окно — не улетело. Второй раз вскочил — облачко едва в темноте угадывается. В третий раз вскочил — облачка не видать, небо темно, но я чувствую, что оно здесь, со мной рядом, сторожит меня, мой друг бесценный. Окончательно ложусь и засыпаю.

Кто-то сказал, что камни на дороге ничьи, а так ли они ничьи? Мы говорим: наши поля, леса,— не слишком ли мы привыкли распоряжаться чужим? Конечно, леса, моря, горы — наши, не зря за них отдали кровь деды и отцы. А чьи камни на дороге? Увядший цветок на опушке? Лист на ольхе? Почему мы без церемоний берем на дороге камень и бросаем его в столб — такое у нас хорошее настроение,— топчем на опушке цветок, ленясь его обойти, по рассеянности срываем листок ольхи с дерева и крутим его в пальцах? Неужто они никому не принадлежат, эти создания природы, или принадлежат всем и каждый волен ими распоряжаться как хочет? Думать так было бы непростительным легкомыслием, за которое мы дорого заплатим, если будем упорствовать в своих убеждениях. Солнце на небе принадлежит небу, камень на дороге — дороге, лист ольхи — дереву. Все, что есть в лесу, в мире, принадлежит кому-то: ревность, кусок хлеба, и неплохо бы нам знать, кому это принадлежит.

На сорок шестом километре у шоссе лежит огромный камень-валун. Я любил этот большой камень летом, когда он нагревался на солнце, я сидел на нем. И оттого, что он был теплый, мне казалось, что я сижу не на камне, а на коне. Как-то туристы вонючей белой краской расписались на нем: «Саша» и «Маша», тем самым как бы присвоив камень себе, заявив свои права на него. Видно, он им очень понравился и они бы прихватили его в Ленинград или в какой другой свой город, да не донести — слишком тяжел. Вот и оставили на дороге. Теперь лежит эта крашеная уродина с аршинными

буквами, и я, пугаясь, обхожу ее стороной. А в чем он виноват? Что какие-то туристы решили присвоить его и оставили подписи? С таким же успехом они бы могли присвоить небо, и расписаться на нем, или звезды. А почему бы, думаю я, камням и деревьям, на которых расписываются любители отечественной словесности, не поменяться местами с этими любителями, не ставить клеймо на ясные лбы этих Саш и Мань? Ходили бы те, заклейменные, с надписями на лбу: «серый камень», «большой дуб», и все знали бы, что эти люди принадлежат тому-то и тому-то. Камни такого не делают и не сделают никогда, они благородны, они никого не хотят брать в рабство, они сами свободны и других желают видеть свободными. Будем же смиренно им подражать.

Про такую смиренность мне бы хотелось сказать несколько слов. Подражать камням не надо. Это не тот предмет. Подражать герою, воину, мудрецу — святое право. За долгие годы человечество родило немало дивных имен, только захоти следовать им, а за образцом дело не станет. Знаем мы и храбрецов, которые шли на смерть, не боясь смерти, и славных поэтов, чьи песни очаровывали мир, и борцов, правдолюбцев, мучеников, чей свет сиял нам из глубины веков яркой звездой. Это ли — камни, это ли — дерева? А разве — не камни, не дерева? Каким нужно быть крепким, чтобы не побояться смерти? Нет, подражать камням мы не будем, мы будем крепки и сильны, как они, и тогда нас не сломает никакой враг.

21

Я уже говорил, что, оставшись без деда, я много пел. Я пел на кордоне, пел, шагая по дорогам, пел на шоссе, в поле, так что лес наслушался моих песен вволю. Единственно, чего я стеснялся,— петь при людях. Хоть был у меня слух и голосом бог не обидел — мне даже иногда нравилось, как я пел, а признанием моих способностей мог служить тот факт, что я успешно выступал на флоте в художественной самодеятельности, — все-таки я стеснялся петь при людях и больше пел без слушателей, один, для себя.

В лесу умение петь мне особенно пригодилось. Конечно, я пел и в хорошем настроении, трудно удержать себя в немоте, когда ликует твоя душа, ты вроде бы и не

собирался петь, но поет душа, и ты заливаешься соловьем. Такое пение прекрасно. Но пел я не только от ликования и восторга, пел и по иной причине. В лесу я убедился, что, если у тебя плохое настроение, самое верное средство не отчаиваться, не пережевывать в себе в сотый раз страхи и сомнения, если с ходу их не одолеть, а лучше приняться за песню. И она поможет. Не знаю, какая тут действует скрытая механика, как уводит песня от дурных мыслей и угнетенного состояния, но опыт показал: стоило мне наораться два часа кряду, как все сомнения исчезали, я был бодр и здоров и чувствовал себя на верху блаженства.

Тут-то я и разгадал тайну певцов. Хитрецы, мы думаем: они, распевая райские песни, вливают в нас божественный напиток, чтобы душа наша веселилась, а они сладкоголосят для собственного удовольствия. Пусть не убеждают они меня, что отдают душистый мед людям — они его отдают, иначе бы мы их слушать не стали,— но отпускают ровно столько, что мы успеваем лишь пригубить чашу, сами же выпивают ее до дна. Но стоит ли осуждать их за это? Кому, и в том числе мне, не хотелось когда-нибудь выпить эту чашу до дна?

Одно время у нас работал лесником Володя Раменский, натура возвышенная и поэтическая. Не мудрено, что он писал лирические стихи. Каждый стих его был соловьиной песней. Слушая его, лесники только головами покачивали, уж очень здорово брали они за душу. Удавалась ему и сатира, эпиграммы на пьяниц и лежебок — жанр, как известно, требующий особого таланта. Редактор стенной газеты, он же председатель месткома, он же член кассы взаимопомощи, Антон Антоныч Терпило, мужик, у которого руки зудели к общественным нагрузкам в ущерб основной работе лесника, регулярно помещал Володины стихи во второй колонке, после передовицы. Лесники, обычно чувствительные к критике, даже справедливой, не имели к Володе никаких претензий, хотя своими стихами он задевал их весьма больно. Прочитав эпиграмму и рассмотрев сопровождающую эту эпиграмму картинку, изображающую их в каком-нибудь бедственно-недостойном виде (картинки срисовывал с журнала «Крокодил» все тот же Терпило), лесники надолго погружались в пучину своих душевных

терзаний, задаваясь вопросом: в самом ли деле они так безобразны и плохи? В конечном счете, через какое-нибудь время, час или два — продолжительность времени тут не имела значения, важен был результат,— получив из глубин души сигнал, что они действительно безобразны и плохи, удивлялись, покачивали головами, как бы открыв в себе доселе неизвестные им качества: вот, мол, на что мы способны, ах, как нехорошо получается, ах, как обидно, а мы-то не знали,— хлопали Володю по плечу, приговаривая: вот молодец, вот угадал не в бровь, а в глаз, здорово ты нас пропесочил, и отходили в сторонку, уже как бы неся на плечах осознанный груз вины. И было видно: ругай их директор на собрании три часа кряду, вызывай по одному в кабинет для душевного собеседования, стращай их, уговаривай, не прочти они Володиных стихов, ни за что не приняли на себя бы никаких обвинений; все слова, брошенные в их адрес, посчитали бы незаслуженным упреком, пропустили бы мимо ушей, как нечто чужеродное, не касающееся их. Вот какую силу имели Володины стихи.

Будущее Володи представлялось нам многославным. Ему пророчили великую долю поэта. На районном конкурсе лесников-самородков он за свои поэтические творения получил первое место, в качестве приза ему был вручен фанерный топор, наподобие алебарды, являющийся по замыслу авторов приза символом грозного, карающего наши недостатки оружия.

Он был молод, но какая-то болезнь его угнетала. Володя тускнел на глазах. А однажды его забрали в больницу. И все тотчас про него забыли. Жил он с нами, тормошил нас своими стихами — и помнили о нем, говорили хорошие слова, а ушел — как будто не было его никогда. А некоторые если и вспоминали, то с неудовольствием, даже с какой-то злобой — мол, болеет, а за него лесхозный план выполняй. Как несправедлив и короток на память бывает иногда человек!

С председателем месткома мы как-то поехали в город навестить Володю. Повезли банку клюквы и килограмм апельсинов. Передачу у нас приняли, а в палату не пустили, несмотря на шумные и требовательные наши протесты. И все-таки мы увидели Володю. Это было наше последнее с ним свидание. Он каким-то образом узнал, что мы околачиваемся у больницы, высунулся с пятого этажа в окно, и мы успели перекинуться с ним

десятком слов. Он был счастлив и весел, он улыбался и заверил нас, что скоро вернется в лесхоз. Но он не вернулся. Через месяц директор лесхоза получил бумагу, где говорилось, что Володя умер. Смерть его была неожиданной и нелепой. Лесники гадали, что же с ним произошло, отчего он умер? Не иначе какая-то новая злая болезнь прихватила его. А по-моему, тут все было просто: люди забыли о Володе и ему ничего не оставалось как умереть.

К югу от кордона, за зеленым лугом, за прудом, пересыхавшим в жаркое лето, лежало поле. Будь я ученым, я бы обязательно написал историю этого поля: она протекала на моих глазах. Я бы написал, как вначале никакого поля здесь не было. Стоял лес и шумел вершинами деревьев. Осенью явились заготовители. Я отвел им границы делянки. Они начали рубить: сосны и ели на деловую древесину, березу — на дрова. Весной заголубели вагончики механизаторов. Мощные бульдозеры корчевали пни, выворачивали гранитные валуны, сгребали весь хлам из камней, веток, земли и мелкоразмерного леса в высокие курганы, на которых потом буйно разрослась малина. В ту же весну тракторист Прохоров первый раз вспахал поле и засеял его. Поле дало ничтожный урожай — слишком слабы оказались почвы,— и потом, в следующий год, оно не порадовало урожаем. Его пытались удобрять, но удобрения рассыпали небрежно, где попало и как попало, и белые горки порошка, брошенные в спешке нерадивыми хозяевами, можно было встретить на дороге, у колодца, в лесу. Зато поле было урожайным на камни. Они рвались из земли. Я сам это видел. Каждый год рабочие совхоза, прицепив к трактору стальной лист, ездили по полю и собирали крупные камни, мелких же было в таком изобилии, что убирать их было бессмысленно. За крупными камнями приезжали солдаты, грузили на машины и увозили для своих нужд. Место это прозвали Камушки.

Сеяли рожь или горох с овсом. Когда горох поспевал, я часто держал путь через поле, хотя и давал крюк,— трудно было удержаться от соблазна не пощипать зеленых стручков. Делал я это как бы нехотя, тайком от совхозных рабочих (не дело леснику, ловящему воришек, самому становиться вором). Случалось, забре-

дала в овсы Сильва. Ее набег был пострашней и поопасней моего. Тогда ко мне наезжал совхозный бригадир, составлял акт и я выплачивал за потраву штраф.

Был полдень. Солнце стояло в зените. С Финского залива дул ветер. День выдался удачный, один из тех дней, когда природа желает показать себя во всем совершенстве: небо чисто, солнце ярко, ветер ласков, поле бесконечно, травы душисты, когда, глядя на всю эту красоту и лепоту, явленную миру, обрадованная душа ликует и поет.

Я вошел в горох и сунул было стручок в рот, как услышал пение жаворонка. С горошиной во рту я задрал голову. Жаворонок висел над моей головой и пел. О чем он пел? О чем поет поэт в минуты вдохновенья? О том, как бездонно небо, как вольно гуляет ветер по травам, как велик простор, как «украсно украшена земля и многими красотами удивлена еси», о счастье, о любви и о прочем другом, на что поэтическая натура чутко откликается дивными звуками.

Пел жаворонок славно. Слушая его песню, я вдруг увидел этот день еще прекрасней, чем он виделся мне до песни, его красоту можно было выразить лишь одним словом: «Славься!» Но жаворонок пел еще яростней, он трепетал, его прямо распирало от песни, казалось, песня не может вместиться в его крошечном теле, что наступил предел и ему не одолеть заветной чаши, а он заливался голосистей и голосистей: кто поет, тому любая мера мала. И вдруг песня оборвалась. Жаворонок сложил крылья и камнем упал вниз. Я бросился к нему, поднял — он был мертв. Я этого ожидал. Всему в мире есть предел. Есть он и у поэта. И выше заветной черты никому не переступить. На моей ладони лежал не жаворонок, а камень, мертвый, холодный, лишь внешней формой отдаленно напоминавший птицу. У меня заныло сердце от такого несчастья. Я стоял, не зная, как быть и что делать. Сразу пропало все очарование дня, потускнело солнце, пожухли краски. Не успел я прийти в себя, хорошенько поразмыслить, что мне предпринять, чтоб оживить, спасти птицу, как в небе зазвенел другой жаворонок. Он пел звонче первого и, отпев свое, камнем упал вниз, как и первый. Судьба уготовила мне страшное испытание. То, что творилось перед моими глазами, было какой-то непонятной, необъяснимой несправедливостью. Жаворонки поочередно взлетали вверх, пели

свои песни, а потом, не выдержав переполнявшего их напора, падали вниз и умирали.

Я подбегал к окаменевшим и онемевшим певцам, поднимал их с земли, дул на них, пытаясь согреть своим дыханием, клал за пазуху. «Что же случилось? — думал я.— За что такая несправедливость? Неужто я прав, и чашу не выпить, ибо на дне ее смерть?»

Мне было жаль этих пернатых певцов, я отнес их на кордон, а сам не переставал думать о невозможном: как оживить их, спасти. Я высоко ценю современную медицину, сам испытал на себе ее чудодейственное дыхание, да что там испытал, был вырван из лап смерти, но что бы мне ни твердили о медицине искушенные во врачебном деле мужи, какие бы чудеса ни расписывали, я твердо знаю одно: не лекарства, не скальпель, не изотопные пушки способны творить невозможное, а любовь, тепло. Но где мне было взять это тепло? Моя жаркая плита, спасавшая меня в суровые зимние холода, в таких случаях не годилась. Я положил окаменевших жаворонков под подушку, а сам осторожно, стараясь не придавить их, прилег рядом. Ночью я не сомкнул глаз и думал о птицах.

Во время перекура или краткого отдыха после обычных лесных работ — санитарной рубки, клеймовки — мы, лесники, рассаживаясь в кружок и вынимая из сумок свой немудреный завтрак, частенько вели разговор о поэзии под треньканье какой-нибудь пичуги. Мы отдавали поэзии весьма высокую дань, говорили о священном пламени поэта, критиковали каждую мелочь. Но меня наши рассуждения не слишком трогали, я считал, что песня живет для того, чтобы ее слушать, а не ковыряться в ней,— хотя что были мои знания? Мудрецы и гурманы, лесники за время жизни в лесу наслышались стольких песен, столько процедили их через барабанные перепонки, что в каждом из них давно горланили от зари до зари рощи соловьев, чижей, зарянок.

Нередко начинался спор, мнения о достоинствах того или иного певца разделялись. Одни признавали только пение соловья, этого непревзойденного классика песни, старались доказать, что только он, соловей, достоин чести носить высокое звание поэта. Называли его солнцем поэзии, правдой и светочем жизни, своим пением исчерпавшим глубины до дна. Иные не соглашались, они корили соловья за усложненность стиля и даже

якобы за несамостоятельность, заявляя, что весь талант и все заслуги у соловья от подражания другим, что поэт он поверхностный и берет не чувством, а мастерством, а истинная суть искусства в простом нутряном чувстве, и что никакая самая разухабистая трель соловья не сравнится с простеньким коленцем синицы, которое, хоть и бесхитростно, но идет от души, а что от души, то и гениально. Находились и такие, которые не принимали первых и вторых, заявляя, что дело поэзии не в счастливом удивлении и прославлении красот жизни, не в ребячьем оптимизме, а в выражении страдания, что жизнь есть трагедия и, кто воспринимает и выражает ее в трагическом плане, тот выше всех. Таким по сердцу приходился жалобный напев иволги, отчаянное стенание чибиса. Даже вещее карканье ворон, даже демонические завывания мистика филина, до холодного пота пугающие путников в ночи, имели своих приверженцев. Споры были горячи и выражали разные взгляды на суть поэзии, иногда они переходили границы мирных бесед, начиналась брань, впрочем, все кончалось миром.

Кончался перекур, кончался завтрак, лесники складывали в сумки остатки еды и под треньканье все той же пичуги брались за топоры, за клейма. У каждого человека свое понимание прекрасного, у каждого певца своя песня. Дело ведь не в том, как кто поет — весело ли чирикает, как воробей, простодушно умиляясь малому, растекается ли завораживающей дробью, от которой в душу находит прилив веселья, меланхолично ли тянет грустную ноту, бухает филином, являя миру свои пророческие страхи,— все они хороши, движет их песню искреннее чувство, у каждого найдется свой почитатель, а в том дело, что не стань их, умри они, выродись или погибни, и мир осиротеет. Как же мы должны беречь и охранять наших певцов, любить их, чтобы они не погибли. Но выходит обратное. Мы-то, может быть, их и бережем, а они себя не берегут и подчас расплачиваются жизнью за добрый привет человеку.

Я не мог допустить гибели жаворонков. Лежа в постели, я отогревал их всю ночь. Я старался думать только о самом хорошем, я убежден, что хорошие мысли способствуют хорошему делу. Утром я отнес жаворонков в поле. Солнце поднималось. Остывшее за ночь поле с готовностью принимало тепло, вдыхало его в себя, точно пробудившийся человек. Я положил жаворонков на

землю, они не проявляли признаков жизни, но я верил, что они оживут, я вложил в них все тепло, какое у меня было, я весь дрожал от утреннего холода, тело мое покрылось гусиной кожей. Я отошел от жаворонков, чтобы не мешать им, и стоял в ожидании. Солнце пригревало сильней, подул ветерок. И вот из гороха вылетел первый жаворонок, за ним второй, третий. Начинался день, и поле оглашалось их звонким пением.

22

Я заметил, у русского человека, уроженца северных лесных областей, в разговоре есть какая-то мягкость, вопросительность интонаций. Он не скажет: «Я взял» или «Я пошел». В его устах даже такие, сугубо утвердительные предложения звучат вопросом: «Я взял?», «Я пошел?». Не то чтоб он, говоря это, не был уверен в совершаемом действии, он возьмет, что ему надо, и пойдет, куда захочет, но предварительно он как бы ждет у собеседника ответа: согласен ли тот на его поступок, не доставит ли этот поступок собеседнику какого-нибудь неудобства?

Для меня это было тем более странно, что я даже там, где требовался вопрос, говорил резко, утвердительно. А вот в беседах с лесом я не был столь категоричен. И с собой не был. У меня тоже появилась та самая полуутвердительная, полувопросительная интонация. Встречая утро, я не говорил: «Утро», хотя оно было вот тут, рядом, наяву, у моих глаз. Я спрашивал себя: «Утро?» Видя дерево, не говорил: «Дерево», а обязательно с вопросом: «Дерево?» Я точно прислушивался к себе, как лось на речке прислушивается к шороху листьев.

Как-то вслушался я в шум леса и услышал не крики зверей, не пение птиц, не шорох листьев и лепетанье трав, а звуки трубы. Это было странно. Откуда бы взяться в лесу трубе? Ну, горланили по лесу туристы, ну, орали на полную мощь включенные транзисторы и магнитофоны, ну, пиликал на гармошке, гуляя по своему обходу, лесник Васин,— но все это были звуки знакомые и чужие, а звук трубы был совершенно незнакомый и родной. Доносился он едва-едва, я его чуть улавливал и боялся, что он пропадет, но стоило мне напрячь слух, и звук нарастал, ровный, круглый. Он был аккуратный, как яичко, он катился по лесу из глубины лесов,

достигал меня и бежал дальше, и, по-моему, не было ему ни начала, ни конца. Огибал шар земной и опять возвращался. Удивительный был звук — чистый, золотой. Послушав его, я вроде и сил набирался, и чудно мне становилось, весело как-то беспричинно, будто трубил в трубу не лес, а я сам.

Сидя на берегу, я всматривался в речку (кто не глядит на нее?), но видел не речку и слышал не ропот струй — я видел девушку, она говорила мне нежно, то радовалась моим успехам, то огорчалась неурядицами, с ней хорошо было молчать, она говорила, а я молчал, и я не возражал ей, что бывает со мной не часто, не сердился, что она не понимает меня, что у нее своя точка зрения, а у меня своя. У нас было полное единство взглядов, хотя какие могут быть общие взгляды у меня и у речки?

Скворец на ветке во дворе пел свою песню. Я вслушивался в дребезжанье, пиликанье, мяуканье скворца и видел не скворца — я видел перед собой мудреца, философа, поучающего меня, как надо жить. Сколько тут было советов, и все такие умные! Какая отточенная логика, какие обширные знания! Наверняка этот скворец был из философов философ, и нашим мудрецам не снились те истины, которые он изрекал. Он бодро смотрел на жизнь; хотя в его бодрости временами чувствовалась какая-то горечь, но эта горечь, безусловно, была от его мудрости.

Я слышал шум ветра. Ветер рвал листья, выдувал посевы, он был жестоким и злым, но это для меня был не ветер, а человек, он приносил горе и страдание, и этим человеком был я. Я не хотел быть жестоким, сердцем говорю, не хотел, я презирал себя за это. Какие пытки я устраивал себе — кто тому свидетель? Дождь поливал меня щедро и благодатно, и я был дождем. Цветок попадался на глаза при дороге, невзрачный лесной цветочек, на который, кроме солнца да какой-нибудь захудалой бабочки, никто никогда не глянет, не обратит внимания,— я был цветком. . .

Когда же я встречал в лесу человека, я видел не человека, неважно, кто это был, мужчина или женщина,— я видел ту же речку, лес, я слышал тех же птиц, ветер. И я радовался человеку, он был мой брат, как я радовался и принимал свое родство с речкой, с птицами, с лесом, с травами.

23

В старину в наших лесах жил монах-отшельник. Взыскуя града небесного, построил он скит и, удалившись от земных сует, принялся изнурять свою плоть постами и молитвами. Все шло у него хорошо. Высшая истина вот-вот должна была засиять перед его взором. Монах усердствовал и бдел, но богу казалось этого мало. Чтобы проверить крепость пустынника, напустил он на жилище муравьев. Заскорбел отшельник духом; не в силах терпеть бесчинство насекомых, попросил у господа освободить его от лихой напасти. Бог не торопился, а монаху жить стало совсем невмоготу, измучили монаха муравьи. Пробовал монах прогнать муравьев, но они не уходили. Отчаялся он и возопил: «Помоги, господи, а не то пропаду». И приснился монаху сон, и во сне бог сказал монаху: «Ты славно потерпел, за это открою я тебе истину, а заодно и муравьев прогоню». Заснул монах в темноте духовной, а проснулся прозревшим. Глянул — и муравьи от него ушли. Воспел тут монах славу всевышнему.

Я вспомнил эту историю, рассказанную старухой Карповной, когда на меня напали муравьи. То утро не предвещало никакой беды: как обычно, исчезла тьма и наступил свет, взошло солнце и разбудило меня первым прикосновением. Тихо было в избе, как бывало и раньше в утренние часы. За бревенчатой стеной стоял лес и просыпался вместе со мной. Так же, как и всегда, я поднялся с постели, застелил ее, растопил плиту. И попытался обдумать, как на сухое место доставлю жерди. Утреннее время в лесу благословенно. Ты проснулся, и лес проснулся. Ты стряхнул с себя бремя сна, и лес стряхнул. Ты готовишь себя к новым испытаниям, и он. Не скажу, что я не любил вечера, полночи, полдни, они тоже имеют свою прелесть, но утро — это чудо из чудес, и кто не понимает этого, тот не понимает ничего в жизни. Радостная, мучительная пора. Утром на меня накатывал такой прилив чувств, что от избытка их мне хотелось не взлететь, а припасть к земле, уйти в ее глубь, зарыться, как в стог душистого сена.

Я сел за стол завтракать и вдруг заметил на столе муравья. Кордон был пристанищем не только для меня одного. С весны крышу обживали мухоловки. Под стрехой ласточки вили гнезда. Осы заняли чердак. Всевоз-

можные жучки и паучки ютились в бревенчатых стенах. Паук Павел жил с первого дня моего приезда на кордон и не собирался никуда уходить. Рыжий лис зимой оставлял на крыльце метку, видимо считая кордон своей собственностью. Осенью синицы бойко клевали замазку на стеклах и нахально дергали из щелей паклю. В сени заглядывала белка. В открытое окно залетали бабочки и шмели, а однажды с шумом влетела сова и порядком меня напугала. Кроты нагребали фонтанчики земли на огороде. Мыши и крысы обитали в подполье. Я уже не говорю о сойках, сороках, воронах, рысях и лосях, рыскающих возле кордона, когда им вздумается. Всю живность, кроме крыс, я не трогал. Я считал, что они имели на жилье такое же право, как и я. Не тронул я и этого муравья, полагая, что он забрел ко мне в гости случайно. И тут почувствовал, что кто-то укусил меня в открытую щиколотку. Я нагнулся. Боже! Весь пол был усыпан муравьями и казался черным от них. Несколько муравьев успело забраться ко мне под штаны. Кусались они больно.

Я стоял посреди избы и раздумывал. Что мне делать? Гнать муравьев с кордона или оставить? Мне не жалко было дома, пусть бы селились и жили на здоровье, раз им так понравилось у меня, только бы соседство наше было мирным. Я оставил их до вечера в надежде, что они погостюют и вечером уйдут. И действительно, вечером их как будто стало меньше. Но едва я лег в постель, как они с жаром атаковали меня. Я лежал на постели точно на раскаленной сковородке. Утром муравьев стало еще больше. Они ползали по стенам, забирались в тумбочку с продуктами, в банку с сахаром. Стоило ступить на пол, и они вонзали в меня свои челюсти.

Некоторые утверждают, что я терпелив, как вол. Даже дед Леонов замечал за мной эту особенность. Помоему, люди ошибались.

Когда кто-то попадает в трудную ситуацию, я реагирую незамедлительно и иду на помощь, но когда трудности касаются меня, тут я действительно становлюсь пассивен, инертен и не предпринимаю никаких действий. Я словно чего-то выжидаю и терплю до последнего упора. В этот период я могу вынести столько насмешек, издевательств, оскорблений, столько беззастенчивого и наглого разбоя и насилия над собой, что иной на моем

месте, человек с более развитым чувством собственного достоинства, давно бы от стыда повесился или пустил пулю в лоб. Но происходит это не оттого, что я терпелив. Мне почему-то кажется, что обиды относятся не ко мне и не касаются меня. Я не замечаю их, не таю на обидчика вражды. Многим в это время кажется, что я тряпка, баба и трус, неспособный постоять за себя. Иногда я и сам ругаю себя за свою мягкотелость.

Я прожил с муравьями неделю и понял, что жизнь с такими соседями требует нечеловеческого терпения. Муравьи шныряли всюду. Нельзя было сесть, встать, поднести ложку ко рту, они облепляли меня и лезли в рот, в уши, в волосы. Я пробовал осторожно вымести их из избы. Куда там! Они лезли обратно. Я полил пол бензином — это их еще больше расшевелило. Я вынес сахар, продукты во двор, нате, мол, ешьте и убирайтесь. Ворона прилетела и начала деловито хозяйничать в кульках, муравьи не шли. Спросить, как выгнать муравьев с кордона, было не у кого. Да и кто знает это средство? Судя по истории с отшельником, единственным средством против муравьев был сам господь бог, но, имей я луженую глотку, голос мой не дошел бы до него. Я ведь был не монах, не отшельник.

Беспокойство и раздражение овладело мной. Обычно гостеприимный и не в меру усердный к гостям, сейчас я злился не только на непрошеных пришельцев, но и на работу, на лес. Мне казалось, все настроено против меня. Бедный, несчастный, зачем я родился на этот свет? Чтобы терпеть одни мучения! Я пробовал говорить с муравьями по-хорошему, живите, мол, братцы, кордона всем хватит, но не трогайте меня. Что я сделал вам плохого? (И в самом деле, плохого я не сделал им ничего.) Им было плевать на мои речи. Я увещевал их: «Как вам не стыдно, забрались в чужой дом, а ведете себя безобразно». И на это они не обращали внимания. Разозлившись, я обратился к ним с такими словами: «Хорошо,— сказал я,— ваша взяла. Хотите жить на кордоне одни, живите. Я пристроюсь где-нибудь во дворе. На дереве ночевать буду. Совсем уйду из леса. Но тогда берите в руки топоры, рубите просеку, ловите браконьеров, охраняйте лес». Но они не хотели и этого.

Не помня себя, схватил я огнетушитель (я держал в нем бензин для лампы), облил угол избы, где скопилось полчище муравьев, и поджег. Пламя вспыхнуло

тотчас. Я облегченно вздохнул. Оказывается, как легко и просто можно освободиться от своих мучителей.

День стоял жаркий. Трухлявые бревна занялись, как порох. Огонь вмиг охватил часть дома и подобрался к крыше. Послышался зловещий треск разгорающихся бревен. Я весело смотрел на горящую избу: теперь с муравьями покончено,— и заплясал от радости. И тут в голове у меня мелькнула мысль: «Боже, что я делаю? Не сошел ли я с ума? Пусть муравьи сгорят (неизвестно еще, сгорят ли?), а что станет с кордоном, где буду жить я? На груде пепла?»

С пожарного щита я прихватил лопату и забросал огонь землей и песком. Не сразу мне это удалось. Угол задымился синим дымом, обнажились обуглившиеся бревна. Для безопасности я принес воды и облил угол водой. Нет, не в гневе надо решать подобные дела, он плохой советчик и помощник. Пока ты в гневе, все кажется тебе хорошо, все возможно, море и то по колено, а прошел гнев — и дна не достать. Нужно было действовать спокойно, обдуманно. Но как? «А почему бы,— подумал я,— не узнать, откуда приходят муравьи, где их муравейники, не дьявол же их сыплет пригоршнями с неба. Наверняка они откуда-то приходят. Вот и найти муравейник, а там и разделаться с ними по-свойски». Для страховки я обследовал подполье и убедился, что под полом муравейника нет. Значит, они из леса. Я побродил по лесу недалеко от кордона и, к ужасу своему, обнаружил десятка три муравейников, а всего их в лесу было бессчетное количество. Из какого же муравейника эти муравьи? Выбрав одного муравья, я стал за ним наблюдать. Он увел меня в дальние кварталы леса. Тогда я догадался последить за муравьем, который ползет от кордона. Я нацелился на одного муравья, встал на четвереньки и пополз за ним. Поначалу я двигался к цели необычайно долго — вот где земля кажется бесконечной, а шансы на успех равны нулю! Как ни был я зорок и терпелив, муравьи пропадали из моих глаз, терялись в траве, и я начинал все сначала. В первый день я удалился от кордона метра на полтора. Во второй — еще на столько же. Один муравей утонул в луже, другой окочурился сам, сжался, заерзал лапками и утих. Третий дал ложный ход и привел меня на верхушку сосны. Я посидел на сосне некоторое время.

С разными муравьями познакомился я в те дни, у

каждого был свой характер, каждый на свою стать. В сгущающихся сумерках какой-то праздный гуляка торопился домой, не замечая меня. Трудолюбивый работяга тащил на себе огромный груз, вот уж поистине шар земной волок. Забияки и хулиганы, несмотря на мои предостережения, приставали к прохожим и задирали их. Утром мудрец о семи пядей во лбу грелся на солнышке и размышлял над мировыми вопросами. Я его не тревожил. Сопливый отрок, забравшись на травинку, глазел на мир и удивлялся: что есть сие чудо? Ученые-специалисты пытливым оком разглядывали дохлую козявку и определяли, к какому виду она относится: к съедобному или несъедобному. Поднимался шум, отчаянные споры. Каждый норовил показать свою ученость и эрудицию, и среди них были большие знатоки. Путешественники и путепроходцы открывали новые страны, и, как знать, не показался ли им мой кордон новой Америкой?

Я узнал для себя много интересного. Продолжи я свои наблюдения, и, может быть, я набрел бы на какое-то неведомое открытие, мне чудилось, что я был где-то рядом с этим открытием, чуть-чуть не поймал его за хвост, но на самом волнующем месте меня прервал директор совхоза. Он приехал узнать, готовы ли к вывозке жерди, и, застав меня ползающим по двору на четвереньках, выразил недовольство. Увлеченный муравьиными поисками, я никак не мог втолковать ему, почему не готовы жерди. Непонятно ему было и то, почему сгорел угол избы. Он уехал на пожарной машине, громко хлопнув дверцей.

В тот же день я добрел до муравейника. Муравейник оказался метрах в сорока от кордона. Вначале я хотел отомстить муравьям за причиненные мне неудобства и поджечь муравейник, но сейчас жечь муравьев мне было жалко. Я перенес муравейник подальше от кордона, и муравьи меня больше не трогали. Мне бы быть довольным, что все обошлось благополучно, но такой конец я считал несправедливым. Муравьев терпеть, а где же награда? Я ждал, я хотел награды. О высшей истине я не мечтал, но почему бы мне не получить то, что законно причиталось. Уж если воздавать, так по заслугам,— и ласку, и тычки!

Если бы кто спросил меня тогда: какое у тебя главное желание, что ты хочешь в награду, я бы ответил: я

хочу счастья. Есть люди, которые хотят любви, есть, которые хотят истины, здоровья, успеха, славы, власти, денег, наслаждения. Есть такие, которые мечтают стать храбрецами и совершить какой-нибудь героический подвиг. Есть люди, жаждущие мира и тишины, желающие жить тихо, незаметно, не выделяясь среди других. Есть люди, которые мечтают найти клад, выиграть по лотерее машину, получить премию. Есть и такие, которые хотят стать чемпионами мира по бегу или по шахматам, есть те, которые хотят, чтобы жизнь у них была полной чашей, а есть те, которые хотят умереть. Но мне всегда хотелось счастья. В первую очередь для себя. Да, я не скрываю, я хотел и хочу счастья для себя, но не с тем, чтобы сидеть над ним, как над сундуком с деньгами, а чтобы, открыв в себе счастье, отдать его лесу. Странное дело, мне казалось, что я счастливый человек, что судьба моя под звездой, и вот я больше, чем кто другой, мечтал о счастье. Что же оно, это счастье? И почему я, счастливый человек, думал о нем? Может, я ошибался? Может, не счастья я хотел, а чего-то другого, скажем славы или подвигов? Может, был я совсем несчастливый человек?

Было время, когда я мечтал стать чемпионом мира и совершить какой-нибудь подвиг. Счастье мое заключалось в обладании мотоциклом, в успехе и славе, но минуло время, и эти желания прошли бесследно, и мне теперь смешно вспомнить, что я хотел стать чемпионом мира, не потому, что я пренебрежительно отношусь к спорту или не уважаю подвиг, до такой глупости я пока не додумался, а потому, что высшей идеей считаю — найти счастье для леса. Что может быть на свете выше этого желания? В лесу я пережил и счастье, и несчастье. Я встретил деда, но я его и потерял. Я открыл для себя лес, но, открыв его, я затревожился о его судьбе, и если вначале охранял его по долгу службы, то потом — по велению совести. Я заболел тревогой о лесе, и мне лучше бы не открывать было леса. Гораздо проще и спокойней думать о чемпионстве, чем о судьбе, о счастье леса. Я взял на себя тяжелую ношу и иду под ней сгибаясь. Найдя счастье, я все-таки его пока не нашел. Но я готов быть несчастным, лишь бы лес был счастлив.

В войну моя двоюродная сестренка каждое утро садилась за пустой стол с ложкой в руке. Еды в доме не

было и не могло быть, она это знала, но все равно она садилась за стол и сидела весь день, зажав ложку в руке. Она верила, что еда будет, и ждала ее. Так и я сидел по утрам со своей ложкой и ждал награду. Награды не было. Через некоторое время я узнал, что за поджог казенного имущества и невывозку жердей директор лесхоза в приказе объявил мне выговор. Это, видно, и была награда за мои муравьиные страдания.

24

Сижу на кордоне и как будто кого-то ожидаю. Словно кто-то свернет с шоссе, протопает по тропинке, загрохочет каблуками в сенях, толкнет дверь и явится собственной персоной. А кого жду? Кто посетит меня в лесу, кому есть до меня дело? Утро? Оно уже было. Полдень? Тоже. И вечер пришел. Потолкался на тропах. Обжарился на солнце. Ветер обдул меня спереди и сзади и улетел восвояси. Небо? Его не надо ждать, оно надо мной всегда, глянь, и сразу увидишь, встретишься. Птиц тоже нагляделся достаточно. Видел двух теток-цветочниц, ходили они по полю и рвали ромашки в город на продажу. Ягодников целый автобус повстречал. На речке семейство расположилось на отдых вместе с машиной. Зяблика видел, ворону, змею мертвую на дороге, кому-то не утерпелось проявить себя, увидел на дороге змею — и убил, и храбрецом себя чувствует — как же, спас от гибели человечество. Видел лося, след куличков в болотной грязи. Встречал и провожал облака, а это дело серьезное. Разглядывал муравейник. Видел свои собственные руки, ноги, а в реке лицо. Все вроде бы старое, знакомое, известное, а если не известное, то все равно известное. Сидел на пне и ничего не видел. Так тоже случается в лесу — сидишь и ничего не видишь, не слышишь, а от этого еще больше и видишь, и слышишь. Здоровался с травами, с цветами. Одну ромашку особенно горячо приветствовал, раза четыре к ней подходил, а она меня не отпускала. Вроде бы все оглядел, всех посетил. И радовался лесу, и волновался за него. Каких еще необыкновенных встреч жду? Что подарит мне лес? Счастье? Его у меня хоть отбавляй. Людей? Я на них нагляделся. Ночь? Она придет, чего ее ждать. Жди не жди, а явится. Луну? И она придет. И звезды придут. В самом деле, чего может ждать че-

ловек, когда у него все есть? Может быть, смерти? Но она не придет, чего ей приходить в этот вечер, она придет, когда я ее меньше всего буду ждать. Работы? Ее у меня достаточно. Нет, ничего я не жду, а просто сижу усталый. Все у меня есть, и ждать мне нечего. Хлеб, соль, картошка, вода.

Глядя на солнце, говорят: «Солнце». Какое же это солнце? Это добрый человек, который встретил тебя на дороге и улыбнулся. Лица этого человека я не вижу, глаз, бровей, губ тоже не замечаю, какие волосы, плечи, стан, но не замечаю не потому, что их нет, а просто так, потому что не желаю замечать, а пожелаю — увижу. Не замечаю, потому что в нем мне важны не глаза, не нос, а улыбка, его душевное участие. Ну-ка, добряки, много ли найдется у вас друзей, способных на такую улыбку, на привязанность, на душевный разговор? Его свет льется не переставая. Ты сказал ему неосторожное слово — он не в обиде, ты опоздал на встречу — он простит, он не мнителен, не обидчив, ему не кажется, что ты говоришь вслух одно, а думаешь другое, он не тяготится дружбой, он ей радуется. Когда я встречаю солнце, я никогда не бываю один, я всегда вдвоем с другом. Мы ходим с ним по полям, по лугам, поем, болтаем о разном, лежим в траве, отдыхая, мечтаем или бежим взапуски, стараясь перегнать друг друга. Я чувствую, как этот друг рад мне, как он любит меня, готов оберегать меня и жертвовать собой, если понадобится. Он открыт передо мной, и я открыт перед ним. У нас нет тайн, мы как две половинки неразделимые. Я бы мог еще сказать, что он мой старший брат. Но, конечно, он не друг и не брат, он — солнце.

С утра занимался уборкой двора. Вначале граблями сгребал мусор. А какой во дворе мусор? Двор у меня зеленый, в траве. Валяются щепки после колки дров. Весной я уборкой не занимался, щепок этих набралось за всю зиму несколько больших куч.

Поджег одну кучу. День чистый, небо ясное, как в речку глядись — до дна видать. Дым повалил густой. Я испугался, что заметят его соседи-лесники, подумают, горит лес, и забьют ложную тревогу. И погасил костер.

А дождался вечера и разжег снова. Все вокруг смерклось, небо потемнело, и дыма, сколько ни пали, не видать.

Я заметил, что самое светлое настроение приносит мне костер, когда я его жгу в ясный день. На небе огонь-солнце — и здесь у тебя огонь-костер, и если не очень жарко, и костер невелик, и жжешь ты его просто так, почти от праздного безделия, то такой дневной костер все равно что ты сам: сам себя раздул, разжег, и тебе приятно — очищаешься в огне. Ночью костер тоже хорош, но днем даже возле жилья от костра в избу не тянет, а ночью тянет.

Сыро, зябко, а щепок много, горят долго. Ушел я в избу, сел на кухне у окна и гляжу на огонь, и странно мне глядеть на костер из окна. Вот он горит сильно и освещает часть леса. Вот ослаб и ничего не освещает, а только виден сам. Вот он прогорел, одни угли остались. Ночь темная, а угли красные. Но вот и угли затуманились. Пройдется по ним ночной ветер — угли обнажатся, покраснеют,— кажется, смотрит на меня какой-то лесной зверь. Утихнет ветер, и углей не видно, закроет зверь глаза, уснет.

Сижу у окна и, как ветер набежит, вздрогну и думаю: не выбежать ли во двор? А не спугну ли зверя? Вдруг он убежит, начнет гулять по воле и наделает столько бед, что держись? Уж лучше пусть сидит здесь, возле меня, а я его покараулю.

Так и сижу, жду. Как ветер — глаза у зверя разгораются, я готов кинуться и задержать его. Утихнет ветер, я дремлю, клоню голову к столу.

Всю ночь продремал на кухне у окна. Утро наступило, заря, туман, солнце. Вышел я на двор поглядеть на костер: от костра маленькая горстка пепла осталась и пятак обгоревшей земли. Поковырял я пепел прутиком — ни одного горячего уголька, все прогорело, ни зверя, ни костра — ничего не осталось.

25

Спал я последнее время беспокойно, просыпался от каждого шороха и снова засыпал, сны снились мне всю ночь. Я бы с удовольствием рассказал два-три из них, самых интересных, но к снам у меня отношение не из любезных, не люблю слушать про чужие сны и о своих

помалкиваю. Случается, конечно, у человека два-три сна, что называется, вещих, которые помнятся ему всю жизнь и от которых он не может отказаться, так соблазнительно рисуют они ему его будущую судьбу, в остальном же сны — это нагромождение чепухи. Когда при мне кто-нибудь рассказывает свои сны, а таких любителей, особенно среди женского пола, оказывается предостаточно, я испытываю смущение, неловкость, как будто человек раздевается предо мной, а мне не хочется его видеть голым. Ладно, если он в снах видит только себя и говорит о себе, тут, как говорится, взятки гладки, что с ним случилось, что произошло — он сам за себя в ответе. Но бывают и такие сновидцы, что и тебя в свой сон прихватят, и, рассказывая потом тебе, как ты ехал, например, верхом на козле или какие у тебя отросли ослиные уши, настолько увлекаются виденным, что, найдя на твоей голове обычные человеческие уши или не видя тебя верхом на козле, принимают этот факт как смертельную обиду, словно ты их обманул в лучших чувствах. Знал я одного такого человека, которому снилось каждую ночь, будто приходили к нему соседи и брали у него деньги взаймы, и, проснувшись, он бежал к ним и требовал вернуть долг, да еще жаловался перед посторонними на свое мягкосердечие.

В ночи меня разбудил осторожный стук в окно. Дверь на крючок, по обыкновению, у меня закрыта не была, и я крикнул: «Входите!» Но в избу никто не входил. Я прислушался, было тихо. Тем не менее для меня не было тайной, что за стеной стоит человек. Не надевая брюк, босиком, я вышел на крыльцо и сказал громко: «Кто там? Входите!» Кто-то оживился в темноте. Я двинулся в избу. Человек последовал за мной. Я пошарил на столе спички, зажег керосиновую лампу; ночной гость тем временем, гремя сапогами, переступив порог моего дома, стоял за спиной, не решаясь идти дальше. Свет от лампы разгорелся, изба осветилась. Я увидел гостя. Это был молодой солдат, невысокого росточка, худенький, бледненький, невзрачный на вид; кроме формы, ничего солдатского, ни военной выправки, ни бравого вида — не мужчина, а отрок.

Посещение ночного гостя для моего кордона штука редкая. Если днем прохожие наведывались ко мне частенько — попросить воды или узнать обратный путь в город, то ночной гость? Сколько помню, все ночные

визиты были исключительны по своей важности. Один приятель однажды пришел, чтобы сообщить мне, что на свете есть звезды. Другой разбудил меня среди ночи, чтобы узнать, уважаю ли я его, и заверить меня в своем полном почтении.

Я предложил солдату сесть за стол и, поскольку моим правилом было всегда накормить гостя, стал доставать еду. Картошка в духовке была еще теплая. Вода в чайнике тоже. Солдат с достоинством принял приглашение, но ел торопливо, как человек, не евший несколько дней. Попив чаю, он стал рассказывать мне, как с увольнительной отправился в город к брату и не застал его — брат был моряком и ушел в море,— и возвращался обратно в свою часть, но по дороге заблудился и попал в мой лес, где полночи воевал с чертями и ведьмами. Тут он посмотрел на меня, желая узнать, какое впечатление производят его слова о ведьмах и чертях. Я слушал солдата со вниманием. По его словам, он попал в какое-то подобие ада, о котором читал в старых книжках, где мучили и терзали людей, — и солдат, наглядевшись на эту несправедливость, возмутился и принял бой с нечистой силой. И такой начался там жаркий бой, такое взбаламутил он море своими подвигами, что ни одного черта даже на разживу не осталось.

Принять всерьез рассказ солдата о чертях и ведьмах я не мог. Что он ездил в город в увольнение, что не застал брата — да, но что он в моем лесу нашел пристанище чертей и ведьм, да еще мучающих людей, в это поверить трудно. Во-первых, если говорить о чертях серьезно, то все это выдумка, не стоящая внимания, сказка, фантазия человека и не имеет к существу жизни никакого отношения. А во-вторых, если и допустить только чисто теоретически мысль о чертях, причем исключительно чтобы потрафить такому человеку, каким был солдат, то что я мог бы сказать о чертях во-вторых? А то, что в моем лесу я их не видел и, следовательно, их там не было никогда и быть не могло.

Случалось, конечно, что и я встречался в своих кварталах с ужасными типами. Попался мне однажды, например, браконьер, который стрелял певчих птиц: пеночек, зарянок, дроздов, соловьев и прямо с перьями жарил на вертеле. И когда я поймал его за этим занятием, он, вместо того чтобы осознать свою вину, шарахнул в меня дробью, благо заряд оказался вполсилы. Другой

кормил птенцами свою собаку, полагаю, для того, чтобы у нее был заливистый лай. Забредали в мой лес голубки и почище: лес открыт для всех и дверей у него нет. Но приходили и уходили, и надолго никто не задерживался. Прожить в лесу незаметно час-другой с трудом можно, но прожить неделю, год — немыслимо. Можно ветку сломать, и лесник не заметит ущерба. Но жить припеваючи, днем спрятавшись от людей, а ночью выползая из леса, совершать злые деяния, как когда-то в старину делали разбойники, чтобы об этом никто не знал,— это уж слишком.

Со многими из людей, что грешили в лесу или бежали сюда нагрешив, мне доводилось встречаться по долгу службы. Я бы мог рассказать десяток-другой случаев про встречи с ними, но не буду. Все они одинаковы в своем пакостничестве, а в иных поступках гаже самого дьявола. Утверждать, что война с ними окончена, было бы преждевременно, на то я и служил лесником, чтобы защищать лес от всякого рода врагов. Пока стоит лес, цветет и растет на радость свою и нашу, а будет он стоять вечность, до тех пор не исчезнет борьба со злом. Я воевал и клянусь воевать с ним до конца своих дней. Так что укорять меня в том, что я устранился от борьбы, как это пытался сделать солдат, было несправедливо.

Я не стал спорить с солдатом и переубеждать его, что все разговоры о чертях вздор. Я подумал, что он заблудился, переволновался; утомленный и уморенный бестолковой беготней по лесным буреломам, прилег где-нибудь на землю, уснул, и во сне приснились ему те черти и та битва, которую он, видимо к своей досаде, так и не окончил. Я дождался, пока он выговорится, а говорил он горячо, и чувствовался в нем еще не остывший пыл, и ненависть ко всему злому, и отвага, которая, несмотря на его хилый рост, видать, надежно поселилась в солдатском сердце.

От еды, от острых переживаний солдата сморило, он задремал, сидя за столом, клюнул носом, так что я побоялся, как бы он случайно не уронил лампы. Я постелил ему постель. Он лег и тут же провалился в забытье.

Конечно, я бы мог и возразить ему и как бы оправдаться. Чертовщина есть чертовщина, и ее даже на мгновенье нельзя подпускать к себе близко. Но час был

поздний, и солдат уже спал, так что я не стал его будить, надеясь поговорить с ним завтра.

Утром я соскочил с постели чуть свет, желая доказать солдату, что лесник самая ранняя на земле пташка. Солдат спал богатырским сном. Тихо, чтобы не будить его, я растопил плиту, а когда она разгорелась, взял ведра и отправился к колодцу за водой. Утро было ясное, и возвращался я с полными ведрами воды, наблюдая издалека, как, разгоревшись, моя плита выбрасывала в небо столб дыма. Я подумал, что, пока солдат спит, может быть досматривая свою героическую эпопею с чертями, я приготовлю еду. Но когда я пришел на кордон, солдат уже убрал постель, отыскал березовый веничек и, не смочив пол, старательно гонял по избе пыль. Вид у него был смущенный, хотя никаких следов ночных похождений я на его лице не заметил, а не заметив, и не решился о них говорить. Да и он, видимо, забыл про свои ночные страхи, наскоро поел и заторопился в часть. Я отвел его на шоссе и показал дорогу.

Расставшись с солдатом, я направился в двенадцатый квартал и совсем рядом с кордоном, на квартальном столбе, увидел какую-то свежую надпись. Она меня заинтересовала. Я подошел поближе и прочитал: «Здесь воевал Иванов. Если погибну, то за вас, люди».

Тут и глупцу было бы понятно, что надпись сделал мой солдат.

26

Безусловно, в те дни я только и занимался тем, что искал Сильву. Забираясь в лес или попадая на поле, я оглядывал местность — не видать ли где моей любимой кобылы; рассматривал следы на дороге — не попадется ли среди иных следов отпечаток копыта Сильвы; заметив запутавшийся в кустах конский волос, пытался определить — не она ли оставила по себе добрый знак. Но это не значит, что я без передышки искал Сильву. Лес — живое хозяйство, были у меня и поважней занятия.

В хороший солнечный день я усаживался недалеко от кордона под одинокую сосну, смотрел на лес, на траву, на виднеющийся вдали Финский залив и думал. О чем я думал? А вот о чем. День прекрасный. Вчера были белые легкие облака, словно какая-то хозяйка об-

щипала к обеду курицу и пустила перья по небу. Солнце в зените. Сижу. Смотрю. Мухоловка пролетела над моей головой. Тихо. Загудела машина на шоссе. Прожужжал шмель. Поднял с земли веточку. Посмотрел на нее. Отбросил в сторону. На что еще посмотреть? Смотрю на траву. За лето она выросла и кое-где слегка желтеет. Кустик брусники блестит, точно смазан маслом. Почесал в затылке. Опять смотрю на траву. Но посмотрим на что-нибудь другое. Смотрю на залив. Нога затекла от долгого сидения. Звенят кузнечики, звенит и в моих ушах. День светлый, и у меня внутри свет. Ветер колышет траву, и в моей душе ветерок колышет траву. Я и день равны. Мы сидим с ним рядом и глядим друг на друга. Опять смотрю на траву. К вечеру солнце опустится за лес, утихнет ветер, похолодает, смеркнется, наступит ночь. Но что это я вспомнил о ночи, до нее еще далеко. Солнце, как ствол дерева, упруго уперлось в землю...

Занятие это было на редкость увлекательным и облегчающим душу. При таком размышлении испытываешь какую-то удивительную легкость, как будто нет на тебе кожи, ничто тебе не жмет, не теснит, не мучает ревматизм, не ноет простуженная нога, как будто тебя нет, а есть трава, дерево, мухоловка, шмель, день. Впрочем, ты тоже есть, но в каком-то особом состоянии. И глядишь на мир не так, что он есть помимо тебя, а он есть именно потому, что ты есть, ты мир рождаешь и за ручку выводишь на свет. Скажешь: «Солнце», и как будто не было до тебя солнца. Но ты сказал: «Солнце», и оно родилось. Скажешь: «Трава», и не было до тебя травы, а было черт знает что, а ты сказал, и явилась трава. Так же обстояли дела с ветром, днем, мухоловкой, заливом и со всем прочим, что попадалось на глаза, что воспринимали мои уши. И так получалось — что бы ты ни сказал (ни сделал), все было прекрасным: и трава, и солнце, и деревья. Ты ничего не сделал лишнего и плохого, но и лентяем не сидел. Ты трудился в поте лица, рождая этот мир, принимая его из материнского лона. И он жил уже сам, признательный тебе за твою работу. Поистине, что может быть на свете прекрасней, чем эта работа! Временами мне казалось, что я бы отказался от любой другой и занимался бы только этой, так она была мне по сердцу, так хороша.

Однажды, поразмышляв таким образом некоторое

время, вспомнил я про след, что видел на утренней дороге к Дедовой поляне (там во время войны был жестокий бой); свежий, отчетливо обозначенный на влажной глине, он повествовал о том, что человек, хозяин этого следа, прошел минут за пять-десять до меня. Было раннее утро, солнце едва поднималось, а в такую рань чужие следы в моем лесу редки — до города, до села далеко. Это к восьми, к девяти часам прибудут первые гости, дорога запестреет следами мужских ботинок, женских туфель, детских сапожек. Каких тут тогда не встретишь следов! Рассматривай и изучай их сколько влезет: следы лаборанток, академиков, маляров, генералов. . .

О владельце этого следа я мог сказать, что он уже не молод, а если точней, ему за сорок. Сверхсообразительности, чтобы догадаться, что человек этот повидал жизнь, не требовалось. Это возраст людей, которые мужали в войну и познали ее, а особа эта не была щедра на милости. Я мог сказать, что он был прям осанкой, не пьет, не грузен, не толст — на это указывала глубина ступни, курил — на обочине валялся свежий окурок, внимателен — не лез в лужи, а выбирал места посуше, был без поклажи, шел скоро, налегке, с равными усилиями на спусках и взгорках — у него было здоровое сердце, шел, думая об определенной цели, не разглядывал лес как нечто диковинное, не распахивал ушей перед трелью каждой пичуги, не топтался на месте, завидев белку или лося. Шел, как будто знал, куда идет. Он напоминал известных мне грибников, которым были ведомы грибные места и которые не мечутся по лесу в поисках гриба, как бараны, гонимые жаждой, а шагают прямо к грибным местам, к своему грибу, точно он только для них вылез на свет. Но это был не грибник. Он легко, без душевного трепета проходил мимо самых урожайных мест. И не ягодник. Две-три ягоды малины — это все, что он себе позволил. Не рыбак, не турист, не охотник. Тогда кто же?

Грибника, ягодника, охотника, браконьера, человека, случайно забредшего в лес или пришедшего сюда с какой иной целью, я отгадаю без труда. Тут не нужно какого-то природного таланта. Держи глаз остро, все подмечай, все учитывай, все запоминай да владей немного логикой. Лес — открытая книга. Тут каждый след скажет о человеке больше, чем самые глубокие от-

кровения. На его живом лице, как на озерной глади, отразятся малейшие оттенки: ловок ты, хитер, подл, благороден — обо всем расскажет лес, как прорицательница или гадалка, откроет тебе то, чего ты сам о себе не знаешь. Главное, будь внимателен и не доверяйся воображению. Воображение — обманчивая птица, поддайся ей, и черт знает, к каким далям она тебя унесет, как ловко выбьет из-под ног твердую почву, как все перевернет, перекрутит, переиначит, белое назовет черным, а черное белым, живое умертвит, а в мертвое вдохнет жизнь, завертит, закружит, запутает, заварит такую куролесицу, что жизни будешь не рад. Какого-нибудь злобного человечка, всю жизнь делающего мелкие пакости знакомым и соседям, превратит в благородного мужа, дурнушку обратит в красавицу, дурака в мудреца, прекрасного юношу в бандита. Воображение в подобных случаях не подспорье. Нужна суровая логика, опыт, факты, а фантазию, если тебя и позовет к ней, растопчи, задуши, задави на корню.

На следующее утро я опять встретил этот след, и он меня глубоко заинтересовал. «В самом деле, что это за человек, зачем он пришел в лес. Если ему не нужны ягоды, грибы, дичь, тишина и прочие лесные красоты, что ему тогда нужно?» — думал я. Случается, бродят в лесу люди без определенной цели. И ягод им вроде не надо, и грибов. И леса они не видят, и дорог не знают. Ведет их душа по своей, известной им одним тропинке, рвут они ягоды, собирают грибы, жгут костры, ломают ветки черемухи, рубят деревья. Но ягоды они рвут на своей поляне, черемуху ломают от дерева, что растет в их душе, жгут костры из веток своих деревьев, валят деревья из леса, взращенного ими самими. Тут я им не указчик, они сами, как и я, лесники, облеченные правом поступать, как им заблагорассудится. Они могут обобрать всю чернику, но от этого черничник не оскудеет, а, напротив, ягод в нем прибавится, могут обломать все ветки у черемухи, а дерево станет кудрявее и душистее, они могут вырубить все деревья, но от этого лес будет еще выше и стройнее. Они сами как ягода, как черемуха, как деревья. Славен такой гость в лесу, берущий от леса и дающий ему во сто крат больше! Приход их в лес не то чтоб был редок, но неожидан, не подвержен никаким закономерностям. Они являются в лес случайно, как легкий ветер, и так же случайно исчезают. Ты его

ждешь здесь, а он появился там. Ты его ждешь утром, а он появился вечером. Случается и так: ты его ждешь, а он не приходит. Я был готов предположить, что таким гостем был хозяин ранних следов, но меня смущало одно обстоятельство: следы появлялись закономерно, в одно время (рано утром) и на одной дороге. А это противоречило логике. Почему он ходит по одной дороге? Почему только утром? Почему всякий раз опережает меня? Какая может быть у человека цель, если этой цели не видно? Может, его цель одна видимость, а на душе он скрывает другое? Может, он браконьер?

Слов нет, доверие прекрасное и необходимое качество для каждого. Если бы люди доверяли друг другу, добрая половина забот исчезла сама собой. Противно, когда человек, не зная тебя, думает о тебе плохо. Подозревать невинного, заставлять его доказывать, что он не слон, не крокодил, не верблюд, не убил, не украл, не предал,— отвратительно. Но как быть, если на твоих плечах лес и ты ведешь ежедневное сражение за его сохранность, если, пробегая кварталы, ты невольно радуешься не цветам лесным, а тому, что нет у тебя свежих пней. И весь смысл жизни твоей, вся красота и истина в том, есть ли пни или нет. Нет пней — хорошо. Тогда ты спокоен, ты счастлив, ты исполнил свой долг, мир тебе улыбается, а ты ему. Есть пни — тогда надо искать браконьеров-порубщиков, а это зачастую не так просто (благо, если найдешь): идти на них тяжелой войной, ругаться, спорить, писать акты, искать свидетелей, а где их найдешь в лесу, они в дуплах тебя не ждут. И в конечном итоге, наказал ты браконьера или не наказал, а если ты проворонил порубку — лес погиб, хлысты снова к пням не пришьешь. Тут поневоле станешь недоверчив, любого заподозришь в злом умысле. А это проклятье, страшней которого нет. Я гнал от себя недоверие, бежал от него, как от бешеной собаки. Жить и не доверять — невозможно. Я старался доверять и людям, и травинке — и не мог.

Месяц назад у меня произошла большая порубка. Я был сыт ею по горло. Из-за своей доверчивости, как неразумное дитя, я попался на уловку Емели Шигашева. Был сенокос, время, когда меня особенно донимали браконьеры, и у Дедовой поляны я несколько раз повстречал Емелю. Я никогда не думал о нем плохо и не подозревал в браконьерстве. Шигашев всегда мне ка-

зался честным мужиком, с открытым сердцем, он никогда не лгал и не прятался за спины других, он воевал и вернулся домой израненный, контуженный, трижды убитый и пропавший без вести. Я подумал, что у него разболелись раны и он совершает лечебные прогулки, чтобы как-то успокоить боль, и попросил его при случае присмотреть за этим краем леса, а сам на короткое время переключился на другой участок. Когда через несколько дней я пришел на Дедову поляну, я обнаружил порубку. Я сразу понял — это дело рук Шигашева. Порубка была с размахом. Даже мой самый злостный браконьер Беглец не осмелился бы нанести лесу такую рану, даже стихийное бедствие не принесло бы столько вреда. Лес напоминал скорбное поле сражения. Все было изрыто тракторными гусеницами, переломано, исковеркано, всюду валялись обрубленные ветки берез, сучья. Не раздумывая, я отправился к Шигашеву.

Я не ошибся. На шигашевском дворе высилась гора березового леса. На мой вопрос, откуда лес, Шигашев сказал, что он сам недоумевает, как тот попал к нему во двор. Вел он себя мирно, как будто был ни при чем и до дров ему нет никакого дела. Шигашиха, напротив, рвалась в бой. Когда я заявил, что лес ворованный, что я его арестовываю, а на самовольную порубку составляю акт, она набросилась на меня как на смертельного врага. Сколько я услышал оскорблений! Она грозилась меня убить, подпустить на кордон петуха, плевала в лицо, вылила на меня ведро помоев. На ее крики собрался народ. Я был обгажен, оплеван, осрамлен. Какие только грехи не приписывала мне эта женщина. Я был и вор, и бандит, и разбойник, отец мой был пьяница, а мать проститутка, я должен был сгореть в огненном пламени за свои прегрешения, я был бараном, жабой, крысой, я был глуп, подл, труслив, развратен, лжив, я был холуй, растратчик, спекулянт, дармоед и почему-то американский шпион. Я не оправдываю себя, но даже самый последний человек не имел столько недостатков, сколько имел их я. Если б не подоспевший на помощь участковый милиционер Козырев, мне бы пришлось худо. Вдвоем, под брань, хулу и ощутимые тычки Шигашихи (тут досталось и Козыреву), мы отпилили несколько комельков. Я захватил их с собой в лес и на месте порубки прикладывал отпиленные комельки к пням. Они не сходились. Вероятно, я очень волновался (не каждый день

человек получает такую порцию грязи, какую получил я), поэтому не мог найти нужные пни, но я был уверен, что порубка шигашевская. С этой уверенностью я опять пришел к Шигашеву и объявил, что комельки сошлись и его причастность к порубке доказана. Он, в отличие от хозяйки, сдался сразу и подписал акт. Я облегченно вздохнул. Но совесть моя была нечиста. Я чувствовал себя виноватым перед Шигашевым, перед самим собой. Я обманул Шигашева. Пусть порубка была его, я-то ее не доказал.

Не мысля допустить в дальнейшем подобных историй, желая предотвратить новую беду, я решил подкараулить неизвестного человека, который оставлял следы. Глубокой ночью пришел я на дорогу к Дедовой поляне и засел в кустах. Время тянулось медленно. Костра не разжигал. Я озяб, меня нещадно ели комары. Птицы еще не проснулись. Лес был наполнен вечной, ненарушимой тишиной, впрочем, лес никогда не бывает тих, разве что мертвый. Мимо меня пробежала лиса, завозилась птица на ветке, досматривая последний сон, гудели комары, листья в дремоте переговаривались между собой, полетела, тяжело хлопая крыльями, на ночлег сова, под сухим листом в земле ворошился дождевой червь, в отдалении со стороны Финского залива доносился гудок электрички. На востоке засветлело, появилась полоска зари. Я терпеливо ждал человека. Он не появлялся. Вдруг я услышал по дороге шаги. Не успел я выскочить из кустов, не успел остановить его, разглядеть в лицо, как он мигом проскочил мимо меня.

— Эй, приятель,— крикнул я ему вдогонку,— спичек у тебя не найдется?

Человек не отвечал и продолжал идти. Я окликнул его еще.

— Ты что, оглох? Спичек не найдется?

Он явно не хотел со мной разговаривать и молча шел вперед. Я последовал за ним. Я шел скоро, но расстояние между нами не сокращалось, а увеличивалось. Я побежал. Человек шел размеренно, как и прежде, а я запыхался, я не мог его догнать. Вот он исчез за поворотом. Я выскочил напрямую. Дорога была пуста. Человека на дороге не было. Его следы обрывались за поворотом, у сосны. Я стоял в растерянности, как незадачливый детектив, который после долгой погони держал в руках преступника и упустил. Интуиция подсказывала

мне, что человек где-то рядом, не мог же он испариться. Я присел под сосной. Сколько я сидел под сосной — не помню. Я потерял счет времени и очнулся оттого, что услышал стук топора. Я вскочил, словно встревоженный лось, а потом образумил себя: надо действовать осторожно, чтобы не вспугнуть порубщика, не дать ему уйти, теперь я был совершенно уверен, что человек, оставивший на дороге следы, был порубщиком.

Подкрался я тихо. Я раздвинул ветки и увидел Емелю Шигашева. Вот он где попался, голубчик! Одной рукой, вторая у него была ампутирована, он рубил березу. Она упала, зашелестев листьями. Я глянул туда, где должен быть пень,— пня не было. Вместо срубленной березы росла новая, такая же, как и раньше. До меня Шигашев успел срубить уже несколько берез, они лежали на земле, очищенные от веток, но, как я ни напрягал зрение, я не видел ни одного пня. Березы росли, как росли раньше, нерушимо стояли на своих местах, ветерок лениво трогал их листья. Я не мог ошибиться, это место я знал как самого себя и все деревья мог сосчитать по памяти. Я сосчитал их — все они были целы. Пока я, сконфуженный увиденным, издали искал пни, Шигашев принялся за другую березу; подсеченная топором, и она упала, а на месте ее выросла новая. Я хотел было закричать, подбежать к Шигашеву, остановить порубку, но удержался. Я знаю, начальство не одобрит моего поступка, для него каждый человек, поднявший на лес топор,— браконьер, ему не важно, остается ли после этого дерево или нет. Я не подошел к Шигашеву, я оставил его за своим делом, медленно отступил назад шаг, другой и неслышно удалился. Я шел по дороге и долго еще слышал стук топора, но это был единственный случай, когда стук топора не тревожил моего сердца.

27

Когда я иду по лесу, простого шага, простого движения, даже самого быстрого, мне мало, во мне столько неистраченной энергии, телячьего восторга, что я все время подпрыгиваю и тянусь руками к листьям, к веткам, висящим над моей головой. Со стороны, глядя на меня, прыгающего с протянутой рукой, можно подумать, что я срываю с деревьев какие-то невидимые плоды. Я и

в самом деле их срываю, иначе для чего бы мне прыгать? Иногдя я думаю, что это за плоды? Бананы? Апельсины? Или наши северные антоновские яблоки? И ни на чем конкретно не могу остановиться. Но в том, что они есть, нет сомнения. Что в том, что они невидимы? Главное, они сладки, вкусны, питательны и до них можно дотянуться рукой. Конечно, самые сладкие плоды, как и все сладкие плоды на свете, висят выше, чем хотелось бы, и, чтобы их достать, мне приходится прыгать особенно высоко, стараться. Но чего не сделаешь для того, чтобы дотянуться до заветного плода? Ноги у меня молодые и крепкие и выстреливают меня вверх, как катапульта.

Напрыгавшись вдоволь и насытившись незримыми плодами, слегка огрузнув от пресыщения, я забредаю в тучные черничники и принимаюсь за плоды зримые. Люблю летом в зрелый для черники час попастись на ее угодьях. Руки и рот мои от черники черны, словно я ел не ягоды, а пил чернила. Но что мне стесняться в лесу и кого, собственно? Я никогда не собираю ягоду впрок в кастрюлю или лукошко и не несу на кордон. На мой взгляд, сладость ягоды в том, что ешь ее с куста. Полежав в кастрюле даже полчаса, она теряет свои драгоценные качества. Есть ягоду, сидя за кухонным столом, запихивая ее в рот ложкой, для меня так же кощунственно, как рубить елку на Новый год. Всю свою волшебную власть ягода теряет в тот самый момент, когда ты срываешь ее с куста. И чем быстрее ты ее отправишь в рот, тем больше у тебя шансов ухватить ускользающую сладость. А как не принять во внимание обстановку? Изба со своими привычными запахами — и лес, жаркий день, тенистые заросли деревьев, защищающие тебя от палящего солнца, комариный писк возле уха, ленивый шепот листьев, благоуханье трав и дробно обсыпанный перед тобой чистый куст черники. Ты можешь, проходя мимо, отщипнуть от него две-три ягоды, не заботясь о судьбе остальных, найдется и на них охотник, даром они не пропадут; можешь присесть на минуту и потрясти его основательно, в том случае, если он тебе очень понравился или если тебя мучает жажда; а можешь лечь под ним, ягоды сразу очутятся над тобой, потянешься к ним губами, или, забыв о цели своего короткого привала, рассеянно смотреть вверх, выискивая в просветах между листьями кусочек синего неба;

можно даже уснуть, ослабев от долгой дороги и пьянящей духоты.

Любил я побаловаться и другой ягодой, земляникой. Для этого не ленился вставать рано, не до солнца рано, а слегка пропустив его вперед, чтобы оно, встав, чуть-чуть прихватило и пригрело росу. Мне почему-то казалось, что землянику лучше всего есть в это время. Тогда и воздух, и утро так же нежны и ароматны, как ягоды земляники. И ешь ее недолго, с полчаса, не больше, рвешь, пока не встанет выше солнце, не нагреет поляну, пока ягоды холодны и обмочены в росе, как в молоке, и кажется, что ты отправляешь в рот не землянику, а кусочек утра.

Любил я поесть и малину, особенно на тех кустах, которые не были тронуты рукой человека, и клюкву, и бруснику, и, чем девственней место, тем приятней в нем бывать. Но в наше время и в нашем лесу где найдешь такие места? Зимой лес сравнительно пуст, но летом армии грибников и ягодников бродят по лесу в самых разных концах, рвут все подряд без разбора, и иной раз, зазевавшись по делу, не всегда ты, лесник, успеешь застать и отведать малину или бруснику. Особенно бруснику Вооруженные хитрыми приспособлениями (чего только не придумает человечество, чтобы урвать больше и скорей), люди гребут бруснику, как сгребают сено граблями, валят ее в бездонные ведра вместе с листьями и корешками совсем зеленой, не дав ей поспеть, набраться соков и, понежившись на солнце, приготовить букет. Каждый год я замечаю — она стоически переносит эти варварские набеги, но мне кажется, что силы ей изменяют и она в обиде на людей, что ей не дают созреть.

Вкусна и пряна маленькая веточка вязкой черемухи, слава богу, черемуху не едят, зато нещадно рвут весной, когда она цветет; приятны и горьки две-три ягодки зрелой рябины, прихваченные морозом. До рябины особенно падки дрозды-рябинники. Осенью соберутся они в стаи. Утром глянешь — налетят на рябину, точно облако опустилось, обсядут, обвиснут, горланят возбужденно, клюют ягоды, дерево стоит красное, будто кровью исходит. Вечером посмотришь — ни дроздов, ни ягод — исцелили рябину клювы дроздов. Валяются в желтой траве оброненные в спешке ягоды, но и этим до весны не дожить, подберут и их тоже.

Живу в лесу, меня окружает лес, и я сам становлюсь лесом. Я, конечно, остаюсь человеком, но многое ко мне приходит от леса: ритм движения, взгляд на жизнь, сила чувств. Я мыслю, как мыслит лес, я чувствую, как чувствуют травы, я гляжу на мир, на эту природу и умозаключаю о ней, как глядит и умозаключает лес, с той единственной разницей, что делаю я это значительно хуже. Я гляжу на гнущуюся от ветра березу, и мне кажется, что и я так же гнусь, как и она, или мог бы гнуться, стоило бы мне только захотеть. Почему я не гнусь или не хочу гнуться? Этого я не знаю. Почему некоторые люди не желают испытывать судьбу? Почему они, владеющие огромной силой, не пускают ее в дело? Зачем мне гнуться? Я пока не береза, а человек. Но я бы мог гнуться — так родственно я ей созвучен, так я ее понимаю; так близко я принимаю и травы, и деревья, и все иное, что я мог бы стать и тем, и иным, только захоти. Но зачем мне этого хотеть? Ради любопытства? Глупо. Пожертвовать собой? Но пока никто не требует моей жертвы.

Утром, проснувшись, я редко обращаю внимание на солнце, не здороваюсь с ним, не приветствую, и если бы я вдруг его поприветствовал, то почувствовал бы себя неловко, застеснялся, как застеснялся бы, здороваясь и похлопывая по плечу незнакомого человека. Я просто не представляю себя таким бесцеремонным. А вот уходящее солнце я приветствую частенько. Я это делаю не потому, что, здороваясь, желаю уравнять себя с ним, нет, такого запанибратского отношения к светилу я бы не допустил. Я приветствую его по другой причине. Мне кажется, что, прощаясь с нами, с землей, с лесом, солнце грустит и переживает разлуку, мне его жалко, и я хочу его подбодрить. Обычно это происходит так: я иду по дороге или по тропинке на запад и вдруг поворачиваю обратно, на восток, и вечернее солнце остается у меня за плечами. Я оглядываюсь назад один раз, другой и прощально машу ему рукой.

Интересно, как чувствуют себя люди перед тем или иным деревом или кустом? Я, например, перед каждым деревом и кустом чувствую себя по-разному. Перед со-

сной у дороги к болоту я всегда улыбаюсь, как бы мне ни было грустно. Перед кустом бузины у крыльца я останавливаюсь и молчу. Почему? Я и сам толком не знаю. Как будто это не куст бузины, а погибший друг, которого я вспоминаю. На меня деревья и кусты производят еще не очень сильное впечатление. Я знал людей, на которых они действовали сильнее. Один мой знакомый при встрече с горбатой елкой у реки рыдал. И было бы там на что смотреть, а то стоит уродина, две чахлые веточки, ни вида, ни формы. Уведут его от ели, он успокоится. Оставят — рыдает безутешно, будто жену похоронил. Другой ругался и плевался на куст можжевельника. Увидит его с дороги и трясется от злобы, точно это не куст можжевельника, а смертельный враг. Кажется, не будь он лесником, вырвал бы этот куст, чтобы глаза не видели. А что плохого сделал можжевельник этому человеку? Есть в лесу деревья, перед которыми пляшут или песни поют. Есть деревья, у которых просят совета, ищут защиты. Есть деревья, в которые смотрятся, как в зеркало: посмотрел и себя увидел.

Пушок одуванчика прилетел и устроился на моей руке. Я ему говорю: «Ну что, дружок. На моей руке не вырастешь, лети дальше!» И сдунул. А может, не следовало его сдувать? Может, потому и не вырастают на руках людей одуванчики, что их сдувают раньше времени? А подождали бы до следующей весны, не сбрасывали, глядишь, и укрепился бы он на ладони, и поднялся вверх, и зацвел бы желтым пятнышком, и дал бы потомство, и ходил бы ты с цветком одуванчика на руке, единственный в своем роде человек, не потому единственный, что необыкновенный какой-то, наделенный какими-то добродетелями, недоступными иным смертным, а единственный потому, что не сбросил пушинку одуванчика с руки и терпел ее до весны. Ей-то, пушинке, лучше знать, куда прилепляться.

28

Изголовье моей кровати напротив окна, в которое глядит ветка сосны. Сосна растет так близко, что заслоняет свет. Лежа в постели, перед тем, как уснуть, и утром, едва проснувшись, перед подъемом, я часто гля-

дел на ветку и находил в ее изгибах и очертаниях, в изменчивых линиям лица разных людей. То я находил лицо деда Ивана, то боцмана и флотских друзей, а особенно лицо девушки, я часто разговаривал с ней. Она была хорошим собеседником.

Срок сдачи жердей срывался. Сильвы я не нашел и принялся выносить жерди на себе. Это была хлопотливая работа. Временами мне казалось, что я не жерди нес на плечах, а небесный свод. Жерди я вынес, но натрудил и простудил в болотной воде ногу, ее у меня скрючило, и, когда я шагал, отдавало внутри острой болью. Поначалу нога скрючилась немного, и я не обращал внимания, я хромал почти незаметно, но со временем какая-то сила стягивала ее все сильнее и сильнее, и я уже не ходил, а подпрыгивал кузнечиком: «рубь — двадцать, рубь — двадцать».

Однажды я пилил дрова. Я лихо пристрастился пилить двуручной пилой один и даже вывел для себя, что одному работать сподручней. Когда пилишь вдвоем, неизвестно, какой напарник тебе попадется, с иным не дерево пилишь, а насмерть бьешься: кто кого одолеет. Только с дедом Иваном я любил пилить вдвоем.

Я приподнял бревно, чтобы положить его на козлы, и упал от боли. Очнулся я вечером. Темнело. Я лежал на земле рядом с бревном и не мог пошевелиться: болела нога, поясница, шея, руки, у меня был жар, меня знобило. Но не лежать же мне было во дворе. Ползком я добрался до крыльца, прополз через сени в избу, вскарабкался на кровать. И снова потерял сознание. Сколько я лежал на кровати, не знаю. Да и к чему мне было знать. Боль плотно приковала меня к кровати, двигаться я не мог, надеяться на чью-либо помощь не приходилось. Кому взбредет в голову, что где-то в лесу на кордоне лежит больной беспомощный человек. Только сейчас я понял настоящую опасность одиночества: ты бессилен и тебе некому помочь.

Я прислушивался к шороху за бревенчатой стеной: не прогудит ли сирена директорской машины, не раздадутся ли шаги человека, но, кроме шума ветра в соснах, щебетания птиц да возни крыс в подполье, я не слышал ничего. Я попытался кричать: вдруг кто-нибудь с шоссе услышит мой крик, но крик получился сдавленный, тихий, тише комариного писка. Дверь я не закрыл, днем в избе свободно разгуливали теплые сквозняки, ночами

я замерзал. Я не мог ни перевернуться, ни снять с себя одежду, ни закрыться одеялом. Чувствуя мою беспомощность, совсем обнаглели крысы. Они вылезли из подполья, шарили в пустых кастрюлях, прыгали на стол. Положение мое было не из блестящих. Жар усилился. Я впадал в забытье и просыпался. И уже не надеялся ни на что.

Как-то я проснулся от смутного ощущения, что в избе, кроме меня, есть еще человек: крысы не бегали по полу, не гремела посуда. В избе было тепло, потрескивали в плите разгоревшиеся дрова. Пахло сваренной едой. Я открыл глаза. Странно, я лежал под одеялом, а одежда моя была аккуратно сложена на табуретке. В изголовье кровати, склонившись надо мной, стояла девушка. Я попытался улыбнуться ей и пошевелить губами, чтобы сказать слова приветствия, но она остановила меня:

— Молчи, сейчас я тебя покормлю.

Она села на край кровати и принялась кормить меня с ложки. По-моему, это был суп. Сроду я не ел такого вкусного супа. Я проглотил несколько ложек.

— А теперь поспи,— сказала она.

Я покорно уснул. Когда я проснулся, а проснулся я скоро, девушка опять кормила меня с ложки. Когда она наклонялась ко мне и придерживала повыше подушку, чтобы мне было удобней есть, прядь ее волос касалась моей щеки. Волосы были мягкие и приятно щекотали. Видно, я очень ослаб, потому что, поев, я опять уснул. Я просыпался еще несколько раз и, получив от девушки очередную порцию горячей пищи, проваливался в забытье. Сквозь сон и дремоту я слышал ее легкие шаги, она прибирала грязь после разбойничанья крыс, иногда она подходила ко мне и трогала лоб. Ладонь у нее была холодная.

Она продежурила возле меня несколько суток. Я настолько привык к девушке, что, проснувшись, еще не открывая глаз, инстинктивно разевал рот, как делают это птенцы, и тянулся к ложке.

На этот раз ложка почему-то запаздывала. Я приподнял веки: возле меня ни ложки, ни девушки. Я подумал, что девушка, наверное, вышла на минуту, подождал ее, так и не закрывая рта. Она не появлялась. На кухне опять хозяйничали крысы. Одна вспрыгнула на постель и очутилась на моей груди. Я невольно дернулся и смахнул крысу на пол. Она звучно шмякнулась,

вскочила и исчезла. Я удивился не крысе — мне приходилось с ними воевать круглый год, ставить капканы, прятать продукты, закладывать крысиные ходы можжевельником, я к крысам притерпелся,— я удивился, что могу двигаться. Я попробовал пошевелить рукой — и пошевелил, попробовал перевернуться — и перевернулся, попробовал сесть на кровати — и сел, встать — и встал. От слабости и долгого лежания кружилась голова, и я бы упал, не прислонись к стене. Опираясь о стену, я сделал один шаг, другой. Нога волочилась, ступать и разгибать ее было больно, но я мог ходить, мог двигаться, а это значило, что я был жив.

Я вышел во двор. И во дворе девушки не было. Чтобы убедиться, что я встал и дееспособен, я внес в избу несколько поленьев и растопил плиту. И опять лег в постель. Я лежал еще примерно сутки, но я уже выздоравливал.

Болезнь оставила меня быстро. Я набирался сил и через день отправился в обход. Я брел по лесу, смотрел, не произошло ли каких изменений во время моей болезни, а сам думал о девушке. Я мог дать голову на отсечение, что я ее где-то видел и она мне была знакома. Я перебрал всех девушек, которых знал, но ни одна девушка не походила на эту. И все-таки я ее знал. Помоги мне встать на ноги какая-нибудь случайная, незнакомая прохожая, я бы не так волновался и даже вряд ли бы о ней думал! Мало ли людей, в том числе девушек, ходило по моему лесу? Где ее найдешь? Было бы дико и противоестественно, если бы девушка, заглянув в избу и увидев человека в бедственном положении, не подала помощи. В такое я отказываюсь верить, таких девушек на свете не бывает. Но эта была не случайная прохожая, а знакомая мне девушка. Ее внезапное появление и исчезновение казались мне странными. Где я ее видел раньше? Как могла она узнать, что я болен? Почему не сказала на прощанье ни слова, не оставила записки? К чему такая загадочность?

У меня неплохая зрительная память на девушек, особенно если они красивы. Невозможно забыть раз увиденное красивое лицо: чем красивее оно, чем прекраснее, чем сильнее поражает тебя живой одухотворенной красотой, тем глубже оно остается в памяти. Не много встречал я в жизни красивых лиц, может быть одно-два, но этого мне достаточно, чтобы знать, что они есть,

К девушкам у меня странное отношение. Некоторые говорят, что я их не люблю, верней, что я их люблю платонической любовью. Наверное, так оно и есть. Занятый любовью к лесу, я уже не могу отдать своего сердца кому-то другому. Я однолюб. Для меня немыслимо и кощунственно делить любовь на килограммы и метры. Пять тому, пять другому. Это не значит, что, кроме леса, я ничего не замечаю, напротив, временами мне кажется, что моя верная любовь к лесу открывает передо мной пути и для другой любви, в том числе и к девушкам. Но люблю я не какую-то одну, а всех. Мне они все хороши, все прекрасны, не только красавицы, способные своей красотой спасти или погубить мир, но и дурнушки, на которых никто за всю жизнь не обратит внимания. Впрочем, я не верю, что существуют девушки, на которых бы ни разу никто не остановил свой взор. Кто-то всегда находится. И к слову сказать, все влюбляются в красавиц. Так что дурнушек среди девушек нет и быть не может. Когда у меня происходят с ними встречи, я не таюсь от них, не прикидываюсь влюбленным, не говорю горячих слов любви, но и холода не напускаю. Я люблю их, я желаю им добра и счастья, и моя любовь разливается на них равномерно, как солнечный свет на луг. Они сами неплохо это чувствуют. И не могу сказать, что мое ровное любовное отношение им нравится. По-моему, оно их оскорбляет, унижает, и они считают меня глупым, чем-то обделенным, проходящим мимо самого прекрасного на свете (сердца их открыты и полны любовью и ждут только часа, чтобы излить любовь и разгрузиться как от тяжелого бремени). Я понимаю, что виноват перед ними, но не настолько, чтобы каяться. Не будь у меня в душе любви к лесу, ходи я пустой, я бы, конечно, был по отношению к ним преступник. Но любовь у меня есть, она живет, она дышит, она греет меня, придает мне силы, с каждым днем она не уменьшается, а растет сильней и сильней, и я страшусь, как бы она, став огромной, не покинула меня совсем.

Перемен в обходе я не обнаружил. Порубок тоже. Лес был таким, каким я оставил его до болезни. У старой ели я сел отдохнуть. Я сидел задумавшись, рассеянно глядя перед собой, и вдруг мне показалось — в листьях деревьев лицо и фигура девушки, о которой я думал. Я напряг внимание, но никакой девушки не увидел. Березку мягко раскачивал слабый ветер. Проходя

луга, я почувствовал на себе ее взгляд. Я мгновенно обернулся, и опять никого. Желтоголовая ромашка удивленно смотрела на меня. У реки мне послышался голос девушки. Я побежал на голос со всех ног. Речка была пуста. Вода подмыла берег и свалила сосну. Образовалась запруда, и вода, прорываясь через запруду, ласково ворковала. Где бы я ни был в тот день — всюду мне чудилось присутствие девушки, я ощущал ее дыхание, точно она была где-то совсем рядом. Но кто была она? Я перебрал всех знакомых и незнакомых девушек, я даже вспомнил ту, что вытащил из реки, а она улетела, но это была другая девушка.

Я пришел на кордон и лег в постель. Мысли о девушке не покидали меня. Я глянул в окно на ветку и увидел лицо девушки. За окном, повернувшись в профиль, смотрела та самая девушка, которая спасла меня. Так вот откуда я ее знаю, вот где я ее видел! От неожиданности я вскочил с постели. Я пригляделся внимательней — это была она: та же линия губ, носа, подбородка, разрез глаз, та же улыбка, та же прядь волос, которая прикасалась к моей щеке, когда девушка наклонялась и кормила меня. Да, это была она. Я смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Она была так прекрасна, что я молчал, не зная, как мне быть.

Чего я больше всего боюсь, так это быть неблагодарным. Увы, мне приходилось им бывать. До сих пор, по-моему, я только и делаю, что живу в долг. Отец с матерью дали мне жизнь. Друзья по флоту, пока я лежал в госпитале, похлопотали и устроили меня на кордон. Дед Иван пригрел. Лес принял и раскрыл свои тайны. А как сбросить со счета тех, которые делали мне добро незаметно, оставаясь в тени, не желая, чтобы я знал об их благодеянии, мимо которых прошел стороной по черствости своего сердца, которых не мог отблагодарить, хотя и хотел, не хватило ума, такта, сноровки и в силу других обстоятельств: школьных учителей, врачей, сослуживцев — людей, которых я даже не знаю и они меня не знают и знать не хотят,— я по горло, по уши в долгу, мне никто ничего не должен, я один должен всем.

Есть люди, которые хорошо помнят чужие долги, а свои забывают. Со мной случается наоборот. Я помню свои долги, а чужие нет. Мне не надо напоминать, я знаю, что я должен. Такая особенность меня далеко

уводит. Я, например, никогда не помню своих прав, зато твердо знаю обязанности. Перед любым человеком я как чистый лист бумаги. Я одинаково отношусь к человеку, зверю, траве и не вижу перед ними никаких преимуществ. Напротив, я скорей замечу преимущества травы, а не свои.

Чем больше я живу в этом мире, тем больше у меня долгов. Я в долгу перед лесом, который принял меня, перед солнцем, которое каждый день дает свет и тепло, перед колокольчиком, за то что он приветливо кивнул мне, когда я шел по тропе к колодцу, перед лисой, уступившей мне путь, перед вечерней звездой, сияющей в пустом небе, перед камнем у дороги, перед речкой, перед кустами бузины у крыльца, перед ветром в поле... Неужто человек волен только брать и брать, ничего не давая взамен? Страшно становится, когда подумаешь, какой долг лежит на твоих плечах и какую плату ты должен принести своим кредиторам. Чем я отблагодарю отца, мать, флотских друзей, деда Ивана, лес, солнце, колокольчик, ночь, звезду, ветер? Какой поступок совершу, какое самопожертвование? Сумею ли не ударить лицом в грязь, воздать сторицей? Боюсь, что нет.

Сейчас я хотел отблагодарить девушку за ее красоту и доброе сердце, но чем ее отблагодарить, как это сделать? Я поклонился ветке в пояс и сказал: «Спасибо». Цветы я обычно не рву, зачем мне их рвать, если я живу среди моря цветов и на каждый цветок могу посмотреть в любое время. Но тут я нарвал букет ромашек и поставил в банке на подоконник, чтобы их видела девушка.

По-моему, она приняла мои дары с признательностью, но я был неудовлетворен. Мне хотелось сделать такой подарок, который особенно пришелся бы ей по душе.

Недалеко от кордона я выбрал две сосны, стоящие вблизи друг от друга. Я принес длинную толстую проволоку, ржавое поломанное сиденье от косилки, скобы, забрался на сосны и скобами прикрепил проволоку у самых вершин. У меня получились славные качели.

Ах, качели, качели, удивительный вы снаряд, сколько радости доставили вы мне в детстве! Вот вы подняли меня ввысь — и земля, и дома, и люди, и деревья, даже солнце остались внизу, я лечу в страшной, сладкой головокружительной вышине, выше меня ничего нет, еще

немного, и я упаду в небо. Но вы срываетесь вниз и бросаете меня к земле, к людям, к домам, деревьям, я пролетаю их, и земля, и люди, и дома уже выше меня, я падаю ниже и ниже, и дальше падать некуда, душа замирает от страха, что-то будет со мной, я пропал, но вы не даете мне пропасть, вы выносите меня снова вверх, и я уже навсегда знаю, как бы я ни падал, что есть это небо и меня будет тянуть к нему постоянно. Что может быть удивительнее этого изобретения: взлетай вверх, припадай к земле?

Когда качели были готовы, я опробовал их, и они мне понравились. Я надеялся, что они понравятся и моей знакомой, и не ошибся. Однажды я возвращался домой и там, где устроил качели, услышал тихий смех и важное поскрипывание старых сосен. Я сразу догадался, что на качелях качается моя спасительница. В субботу и воскресенье наезжали горожане. Они осаждали качели. Но девушка занимала качели с утра и не слезала с них до вечера. Она никого не подпускала к качелям. Начинались крики, ссоры. Девушка говорила, что качели ее. Горожане — что качели общие. Мне было обидно, что девушка оказалась такой жадной, ничего бы с ней не случилось, если бы она дала покачаться и другим, но я понимал ее жадность: это ей был сделан подарок и она им дорожила. А потом шутки ради девушка прибила к одной сосне консервную банку и оставила записку. В ней она требовала за полученное удовольствие кидать в банку медяки. Записку очень скоро унес ветер. А на дне банки копилась дождевая вода и опавшие сосновые хвоинки.

29

Для ходьбы по лесу нужно бы шить одежду без карманов. В моем бушлате два кармана, в брюках два — итого четыре. Когда я случайно забираюсь в карман рукой, мои пальцы нащупывают сухие хвоинки, сухие веточки. За один день их, конечно, не нагребешь полный карман, но за неделю они прикроют донышко, а в месяц мусору накопится со стакан. Иногда я вытряхиваю этот мусор. Зачем мне таскать с собой лишний груз? Хоть он невелик, но аккуратности приучили меня на флоте, и мой карман не дамская сумочка, в которой хранится невесть что, начиная от «счастливых» трамвайных биле-

тов до разбитых зеркалец, сулящих несчастье. А иногда мне жалко выбрасывать сухие хвоинки. Я смотрю так: я думаю, что это подарок леса. Если день у меня бурный, если я, шастая по обходу, не успел поесть земляники, не сунул в рот лист щавеля, не погрыз зеленую иголку сосны, не попил из родника воды, если я в беготне по лесу не видел леса, не слышал птиц, не любовался цветами, если ничему не радовался — ни утру, ни полдню, ни вечеру, напротив, злился, нервничал, ссорился с браконьерами, тушил как проклятый пожар и вернулся на кордон усталый, пустой, выжатый как лимон, обожженный внутри и снаружи огнем и так случилось, что за весь день для меня не нашлось доброго, то что же я получил от леса? Ничего. И лес благодарит меня тем, что дарит мне на память сухие хвоинки. Конечно, дары малые, но дареному коню в зубы не смотрят, и потом: кто знает истинную цену дарам? Иной подарит полцарства, а подарок его не то что плох, а вроде не нужен. И не знаешь, как от него избавиться. И пытаешься отпихнуть от себя подальше, поскорее. А иной подарит маковое зернышко, шарф оставит, изъеденный молью, кусок дерева принесет, которое валяется на дороге, а оно тебе дорого.

Нет, то, что есть карманы, это ничего. Плохо, когда человек живет без даров. Сам не дарит и от других не принимает. От этого он скудеет. Он беден и нищ. А такая нищета не бывает украшением человека.

В первую зиму несколько дней жил у нас на кордоне цыган из Бернгардовки. У цыгана был выписан лесорубочный билет, и он рубил сосны в обходе деда Ивана. Он собирался построить в Бернгардовке дом. Конечно, сам цыган деревья не рубил и не пилил, а нанял мужиков из села и жил у нас, присматривая за их работой.

Дед Иван в ту зиму увез мои сухие балки, и топили мы экономно: пока жгли плиту, было тепло, а к утру изба промерзала насквозь. Класть цыгана было некуда, на полу, на сене спать он отказался, а ждал, когда чуть остынет плита, и ложился на плиту, на чугунные конфорки, и жарился на них, пока они были горячие, как грешник в аду. А в середине ночи вставал с остывшей плиты и так стучал зубами от холода, что будил нас.

Утром, едва светало, цыган, перепачканный, в саже, отправлялся в лес тормошить в работе мужиков.

Зима была вьюжная, цыган одет легко, и он попросил у меня старый шарф, который прислала мне мать.

Я был тоже одет не слишком тепло, шарф был единственной моей теплой зимней вещью, но я дал его цыгану и больше не видел ни шарфа, ни цыгана: в тот день он увез спиленный лес в свою Бернгардовку.

Вначале я очень обиделся на цыгана. Мне казалось, он просто надул меня: занимая шарф, он уже тогда знал, что его не вернет.

Дни шли, а я ждал цыгана, ждал, что он приедет, отдаст шарф и поблагодарит меня за добро. Но кончилась неделя, другая, цыган на кордоне не появлялся, и я усовестился, что так плохо думал о нем. Я понял, что цыган оставил себе шарф не потому, что он ему был нужен, подумаешь, старый шарф, какая ему цена! — он оставил его как добрую память о нас с дедом, о кордоне, о ночевках на чугунной плите — не каждому удается поспать на раскаленных конфорках.

Пока я думал о цыгане плохо, мне самому было плохо, будто не он взял у меня шарф и не вернул, а я. Но стоило мне переменить о цыгане мнение, и я стал думать о нем хорошо, и мне тоже стало хорошо, весело. Я утвердился в вере, что оба мы поступили правильно: я дал ему шарф, он оставил его у себя. Было бы гораздо хуже, если бы случилось иначе.

30

В поисках Сильвы, в беготне по лесным кварталам я разбил флотские ботинки и ходил по лесу в тапочках. Ногам было легко, и я, словно бабочка, порхал над землей, но в тапочки набирались камушки, хвоинки и прочий лесной мусор и мешали ходить. Когда я вяз в болоте, тапочки сваливались с ног, а при рубке топор так и норовил попасть по незащищенной ноге. В зарослях возле речки было полно змей. Я не раз натыкался на них, а однажды неосторожно наступил на гадюку, она укусила меня ниже щиколотки и чуть не отправила на тот свет. С большой опаской ходил я по лесу, избегая зарослей, а наступив на какую-нибудь ветку и приняв ее за змею, подпрыгивал, как заяц.

Жить в лесу без сапог было плохо. Я мечтал о сапогах, купить их у меня не было денег. Но я не отчаивался. Я всегда считал, что главное богатство у человека не деньги, а ясная голова и трудовые руки. Если у человека есть на плечах голова, а руки не боятся мозолей,

можно считать, что он родился в сорочке. Очутись он на Северном полюсе или в пустыне, он не пропадет. В голове моей созрел план. Весной в огороде я посадил морковь. Я решил, как только она созреет, продать часть урожая, а на вырученные деньги купить сапоги. Почему я посадил морковь, а не петрушку, укроп, капусту, лук, сельдерей, огурцы, помидоры? На это были причины. С детских лет у меня к моркови особенная любовь. В голодные военные годы она была для нас, ребятишек, и хлебом и сахаром. И мы мечтали о ней, как иные мечтают о миллионах. Она и сейчас для меня слаще всех сладостей на свете.

Я хорошо потрудился: в старом ведре наносил конского навоза, взбил землю, как перину; едва морковь проклюнулась, прополол. А дальше она росла сама. Я с нетерпением ожидал появления моркови, колупал пальцем землю, желая убедиться, набирает ли она полноту; рисовал в своем воображении картину, когда я выкопаю морковь, отвезу ее на базар, продам и куплю сапоги, не резиновые, в них быстро потеют ноги, да и в носке они недолговечны, а кирзовые, с яловыми головками, на один размер больше, чтобы зимой надевать их на две портянки. Если не давать сапогам задубеть, заскорузнуть, сушить их не на жарком огне, а на медленном, смазывать жиром, да при теплых портянках,— ноги сидят в них в сухе и в тепле, пальцы не мерзнут, пятки не немеют и ход быстрый — куда там флотским ботинкам!

Однажды я глянул на грядку и чуть не обомлел. На морковной грядке вместо моркови торчал красный сапог. Я подумал, что это мне показалось, не может в огороде вырасти сапог, да притом красный, это было бы для меня слишком хорошо. Могли вырасти ботинки, тапочки, зимняя шапка в конце концов, но не сапоги. Я протер глаза: может, это был все-таки не сапог? Нет, это был сапог. Я мог дать голову на отсечение, что сапог. Я вытащил его из земли, прижал к груди — вот драгоценная находка! Рядом торчал второй сапог, третий. Я не сомневался в хорошем урожае; агротехнические работы я выполнил добросовестно, навозу в землю добавил больше нормы, а навоз у Сильвы был особенный. Если справедливо выражение «навоз бога обманет», то оно целиком могло быть отнесено к навозу моей кобылы. Это был не навоз, а дрожжи, способные вдохнуть жизнь в любое тесто. Но предположить, что он

окажет такое воздействие и взрастит мне сапоги, я не мог. Я был рад, что теперь мне было в чем ходить. Правда, мне не очень нравился цвет сапог, красные сапоги сейчас в моде у женщин, но кто в лесу обращает внимание на моду.

Я выкапывал сапоги, а сам думал: «Что же, собственно говоря, представляет собой жизнь? Час назад у тебя не было ни копейки, ты мечешься, ты волнуешься, ты не знаешь, как быть, мрачные мысли тебя одолевают, ты думаешь о смерти, проклинаешь судьбу, а глядь, перед тобой сто рублей. И ты снова жив, снова весел». Не скажу, чтобы я всегда был таким розовым оптимистом, случалось, и у меня были черные дни, и меня гнула судьба, но я никогда не давал ей овладеть мной полностью. Главное, не отчаиваться. Жизнь намного мудрей и добрей, чем мы о ней думаем. И хоть мы иногда в дни сомнений и стонем, и проклинаем ее, где-то в глубине души верим, что она не так уж плоха и в нужную минуту не покинет нас, не предаст, а одарит сполна. Конечно, кому снятся кисельные берега и молочные реки, тот может ждать их хоть до потопа. Но кто неприхотлив и незатейлив и мечтает о малом, о самом необходимом, тот может быть уверен, что добра хватит и на его долю.

Теперь я был несметно богат сапогами. Я бы мог менять сапоги каждый день, и мне бы хватило их до конца жизни, я бы мог, нагрузившись сапогами, ходить по городам и весям и одевать босоногих. Мало ли их еще на свете! Конечно, будь в моей власти, я бы не ограничился раздачей сапог: одеть нагих, обуть босых, напоить жаждущих, проводить мертвых — не в этом ли наша задача?

Задумано — сделано. Я нагрузил сапоги в мешок и отправился в село. Дорога предстояла длинная, и мне ее вполне хватило, чтобы подумать: как, между кем распределить сапоги. На первом месте был Василий Соловей. Семейка у него была по нашим временам огромная — двенадцать детей и все мал мала меньше. Лишь старшая дочь работала в Ленинграде на заводе «Светлана» и помогала отцу. За Соловьем следовала семья Смирнова, у него семь детей. Вдова погибшего шофера Никулина — четверо детей, Буров — трое детей. Дальше шли Коровины, Ненашевы, Дудкины. Сложность заключалась не в том, чтобы наметить, кому нужны сапоги,

в конце концов их можно было предложить любому встречному, а в том, как отдать сапоги, под каким соусом все это сделать. Прийти и брякнуть: «Вот, мол, выросли у меня в огороде сапоги, возьмите, может, пригодятся в хозяйстве, а мне не нужны». А кто этому поверит? Где это видано, чтобы в наше время в огороде вырастали сапоги и какой-то лесник носил бы их по селам и предлагал бесплатно? А кто и поверит — возьмет ли? Сейчас какая ни есть, а у каждого обувка найдется. Принесешь сапоги, а они скажут: «Зачем с барахлом пожаловал? У нас своего деть некуда. Мы теперь в сапогах только грязь топчем, а в остальное время в модных туфлях щеголяем». А иным и надо, так не возьмут из гордости. Соловей первый откажется. «Я,— скажет,— не нищий, хоть живем мы бедновато, да все свое. Ступай, добрый человек, своей дорогой, не вводи меня в грех».

Вводить Соловья и других в грех мне не хотелось. На моей памяти еще была свежа злополучная история с Володей Филиным. Вот кто болел за людей и ратовал за любовь и счастье. Куда мне с ним тягаться! Он жил вдвоем с женой, и жили они дружно, я не помню случая, чтобы они когда-нибудь поссорились, но у Володи с зимы скапливался такой запас неистраченной любви, что для жены этого было много. Каждый год, когда наступала весна, Володя запрягал в телегу лошадь, запевал: «О, не буди меня, дыхание весны» — и отправлялся по окрестным местам, переполненный любовью, как бочка в хороший дождь. Он не пропускал ни одного человека, чтоб не объясниться ему в любви, будь это грудной ребенок или древняя старуха, ни дерева, ни камня, ни цветка; он обнимал березы, землю, он признавался в любви ветру, облакам, птицам, он считал, что человек не должен таить в своем сердце любви, от этого на землю приходят страдания и горе. Мужики встречали Володю неласково, ждали подвоха. Иные рассуждали так: «Знаем мы эту любовь. Все это неспроста. Сегодня он к нам с любовью пожаловал, а завтра девку испортит». Володя упорствовал, его побили. Он объяснялся в любви, его гнали со двора. А через некоторое время нашли в лесу придавленным сосной. Сам ли он угодил под сосну или кто-то ничтожный посмел поднять на него руку, так и осталось неизвестным.

Я боялся не ответа, Умереть за доброе дело никогда

не страшно. Я боялся, что не примут мои сапоги, как не приняли Володину любовь. А куда мне их девать? Склад устраивать? Хранить под замком? Солить, как грибы? Я всегда жил самым необходимым. Мне вполне хватало одной кастрюли, одной ложки, одного одеяла. Это вполне разумно, когда у человека есть то, что ему надо. Что бы я стал делать, если бы у меня было не одно одеяло, а два? Повесил бы на стене и любовался, глядя на него? А другой, несчастный, укрывался бы в это время каким-нибудь старым бушлатом?

Зачем мне второе одеяло, зачем вторая подушка, вторая ложка, вторая вилка, ведро, сапоги, если у кого-то нет и одного? Зачем это люди набивают себя барахлом, тонут в нем и утопают? Когда умрет в человеке эта скаредность, жадность, отвратительное накопительство; все он готов присвоить, прибрать холодильник, машину, деньги, все спрятать в сундучок. Бедняга, он тянет к себе вещи, он дрожит над ними, как будто вещи способны дать ему истинное счастье. И не понимает, что сам становится прахом. Нет, такая жизнь не по мне. Пронеси меня стороной! Я не нажил в лесу никакого богатства. Не скопил денег, не купил машину, не построил дом. Я живу в служебном помещении, из которого меня могут попросить в любой момент, у меня стол и кровать, которые я сделал сам, все остальное мне дали добрые люди или я нашел в лесу. Я беден, но, честное слово, я не стыжусь своей бедности, не терплю из-за нее неудобств и готов так прожить до конца дней.

Пораскинув немного умом, я решил разнести сапоги незаметно, тайком. Я дождался ночи и, когда ночь легла на село, крадучись, как вор, обошел все дворы. Я оставлял сапоги на крылечке, на самом видном месте, чтобы хозяева, проснувшись, сразу увидели их. Я угадал точно. Когда я обошел дворы, у меня осталось два сапога, как раз для меня. В радостном настроении я зашагал домой. Все сложилось очень удачно. Я людей оделил и себя не обидел. Такое случается не часто. Я шел, погрузившись в свои думы, как вдруг заметил, что я что-то жую. «Что бы я мог жевать?» — подумал я. В карманах у меня было пусто. А в руках, кроме пары сапог, ничего не было. Уж не ем ли я сапоги? Я глянул на сапоги — один сапог был надкушен. Я поперхнулся. С минуту мне надо было, чтобы убедиться, что я ем сапог. Но я еще не верил себе. Не может быть, чтобы я

ел сапоги. Что это за еда? Опилки в томатном соусе попробуй, гвозди, жаренные в сливочном масле... Я помнил, как во время войны был страшный голод, мы варили кожу, ели столярный клей, но сейчас не было войны. Правда, я был голоден, я не ел с утра, но не настолько же, чтобы есть несъедобные сапоги. Я хотел выругать себя за невоздержанность, что так распустился, и тут заметил, что сапоги не только съедобны, напротив, очень съедобны, вкусны и сладки. Это меня озадачило. Соблазн одолевал меня попробовать еще. С одной стороны, я чувствовал себя неловко. Есть сапоги... все-таки они предназначены для носки, а не для еды. Но с другой стороны, я был голоден и сапоги были очень вкусны. Я одолел смущение и осторожно откусил разок. Сапог был сладок. В короткое время я живо расправился с ним.

Утром село всполошилось. Чудесное появление сапог встревожило сельские умы. Бабка Карпиха, пользуясь случаем, открыто заявила, сапоги — дар божий за неустанные ее труды и моления. Более трезвые люди поговаривали: не подкинул ли эти сапоги троюродный дядя Архипа Жукова, заморский богач Жуков, приезжавший подышать дымом отечества из далекой Америки? Не пытается ли этот толстосум своими подарками купить наших людей? Милиционер Козырев, по долгу службы, не оставил без внимания и такую версию: не совершено ли где преступление? Не ограблен ли магазин? Для выяснения он потребовал, чтобы все сапоги были доставлены к нему во двор. Но так как сам Козырев был наделен парой сапог, а в своем неучастии в предполагаемом преступлении был уверен, и вполне справедливо,— велел забрать сапоги обратно.

Успокоились на том, что отнесли небывалый случай с сапогами к неразгаданным тайнам природы, разобраться в которых по силам только науке. С этой целью о сапогах была написана и напечатана в газете заметка под рубрикой: «Все ли мы знаем?»

Против моего ожидания, от сапог никто не отказался, никто их не выбросил. Бабка Карпиха повесила сапоги в красный угол, где когда-то висела икона богоматери, выменянная у бабки вездесущими собирателями русской старины. Женщины и дети щеголяли в сапогах в праздник и будни. Мужики тоже не брезговали удобной обувью, от частой носки и грязи они у них быстро

почернели, так что и тут все обошлось хорошо. А одна девушка вышла замуж. В сапожках она оказалась такой видной и симпатичной, что, неброская раньше, сразу выделилась среди местных невест.

Мне же ходить в сапогах не пришлось. Виной тому мое ненасытное чревоугодие. Зато я попробовал вкусных сапог. А ходить по лесу можно и в тапочках!

Меня спросят: а как же морковь, ведь сеял-то я морковь, а не сапоги, уродилась ли морковь? Нет, не уродилась. И я этому был даже рад. Во-первых, потому, что везти ее продавать я бы все равно не повез. На это нужно время и особый торговый талант, которым я не обладал. А во-вторых, если говорить совсем откровенно, она и не могла родиться. Почему? Потому что весной, сея морковь, я больше мечтал, чтобы у меня были сапоги, а не морковь. Я ждал сапоги, и они явились. Чуда тут никакого не произошло, оно и не могло произойти, в чудеса я не верю. Просто земля дала мне то, чего я хотел.

31

Беден мой язык, ох как беден! Не русский язык беден, он как раз велик и могуч, им можно выразить даже то, что невозможно выразить. Как молчание, он красноречив. Беден язык у меня, и я с усилием втискиваю слова и порчу, все порчу. А ведь иногда как хочется запеть соловьем, защелкать, засвистать. Но таланта мне на это не дано. И уж лучше бы не браться мне за свою писанину, а помолчать. Посчитать, что все и без меня написано, будет написано, каждый день пишется книга в моем лесу на кордоне. Ее пишет день, пишет солнце, пишет ночь со звездами, ее пишет лес. Но мелкое самолюбие не позволяет мне молчать. Я зажимаю себе рот рукой, связываю руки, я говорю себе: «Умолкни, жалкий воробей, дай слово сказать соловью» — и не подчиняюсь себе. Тщеславие ли, самоутверждение ли заставляет меня браться за перо и марать листы бумаги? Я знаю, что с каждым словом я не только порчу книгу, но и не даю хода той книге, которую пишет лес. Вдруг люди, читая книгу про мое бездарное времяпрепровождение в лесу, про мои ничтожные страхи и еще более ничтожные победы, не смогут из-за недостатка времени прочесть книги той, что пишется изо дня в день приро-

дой. Успокойся, говорю я себе, оставь дело, в котором ты не силен, тебе ли тягаться с этими мастерами, смири свою гордыню. И когда я говорю так себе, в моей голове нет на это ни одного возражения.

И тут я, конечно, преступник. Не пиши я эту книгу, лес, день, звезды, травы обязательно бы написали свою, и она была бы самой прекрасной книгой на свете, но они видят мое жалкое старание и откладывают работу до срока. «Что с ним делать? — говорят они.— Если ему невмоготу, если он жаждет излить себя на бумаге и старается запечатлеть свои подвиги, пусть пишет, мы не будем ему мешать, мы подождем». И я понимаю — я виноват, что самая прекрасная книга еще не написана, из-за меня она не написана, потому что я не смог молчать. А иногда мне приходят противоположные мысли, и я думаю: да я ли пишу книгу? Конечно, рука моя движет пером по бумаге, но пишу-то книгу не я. Ее пишет лес, что шумит под ветром, ее пишут травы, что поднялись весной, ее пишут земля, ветер, звезды. А я к этой книге не имею никакого отношения.

Увидел на дороге грибников, мужа и жену, он в широченных штанах, идет, как кавалерист, только что слезший с коня, она в платочке. Заметили меня — и в сторонку. Я свернул к ним и говорю: «Грибы ищете?» — «Грибы».— «Вон там красивые мухоморы». Она: «Вот участливая душа». Он фыркнул: «Зачем нам мухоморы?»

Метрах в тридцати за ними у куста можжевельника выросла семья мухоморов. Я их еще вчера заметил: большие, красные, в белых бородавках.

К вечеру снова встречаю грибников. В полиэтиленовом мешочке у них два сморщенных грибка, то ли свинухи, то ли чернухи, и не поймешь. Пренебрегли моим советом и что получили?

Пошел я на старое место под можжевельник. Встретили меня мухоморы торжественно, выстроились, как на параде. Уж я и так на них смотрел, и этак, и сбоку заходил, и спереди, и на три шага отступал, и на сто, и на четвереньки становился, и ложился на холодную землю,— все на них глядел и не мог наглядеться. Уж смеркаться стало, дальние деревья чуть угадываться стали, да и ближних не видать, уж ворона в сумерках

каркнула, кости мои заломило и глаза заболели от пристального глядения, а я от мухоморов не могу отойти, едва виднеются они мне в ночной тьме, вот и совсем не видны, и все-таки приятно глядеть в их сторону. Глядишь и радуешься, что они на месте. Несколько часов я ими любовался, и не наскучило мне это занятие.

Ах вы добрые мои мухоморы, так бы и смотрел я на вас дни и ночи, да пора домой!

32

При мне у Сильвы родились два жеребенка: Рыжик и Айва. Вначале я Айву назвал Апрелем и оконфузился. Жеребенок родился в солнечный апрельский день, ему судьбой было уготовано быть Апрелем. Когда жеребенок отошел от матери, я отвез его в лесхоз. Завхоз Васильев, выписывая на жеребенка паспорт, бегло, но внимательно его осмотрел и, к моему великому смущению, заявил, что жеребенок представитель не мужского, а женского пола и не имеет права называться Апрелем. Тогда Апреля переименовали в Айву.

Рос жеребенок легко, был резв и проказлив. Рано утром, когда я спал, он, приученный мной к лакомству, стучал копытцем в ступеньку крыльца и требовал, чтобы я вынес ему горбушку хлеба или кусочек сахара. Так что пока жеребенок был на кордоне, я просыпался не с восходом солнца, а под стук его копытца. Этим он и был примечателен. Вообще все дети у Сильвы были чем-то примечательны. Вертолет был с бельмом, но видел лучше зрячих. Рыжик умел предсказывать погоду, у Венеры каждый год вырастал на хвосте волос из чистого золота, Буран улыбался, когда ему показывали кулак, Снегирь решал в уме дифференциальные уравнения.

Айва была младшей дочерью Сильвы, Стрелка — старшей. Стрелку держал лесник Костя Маслов. Когда я пришел к Маслову объяснить свое бедственное положение — Сильвы я, как ни старался, не нашел,— он задумчиво сидел на завалинке. Я сказал ему, что у меня пропала Сильва, на что он мне ответил, что погода становится неустойчивой, вот-вот пойдут дожди. Я сказал, что я не могу найти Сильвы, она как сквозь землю провалилась. Костя ответил, что урожай на картошку в этом году будет, по-видимому, хороший. Я спросил

Костю: не даст ли он мне Стрелку, я хотел съездить на дальние выпасы и посмотреть, нет ли там Сильвы, не гуляет ли она с совхозными жеребцами. Костя ответил, что войны в ближайшее время как будто не предвидится.

Я понял, что мне с Костей не договориться, у него полно своих забот, и Стрелки мне не видать как своих ушей. Я сказал, что отправляюсь домой. На это он мне ответил, что жена его уехала погостить к теще, его две недели мучает радикулит, а у него дрова и сено не вывезены. Я сказал, что помогу ему.

Весь день я трудился в хозяйстве Кости Маслова. Я привез сено и дрова, растопил плиту и сварил ему обед, подоил корову... Когда я во второй раз стал прощаться с Костей и, попрощавшись, дошел до калитки в ограде, он вдруг вернул меня и сказал, что Стрелку он мне даст, но дальше ограды она вообще не ходит и вряд ли я смогу на ней попасть на дальние выпасы. Я заверил его, что постараюсь как-нибудь справиться.

Выехал я поздно. Был вечер, я лежал в телеге на свежей траве. Разговор с Костей меня утомил. Стрелка лениво двигалась по дороге. Закрепив поводья, я рассеянно глядел по сторонам, пока не уснул. Я пробудился внезапно, словно меня кто-то толкнул в бок: я подумал, что Стрелка привезла меня на дальние выпасы и мне следует заняться поиском Сильвы и совхозных жеребцов, но никаких выпасов я не видел.

Была ночь, и звезды висели прямо над моей головой. Я глядел в темноту, желая по особым приметам — сваленной сосне или пню — узнать, где мы находимся, но местность не узнавал. «Не может быть, чтобы Стрелка заблудилась и ушла в чужую сторону,— подумал я.— Этого с ней никогда не случалось». Я глянул вниз на дорогу и удивился. Дороги не было. Ни травы, ни луж, ни камушков у обочины, ни сухих опавших хвоинок. Внизу, как и вверху, сияли звезды, и некоторые из них были так близко от меня, что я бы мог, если бы захотел, дотронуться до них рукой. Звезды были и слева от меня, и справа, а впереди, прямо над головой Стрелки, светила одна особенно яркая звезда.

Я прислушался. Тишина была необычайная. Между тем Стрелка продолжала свой путь, и в тишине я слабо различал легкое цоканье ее копыт. Это меня еще больше удивило. «Где я? Куда попал? — думал я.— Неуже-

ли Стрелка завезла меня на небо?» Не веря своим глазам, хотел я слезть с телеги и проверить, есть ли под колесами дорога. Я уже скинул было ногу, но остановился. Прыгать просто так в бездну было рискованно.

«Уж не сон ли все это?» — подумал я. Но нет. Я лежал в телеге, на свежей траве, медленно вертелись колеса, я видел Стрелку и ощущал ее пот. Небо как бы расширилось, опустилось. Но ни леса, ни земли, ни дороги я не видел.

Желая убедиться в истинности происходящего и понять в конце концов, где мы находимся, — если мы не на земле, то действительно ли на небе? — вглядывался я вперед, но дальше лошадиной морды ничего не мог различить. И тут я заметил, как Стрелка, эта вечно ненасытная утроба, срывала по пути какие-то травинки и жевала их, а одна травинка прямо висела у нее на губе.

Тут я вполне убедился, что не сплю, что все, что я вижу, есть на самом деле, но от этого мне не стало легче. «Если мы на небе, то зачем? — думал я.— С чего бы это вздумалось Стрелке забираться на небесную твердь? Что бы это значило?» И еще я в первую минуту подумал, что я совершенно не желаю кататься по небу, ежеминутно рискуя свалиться куда-то вниз. Чего хорошего — торчать неподвижно в телеге и не сметь даже пройтись пешком. «Я хочу на свой кордон,— сказал я сам себе.— Я хочу видеть свои леса с перелесками, с полянами, с косогорами. Я хочу видеть речку с прибрежными лугами и высокими зарослями дикой смородины, в которых каждое утро пасутся приезжие горожане. Хочу слышать пение птиц весной, я хочу видеть старые прогнившие бревна избы, хочу сидеть у плиты и варить картошку, пусть без дела, без Сильвы, в одиночестве. Я хочу быть на земле, а не болтаться по этому пустому небу». Мне кордон показался таким милым, таким родным, что я за то, чтобы там очутиться, готов был отдать жизнь.

Признаюсь, я был в совершенном расстройстве, не зная, что предпринять. Я уже хотел развернуть Стрелку на сто восемьдесят градусов или, как говорят моряки, сделать поворот «оверштаг» и ехать обратно, но благоразумие меня остановило. «А куда назад? — подумал я.— Где тут то, что мы на земле подразумеваем под словом «назад»? Сделав это, не попаду ли я в еще более

странное место, не заблужусь ли окончательно, не буду ли болтаться в бесконечности до конца своих дней, пока не умру голодной смертью?» Мне и раньше приходилось теряться в лесу и бродить в нем по нескольку дней. И если я не знал дороги, то по горькому опыту знал, что лучшее средство выйти из леса — в спокойствии: не паниковать, не метаться в чащобе из стороны в сторону, не орать на весь лес «караул», словно тебя услышит какая-нибудь добрая тетя, а сесть на пенек, спокойно подумать, что и как предпринять. «Спокойствие, главное — спокойствие,— говорил я себе.— В жизни бывали минуты и пострашнее, и ничего с тобой не случилось, ты остался жив и здоров».

И тут меня осенила мысль: «Если Стрелка так уверенно шагает куда-то вперед, хотя я и не знаю, куда это вперед, значит, она знает, куда идет». Я даже подумал о том, что, видимо, ей эта дорога не так уж плохо известна и она разбирается в небесных дорогах не хуже, чем в лесных. А раз так, то и волноваться не стоит. Дальних покосов она не минует, а кто знает, вдруг мне улыбнется счастье и вот так, колеся по ночному небу, встречу я какой-нибудь спутник, запущенный с родной Земли?

Правда, лес — это одно, а то, куда завезла меня Стрелка,— другое. В лесу я бы чувствовал себя везде спокойно. В любом лесу, ближнем или дальнем, знакомом или незнакомом, я бы считал себя как дома: те же сосны, ели, кусты можжевельника, та же земля. Устал — ложись под ель и отдыхай. Захотел пить — нашел родничок и утоляй жажду. Замерз — надрал бересты, нарубил смолья, наносил сухостоя и грейся у костра. И в сосновом бору, и в еловом чапыжнике, пусть бы они тянулись на тысячи километров, я бы не потерялся, будь со мной соль да спички. Опасные звери? Но в наших лесах они на человека не нападают. Придешь в сосновый бор, и снизойдет на тебя вдохновение. Глянешь на пробегающего лося — загоришься воинственностью. Припадешь к земле — наполнится сердце любовью. Везде лес будет понятен и приятен. Нужно только, чтобы мысли у тебя были чисты, а сердце доверчиво, как у ребенка. Это я говорю не с чужих слов, а по собственному опыту. Если когда лес и враждебен, так это от незнания, от непонимания его. Конечно, и в лесу не нужно зевать. Зазевался — и попал в беду: обморо-

зился, утонул в болоте, сломал ногу, сгорел в пожаре. Но кто когда говорил, что в лесу нужно зевать, закрывать глаза, затыкать уши? Напротив, в лесу нужно иметь уши, как у слона, глаза, как у ястреба, ноги, как у лося. И тогда ничто не пройдет мимо тебя: ни красота, ни любовь, ни счастье.

Но небо, когда попадешь на небо (с земли кто не восторгается им!), рождает иные чувства. Деревья тут другие, земля, лоси, тропы, родники — все другое. Как припасть к земле, набрести на тропу, напиться из родника, отдохнуть под деревом, надрать бересты? Где брать любовь, откуда черпать крепость духа, как не спасовать, не растеряться, не предаться отчаянию? Бездна разверзлась вокруг тебя, ты — один, и где-то сияет звездочкой мать-Земля. Тысячу раз преклонюсь я перед этими смельчаками, которые отважились ступить в звездные выси. Для меня эти люди — не люди, а боги, великаны, богатыри, прокладывающие пути в неведомое. Мог бы я равняться с ними умом, отвагой, силой? К каким дальним выпасам торопились они, какой лес охраняли?..

Я лежал в телеге и глазел по сторонам. Вдруг в темноте (видимость была довольно слабая) впереди себя я заметил шагающую фигуру. Я вгляделся пристальней — по невидимой тропе шагал человек. Скоро мы нагнали его. Это был мужик лет сорока пяти. Вид у него был усталый. За плечами болтался тощий рюкзачок, на сапогах — пыль. Мы поздоровались с ним, и он спросил:

— Не подвезешь?

— Садись,— сказал я.— Места много.

Мужик влез в телегу, снял рюкзак, положил его возле себя и спросил:

— Далеко путь держишь?

Я неопределенно махнул рукой.

— А ты? — в свою очередь спросил я.

Он молчал.

Руководствуясь своим правилом не лезть человеку в душу, если он этого не желает, я не расспрашивал его. Но где, когда, на какой дороге встретится вам русский человек, который, проведя в компании час или сутки, не поделился бы своими мыслями, не раскрыл душу? Я таких не встречал. Попадаются, конечно, молчуны, что идут по дороге в рот воды набрав, точно им сказать нечего. Но ширь велика, даль неоглядна, дорога вечна,

без края и конца, а жизнь скоротечна, картины величественной природы расстилаются перед глазами, будят в задремавшей душе чувствительные воспоминания, люди добры и неприведредливы, какую ни откроешь правду, они все примут, все выслушают с уважением, с достоинством, с благодарностью, посоветуют, посочувствуют, утешат. Какой-нибудь домашний пророк, которому по принципу «нет пророков в своем доме» не дают в семье слова сказать, и он, обремененный и отяжеленный гениальными предвидениями, скорбит и плачет в тишине, тут обретает наконец и простор, и волю, грозит, витийствует, бичует, припадает к сочувственной груди слушателя, как ребенок к матери, и, разгрузив себя от бремени, спешит к тому берегу, имя которому благодать. А другой попутчик, слушавший пророка и провидца, совсем не в претензии за то, что оторвали его от своих дум, он случая не упустит и сам ввернет слово, а если не успеет, то и тут будет не в накладе — дорога длинна, а попутчиков тьма, кажется, вся Россия живет на колесах, уж кто-нибудь обязательно подвернется ему по пути и откроется, как пустой сосуд, принимающий душистый напиток. Никому нет дела, кто ты — начальник или рабочий, паришь ли в небе или пал под гнетом страстей, скуп или щедр,— каждому определена мера, каждый будет выслушан, понят. И одно меня в этом удивляет: как ни тяжки порой откровения, но груз их не гнетет, чем беспощадней исповедь, тем легче ее воспринимаешь.

Мы молчали оба. Наконец мужик сказал:

— Дело мое трудное, не знаю, поймешь ли ты меня. Ну да ладно, дорога дальняя, делать нечего, так и быть, расскажу.

Телега нырнула в какую-то ухабину, нас тряхнуло, я навалился на его сторону, он поддержал меня, потом он навалился — я поддержал.

Мужик вздохнул, сплюнул куда-то вниз и начал:

— Сам я из Осиновой Рощи, шофер. Познакомился с одной девушкой, погулял, а потом предложил жениться. Думал, будет у нас в доме мир и счастье, а вышло иначе. Как женился я на ней, так и пошли мои муки. Что я ни сделаю, то и она совершает. Я встаю рано, и она встает рано. Я говорю ей: «Пожарь картошки, очень я ее люблю». И она мне: «Я тоже люблю». Я иду в баньку париться, прошу пятки почесать, и она свои просит. Я сажусь радио слушаю, и она слушает. Я го-

ворю: да, и она говорит: да. Одинаковость у нас получается и в хорошем, и в плохом. Я терпеть не могу кошек, оказывается, и она их не любит. Мне не хочется идти в кино, и она не идет. Сижу — она сидит, стою — она стоит, улыбаюсь — она улыбается, зеваю — и она рот свой тянет. Я болею, и ей нездоровится, я выпиваю, и она выпивает, не отстает от меня и пьет со мной ровное число, так что и в этом у меня нет никакого первенства. Ругаюсь, она ругается, слова лишнего не скажет, отмеряет ровно столько, сколько я отмеряю, ни больше ни меньше,— словом, все ее дело заключается в том, чтобы сделать так, как я делаю, и оттого у нас в доме такая уравниловка, что хоть покойника выноси. Иногда мне кажется, что я только тем от нее и отличаюсь, что меня Степаном зовут, а ее Антониной, но и тут она все на свой лад перевернула — меня Стеником зовет, а себя Степанидой.

Тут однажды покупаю я ей губную помаду за рубль и говорю: «Мне тоже губную помаду купишь?» Она на следующий день идет в магазин и покупает мне мужскую рубашку за девять рублей. Я покупаю ей дамское белье за двадцать рублей. Она мне ботинки — за сорок. Как увидел я это, заплакал. Страшно мне стало. До чего, думаю, такая жизнь довести может? Что дальше-то будет?

Сели за стол. Она котлеты мне подсовывает, а я ей обратно в тарелку кладу. «Ешь ты, тебе поправляться надо»,— говорю. А она: «Нет, ты ешь, тебе больше надо». Сидим, не едим, друг друга уговариваем, а есть хочется, кажется, камни бы есть стал. Лег в постель и спать не могу от голода, а во сне меня всякая еда мучит. Раненько утром встал да бегом в магазин, купил колбасы да хлеба, забрался в уголок от людей подальше, стыдно, не дай бог, кто из знакомых увидит, набил брюхо, как собака, и бегом на работу. Прибежал с работы домой, гляжу — ее нет, я скорей на кухню, обед варю, воду ношу, пол мою. Вошла она, чует что-то неладное, кинулась к посуде — посуда чистая, она к плите — а на плите обед готов. Глядит, и пол чистый. Аж позеленела она. Взяла ведро, налила воды, давай пол заново мыть. До середины домыла, бросила тряпку, плачет: «Стеник, родной, пожалей меня, дуру, отдыхай, я все сама сделаю». А я тем временем в магазин за хлебом, за продуктами бегу, прибежал домой, брюки

старые нашел, заплатки на них ставлю. Она отнимает у меня брюки. Трещат они, рвутся, а я за чулки принялся, никогда штопать не умел, а тут научился. В кино с ней перестал ходить. Заранее узнаю у ребят на работе, какой фильм идет, хороший или плохой, если плохой — я иду, хороший — ее выпроваживаю. Иной раз знаешь, что кино дерьмовое, идешь на него, как на каторгу, и выходишь оттуда злой, как сто чертей, до того оно глупостью своей тебя разозлит, что и сказать невозможно, кажется, что какой-то идиот специально в насмешку такое кино поставил, чтобы ты идиотом стал, а придешь домой, глянешь на жену, и легко на душе становится, потому что знаешь — хоть она и думает, что добро тебе сделала, в кино отпустила, сама не пошла, ты-то лучше ее знаешь, чем это добро пахнет.

Устраивает она тогда такой фокус. Бросает швейную работу в ателье и идет к нам в гараж учиться на шофера. Получает права и машину и целится обойти меня в работе. Я еще крепче нажимаю. Вызывает меня начальник и говорит: «Мы приветствуем ваше движение». Так мы и стали с ней передовиками. Газеты наши портреты печатают, статьи пишут, на торжественных собраниях нас в президиум сажают, она садится в один конец стола, я в другой, речи говорим по очереди. Я о себе рассказываю, она о себе. Вроде и есть что-то доброе в этом деле, а не веселит меня эта музыка, мрачнее тучи хожу. Вижу, послабление получает она от начальства, а мне все больше трудностей создают. Прихожу я к начальнику и заявляю: «Не хочу я так работать. Зачем народ обманываете? Передовик она ведь липовый». А он: «Как так липовый! Ты слова правильней выбирай».— «А так, говорю, показатели вы ей разные приписываете, очковтирательством занимаетесь». Так мы с ним ни до чего и не договорились. Выгнал он меня, да еще и разобрать мое поведение обещался.

Напился я в этот день с горя, пришел домой, смотрю: она цветет от радости. Я с порога на нее с кулаками, мебель ломаю, крушу: «Хватит, натерпелся я вволю. Теперь ты получишь сполна. Не хотела мира, будет тебе война».

Утром подает она мне чистую рубаху на работу идти, а я ее чмак! — измазал в грязи и на себя надел. Подает она мне тарелку, а я тарелку об пол — бряк! Вечером в пивную завалился с дружками, пью, гуляю. Вижу —

явилась, нашла. Уговаривает, чтобы я домой шел. «Стеник, говорит, милый». А я ее громогласно перед народом позорю: «Куда мне идти, паскуда, нет мне житья в твоем доме, нет у меня больше жены, некуда мне идти». Она меня за рукав тянет. «Неудобно, говорит, народ на нас смотрит». А я: «Чего мне народа бояться! Весь я открыт перед народом». Привела меня домой. Я опять все раскидал. Она молчит, ни слова поперек не скажет, убирает за мной, уговаривает, а я бушую. И думаю, как над ней погаже поизмываться.

Несет она мне суп, а я — не солено. Она кашу, а я — пересолено. Она мне — чай, а я — почему горячий, почему холодный? Почему в чашке? Почему в стакане? Дай сахар, дай варенье, не надо сахара, не люблю варенье. Сколько я над ней измывался, а ни одного упрека не слышал, ни в чем отказа не знал. А это меня еще больше бесить стало. Я новые гадости придумываю.

Дальше больше. Мне уж и этого стало мало. Приказываю ей не только что-то доброе для меня делать, но и злое. Стал перед ней и говорю: «Бей меня». Она вся так и задрожала: «Не хочу тебя бить, пожалей!» А я: «Бей, гадина». Она слабенько так прикоснулась. А я ей: «Бей сильней». У нее аж слезы на глазах. Не смеет она меня тронуть, а я к ней настырней лезу и требую. Так настырничал, что она схватила утюг да утюгом меня по голове как огреет. Схватился я руками за голову, а у меня кровь хлещет. «Дай тряпку»,— кричу. А она в ответ: «Сам найдешь, не околеешь».— «Позови врача».— «Сам позовешь»,— хватила дверью и ушла.

Добился я таки своего. С тех пор все в доме у нас переменилось, и она переменилась, точно заново родилась. Раньше я кричал на нее и тарелки бил, а теперь и она принялась. И летит у нас все с таким размахом, что страшно подумать. Прорвало ее, не удержать. Я ей слово скажу, она мне два, я два — она три, я три — она четыре. Я ее стыдить, а она меня больше. Я деньги домой принесу, она из дома несет. В доме грязь, гадость, запустение, завшивели, в глазах дурнота появилась. Словом, война не на жизнь, а на смерть.

А жить стали с ней так. Хвалю я ее — она злится, ругаю — будто ласковое слово скажу. Собираюсь к товарищам в гости идти, она не пускает. А наговорю я на товарища, что он, мол, негодяй и дурак и не хочу я к нему идти, тогда она силой гонит: «Как тебе не стыдно

от приглашения отказываться». Захочу, чтобы она в магазин за продуктами шла, говорю нарочно, чтоб не ходила, чтобы ничего не покупала. Непременно пойдет и купит. Хочу, чтоб сготовила суп,— ругаю суп. Что мне надо, скрываю, что не надо — говорю. Перепуталось у меня после этого в голове, что хорошо, что плохо, сам ничего понять не могу. Раньше грибы любил, а теперь, чуть скажу о них что плохое, и они, действительно, кажутся мне дрянью, в рот не лезут. Товарища уважал, ценил его дружбу, а пришел к нему и замечаю, что жаден он, скуп, довериться ему нельзя, продаст ни за понюшку табаку. Работу свою любил, а нынче возненавидел, гнешься за баранкой день и ночь и смысла никакого не видишь. Раньше любил с гостями посидеть, поговорить, песни попеть, анекдоты послушать, пошутить, а теперь раком-отшельником стал, ни с кем не встречаюсь, не хочу, сторонюсь. Кто слово какое скажет, кажется мне, будто ком грязи выплюнул. «Подлецы, шепчу, гады, сволочи, каждый норовит в чужой карман залезть. Разве с такими людьми что-нибудь сделаешь? С ними-то и дышать одним воздухом противно. Все бессмысленность и обман». Замечаю за собой: был правдив — стал лжив, труслив, мрачен, всего боюсь: и аварии, и воровства, и начальства. Всем людям каркаю: «Война будет. Голод будет. Подохнем все». Пришел как-то в баню мыться и все время думаю, что банщик на меня, как на вора, глядит, пока одеваюсь и раздеваюсь, как бы чего из тряпок чужих не украл, и уж не до мытья мне тут. Говорю про себя: «Не надо мне этого тряпья, ничего я не возьму». Вот какой я стал. И о жене всякое дурное думал. А раз подумал, что хочет она меня убить. Я и решил: чем она меня, лучше я ее. Ночью взял топор, подошел к ней. Она глаза открыла. Я в ужасе. За что я ее так? Что она мне сделала? За что унижаю, всякие подлости творю?

Поглядел я на себя со стороны. И стыдно мне, и противно. И грудь тоска давит. «Нет, думаю, нельзя так дальше жить. Не доведет это до добра. Меняться надо. Любовью надо жить, а не злом».

Утром встал, взялся убирать по хозяйству. Пол с трудом отскреб. Жена через полчаса грязи нанесла. Я картошки на двоих поджарил, она ее в помойное ведро выкинула, ну, словом все, как я раньше делал. Пригласил я домой знакомых, чтобы ее развеселить, а она

из дома вон, ночью притащилась пьяная, грязная, и, где только шлялась, неизвестно. Я лгать перестал, она еще больше лжет. И знает, что я не верю, а все равно врет. Как будто лгать ей лучше, чем говорить правду. Я для нее добром стараюсь, она мне за это злом платит. И чем больше я ей добра делаю, тем злее она становится. А я чувствую, что жить-то мне с правдой легче, что я не хочу жить дальше ложью, войной, вором жить не хочу, обкрадывать себя. А напротив, любовью хочу жить.

Износилась она, бедная, истрепалась бедняжка, поседела, морщины по лицу пошли. На ногах какие-то опорки носит, старым пальто голое тело прикрывает. В доме ни стола, ни стула, ни тарелки, ни ведра. Был дом, а теперь — как в разрухе после войны. Получил я зарплату, купил ей платье и туфли. Даю, она не принимает. Уговариваю: «Надень».— «Мне и так хорошо». Я насильно ее одевать. Взяла она платье и туфли и в печь бросила. «Что ты делаешь?» — говорю. А она: «Ничего мне твоего не надо, умоляю тебя, отстань от меня ради бога, не покупай ничего, а будешь насильничать, я тебя и себя погублю».

Что тут было делать? Задумался я, потом решил: поеду куда-нибудь заработаю побольше денег, накуплю всего, что только можно, привезу ей, поклонюсь в ноги и скажу: «Прости ты меня». А там что будет, то будет. С тех пор я и болтаюсь по свету. На Севере был, в Сибири, на Курильских островах рыбу ловил — может, слышал, есть такой остров Шикотан, сайру мы там ловили, а теперь вот сюда подался...

Он умолк. История и впрямь была не из простых. Я силился понять, как же так получилось, что два взрослых человека, которым жить да жить в мире и согласии, кончают непримиримой враждой и чуть ли не убийством, и ничего не мог понять. Моего ума тут не хватало. Я понимал, что с ним приключилась беда, но об этом он знал без меня и наверняка рассказывал свою историю не для того, чтобы вызвать во мне жалость и сострадание. Он хотел показать мне, как труден и тернист путь человека и какие суровые испытания готовит ему жизнь, но духом он остается тверд. Он хотел мне сказать, что его история — это не просто семейные ссоры-раздоры и рассказывает он ее мне так популярно потому, что ум мой не способен понять ее сложность. Он был прав. Суровый учитель, он ставил передо мной та-

кие неразрешимые задачи, до которых я не дорос. Я никогда не попадал в подобные ситуации, у меня не было жены, и я понятия не имел, как живут женатые люди: любятся они каждый день или ругаются. «Если люди сходятся для совместной жизни, то делают они это наверное не для того же, чтобы ругаться»,— думал я. А для чего? Для того, чтобы помогать друг другу? Но если они сходятся для того, чтобы помогать друг другу, почему они тогда враждуют? Чего им не хватает? Почему так получается, что у каждого из них есть только своя правда и, не принимая в расчет чужую, они отстаивают свою любыми путями? Неужели человек по природе своей не может с другими жить дружно?

Человек молчал, погруженный в свои воспоминания. Молчал и я, не смея его потревожить. Мы ехали какое-то время. Наконец он вздохнул, встряхнулся и, глянув окрест, сказал:

— Мне пора. Прощай. — И, не протянув мне руки, прихватив рюкзак, выпрыгнул из телеги.

Было мгновение, когда, загипнотизированный его бедой, я хотел было последовать за ним, и, позови он меня, намекни одним словом, я бы поспешил не раздумывая. Инстинктивно я даже схватил поводья, чтобы повернуть Стрелку вслед за ним. Но остановился. Что я мог ему предложить? Свое сердце? Оно было с ним. Свою малую силу, опыт, знания? Этого добра у него было побольше, чем у меня. Я понимал: когда он говорил о заработках, о деньгах, он имел в виду не деньги. Смешно и наивно думать, что бумажкой можно вернуть человеку любовь. Ты озолоти его, он останется несчастным. Тут понималось иное богатство. Я представлял это богатство в виде волшебной туфельки, которая принесет его жене счастье. Помочь отыскать такую туфельку мне было пока не по силам.

Странное дело, когда я был на земле, я думал, что небо пустынно и безлюдно. Я не предполагал, что встречу здесь людей. Их было не меньше, чем днем на Невском. Мне попадались старики, молодые, мужчины, женщины. Они подсаживались ко мне и делились своими историями, и этих историй я бы мог рассказать не один десяток. Моя телега напоминала автобус, в который садились, чтобы подъехать до следующей остановки. Но усталость давала себя знать. Я клевал носом,

отвечал невпопад, слушал вполуха, меня клонило в сон. И я уснул.

Проснулся я на кордоне Маслова.

33

У косогора чуть не наступил в траве на лягушку. Прыгнула она от меня, а я испугался. Не лягушки испугался, а что случайно наступлю на нее. Смотрю на лягушку и думаю: река далеко, озеро тоже, никаких водоемов поблизости нет, что бы ей тут делать, у косогора? Лягушка разглядывает меня и не торопится уходить. «Иди,— говорю,— не бойся. Не трону». Не уходит. Увидел на ольхе двух дерущихся воробьев. Стал их укорять: «Как вам не стыдно безобразничать! Чего не поделили!» Послушали они меня, смерили взглядом и улетели. А вот помирились ли, не знаю. Божья коровка села на плечо. А я сегодня разговорчив сверх всякой меры. Каждый пустяк меня трогает и занимает. Мне бы не обращать на божью коровку внимания, а я ворчу. Постоял у березы, рассказал ей свои сегодняшние сны, какие видел. Выслушала она меня. Иду дальше и никак не могу урезонить себя. Со всеми-то мне хочется поговорить, всех научить, надоумить, как будто я один за всех в ответе. А что я знаю? Какую мудрость таю? Недаром говорят: чем меньше человек знает, тем больше жаждет учить. Вот и я такой. Прошел мимо ели. Скрипит старая ель, жалуется. «Ничего,— говорю ей,— скрипи, скрипи, еще сто лет проскрипишь». Часа полтора, пока шел к просеке, разговаривал, а потом чистил просеку. Тут уж не до разговоров. Намахался топором до усталости, сел отдохнуть, и опять поучать. Привязался к кусту черники. Чего мал? Чего не растешь? А какое мне до него дело? Может, ему и так хорошо. Усовестился и, чтобы не лезть в чужую жизнь понапрасну, опять махал топором. До вечера намахался, иду на кордон и бубню под нос. К вечеру привязался — не нравится он мне: рано наступил. И такой он, и сякой, и душный, и ветра нет, и комары одолели. За день миллион слов наговорил: и как надо жить, и как не надо; и что хорошо, и что плохо. Послушать меня не лесник идет, а ходячий оратор. Кажется, выговорился я за день полностью — ничего не осталось. Пришел на кордон — за плиту взялся. Уж ее-то, старушку, за что? Или она не греет, или не

варит? Избу помянул недобрым словом, постель обругал и лег с чувством исполненного долга: все-то я сделал, все высказал, всех научил. Ай да молодец!

34

Грозы в наших лесах сильны. Они так несправедливо страшны и сильны, что в злобе своей — вместо смерти и пожаров, как в других местах,— забрасывают лес одуванчиками, анютиными глазками, незабудками и иными цветами (на удивление чужестранцам!). А лес наполняют такой живительной влагой, что он не только ею насыщается, но и оставляет про запас на особо праздничные случаи. Люди же, вместо того чтобы страшиться грозы и ждать наступления смертного часа, идут на грозу, как на свидание с любимой девушкой, и встретить в грозу человека в наших лесах не редкость. Некоторые даже предпочитают такие прогулки: в грозу и гриб крупнее, и ягода слаще.

Я тоже пытаюсь смотреть на грозу просто, как все, но у меня ничего не получается. При взрыве грома, при блеске молнии я впадаю в какую-то тревожную меланхолию. Я не цепляюсь за жизнь, временами, наоборот, меня угнетает мысль, не слишком ли я спокойно отношусь к смерти, нет ли в этом чего-то кощунственного и непростительно дерзкого, может быть, это происходит оттого, что я не верю в свою смерть — жить в лесу и верить в смерть невозможно. На каждом шагу природа убеждает тебя: вечна только жизнь, а смерть — это временное явление. Сбросило дерево осенью листья, а весной, глядь, распушилось вновь; поникли, поблекли, пригорюнились травы, ожидая зимы, а перезимовали под снегом — и прут весной вверх с неистребимым желанием и энергией, как будто не было осени, не было зимы, не существовало унылых дней, сумеречных заморозков. И все равно сердце мое замирает от страха. Не за себя — за лес.

В то утро было солнце, а к полудню нагрянула туча с восточной стороны, прикрыла землю, как гробовой крышкой, и началась гроза. Громы грохотали — точно палили из пушек. Молнии пучками сыпались на землю. Изба тряслась мелкой дрожью и подпрыгивала в такт ударам грома, порываясь взлететь вверх, позванивали стекла в окнах.

С совхозным конюхом Митрофаном мы сидели на кордоне, пили чай и вели беседу. Нас свела общая судьба. Он не мог найти жеребцов, а я Сильву. Он искал Сильву, чтобы найти жеребцов, я искал жеребцов, чтобы найти Сильву. Я уже отчаялся найти кобылу и похоронил ее в своих мыслях. Будь она живой, я бы ее непременно обнаружил. Митрофан, не поддающийся панике даже в трудные минуты жизни, и сейчас смотрел на события легко и уверял меня, что все образуется. Он картинно сидел за столом: нога закинута на ногу, левая рука со слегка оттопыренным пальцем подпирает бок, точно Митрофан плясать собрался, правая крепко держит горячий стакан чая.

Вдруг он прервал чаепитие и прислушался.

— Никак твоя Сильва ржет,— сказал он.

— Гром гремит,— возразил я.

— Кажись, с Потапкиной горы голос подает,— уточнил он.

Я насторожился. И точно, сквозь грохот грома я различил слабое лошадиное ржание. Я выскочил из избы в чем был. Дождь хлестал как из ведра. Гремел гром, молнии вонзались в землю и обжигали мои пятки. Я выскочил на дорогу и бросился к Потапкиной горе. Воздух, насыщенный влагой, был настолько плотный, что, казалось, я бегу не по земле, а на метр выше. Никогда я не бегал так быстро. Я забыл про опасность. Мне хотелось поймать Сильву. Гнев мой на нее давно испарился.

Я бежал, а в голову навязчиво лезли пословицы да присказки — все о лошадях, как будто я был дореволюционный крестьянин-безлошадник, для которого без коня и жизни нет. «Конь не выдаст — и смерть не возьмет». «С чужого коня посреди грязи долой». «Шутник покойник, умер во вторник, а в среду встал, коня украл». «Не хороша и лошадь, у кого во дворе бабушки нет». «Укатали сивку крутые горки». «Старый конь борозды не испортит». «Пеший конному не товарищ». «Выше меры и конь не прянет». «Топнет конь ногой — к дороге, ржет — к добру, спотыкается — к беде, валяется на земле — к теплу, копытом бьет — к драке, хвостом машет — к выпивке, ушами прядет — смерть близко»...

Скоро я подбежал к Потапкиной горе, но ржание Сильвы уже доносилось с поля, с противоположной стороны. Я побежал к полю, а голос Сильвы звучал у реки,

Я подбежал к реке, а он рокотал у кладбища. Я бегал как угорелый туда-сюда, Сильва мне не давалась, она точно в прятки играла: аукнет и спрячется.

Обозленный бесплодной беготней, усталый, я возвращался на кордон. И тут снова услышал ржание Сильвы, теперь оно неслось прямо из Сильвиного сарая. Я не хотел подходить к сараю, ожидая очередного обмана. Ржание раздавалось все нетерпеливее и настойчивее. Я нехотя подошел к сараю, открыл дверь. И что же? Я увидел Сильву. Она стояла целая и невредимая, тычась мордой в пустые ясли, будто никогда и никуда не убегала. С нее не упал ни один волосок. Но что это была за лошадь! Ничего общего с той старой никчемной кобылой, которую я знал раньше. Передо мной стоял могучий красавец конь, зависть всех ездоков на свете. Шерсть на нем лоснилась, ноздри раздувались, ноги ходили ходуном. Это был и конь, и птица, и мечта, и любовь. Такому коню нет в мире преград. Все ему по силе, любого он выдержит на своей спине, любого понесет, запряги его в телегу, в бричку, в сани, только не робей, держись покрепче, натягивай поводья и дай дорогу, чтоб ширь была и летела дорога без края и конца, а взгорки, тягунки, колдобины ему нипочем.

Что Пегас, кентавры, коньки-горбунки, что могучие кони богатырей, что Буцефал и Росинант — они в подметки не годились этому коню: с одной стороны он был похож на утреннюю зарю, с другой — на вечернюю, глаз его — на солнце, спина — на небо, грива — на лес, ржание его было сильнее грома.

С великой радостью я приблизился к Сильве. Я обнимал ее, целовал в морду и говорил:

— Кормилица моя, голубушка. Жива, целехонька. Наконец-то я тебя нашел.

Я говорил Сильве тысячи ласковых слов, но она не разделяла моей радости. Нехотя она дала себя обнять, а потом хватила зубами.

— Ну, не сердись, ну, будь умницей,— говорил я ей.— А я тебе сейчас сахарку принесу, овсеца дам.

Видно, она на меня крепко обиделась, потому что настроение у нее было не из миролюбивых. Недовольная, она слушала мою болтовню, слегка взбрыкнула и ударила копытом.

Мне было больно, но я не подал виду.

— Ах ты озорница,— сказал я.— Пошутить со мной захотела. Соскучилась. И правильно. Почему бы не пошутить, не поиграть.

Я опять обнял ее и опять получил от нее ощутимый тычок.

— Ну и молодечек, ну и шалунья, — не переставал улещать я ее.— Красавица, умница. Никому тебя не отдам. Да я любому голову оторву, если кто посмеет сказать о тебе плохо. Что я без тебя? Сирота. Только ты у меня одна и есть, а больше никого нет. Ты как солнышко, как утро, как день ясный, как дождь в поле, ты радость моя, свет в окошке, птичка моя райская, соловей бесценный, куст розовый. От твоих красот земля дышит и звезды ходят по небу. Живи, красавица, сто лет и не умирай!

Успокаивалась она медленно, но все-таки успокаивалась. И хотя она еще долго пыталась показать свой характер, капризничала, взбрыкивала, кусалась, вертела хвостом, весь вид ее говорил, что она готова забыть обиду и помириться со мной.

Через положенный срок Сильва принесла мне жеребенка — она никогда не гуляла впустую. Этот жеребенок был примечателен тем, что, едва появившись на свет, начал рассказывать сказки, но об этом в другой раз.

ОСЕНЬ И ВЕСНА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСЕНЬ

Глава первая

Шел лесом, был дождь, я поднял руки к дождю ладонями вверх и подумал, что руки связаны с небом, далеким и близким, они чувствуют небо. Было приятно гладить лицо. Оглаживал лицо, будто мир ощупывал.

Обычно я хожу по лесу быстро. Такую привычку выработал давно, а тут шел медленно, торопиться было некуда, смотрел на сосны, на травы, на брусничник и думал: как быстро я иду! А ходить бы по лесу, чтобы у каждого дерева стоять сто, двести лет, и все равно это было бы быстро, чтобы разглядеть каждую веточку, каждую хвоинку, каждую трещину в коре ствола, чтобы проследить жизнь дерева от рождения до смерти. Но ведь и этого будет недостаточно, ты увидишь смерть этого дерева, а захочется посмотреть, как на этом месте появится новое дерево, как оно будет расти, какие будет встречать утренние и вечерние зори. Нет такого медленного шага, который бы удовлетворил мое желание. Любой самый медленный шаг был бы слишком скор. И не лучше ли идти быстро и не угрызаться совестью, что торопишься и все пробегает мимо: и деревья, и жизнь, и кусты.

Со странной мыслью смотрел на деревья. Каждое дерево желает твоего присутствия, общения с тобой. И эта береза, и эта, и эта. И ты бы только весь день и занимался тем, что ходил и общался с ними. Но со всеми березами пообщаться невозможно — раз. И потом, они спокойно обходятся без тебя, во всяком случае не умирают. Наукой не зарегистрировано пока еще ни одного случая, чтобы погибло дерево от разлуки с человеком. Собаки умирают, люди умирают. Почему же тогда ка-

жется, что они жаждут твоего присутствия? Но посмотреть на небо — и оно хочет быть с тобой. И день, и ночь. И травы, и все, что ни есть на свете. И обходятся без тебя потому, что ты везде, ты с ними или они с тобой.

Можно так настроить себя, что появление цветов в природе принимать как признание их в любви к тебе. Но будет ли это правильно и что это даст? Я думаю: ты им должен объясниться в любви — вот почему они и вышли на свет, из человеческого желания найти объект любви. Их нет — кому бы объяснился? Я знал одного парня, он пню объяснялся.

День теплый, парной, редкие и пухлые облака, воздух тяжелый, и небо тяжелое. Кажется, и нет облаков, а они есть. Я гляжу на облака, я опьяняюсь ими, я как хмельной. Опьяняться можно не только вином, а всем, если этого мало, редко бывает. Опьяняются воздухом люди из города, опьяняются поцелуем целомудренники, опьяняются трезвенники от запаха пива, опьяняются любители литературы от хорошей книжки, опьяняются от слов, жестов, поступков, встреч, расставаний, еды, леса, воды... Опьянение — это способность человека: у тебя много любви, она тебя коснулась крылом, и ты ею опьяняешься.

Иду по тропе в двадцать втором квартале. Во время войны тут был передний край, шли бои. Окопов нарыли, блиндажей, они по сей день остались и еще долго, наверное, будут заметны. Тут можно найти простреленную ржавую каску, осколок мины или снаряда, старую винтовочную гильзу, кусок колючей проволоки. Это то, что на земле, наверху, а что лежит под землей — какие мины? чьи кости? — никто не знает. Когда мне пришлось рубить здесь просеку и я разжег костер, чтобы сжечь сучья, мины начали рваться с такой силой, что я едва унес ноги. Несколько раз в год появляются в старых траншеях мальчишки, ищут гильзы, роются в земле, в опавшей хвое. Если у меня свободное время, я гоню их и стращаю смертными карами, чтобы они не рылись в земле, а нет времени, я пробегаю мимо них, и сердце

у меня неспокойно: я думаю, не случилось бы с ними беды. Встретил однажды старика, приехал он из-под Харькова навестить места прошлых боев; как он сказал — «встретиться со своей боевой юностью». Лес с тех пор сильно изменился, и я повел его по лесу, а он узнавал места боев и не узнавал.

Сейчас я иду и вижу: стоит прислоненная к сосне боевая винтовка. Я взял винтовку, ремень истлел, дерево — цевье и приклад — источилось от дождя и времени, затвор слегка поржавел, но работает исправно. Я подержал винтовку в руках, а потом поставил обратно, где была, и двинулся дальше. Отошел метров сто и думаю: зачем винтовку оставил? Кто ей хозяин? Не в сырой ли земле лежит? Винтовка теперь никому не нужна. А наткнутся на нее мальчишки, беды не миновать. Вернулся, забрал винтовку, вскинул на плечо и зашагал, как солдат, по дороге.

Повстречалась компания: парень и две девушки, я им говорю: вот, винтовку в лесу нашел. Они: «Ах! ах!» Повстречался шофер у машины, я ему о винтовке. Он: «Ну-ну». Повстречалась ворона на сосне. Я ей о винтовке. Она: «Кар-кар». И подальше от меня. Повстречал цветок ромашки у дороги. Я ему о винтовке говорю. Он чуть клонится на ветру, молчит и смотрит на меня своим желтым глазом. Ничего он мне не сказал.

Я довольно легко предсказываю погоду, хотя места наши капризны и неустойчивы до чрезвычайности. Я гляжу на закат, на ранние звезды, на темнеющее небо, и этого мне достаточно, чтобы знать, что завтра будет — дождь или вёдро. Но вот какую странную, деликатную штуку я обнаружил. Знать-то знаешь, а говоришь невпопад. Глядя на закат, знаешь, что будет дождь, а говоришь — вёдро. В чем тут дело? Мне кажется, в том, что есть мысли, которые не боятся высказывания вслух, а есть, которые боятся. Оставил ты свою мысль при себе, и она проявилась верно: будет дождь. Высказал — и она уже ложна: будет вёдро. Иную мысль не только другому высказать нельзя, чтобы не спугнуть, но и себе открывать небезопасно. Как молодой гриб, боится она взгляда. Глянул — и умертвил. И вот как получается: глянул на закат, и вроде знаешь, что будет дождь, но и не знаешь, ибо не сознаешься даже

себе, что знаешь. Сознаешься — пропала точность. Но не сознаешься — ничего не узнаешь.

Чему я научился, живя в лесу, и что, как мне кажется, пошло мне на пользу, так это ждать. Поскольку я был связан с лесом, не мог его бросить в нужную минуту, хоть иногда и бросал, мне приходилось ждать терпеливо и безнадежно, как ждут иные вдовы погибших мужей. Все мои отношения с миром строились на ожидании. Я ждал приезда на кордон любимой девушки, она ехала и не приезжала. Сидя на кордоне, я ждал гостей, они могли приехать, а могли и не приехать; мало ли какие причины и капризы удерживают иногда гостей, даже самых долгожданных, от приезда. Я ждал визита директора лесхоза, который должен был засвидетельствовать мне свое почтение, слегка поругать за небрежение и нерадивость к работе и дать очередные ценные указания, без которых, по его мнению, я не мог существовать. Я ждал случайных прохожих, грибников, ягодниц, я ждал в ночи браконьеров, которые вдруг решили, что им непременно нужно побывать в моем лесу, иначе они заболеют страшной болезнью, а то и вообще умрут. А если учесть и принять к сведению, что кроме всего этого я ждал утра, ясных дней, весны, первых ягод, прилета птиц весной и прочего, я вообще был великая ожидалка, и уж что-что, а ожидать я научился на совесть. Иной раз сейчас мне кажется, что, будь содом и гоморра, смерть, ужас — и все дрогнет перед великим злом, я один не дрогну, не потому, что храбр и смел, а от привычки ждать. Мол, не такое терпели, перебьемся.

Ожидание сослужило мне хорошую службу, и если что обогатило, так это оно. Порой мы так нетерпеливы! Ссылаясь на быстрый век, мы сами бежим, торопимся и попадаем в лучшем случае в никуда. Одно время мне казалось, я стал женщиной — я только и делал, что ждал. Я был как баба. Все это хорошо, но я удивляюсь, как я не умер. Я даже есть не стал, ожидая, что наемся без того, чтобы заботиться о еде самому и пихать ложку в рот. А кто бы в лесу сделал это вместо меня? Пень? Я заботился обо всех, обо мне — никто. Но так ли уж никто? Отчего же я тогда до сих пор еще жив и не умер? Может быть, святым духом питался? Как бы не так. Если я и остался жив, так потому, что заботился

обо мне лес, пень тот же, травы, деревья, и кормили меня они, и поили, невидимо, конечно, даже для меня, потому мне и кажется иногда, что не заботились они обо мне и не кормили. А иначе не жить мне на свете.

Удивляет меня человек. Только видимое славит и благодарит. А невидимое поносит и ругает. Так и я поносил травы и ругал их, что я заботился о них, а они обо мне нет. А все это было неверно. От своего неведения, невежества я не замечал их заботу. Как же я должен был восславить их, когда понял, что ошибся!

Как прекрасен этот мир, как он прекрасен, как сладок он, и все у него есть, как великолепен он, этот славный мир, как он великолепен! Распластаться бы перед ним в раболепном преклонении, разве не такое желание бывает у человека, одолевшего в душе сомнения, нашедшего мир и гармонию, видевшего этот мир не прекрасным и не великолепным, в чем-то недостаточным? Все есть, все. Есть смертельное желание пойти в лес, и есть такое же желание не ходить. Есть способность видеть, и есть способность к слепоте. Есть уши, и есть глухота. Есть ум и безумие. Есть сила и слабость и слабость и сила. Есть уродство, есть красота. Поистине все есть и все есть во всем. В маленькой девочке есть старуха, а в старухе девочка. В свежей женщине есть затасканный мужчина, а в мужчине баба. Иду, сидит молодой мужик, а из мужика старая баба выглядывает. «Как ты сюда залезла?» — «А никак. Я тут всегда была». А из старой бабы выглядывает дитя, а из дитя куст шиповника, а из куста выпорхнула синичка и улетела...

Вчера шел по лесу и вспоминал об устойчивом своем чувстве торопиться жить, когда на кордоне наступило лето. Объяснить это чувство я не мог, я только знал его: едва начиналось лето, первые пригожие деньки, зеленела трава и начинали благоухать цветы, я садился на солнце на завалинку и оживала у меня мысль, что все быстро промчится и потому надо торопиться взять лета побольше: и тепла, и летнего неба, и румяного солнца, и туманов. Вчера я понял, почему ко мне, в общем-то неторопливому человеку, приходило чувство торопливости. Я думал, что оно приходит оттого, что я за зиму

намерзался, а летом отогревался, а это было не так. Не совсем так. Миг может быть и вечен, а жизнь любая скоротечна. И нет ничего скоротечнее жизни цветов. Едва расцвели, уже завяли. Невольно я глядел на цветы, на их торопливую жизнь и, уподобляясь им, от долгого глядения сам торопился. Мы всегда кому-то или чему-то уподобляемся, подражаем, хотим ли этого или не хотим: отцу, матери, другу, гению, траве, речке, барану. Я уподоблялся цветку. Чему я мог еще уподобиться, если цветов в лесу тьма,— куда ни пойдешь, всюду они бросались в глаза? Я видел их быстрый рост, и их нетерпение передавалось мне. Вот и вся причина торопливости. Не солнце я ловил, сидя на завалинке, и не отогревался от зимы, как тогда думал: я жил жизнью цветка. Угасали цветы, уходило лето, торопливость моя исчезала до следующего лета, я опять никуда не спешил.

Я думаю, хотя и не утверждаю,— я далек от утверждения подобных вещей,— человек, в сущности, имеет то, что он имеет. Ничто не приходит извне. Природу нельзя обмануть, заплатить ей один рубль, а сказать — десять. Был у меня период, когда я так глубоко верил, что у меня не может быть ни одной порубки, ни одного сломанного дерева, что их и вправду не было. Что действовало тогда на моих браконьеров, не знаю, но они избегали появляться в моих кварталах, они обегали меня за десятки километров, и на протяжении продолжительного времени не было случая, чтобы кто-то даже по ошибке срубил дерево. Почему? Во-первых, потому, что я был твердо уверен, что этого не случится, а во-вторых, если и случится, все равно этого не может быть. Применяй нарушитель любые хитрости, вводи хоть весь свет в обман — ничего у него не получится. Так записано в Книге судеб, и иному не бывать, потому что ему не бывать. Как жалко, что в ту пору я охранял только свой участок леса, а думай я шире, возьми ответственность побольше, и моя вера могла бы сохранить весь мир, всю вселенную.

Когда же я со временем (был у меня и такой период) порастерял свою веру, со страхом и ужасом стал думать, что мне не миновать порубок, я не уберегу лес,— браконьеры, как можно догадаться, были тут как тут. Они словно прочитали мои мысли на расстоянии,

да, наверное, так оно и было. И такая в ту пору у нас пошла с ними рубка, страшно до сих пор вспомнить. Куда девался мой сон, благодушие, мир и спокойствие? Я был весь в войне, в ловле, в погоне, я носился по лесу, ловил их, караулил, зевал, опять находил, опять зевал, я умудрялся прозевать порубку у самого своего порога, у меня увезли собственные дрова, и я в ту зиму остался без тепла. Надежные мои границы расползлись и затрещали. Я возопил: погибнет весь лес! Тут натерпелся я страхов. Я стал труслив, ночью запирал дверь на щеколду, клал у изголовья топор, мне казалось, что меня убьют, а кордон подожгут. За каждым кустом мне мерещился враг, ствол ружья, капкан, ловушка. К счастью, эта пора миновала. А будь она дольше, и я бы не выдержал, сошел с ума, сколько бед тогда на меня обрушилось!

Я смотрю на лес, на землю, на солнце, на травы не как на противоположное мне — это я, мол, а это не я, а что-то другое,— а как на продолжение мое, как я смотрю на свою руку, ногу. Просто есть я внутренний и есть я внешний. Руки, ноги — это продолжение моего внутреннего, а лес, небо, солнце чего продолжение: пальцев, глаз, мыслей, чувств? Все, что вне меня, все продолжение мое. Солнце есть продолжение моей мысли, небо — чувства к девушке.

Жить, как трава. Но разве трава живет, как мы? Мы не спешим, а трава спешит, трава так торопится, что по всему лесу треск раздается. Весной она торопится выйти к свету, летом — расцвесть, осенью — дать семя. По-моему, самое торопливое на свете создание — это трава. Поразительно, как при такой спешке она успевает жизнь прожить. Я знал человека, который так торопился прожить детство, что на юность его не хватило. Траве срока, отпущенного судьбой на старость, на юность, хватает. От весны до осени она успевает родиться и умереть. Иногда мне кажется, что она потому так спешит, что знает, что в следующем году родится опять и будет возникать вечно, пока держится солнце и земля и мир находится в равновесии, и именно оттого, что она так торопится, она вечна. А если посмотреть с другой стороны, по отношению к чему она торопится? По отношению

к себе, ко мне, человеку, к дятлу? По отношению к миру, к звездам, к земле она совершает свой путь, ни на йоту не отклоняясь ни вперед, ни назад, а следует строго по графику.

Что мешает мне сейчас быть свободным, веселым, счастливым, иметь веселое расположение духа? Я одет, обут, накормлен. У меня есть крыша над головой. Я не мучаю себя мыслями, что будет завтра, я знаю, что́ со мной будет, и это меня вполне устраивает, а если точнее — я не знаю, но меня устроит все, что со мной будет. Я здоров. У меня есть работа, и я ее люблю. Так мне во всяком случае кажется. Что же, я счастлив или нет? А если несчастлив, то почему? Почему, если я счастлив, я не имею веселого расположения духа? Почему мне постоянно нужно воевать с собой и очень часто быть побежденным? И вообще, можно ли быть в этой борьбе только победителем? Почему нельзя жить, как трава? А как живет трава? Ты думаешь, она счастлива? А может, она, так же как ты, страдает? Наверняка страдает. Но она умирает, когда ей приходит срок, и рождается в срок, в ее жизни нет насилия. А разве ты не родился в срок и не умрешь? Трава-то страдает, но человек выше травы и может жить не страдая. Это, конечно, плохо, что я не живу постоянно в веселом расположении духа, но я живу так иногда, оно ко мне приходит изредка, а это уже счастье. Я знаю его, я впускаю его к себе, точней, я нахожу его, тащу к себе, и нет для меня тогда ничего прекраснее этого счастья.

Мне стало в душе весело, когда я подумал, что, каков я есть, таков я и прекрасен (я сейчас не говорю о том прекрасен я или не прекрасен), что во мне все есть и нечего мне стыдиться. Важно только полностью назвать себя, открыться, а назвать себя — значит, побороть себя, открыть тайну. Нельзя себя не любить или стесняться. Конечно, можно и нужно себя не любить и стесняться для очищения, но сначала нужно себя любить. Если ты себя любишь, то способен любить и другого, это, казалось бы, противоречит общераспространенному мнению, но это так. Полюби ты себя, хотелось бы мне сказать, полюбишь и другого. Я же себя не знаю. Кто я? Как мое имя? Человек. Но я не это имя имею в виду.

Имя от глагола «иметь». Что я имею? И что имеет каждый? В наше время понять, что каждый человек прекрасен, становится все труднее. А с другой стороны — легче. Миллионы самодовольных и самоуверенных людей бродят по миру, точно коровы по пастбищу. Но, делая человека самодовольным, мы тем самым делаем его и мнительным; делая его как бы сильным, мы делаем его слабым. Если он любит себя, он любит только себя, а нам нужно, чтобы он любил и других. Нам нужна вера, а не суеверие, любовь, а не влюбленность.

Я думаю, трава потому успевает все сделать за одно лето — столь короткий срок,— что она не спешит. Если бы она торопилась, она бы ничего не успела. Она, напротив, даже задерживается в росте — и успевает. Так бы и мне не торопиться, а знать, что твой срок есть и он придет. Когда? Когда придет. Потому можно сказать: учись торопливости у травы, но не поспешая. Где видно, чтоб она куда бежала? Что она не успевает? Кого ждет, кого догоняет? Солнце, весну, лето?

Человек, по-видимому, никогда не удовлетворится лицезрением самой дивной красоты, если она не заключена в его сердце. Ты гляди на самые прекрасные деревья, броди по самым распрекрасным лесам, нюхай самые душистые цветы, лицезрей самые очаровательные зори, восхищайся самыми изумительными пейзажами — рекой, горой, опушкой,— если их нет в твоем сердце, они не тронут тебя. И если, шагая по лесу, ты встретил красавицу сосну и залюбовался ею и у тебя нет сил от нее отойти, ты стоишь день-два и готов простоять хоть всю жизнь, как перед самой недоступной красавицей,— значит, ты ее не просто встретил в лесу, а еще раньше имел в своем сердце. Лес, звезды, река — все красоты мира — это не что иное, как отражение того, что живет в нашем сердце, в нашей душе. Весь мир, можно сказать, есть отражение нас самих. Вот почему, встречая сосну, мы радуемся, мы смотрим на нее и не можем наглядеться, мы не сосну встречаем, нам до сосны нет никакого дела, мы встречаем самих себя. Вот почему и сосна, встречая нас, радуется, она находит себя в чаще нашей души.

Одни любят, потому что их любят, другие, чем больше их ненавидят, тем крепче их любовь, третьи любят и ненавидят одновременно. Как люблю я? Сейчас я думаю, что стараюсь любить независимо от другой любви. Любят меня, ненавидят — я все равно люблю. Мне даже безразлично, есть ли кто или нет. Моя любовь ждет любви не от кого-то, а от меня самого. Так я люблю свой лес, а любит он меня или ненавидит, меня это не касается.

Можно сказать, что трава вырастает от травы, что день приходит от ночи, а человек рождается от человека. Но можно сказать и иначе. Можно представить, что этот день возникает из чего-то иного, каждое мгновение он возникает из чего-то иного, приходит к нам. Можно представить, что трава вырастает не от травы, а от дня или ночи, и с человеком происходит то же самое. Можно сказать, что каждый миг рождается не от мига, а из чего-то и туда же уходит, и это будет не менее правильно. Таким образом, я могу сказать, что я произошел от своих почтенных родителей, а могу — что от травы. И отец мой, и мать — не отец и не мать, а трава. Вот только правильно ли это будет, я не знаю. Когда я смотрю на этот день (он так прекрасен) — тут и солнце, и ветер, и тепло, и холодно, и блеск листьев, и темень сосновой хвои,— мне радостно сознавать, что день произошел от чего-то иного, от бабочки или скворца, гораздо радостнее и приятнее, чем если бы я подумал, что он родился от ночи. Когда я думаю, что он произошел от них, я острее и глубже ощущаю любое его движение, шепот листа, дуновение ветра. Меня волнует этот день, в нем тогда вмещается весь мир, в этом дне: и ночь, и день, и все, что есть на свете, даже есть то, чего нет, и это особенно волнует.

Когда я иду по лесу и встречаю ягодников с бидончиками, полными черники, или грибников с корзинами, я всегда испытываю глухое чувство злобы и раздражения, которое мне не так просто унять. Меня злит, что эти люди приходят в лес, берут и ничего не платят взамен, как будто лес обязан отдавать им свои дары безвозмездно. Берите, говорю я, но платите. Куда там!

В лучшем случае какой-нибудь грибник или ягодник не бросит окурок в лесу, не устроит пожара или не изроет поляну, точно свинья, в поисках гриба. Тысячи людей входят в лес, берут, и никто не благодарит. Сама мысль такая, скажи ее, покажется кощунственной. Ждет ли лес благодарности? Безусловно, ждет. Он только тогда и давать будет, когда его будут благодарить. Иногда думаешь, что злишься не оттого, что лес не благодарят, а тебя не благодарят. Мол, ты охраняешь лес и требуешь за это благодарности. А ее нет. Но принеси мне кто дары — и я их с негодованием отвергну. Да еще по шее дам. С какой стати меня благодарить.

Лес, может быть, и не ждет благодарности, а ты, человек, его поблагодари. Он не ждет не потому, что бесчувствен или ему все равно, отблагодарят его или нет, или он убегает от благодарности, как какой-нибудь герой, вынесший младенца из огня. Лес не настолько юн, чтобы тщеславиться от гордости, но и не настолько дряхл, чтобы быть равнодушным. Он не ждет благодарности, потому что он ее ждет, он верит в людей, он не понимает, как это люди могут каждый раз уходить с бидончиком черники, или корзиной грибов, или охапкой цветов и не поблагодарить его. Он еще даст, в нем хватает этих даров и добра, но они не беспредельны.

В своем усердии жить жизнью леса мой организм иной раз доходит до смешного. Листья опадают с деревьев, а у меня начинают выпадать волосы. Возьмешь утром расческу, проведешь по кудрям, а в зубьях расчески пук вылезших волос. В первое время, не зная причины подобного явления, я объяснял это отсутствием витаминов в организме, неправильным обменом веществ. И, здорово испугавшись, как бы мне в молодые годы не стать плешивым, не расстаться со своими бесценными кудрями, я брил голову наголо или стригся под ноль (мне казалось, что таким образом я сохраню свою шевелюру). Теперь я не делаю этого не потому, что боюсь насмешек со стороны — а кто в наше время втайне не смеется над бритым или стриженым молодым человеком, если он не идет в армию,— а потому, что знаю: подобная стрижка ничего не даст. Стригись ты, брейся, а пока будут с деревьев падать листья, до той поры с моей головы будут падать волосы, и никакая сила,

никакие лосьоны и питательные кремы не помогут. Кончится листопад, прекратится и выпадение волос. Весной пойдет в рост трава, почка, такая буйная копна на моей голове вырастет, что никакие ножницы не возьмут. Вот и выходит, что, когда начинается весна или кончается осень, я вполне спокоен. Мне не нужно ходить по лесу и выискивать признаков весны или лета: где расцвел одуванчик, когда занялась зеленью молодая березка, где упал первый лист, хотя, сказать по правде, занятие это не такое уж и неприятное и силой меня гнать посмотреть на то, как распушилась молодая березка, не надо, я на свидание с ней добровольно пойду,— мне достаточно провести расческой по своим волосам, чтобы узнать, началась осень или она уже кончилась.

Пока молод, я спокоен. А что станет со мной, когда я постарею и кудри мои поредеют, а то и вообще облысею, появится на голове плешь? Как я тогда смогу объяснить подобное явление (определять время года я и без волос смогу)? А никак. Скажу, что состарился. Или лес, как человек, не стареет, не умирает? Облысели — проживем без волос. Голова на плечах осталась, чего же плакать!

В день я хожу помногу, по двадцать, а то и по тридцать километров, и ходьба мне никогда не в тягость. Конечно, самая главная причина моей ходьбы — моя служба, моя обязанность: дождь ли, зной, ночь ли, утро, я обязан быть в лесу, в пути, и ноги мои в моем деле — моя опора. Я люблю ходьбу, как иные — кино или танцы. Когда я иду, я словно хорошую книгу читаю. Но легко ли я отношусь к своей ходьбе, всегда ли с удовольствием ее начинаю? Не буду хитрить, не всегда. Иногда и мне не хочется идти, я иду в лес как на казнь, но все-таки иду. Как я это делаю? А очень просто. Я никогда не говорю себе: я пройду сегодня сто километров. Я говорю: я пройду десять шагов, два, один. И прохожу эти два метра. О пути в сто километров я не только не думаю, но и не хочу думать и твердо уверен, что не буду идти сто километров. Зачем, говорю я себе, мне тащиться в жару в такую даль, что я там не видел? Кто за мной гонится? Не от смерти же я убегаю. Пусть другие бегают, у кого ноги быстрые. И все в этом духе.

Прошел я два шага и тут чувствую, что следующих

два мне сделать гораздо легче, чем остановиться или повернуть обратно. После четырех шагов желание продолжать путь, а не повернуть назад еще больше усиливается. С каждым шагом и метром желание идти вперед нарастает, тебе ничего не остается делать, как взять ноги в руки и шагать. Самое трудное теперь — в середине пути остановиться. Это сделать для меня гораздо сложней, чем идти вперед. Ноги как будто сами идут, стоит только им разогнаться, приказывай не приказывай, а они все равно не слушаются. Бывали случаи, когда я, несмотря на все старания, не мог убедить их остановиться, шел вперед, не сворачивая, разумеется, в стороны, и только чудо спасало меня от голодной смерти и усталости. Тут наступает критический момент, когда необходимо проявить всю силу воли. Даже заманчивые мысли о кровати и горбушке хлеба, оставленных на кордоне, тебя не спасают. Как тут поступить? Брать хитростью. Не говорить в лоб — мол, возьму и пойду обратно. Так говорить — значит, ничего не сделать, ты хоть краном меня поворачивай, не повернешь. А, мол, пройду обратно немного и вернусь. Такое убеждение действует, хоть и не всегда. Иной раз и повернешь назад, а оглянешься, и сердце замрет: что же ты натворил! Должен признаться, что эту методу руководить собой я позаимствовал у одного знакомого. Готовя себя в дорогу и разогревая для дальних странствий, он, как солдат, шагал на месте часа полтора, а то и больше, пока не трогался в путь.

Говорят, себя любить легче, чем других. Ничего подобного. Заявляю вполне категорично, что себя любить гораздо труднее, чем других, а если точнее — почти невозможно. Во всяком случае, это так же трудно, как быть добрым. Любить других, делать добрые дела, помогать в трудностях, в беде, выхаживать больных, кормить голодных, поить жаждущих, поделиться в голод коркой хлеба — этому может в конце концов научиться каждый. Наука, не спорю, не простая, иному она и до смерти неясна и остается в тумане, как для меня курс высшей математики или теория относительности, но при желании, при большом желании, она вполне уяснима. Любить своего ребенка, жену, мать, отца, родственников, земляка, друга — это возможно и допустимо. Лю-

бить соседей, кота, попугая в клетке, ель, облако, небо, трамвай — это тоже возможно. Такая любовь прекрасна и исполнена высокого смысла и красоты и не требует особого напряжения. Даже если ты не захочешь любить, скажем, кота, а постараешься его ненавидеть, у тебя все равно ничего не получится. Такая способность любви, как говорят ученые, заложена у нас в генах. А вот себя полюбить — это проблема. Иной человек готов крокодила любить, спать с каким-нибудь мерзопакостнейшим чудовищем, а себя полюбить не может. Редких счастливцев я встречал, которые любили себя. Но что это были за люди? Ни одному смертному за ними не угнаться. Что же они были, грубияны какие, хамы, скупцы, тянущие все в свой рот? Ничего подобного, они так любили себя, что ни малой оплошности себе не позволяли. Клали они ноги на стол? Чавкали за общим столом, ковыряли пальцем во рту, встревали без спроса в чужой разговор, писали доносы на ближних, орали на перекрестках — я гений? Ничего подобного. Они были опрятны, вежливы, добры, они были так скромны, предупредительны, что я до сих пор удивляюсь, были ли они на самом деле или мне это только показалось, а если были, в чем я все-таки не сомневаюсь, то как их держала на себе земля?

Цветет и отцветает шиповник, и такие роскошные лепестки валяются после дождя на земле. Шиповник вот не жалеет, теряет лепестки свои бездумно, а будь такие лепестки у людей, они бы так легко не расстались никогда. Носились бы с ними, жалели, посвящали бы им стихи, писали романсы, даже один упавший лепесток явился бы предметом сомнений в добре, в истине, крушением мира, надежд: вот, мол, прекрасное, ему бы жить и радоваться, а оно умирает, сурова, жестока и несправедлива жизнь; какой-нибудь неудачник тут же стал бы жаловаться на несчастную судьбу, что его разлучают с красотой, с любовью, со свободой, мол, живет он в темнице и мир — это юдоль печали и скорби, а посидев в уединении, глядишь, создал бы свою оригинальную концепцию угасания мира, и, кто знает, не нашелся бы тогда какой-нибудь смельчак, борец, который бы вздумал решить этот мучительный и трагический вопрос и силы своего таланта положил бы на него. А у

шиповника после цветения наливаются и зреют плоды и семена.

Шел по асфальту, а потом по сырой лесной дороге, по хвое, по траве, по сосновым и еловым шишкам и вдруг такую нежность земли почувствовал через подошвы сапог, аж задрожал. И подумал: люди обувь носят не для того, чтобы уберечь себя от сырости, непогоды, а от нестерпимых любовных токов земли.

Люблю солнечные дни. За долгую зиму, за осень так изголодаешься по солнцу, оно в наших местах не балует, что выйдет солнышко — и жизнь покажется прекрасной. Дрожишь за этот солнечный день, за солнце, как будто его в последний раз видишь, сядет оно и не появится больше, ну как перед кроватью тяжелобольного. Когда же пасмурно, происходит все наоборот; не за что болеть, переживать, ничто от тебя не уйдет, а уйдет — не жалко, и потому ты легок, спокоен, весел, и сердце у тебя радостное, и ум работает с нагрузкой. Люблю пасмурные дни. Но тогда какие же дни я люблю — солнечные или пасмурные, если я без солнца жить не могу, а с солнцем мне жить тревожно?

У реки три дня жили люди, а теперь уехали. Каждый раз, проходя мимо, я видел их палатку, слышал их разговор и смех, двух взрослых — отца и матери — и двух детей-мальчишек. Отец возился у костра или пытался удочкой поймать в реке рыбу, а мать читала книгу. Дети же занимались тем, чем могут заниматься все дети в лесу: они бегали, кричали, лазали по деревьям, купались в реке, загорали, ловили стрекоз и бабочек или, притихшие, вслушивались в лесной шорох.

Пока они жили у реки, я не испытывал особо приязненных к ним чувств, не умилялся идиллической картине — вот, мол, образцовое семейство на лоне природы, я даже слегка раздражался, когда дети очень громко кричали или лазали по деревьям, и норовил пойти и отчитать их или сделать замечание родителям. Меня тянуло высказать им свое неудовольствие, придравшись к тому, что они развели слишком яркий огонь, или еще

к чему-нибудь, и я бы мог с полным основанием это сделать, но, перегорев волнением внутри и высказав про себя все, что я считал нужным им сказать, я уходил восвояси.

Сейчас их нет, и мне грустно. Я подхожу к тому месту, где стояла их палатка. Я вижу следы от колышков, угли погасшего костра, примятую траву, пень сосны, на котором сидела женщина и читала книгу, берег реки с маленьким пляжем и следами детских ног, сломанный и брошенный прутик-удилище, ветвистую березу, на которую забирались дети,— я вижу весь участок леса, где они проводили дни и ночи, и мне жаль, что их нет.

Мне кажется, что и лес привык к ним и грустит в разлуке, что пень привык к женщине, береза к мальчишкам, река к мужчине, ибо и пень, и береза, и река, и травы, и все, что есть в лесу, так привязчивы ко всему на свете. Прилетит облако, улетит, и было-то всего над рекой полминуты, а уже запечатлелось в ее сердце, уже трудно, а порой и невозможно вырвать его из памяти, что тут говорить о людях, проживших в лесу три дня! Мне кажется немного несправедливым, что пень, береза, река остаются, а человек, который был с ними, уходит. Для кого же тогда стоит пень, растет береза, течет речка? Я понимаю прекрасно, что и пень, и береза, и река живут не только для людей, и даже, может быть, они живут вообще не для людей, а для птиц, для рыб, для облаков. Пень, например, живет для дятла, который каждую зиму шелушит на нем еловые шишки, береза для малиновки, которая изредка усаживается на верхней ветке, река для облаков, чтобы они в ней отражались, проплывая дальше,— может быть, они все живут для чего-то такого, что нам неизвестно, не понять, может, они живут для себя, но то, что они грустят по людям, это я знаю.

Возможно, вернись сюда люди, и лес выразит тотчас свое недовольство, а нет их, и он грустит. Капризен и переменчив характер леса.

Я тут временный жилец, и это, наверное, меня смущает. Придет срок, я распрощаюсь с деревьями, с травами, с птицами и уйду в никуда. А мне бы хотелось жить вечно. Но знал бы я тогда всю красоту леса, если

бы не ощущал свой исход, если бы не понимал, что когда-то мне предстоит разлука? Думаю, что нет. Конечно, прекрасно жить всегда и вечно, но и тяжесть это огромная, и скука — прожить жизнь, не ощутив ее краткости. Я согласен не жить вечно. Я прекрасно понимаю, у меня нет таких сил, которые могли бы заменить мне страх смерти, самую смерть. Жизнь, говорят, можно понять, только поняв смерть. Как же тут понять жизнь без смерти? Живи я всегда, вряд ли я бы ощутил эту красоту леса. Лес бы скоро стал для меня повседневен, обыден и даже неудобен — сырость, холод, грязь и прочее, и я бы больше проклинал его, чем любил, больше видел в нем недостатков, чем достоинств, а в конце концов совсем бы отказался от него. И жил бы не в этом, настоящем лесу, а в придуманном, мнимом.

Маленькие птички, какие, мне отсюда не видно, порхают по веткам сосны и тенькают, словно рюмочками звенят. Что им делать на сосне — не знаю, но ведь может быть и так: крутятся они в каком-то осеннем прощальном танце, собравшись в стаи перед тем, как улететь на юг, устраивают хороводы. Обтанцевали одно дерево, другое, третье, обзвенели его, обпорхали и были таковы. Что теперь делает сосна? Живет воспоминаниями об этих птичках. И если в какой-то зимний, морозный день мне или кому другому покажется, будто сосна издает тихий звон, в этом не будет ничего удивительного. Понятно, от кого она переняла эту песнь.

Меньше всего люблю говорить с птицами. Ветреные создания! Ей слово сказал, глядь, а ее уже нет на ветке, улетела. Обидишься на ее несерьезность, рот закроешь, она снова тут как тут, будто слово ее на лету догнало и вернуло. А ты уже забыл, что сказать хотел. Пока вспоминаешь, она опять улетела, стоишь и думаешь: вспоминать или не вспоминать? Простую мысль, а высказать не удается. Обозлишься на себя и на весь мир: чего бегаешь, чего суетишься, постой мгновенье, большего от тебя не требуется, выслушай, а там лети хоть на все четыре стороны. Так нет. Махнешь на нее рукой — мол, обойдусь без тебя,— она за тобой увяжется, прямо в глаза лезет. Кажется, так и ждет, чтобы ты рот рас-

крыл, сказал что-нибудь умное. И бежит прочь, точно ждет от тебя дурного слова или не верит, что ты можешь сказать что-то путное.

Вошел в малинник, а он пустой, развороченный, растерзанный за лето ягодниками и без ягод стоит. Но все-таки две ягодки нашел, это первые и, по-видимому, теперь уже последние мои ягоды в этом году. Положил одну в рот: хоть вкуса не ощутил, но приятно думать, что и мне досталось от урожая. Особенно радостно думать, что кто-то собирал ягоды, все собрал, одну да оставил, пусть, мол, кто-нибудь следом за мной придет и ему тоже достанется. Может, случилось как иначе, утверждать не берусь, может, собрал-то он все ягоды, все кусты осмотрел, даже зеленые ягоды и те общипал и покидал в свой бидон, а эту не заметил. Сохранилась она сама, спряталась для меня. Но и я не остался в долгу у других. Нашел две ягодки, а съел одну, вторую на кусте оставил. Если и не на семена оставил, то кому-то на угощенье — человеку, лисе, зайцу...

Иногда ходишь ночью в лесу не для того, чтобы охранять деревья от порубок, а поглядеть на небо, на звезды, убедиться, все ли они на месте. Я прекрасно понимаю, что чиркают и падают с неба не звезды, а метеориты, этому меня еще в школе учили, что звезды как светили тысячи и миллионы лет до меня, так и после меня будут светить, как стояли на одном месте, так и будут стоять и никаким их рычагом не сдвинешь. Когда бы ни глянул на небо, всегда найдешь и ту звезду и эту, а прямо над тобой вечно сияет Полярная звезда. И все равно, несмотря на такую очевидную истину, вдруг просыпаешься посреди ночи в постели, продираешь глаза, на ощупь надеваешь рубаху, штаны, суешь ноги в сапоги и выходишь во двор. Шаг, другой, и ты уже в лесу. Поначалу темень обступает такая, что не разобрать, где ты и куда попал. Где право, где лево, где верх, а где низ — все слилось в ночном мраке. Ставишь вперед ногу, а не знаешь, куда ее ставишь, и даже, что ставишь, не знаешь. Постепенно мгла для тебя рассеивается, замечаешь кусты, деревья, дорогу, камушки, видишь звезды. И не то чтобы их считать — вот еще заня-

тие для рабочего человека, лесника,— а нет-нет да и глянешь вправо: есть ли там знакомая звезда, никуда она не пропала? Глянешь налево — а эта, голубушка, жива-целехонька? А та, что на севере,— светит, сияет звездным светом? И, убедившись, что светит и сияет, преисполненный тихой значительности, как будто ты эти звезды родил, или открыл, или спас от беды и они благодарны тебе за спасение, идешь важный, с достоинством, не как какой-то там неизвестный лесник, а герой, триумфатор.

Все-таки человеку, живущему в лесу в одиночестве, который не получает регулярно газет и журналов, не слушает радио, не смотрит телевизор, да и людей видит не часто, очень важно знать хотя бы то, что все звезды целы и на месте.

Бывает так: чем-то понравился тебе кусочек леса и ты стремишься к нему, норовишь дать крюк, да не пройти мимо. Весь лес для тебя тогда ничто, пустое место, а существует только этот. Иной раз в спокойном состоянии приглядишься к нему и задашься вопросом: что в нем такого интересного, что привлекает тебя в нем? И не находишь ответа. Нет тут ни стола с яствами, ни гостеприимной хозяйки, ни бревнышка удобно посидеть, те же деревья, стволы, ветки, травы, цветы, что и в других местах, та же дорога, бугорок, тот же клочок неба вверху за листьями осины, как и всюду, в иных местах, а и не тот. Те они, конечно, да и не те, есть в них что-то отличительное, неуловимое для взгляда, раз кажутся они не теми, раз одно место ты проходишь равнодушно, как будто его и нет вовсе, а другое замечаешь.

Вчера ночью возвращался с озера, вокруг тьма кромешная, не видно своего собственного носа, не то что леса, и вдруг я задрожал, заволновался всем телом, как конь, почуяв запах родного дома, и сразу угадал, что прохожу мимо своего любимого местечка. А прошел его и опять успокоился.

Не много у меня таких мест, но и не одно-единственное: за поворотом, у косогора, у реки, у тригонометрической вышки, за клеверищем, у сосны за вторым поворотом. Обычно эти места кажутся светлыми и уютными даже в непогоду. Не скрою, эти места мною более посещаемы. Иду ли в обход, я не миную их, иду ли просто

так, все равно загляну. Будь моя воля, я бы только туда и ходил и другого мне леса не надо.

Не скажу, что я чересчур скромен, не скажу, что и слишком развязен, не ломаюсь, как мятный пряник, когда меня о чем попросят или куда пригласят, но и ног на стол не кладу. Словом, ничем особенным не отличаюсь; я — как все. Скорей, если судить строго, меня можно обвинить в дерзости, в нахальстве, я вдруг могу первым заговорить с незнакомым человеком, подмигнуть ребенку или девушке или беззастенчиво глядеть ей в глаза. Но иногда на меня нападает такой приступ стыдливости, что мне становится неловко за самого себя.

Когда я попадаю в незнакомый город и стыжусь спросить у прохожих нужную мне улицу или дом, это еще полбеды, не один я такой, я знал человека, который стеснялся спросить, как его зовут, поскольку имя свое забыл, или другого, который умер от голода, постеснявшись напомнить о себе, но, когда я теряюсь при мысли, что встречу в лесу сороку или ворону, согласитесь, это не совсем нормально. Но и это не все. Я стыжусь показаться траве, какому-нибудь цветку, одуванчику например, и, если мне, несмотря на мое нежелание, по долгу службы выпало все-таки пройти мимо цветка, я краснею, бледнею, деревенею перед ним, как не краснеет девушка перед любимым парнем. Я тогда не иду, меня словно тащат на канате. Я до такой степени становлюсь стыдливым, что во мне уже пробуждается нахальство, дерзость и я могу бросить в ту же ворону камнем, благо в нее при всем желании не попадешь, задеть плечом какой-нибудь куст, а то и сорвать листик, и крутить его в пальцах, и грызть, сунув в рот. Я могу отвернуться от белки, которая выбралась из лесной чащи только затем, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение, могу смахнуть севшую мне на руку стрекозу, не заметить солнце или луну. Тогда я могу утром сойти с крыльца и вместо обычного приветствия лесу обругать его самыми обидными словами или кощунственно грозить: на вот, возьми меня, не возьмешь. Все это на первый взгляд, может быть, и не слишком серьезные вещи, не какие-то опасные преступления, но я страдаю от них больше, чем страдал бы от убийства или разбоя.

Был неспокоен, шумлив, и была в лесу непогода, ходил и прислушивался к шуму сосен. Если бы у меня было побольше свободного времени, я бы занимался одним — записывал на магнитофон лесные шумы и коллекционировал их. Я бы записал шум сосен и шум осин, шум вереска и шум ржи, как шумят старая ель у дороги и ручеек в овраге, шум ползущего по листу червяка и шум ветра в голом осиннике. Что за чудо эти шумы, у каждого свой характер, каждый в свою особицу! Сосна шумит свободно, открыто, осина — в таком трепете и страхе, что и не шумит вовсе, а шум ее только чудится, шум березы никогда не спутаешь с шумом ольхи — у березы шум звонкий, мелодичный, грустный, у ольхи — жестяной; если шумят на яру два дерева, береза и ольха, кажется, будто две подружки сошлись и говорят о своих женихах, но одна молодая, а другая постарше, одна внимает, а другая учит. Шумит бузина, как будто какой пьяный возвращается домой, бранится незлобно и ругается. Можно лесные шумы различать по снам. Видишь царские сны — значит, слышишь во сне шум сосен. Сны тревожные приносит осина. Сны озорные, кокетливые — береза. Тягучие, страстные — ива, сны хмурые — ель. Но и это не все. Каждый раз та же осина или сосна шумят неодинаково — сегодня сосна шумит как осина, завтра осина шумит как сосна, есть шумы весенние, зимние, ночные, шумы ранние и шумы поздние, молодые и старые, больные и здоровые, шумы добрые, злые, шумы сладостные и шумы воинственные, одни шумы наводят тоску, а другие веселят.

Находился я сегодня в лесу, набрался соснового шума, вернулся домой, и тихо у меня внутри стало.

Шел по тропинке и каблуками по земле стучал так громко, что, наверное, на той стороне земли отдавалось. И радостно мне было, что так стучу, а может быть, стучал каблуками так громко, что радостно было и неловко: вдруг кого-то беспокою, спать не даю? Попробовал тише идти — не получается. Вроде и звук приглушенный, а все громко. А что, я разве один на земле? Или мне чужды интересы ближних? Или груб я и бесчувствен, как скотина, что буду причинять людям неудобства? Своя радость — хорошо, но и о чужом горе неплохо помнить. Прижал свою радость, еще осторож-

нее ступаю, а звук громкий. Кажется мне, что от стука моих каблуков дрожит земля, просыпаются люди, ворочаются в постели и проклинают меня: какой это там идиот спать не дает! Я на цыпочках иду, как зверь крадусь, сухая веточка подо мной не ворохнется, а все равно громко. И так получается, что радость моя людям во вред. А раз она людям во вред, то и мне не нужна. Остановился, стою на месте, прислушался, а звук шагов моих так же громко раздается. Что за наваждение! Я не иду, стою на месте, а шаги свои слышу. Только это не каблуки по земле стучат, а сердце мое бьется. Ноги свои я унять смог, сердце—нет.

С чего радость-то? А ни с чего. С того, что день пришел вместо ночи. Вроде причина невелика, а для меня достаточная. Тот, кто бывал в лесу осенью, кто брел по нему черной ночью, кто встречал зарю в холодную темень, тот, думаю, меня поймет и не осудит.

Решил сходить по грибы. Встал ночью, дошел до грибной поляны, жду рассвета, а его нет. Пока шел — согрелся, а остановился — и холодно мне, и зябко. И ноги устали стоять, и садиться на землю неохота, да и кто осенью на земле сидит. На что у зайца задница на меху, и тот на пенек лезет. Хотел костер разжечь, да спичек с собой не взял, и грех огнем грибников на грибное место приваживать. Стою, на восток повернулся, жду зари, а на востоке тьма кромешная, ни тоненькой полоски не видать. Высматриваю во все глаза: вот сейчас будет, вот должна быть. А заря не приходит. Страха, что зверь нападет или разбойники ограбят, у меня нет — звери в наших лесах не нападают, а разбойники в такую ночь сами от страха зубами стучат,— боязно мне от глупой мысли, что я жду зарю, а она не придет. Что тогда будет? Представил, как обратно мне домой в темноте добираться. Керосина в доме нет, лампу зажечь нечем. Ну, пришел домой, а дальше как быть? Мои беды — полбеды, чужие беды — беды. То ли идти и успокаивать людей, что будет день, придет, то ли что-то предпринимать и действовать. И как действовать: ждать инструкции из конторы или на свой страх и риск? День прожить без света можно, и два, и три, можно и год прожить, и десять, но как всю жизнь прожить, этого я не представляю. Человек такое существо, что

хоть на секунду, на миг крошечный, а нужен ему свет, солнце ему подавай.

Подумал я так, и такая меня скорбь взяла, ну, иди же, заря, иди,— шепчу. Вот тут-то и дрогнуло что-то в ночи, раскололось, неслышимо дрогнуло, невидимо раскололось, ночь дрогнула и раскололась. И хоть на востоке, как и прежде, было черно, я угадывал там присутствие света. Не на север я смотрел, не на юг, не на запад, я смотрел на восток, встречая лицом будущий день, ибо день можно встретить только стоя лицом к нему.

Страхи мои как рукой сняло. А тут и в самом деле появилась заря. Вначале черное небо посинело, потом засветлело, потом покраснело до черноты, а затем появилось солнце. Здравствуй, солнце!

Конопатил мохом и паклей щели в избе, очень велики меж бревен щели; зимой проснешься, а на голове за ночь надуло гребешок снега. Работу сделал старательно, а сейчас гоню от избы синиц. Несчастные воровки тащат для своего гнезда из щелей паклю и мох. Только где мне с ними сладить, я отгоню их от одной стены, они теребят другую. И, что хуже всего, прихватывают не только свежий мох, каким я конопатил этим летом, но и старый, прошлогодний.

Чем с утра занимаюсь? С палкой бегаю вокруг избы, кричу на воровок и совещу их. Разумеется, совести у них нет никакой и они чихали на меня и на мои слова. Буду ли я зимой спать с гребешком снега на голове или не буду, это их не печалит. Я думаю, это происходит оттого, что, по их мнению, я и так нахожусь как бы в более привилегированном положении: у меня и стены, и пол, и крыша, и окна, и печь. Подумаешь, гребешок снега. Во-первых, не всю зиму, а только в метель, во-вторых, не целые сутки, а только ночью, а в-третьих, под снегом даже теплее. Взять у этого малого охапку-две пакли и моха, от него ничуть не убудет. Так рассуждают синицы. И конечно, как любят у нас говорить, по большому счету, они правы, но это не смягчает моего сердца. Я зол и пытаюсь не допустить синиц к избе. Во-первых, во-вторых и в-третьих, я не желаю спать с гребешком снега на голове ни в метель, ни ночью. А в-четвертых, под гребешком снега ничуть не теплее,

а даже холоднее, чем без него. Да и какое тут удовольствие — в метель затыкать ухом морозную щель?

Я бегаю и кричу на синиц, и у меня такое свирепое лицо, что я бы армию врагов остановил с таким видом. Я воюю с синицами отчаянно, но все это бесполезно. Победа, я знаю, не на моей стороне. Синицы, несмотря на мои старания, возьмут верх, выщиплют из щелей паклю, и мне, как и в прошлую зиму, опять придется мерзнуть и лежать в избе с гребешком снега.

Кажется, ничто меня не может удивить. Встречал я зверей, присутствовал при смерти и рождении человека. Чем необычнее были события, тем спокойнее я относился к ним. Казалось, они хотели меня сбить с толку своей необычностью, удивить, а я им не давался. Иногда я был свидетелем и участником таких событий, что впоследствии, через какое-то время, оторопь меня брала — неужто это и вправду было со мной? А в то время, когда это совершалось, никаких особых потрясений и эмоций не возникало. Ко всему привычен человек, и все он может пережить: и смерть, и рождение, и голод, и войну, и муки, и кромешный ад. Пусть завтра уничтожат, вырубят весь мой лес, я и к этому отнесусь спокойно. Мало ли в жизни чего не бывало? Или не случалось, что кто-то убивал кого-то или самого себя?

Но до сих пор меня удивляет, что после зимы приходит весна, что на дереве распускаются листья, что солнце катит по небу свой золотой шар, что в зарослях ольхи поет соловей, что идет дождь и падают листья, что расцветают подснежники, что жаркой ночью стонут в болоте лягушки, что каждый раз, не забывая и не опаздывая, приходят день и ночь, что, несмотря ни на какие печали, боли, раны, в борении и пути живет человек, не падает духом, не унывает, что веками веков стоит этот мир и будет стоять, что по росистому лугу бежит, извиваясь, речка, что можно проснуться утром и лечь спать вечером, что можно съесть горстку ягод земляники и найти под сосной белый гриб, что можно шагать по дорогам, лежать на траве, пить в роднике воду. Никогда не перестану удивляться сини небес, журчанью ручья, пенью зарянки, зелени трав и высоте гор, никогда не надоест мне любоваться и смотреть на царственный лес.

Сидел на пеньке и удивлялся, какой я великолепный: сижу на пеньке и удивляюсь. Ну не удивительно ли это?

Постоял у одной сосны и тронул ее рукой, постоял у другой и тронул. И подумал, что тронул я их и тем самым влил в них силу к жизни. Но скорей было наоборот. Они давали мне силу, не я им давал, а я брал у них. Взял — тут и осень пришла, тут они и уснули. Конечно, я выбалтываю секрет, и не к чему бы мне об этом распространяться, но, если кто болен, скорбен, духом уныл, пусть придет в лес. Не с тем, чтобы подышать свежим воздухом, хотя одно это уже неплохо, и не с тем, чтобы развесить свои печали на ветвях дерев, хотя, в принципе, так оно и получается, и не с тем, чтобы забыться, слиться с природой, почувствовать ее красоту и прочее, а с тем, чтобы потрогать цветущую сосну и принять от нее силу. Чем выше сосна, чем она зеленее, тем больше она даст. Я пробовал это неоднократно, и все мои печали как рукой снимало. Тут важно одно: не переборщить. Во всем нужна мера. Потрогал одно дерево, другое — и хватит, иди с богом, возвращайся домой. Совсем не обязательно тебе перетрогать все деревья, ко всем прикасаться. Иначе прилив энергии будет слишком большой и как бы тебя не разорвало от этой силы.

Если в дороге, в лесу меня дурное настроение схватит, и такое, что дальше некуда, и не рассеивается оно с каждым шагом, с каждым новым прекрасным видом, не восторгают меня ни вечнозеленая куща редких сосен, ни дальний край елового леса, ни увядающее разнотравье речного луга, ни сизый туман в долине, легший блюдцем, ни вечернее и утреннее свечение небес до и после солнца, ни шар румяного солнца за березой, который один может в иное время и при иных обстоятельствах своей красотой мертвого из могилы поднять, и не могу я, как обычно, развесить свои печали по сучьям и ветвям, а надо, поскольку желает и требует душа,— что я тогда делаю? А ничего. Я поворачиваю на сто восемьдесят градусов, иду той же дорогой, и дурное настроение как рукой снимает. Скажем, иду я на север к реке. Мне плохо. Поворачиваю на юг. Встречаю те же самые картины природы, ту же сосну, тот же край леса,

туман, небо, цветок, а уже как бы и другое. Те, когда я шел к реке, не радовали меня, а эти радуют. Вот и думаешь: всего есть в природе как бы по одному и как бы по двое. Есть одна сосна, но в то же время есть еще и две сосны: одна — та, что тебя не веселит, а другая — что радует. Очень полезно тут разобраться, в какую сторону ты идешь: в ту, что тебя радует, или в ту, что огорчает. В этом, на мой взгляд, состоит весь опыт жизни: знать, в какую сторону идешь, и уметь поворачивать. Чаще люди не только этого не знают, но и упорно считают, что нет двух сосен, если есть одна сосна, а если сосны две, то нет одной. Великое заблуждение!

Забрался в брусничник полакомиться ягодой. Брусничник редкий, и ягод мало, то там, то здесь краснеют по одной, по две — лавина ягодников уже прошла и опустошила леса. Я подбираю остатки. Кинул в рот несколько ягод и чувствую, что я не один в брусничнике, что рядом со мной кто-то есть. Гляжу внимательно и, чтобы не шуметь, ягоду не жую, а на языке нетронутой держу. Вижу, это тетерка вместе со мной брусникой угощается. Интересно мне стало ее поближе посмотреть, шаг ступил навстречу, пригнувшись, другой,— вспорхнула она и улетела. Вечное мое любопытство, сколько раз я его умерял! Задавишь его в себе, а оно опять вылезает. Сколько раз говорил: ну что совать тебе нос в чужие дела? Сиди, ешь свою ягоду и будь доволен. Так нет, взял и спугнул птицу, лишил ее обеда. Собирался поесть ягоду основательно, а тут аппетит пропал. Да и понятно, кому интересно есть в одиночестве. Сиди как барсук и весели себя музыкой собственных челюстей. А была ведь прекрасная возможность попировать в приятной компании.

Иной раз глянешь вверх и увидишь в зеленой сосновой хвое оконце голубого неба и глядишь на него замирая. Так тебе хорошо глядеть на него и беспокойно, и дальше глядеть хочется, и убежать стремишься. Знаешь — сколько бы ни глядел, все равно не наглядеться. Так и с цветами. Глянешь на цветок, и волнует он тебя своим цветом, своей красотой, не успокаивает, а тревожит. Ненаглядный не только потому, что красивый, а

и потому, что тревожит и не даст тебе на него наглядеться, не исчерпать тебе его до дна. Ты бездонный, и он, как ты, бесконечен. В первое время, по незнанию, весной я часто ходил на луг специально глядеть на цветы. Стоишь над васильком, над фиалкой, над незабудкой и глядишь на них, и в душе беспокойство рождается, вначале слабое, а потом нестерпимое. Чем дольше глядишь, тем сильней хочется глядеть и бежать от цветка. Минут пять поглядишь, а таким беспокойством себя зарядишь, как в ожидании светопреставления или перед последней минутой жизни. Сейчас, то ли я поостыл, то ли берегу себя, но, зная силу цветов, способную рождать тревогу, весной не бегу на поля, на луга, не заглядываюсь на цветы. Для меня они есть, но я стараюсь их не замечать, я скольжу по ним поверхностным, равнодушным взглядом. Это звучит странно. Выходит, я, лесник, отказался от цветов? Выходит, так. Я от них не отказался, я прекрасно чувствую, что они рядом, я не гляжу на них, а вижу, где какой цветок распустился, я их люблю и жить без них не могу, как и без всего леса, но и глядеть на них, рассматривать их — это занятие не по моим силам, не для меня.

Представляю, какую страшную, веселую тревогу испытывают люди, которые видят красоту в женском лице, как я вижу ее в цветке. Какой несет она прилив сил и бессилья! Какие приносит страдания! Смерть, кровь, подлость, высокое самопожертвование, все святое, что есть в человеке, и все низкое — все выливается тут наружу.

Облюбовал в двенадцатом квартале солнечную поляну и брожу по ней, как будто в дремучем лесу заблудился, так мне тут приятно и весело. А что в этом смешного? Было бы где, а заблудиться и в трех соснах не мудрено. Да что в трех, я до сих пор в двух соснах шатаюсь и каждый раз с трудом нахожу дорогу. Есть у меня две таких сосны у реки. Как подхожу к ним, так уже твердо знаю — заблудиться мне не миновать. И места я вроде тут все обходил, и дороги мне ведомы, каждый пенек, каждый кустик знакомы, каждая травка отмечена, не один и не два раза тут хожу. Кажется, завяжи глаза, я на ощупь выйду, а нет, не получается и с открытыми глазами. И бродишь от одной сосны к

другой, полежишь, отдохнешь, опять порыскаешь, поищешь дорогу и никак не найдешь. То кажется тебе, от одной сосны идти нужно, то от другой. Скажут, куда это он гнет, уж не хочет ли сказать, что заколдовано, мол, место? А там, глядишь, и про нечистую силу вещать станет, ей только позволь, а она сама влезет. И про заколдованные места не буду говорить, и про нечистую силу тем более, ибо ничего об этом не знаю. Есть ли она в лесу, нет? Почему же тогда из двух этих проклятых сосен не выбраться? А почему ты должен из них выбираться, если одна тебя манит, а другая зовет и, какой отдать предпочтение, не знаешь?

Скажешь: осень, и ждешь ее уже. А какая осень? И солнце снизится, и желтые листья по березе падут, и ночи станут холодные, темные, полетит по полям и лугам паутина, найдут осенние тучи, станет дождь и простоит неделю-другую, отгорят цветы, отпоют птицы, пожухнет папоротник, высыпят на землю последние грибы-соляники: грузди, свинухи, зеленухи, горькухи; там, в кустах, уберeглась последняя капля черники, там, у дороги, в еще зеленых зарослях краснеет ягода малины, там, в брусничнике, забылась брусничка, свежо на рассвете, солнце греет лишь в полдень, сыростью тянет от земли, вскопаны огороды, убраны поля, дни коротки, ночи длинны — все, кажется, говорит об осени, а где она? Нет осени, как не бывало. Глянешь на луг, цветут одуванчики, хоть и не так уверенно, как весной, но желтеют на солнце. Лютик едкий, зверобой, шиповник, клевер, ромашки цветут летним цветом. Войдешь в лес, и в лесу деревья зеленые. И столько зелени кругом, и в лесах, и в полях, что желтизны не замечаешь, да и нет ее, желтизны осенней. Идешь в полдень по лесу, расстегнешь от жары ворот рубашки, солнце слепит глаза, речка сверкает, летают бабочки — продолжает природа свой летний пир и кончать его не торопится.

Почему же тогда говорю «осень»? Проверял вчера муравейник, подошел к одному — муравьев на нем нет, вовнутрь спрятались. И во втором жизнь замерла, и в третьем, и только у какого-то десятого или двадцатого, что на самом бойком солнцепеке, едва теплится жизнь. Потрогал муравейник рукой, он, как печь в брошенной избе: остыла, не курится, не теплится, не дымится,

Ушла, уходит летняя жизнь в землю, прячется в почки деревьев и не уходит.

Полдень. В городе в полдень стреляет пушка. От меня до города далеко, грома пушки я не слышу, но полдень я отмеряю с точностью не хуже городской пушки. Ворона уселась напротив избы на сосну отдохнуть минут на пять от беспрестанного круженья по лесу, синица заглянула ко мне в окно,— жив я, не умер, отчего не показываюсь во дворе? — ветерок раскачивает вершину сосны, залетает в открытое окно муха. Есть сотня других примет, по которым я могу определить полдень. В полдень во мне, внутри меня точно какая-то почка разрывается, точно пушка стреляет. Закройте мне глаза, и я определю вам полдень. Полдень в лесу определяется очень легко. Утром, при рассвете, лес молод, здоров, он не знает своих сил, вечером он отяжелел и устал, а в свой зенит, в полдень, он знает, что прожил и что предстоит ему прожить, он как бы держит перед собой две ладони, как держу их я, одна ладонь правая, другая левая, обе они у меня есть, обе я вижу. Утром лес прекрасен, как детство, как юность, как прекрасны мальчик, девочка, вечером — как старик, в полдень он в соку, он деятелен, сияющ, он, как царь, великолепен. В полдень, кажется, не солнце светит с небес, а свет исходит от леса, и, если это так, в этом нет ничего удивительного: сияют листья, сияют травы, сияют воды рек и озер, сверкает дорога, искрится в земле осколок стекла или полированный камушек, сияет воздух, сияют поля черной матушки-земли. Будь в полдень в лесу, и он тебя не обидит. Юнца он опечалит, а старца утешит.

Когда я встречаю полдень в лесу, я перенимаю уверенность леса, я становлюсь таким самоуверенным, я перенимаю его сияние, я становлюсь таким сияющим, я так остервенело и не в меру, как мне кажется, испускаю сияние, что из-за боязни наделать вреда я избегаю с людьми встреч. Тогда я становлюсь важным, значительным и каждый мой чих или зевок исполнен смысла, тогда я так значителен, что, кажется, не существую, не хочу снизойти до существования. Секунды вроде и бегут, солнце катит по небу, течет вода в реке, что-то в природе умирает, что-то рождается, чья-то жизнь сокращается, изменяется, я один не двигаюсь, не изменяюсь,

Я, как великан, стою на двух ногах, и ни левой мне ноги не поднять, и ни правой.

Славен полдень дневной, славен и полдень леса. Но о каком полдне мы говорим? Дело к вечеру, и на дворе осень, идет дождь, сыро, темно, мокнут поблекшие травы, и стрекочет под дождем сорока.

Сижу на солнышке в затишке, в тени, на юру сидеть прохладно, и вдыхаю запахи осени. Сначала осенней березы вдохнул, за ней осины с ольхой, потом стойко неувядающего клевера. За клевером запах осоки у реки подобрал, одиноко упавшего березового листа, желтеющих парных листьев ландыша. А запах поблекшей ромашки, сгоревшего иван-чая, клюквы в болоте, запах не по-летнему разморенной на солнцепеке сосны — их куда девать? Или кинуть за ненадобностью? Вроде бы неудобно. Что же, они скажут, осину с ольхой берешь, а нами брезгуешь? Едва взял их, а тут новые запахи явились: старого одуванчика, молодого дуба, папоротника, поздних осенних грибов. А запах земли куда девать, реки, песчаных берегов, запах болота, небес, запах леса? Стойте же, говорю, не могу я так много. Куда мне, не резиновый я! Да разве они разрешения спрашивают? Лезут в нос, тревожат, щекочут, волнуют, нежат,— запахи плотные, как сухая глина, и легкие, как паутина, как пух. Один прилетел, и нет его. Другой — как жирный кусок мяса, не сразу и сжуешь. А прежде чем насладиться, потрудишься вволю. Жуешь, жуешь, пока челюсти не устанут или зуб не сломаешь. Как для кого, а для меня не легкая это работа — вдыхать запахи земли. Иной раз кажется, лучше бы целый день топором махал на делянке, чем так сидеть в затишке и запахами наслаждаться.

Но нельзя же все время поблажку себе давать, легким трудом заниматься. Пока ты горяч, молод, самое время тебе в купель войти, обжечься в огне жизни. Смолоду не обгоришь, со стару не захочешь. Нет, не лодыри мы и не трусы, чтобы бояться тяжелой работы, оттого и не бежим от нее, не прячемся, а, оставив топор и делянку, сидим в затишке, на припеке и слушаем, как дышит осень. Бродят осенние запахи по лесу, как звери шальные, рыщут по лужайкам и кущам, хоронятся, замирают, растворяются в общем котле дня. Вслушива-

ешься с усердием — булькает на огне это ароматное варево, шибает в нос. Нет ничего приятней на свете — ощущать осенние запахи. Напитался ими и сам истончился, развеялся, исчез под синью холодного неба.

Человек никогда не бывает одинок. С кем-то он да живет: с ветром, с женой, с детьми, с бабушкой, с одуванчиком, с небом, с соседями, с человечеством. Это зависит от того, кто или что у него под боком и кого он способен воспринимать. Иной с лесом живет за милую душу, а соседа не то что не воспринимает, но видит в нем смертельного врага, и приди этот сосед в гости или появись на известном расстоянии, и боя не миновать. Иному достаточно соседства паука, пусть бы плел в углу паутину, а он бы смотрел на паука и радовался. И другого ему ничего не надо. А иному подавай весь мир, человечество. На меньшее он не согласен. Даже когда человек один, он не один, он всегда вдвоем, а то и втроем. Заберите у человека небо, лес, соседей, птиц, животных, лишите его общения с цветами, женщинами, отгородите его невидимой стеной от солнца, луны, звезд, ветра, посадите в какую-нибудь тьмутаракань, где бы он томился один, все равно он будет не один, а вдвоем, если не с тьмутараканью, то с самим собой. Так устроен человек — для него одиночества не бывает.

Раз в несколько лет у сосен меняется хвоя. Этот год для них настал. Иголки у сосен, крайние с тыла, пожелтели и осыпаются при малейшем дуновении ветра. Подойдешь к иной сосне, дыхнешь, а иголки падают. По лесу, по дорогам разбросаны упавшие хвоинки. И нигде нет такой, чтобы была она одна, везде их по две.

Все в этом мире живет парами: дерево с деревом, муж с женой, мать с ребенком, лес с лесом, небо с землей, одинокий человек со всей вселенной.

Прошел несколько километров, надо идти дальше, а ноги к пеньку ведут. Сел, вроде бы иду дальше, не чувствую, что сижу. Я получше, поосновательнее на пень умостился, все равно нет того чувства, что сижу, а не иду. Вверх посмотрел на небо, на листья, в стороны, налево, направо, с земли хвоинку подобрал, повертел, помял в пальцах, а все кажется мне, что двигаюсь я по дороге, углубляюсь дальше в лес. Странное это состоя-

ние, сидишь, а кажется тебе, что путь продолжаешь. Но что в нем странного, если оно чаще всего со мной бывает, постоянное, обыденное, его и не замечаешь. Быть в нем легко, выйти трудно. Вот и до поворота я дошел, и за поворотом спрятался, мимо осинника, мимо зарослей вереска, мимо ели, тут недалеко и до ручейка осталось,— глядишь, я сегодня такой рысью весь обход обойду, не сделав ни шага. Но неплохо подумать, как бы при такой ходьбе не устать. Напрягаюсь, сдерживаю себя, жму на тормоза, да слишком разгон большой взял и скорость велика, дорога под уклон, вот и не остановиться. Но скорость угасает, то деревья и кусты по сторонам мелькали, как из окон поезда, теперь движение их замедленнее. Ход тише и тише. И, наконец, совсем стал. Тут только и получил я удовольствие оттого, что сижу, понял по-настоящему, что сижу, и, главное, уяснил, что такое для уставшего человека сидение. Уж какая это благодать, должен я сказать, посидеть на пеньке в лесу минут пять — десять, лучше не придумаешь!

В ходьбе лес другой, ты идешь, и лес пред тобой, как конь, скачет. Сел ты, и сразу тишина на мир опустилась, все замерло, даже солнце, вечно бегущее по небу, остановилось. А как лучше глядеть на предмет — когда он бежит или когда неподвижен? Когда он бежит, что увидишь? Мелькание рук или ног, если их увидишь. Вижу муравья, ползущего по земле, вижу былинку у ноги, заметил цветок, который не видел, когда шел, ствол сосны в лишайнике, увидел бабочку на цветке, паук семенит домой на высоких ножках. Сижу и как в сон глубокий проваливаюсь, в море ныряю, извлекаю от сидения максимум пользы и удовольствия: то левую ногу за правую закину и посижу в этой позе, то правую за левую заброшу, то локтем в колено упрусь. О чем думаю? А ни о чем. О браконьерах я утром думал, о погоде думал, о том, что сегодня варить на обед, думал. Покосился на солнце, оно к западу подалось. Эге, солнце в пути, значит, и я уже в дороге. Оно и пора, засиделся я не по времени. Встал, встряхнулся, движением рук застоявшуюся в сосудах кровь разогнал, протрубил походный клич (мысленно) и отправился дальше. А пенек с муравьями, с пауком, с бабочкой, со стволом сосны в лишайнике, с цветком оставил. И опять замелькали в глазах деревья, как спицы в колесе. Иду.

Было солнце, а нынче прорвало небесную твердь, дождь. Снизу бегут самые низкие облака, кажется, они-то и несут дождь. Чуть выше еще облака, они бегут помедленнее. Нижние облака черные, те, что выше, посветлее. А выше этих светлых облаков еще облака, совсем белые и светлые и чистые, как снег. Выше этих облаков синее небо. Найдет нижняя туча, станет темно, стучит дождь по крыше, уйдет черная туча, откроются светлые облака, станет светло, уйдут и эти облака, станет еще светлее, уйдут самые верхние облака, покажется кусочек синего неба. Но облаков так много, выстроились они в три ряда, что неба не видать. Стали бы облака сейчас на месте, выплакались дождем, и появилось бы солнце. Впрочем, кому это известно. Может, у облаков нынче плаксивое настроение и не уняться им за неделю. Все-таки что ни говори, а на дворе осень, а осенью облака весьма чувствительны к слезам, и осуждать их за это не стоит. Надо же им когда-нибудь выплакаться!

Мне они не помешают. Сыро идти по лесу? Я надену плащ. Он у меня непромокаемый, широкий и длинный до пят, с капюшоном, подарок знакомого военного моряка. Когда я надеваю его и подпоясываюсь ремешком, я похож на монаха. Сыро снизу? Я надену сапоги. Они промокают, но это не беда, сейчас не зима, не замерзну. Дорогу дождь размоет? Меньше будет болтаться в лесу браконьеров. Крыша потечет? Залезу и залатаю. Не страшен мне дождь, пусть идет, если хочется. Одно только меня огорчает. Я заметил, что спокойно выношу безостановочный дождь ровно месяц. А если он льет на день больше, у меня начинает портиться настроение, слезятся глаза, я плачу, как баба. А какому мужчине это может нравиться?

Клеймил для зимней рубки лес, подошел к одной знакомой сосне, и очень она мне не понравилась. И ствол кривой, и сучья толстые, и высота невелика. Показалась она мне какой-то страшной уродиной (а раньше не казалась), и я подумал: чем сильней я люблю лес, тем ужасней он мне видится, тем чаще нахожу в нем недостатки; и не потому он плох, что плох сам по себе, а потому, что я его люблю, и чем крепче буду любить, тем больше буду видеть недостатков; моя лю-

бовь позволяет ему быть не только прекрасным, но и безобразным.

Стал вспоминать случаи, когда мне в лесу было плохо. Там заблудился и долго не мог найти дорогу, и чем помог мне лес, сосны, занятые собой? Ничем. Они еще больше путали меня и в глушь уводили. Там зимой бензиновой пилой умудрился проехаться по ноге и, чтобы не загрязнить рану, промыл ее дедовским способом, помочившись на нее, да так и приковылял с рваной ногой на кордон. А что делать? Там тонул в весеннем болоте, простыл и полтора месяца провалялся в больнице... Да стоит ли перечислять все события, когда лес показал себя не с лучшей стороны. Был я хорош, я видел лес прекрасным, я говорил: он славный, он добрый, он красивый. А он был и зол, и глух к просьбам, и красоты в нем не было никакой. Где же вы, красавцы деревья-великаны, богатыри, благородные мужи и милосердные девы?

И пока с неудовольствием и осуждением смотрел на сосну, видел ее уродиной, пока мерил ствол, ставил клеймо, пока приговаривал ее к рубке, шершавую кору ладонью погладил, плечом уперся, пригляделся внимательней и увидел, что и ствол ее не так крив, а даже строен, и ветки не толсты, и сама она высоты достаточной, и дух благородный из себя источает, и видом своим не только не печалит сердце, но воодушевляет и радует. И тут я навспоминал случаев, когда лес выручал меня из беды, но об этом можно говорить так много, что я умолкаю.

Я задаю себе вопрос: в чем радость моей жизни в лесу — в труде и службе, в неудовлетворенности, в страданиях и лишениях? Странно, зачем я задаю себе такой вопрос, зачем хочу это знать? Как будто, узнав, я навек успокоюсь. И точно успокоюсь; засну глубоким сном. Но не хочу я сейчас засыпать глубоким сном, я жить хочу, как никогда не хотел жить, а когда придет время, засну. Но кто сказал, что ты сейчас узнаешь и заснешь? Попробуй сначала узнай. В том-то и дело, что не узнаешь; ответа не найти. Приходят ответы, а все иные и разные. И даже один и тот же приходит ответ, а все равно он не годится. Не подходит. Но если не найти, зачем искать? А что еще остается делать, если идет дождь, не высунуться наружу, если на прозолоке над плитой сохнет

мокрая одежда и я греюсь у плиты, открыл духовку, если вчера был дождь и сегодня и длинная ночь впереди, которую не скоротать сном, и неизвестно, какое будет утро?

Желтое перышко от синицы влетело со двора в избу и забилось в уголок на полу. Я не замечал его несколько дней, верней, не обращал внимания, а сейчас увидел. Я понимаю, что это подарок мне от синицы, что перо следовало бы взять и положить на стол, а еще лучше — в какую-нибудь коробочку на бархатную подушечку, коробочку следовало бы запереть в сейф, сейф поместить в банк, а возле банка поставить для охраны взвод часовых, чтобы перышко не украли. Кроме того, я должен бы каждый день вместо благодарности солнцу за то, что оно пришло посветить, начинать день славословием синице за ее великолепный подарок. Я должен быть смущен ее щедростью и чувствовать себя в неоплатном долгу.

Я сознаю царственную щедрость птицы по отношению ко мне, презренному малому, я вижу, какую большую ответственность наложила на меня судьба за дальнейшее перышка, но я не сдвинусь ни на йоту, чтобы поднять это перо с пола, а тем более не стану благодарить и на всю жизнь прослыву неблагодарным. Пусть оно валяется на грязном полу, пока березовая метла не занесет его куда-нибудь в более глухое место, а то и вообще в безвестность. Туда ему и дорога.

Надоел лес, и я ушел к себе. Себя наблюдаю: как ем, как сплю, как зеваю, как к солнцу отношусь, к луне, к речке — радуют они меня или огорчают. Устал я от леса, вот он меня и не вдохновляет. А сам себя стал вдохновлять. Не тем, что сам себе радуюсь, а тем, что гляжу на себя и вижу себя. А лес не вижу. Но кажется мне, в чем-то я тут не прав. Говорил же я, что я и лес — одно. Почему же теперь разделяю? В одно соединить не могу? Почему, говоря о лесе, не могу говорить о себе и, говоря о себе, не могу говорить о лесе? Или я говорю и мне только кажется, что я не говорю?

Когда я гляжу на лес, мир — это не лес предо мной, не мир, не осень, не сосны, не солнце в небе, не облака, это не лужи на дорогах, не ворона на дереве, не умер-

шая трава, не ночь со звездами, не рябина. Это я сам со своими заботами, радостями, сомнениями, с любовью, неприязнью, усталостью, желанием и страстью, с горем, отчаянием, верой в успех. Заботы мои скачут по дорогам, мысли уселись на ветке рябины, желания томятся звездами в небе, сомнения бегут тучами. Когда же я гляжу на себя и вижу себя в разных чувствах и думах, это не себя я вижу, а лес, мир, осень. Я вижу траву, деревья, кусты можжевельника на пригорке, заросли вереска, луну в облаках, листья на ветру, лужи, бегущего зайца, осенний одуванчик, белку.

Ночь. В избе темно, и на дворе темно. Я проснулся, сел на кровати, спустил на пол босые ноги. Мне холодно. Я смотрю в то место, где должно быть окно, в надежде увидеть свет там, за окном, но ничего не различаю. В избе тихо, ничто не шелохнется: не скрипнет дверь на ветхих петлях, не пискнет мышь, не прошуршит жук в опилках на чердаке. Спать не хочется, но и идти в лес, в темноту, не решаюсь. Темноты я не боюсь, но с какой стати бродить сейчас по лесным чащобам, натыкаясь на корни и камни? Глупо видеть меня сейчас со стороны: сидит малый на кровати, раздетый, разутый, и смотрит в пустое пространство. Однако желание не сидеть пересиливает меня. Одеваюсь и выхожу на крыльцо.

Как ночь ни темна, она никогда не бывает темна, что-нибудь в ней да светлеет, какой-нибудь свет да рассеивается: свет ли это далекой звезды, которую за дальним расстоянием не видно, огонек ли светлячка у гнилого пня, незримый, заплутавший луч вчерашнего солнца, свет собственных глаз. Темнота беспокоит, но не пугает. Зачем иду в лес, что я там не видел? Был бы я зверь, кормился бы в ночи, бегал бы по полям, как рысь, как заяц, мышковал, как лиса. Но не заяц я и не лиса, и нечего мне делать в ночном бору. Все люди в такую ночь спят, добрая половина человечества спит, спят и мои браконьеры. Хочу убедиться, что обход в целости и сохранности? Но это мне и так известно. Я обошел его в последний раз несколько часов назад, и никакой крокодил и змей-горыныч за ночь его не проглотил, не уволок. Захотел убедиться, что ночь темна и ни зги не видно? Но для этого не надо таскаться по

лесу. Поглядеть на сосну, на которой сидела днем ворона? Но при такой тьме сосны не разглядеть. Зачем же тогда я иду? Зачем — не знаю, а почему — знаю. Потому что ночь тяжела для меня и я хочу, чтобы скорей она кончилась, и я иду на восток, поближе к рассвету. Но сколько же я могу приближаться к рассвету, на километр, два, пять? Вроде бы и немного, но мысль, что своим усилием ног, ходьбой я ускорю появление зари, меня удовлетворяет.

Полдень, светлый, звонкий, я его столько ждал, он весь просветлен, кажется, нет такого места, куда бы не проник свет, копни землю, и там найдешь. Утро было в тумане, холодное. Думал, придет полдень, разогреется низкое осеннее солнце, так будет хорошо. Пришел полдень, разогрелось солнце, и вправду стало хорошо, да только ничего особенного в этом хорошем нет, не замечаю. Даже, напротив, нехорошо становится, беспокойно как-то. То ли оттого, что хорошо, плохо на душе, то ли еще отчего. Но удовольствия от полдня не испытываю. Уже подумываю: вот будет вечер, тогда посмотрим. Или: вот будет завтра утро, тогда посмотрим, поглядим. Конечно, будут и вечер, и завтра утро, но с какой стати в полдень мне думать о вечере или о завтрашнем дне? Если бы этот полдень не ждал, если бы он был сер, ветрен, угрюм, плох, тогда другое дело. Но он прекрасен, редко такие полдни случаются осенью — радуйся же ему! Хочу ночь темную, грозную, страшную. Нет, хочу день, полдень светлый, радостный. Но он есть, стоит. Он есть, но я хочу не этот, а другой, еще прекрасней этого.

Один из тех дней, которые бывают чаще других, но которые мы реже всего замечаем. Нет ничего в нем броского, примечательного, не сияет он солнцем, не синеет синевой, не гонит ярый ветер по небу черные тучи, день сеpенький, ты от него ничего не ждешь, и он тебе ничего не предлагает. Впрочем, какую-то скучную и обыденную обыденность и недовольство он дает. А кто когда бывал доволен серостью, серым днем? Разве что человек, который спать собрался. Ложится он со спокойной совестью в постель и сладко засыпает. Некоторые утверждают, что в серый день спится даже лучше,

чем ночью. Но я с ними не согласен. Ночью спится все-таки лучше, чем днем. В этом я убедился на собственном опыте: некоторое время я спал только днем, потом спал только ночью, а потом и ночью и днем. Когда спишь только днем или только ночью — тут разницы нет никакой. Она, может, и есть, но не очень значительная, чтобы на нее обращать внимание, в том смысле, что днем спать, конечно, лучше, потому что ночью при всех условиях ты все равно выспишься. А вот если спишь ночь и день подряд, тут разница заметна. Ночью спишь хорошо и претензий к ночи никаких не имеешь, а днем спишь и начинаются неурядицы, сон твой прерывист, беспокоен. То солнце заберется в постель и тебя разбудит, то ветерок в окно залетит, то комар, будь он неладен, укусит, то сосед заявится только затем, чтобы сообщить, что погода нынче дождливая, как будто тебе самому это неизвестно, нет у тебя глаз, нет ушей и ты ничего не видишь, не слышишь. Спишь и дрожишь: вот солнце сейчас на тебя упадет, вот сосед дверью хлопнет, вот директор на машине приедет. Ну, какой может быть сон при подобных волнениях в сравнении с тем, что был до него, с безмятежным, ночным. Ночью кто заявится, кто придет, какое солнце глянет? Пушка возле уха грянет и ту не расслышишь. Ни соседа, ни начальства. Разве что сам себя поднимешь узнать, какой сегодня день, час.

Проснулся, поднялся, поглядел по сторонам, ничего не узнал и завалился спать на боковую.

Знал одного человека. Он пошел жить в лес и жил в нем с перерывами два года, чтобы доказать, что человек может жить в лесу. Завидую такой целенаправленной натуре, но удивляюсь, до чего может дойти человек, если идет в лес с желанием доказать, что там можно жить, доказывать то, что не требует доказательств. Пусть бы он доказал, что может прожить без леса. Вот тогда я бы поздравил его с победой и сказал, что он действительно совершил великий подвиг.

Прожить одному в лесу год-два не великая проблема. Спору нет, жить в лесу нелегко, есть в такой жизни свои трудности, но они гораздо меньше, чем если погиб бы лес и не осталось ни одного деревца. Впрочем, подобный опыт есть возможность испытать в будущем.

И тем не менее мне близок этот знакомец. Он был мужественным человеком и душою юн. А главное, он прожил два года в лесу. Мне кажется, люди, которые прожили в лесу больше одного дня, уже могут считать, что они чем-то отличаются от простых смертных, они взяли нечто от леса. Таких людей всегда различишь с первого взгляда. У них храброе сердце, светлые мысли, твердая и легкая походка, ясный ум. Они никогда не умирают.

Ночью шел дождь. То ли от его шума, то ли от каких своих беспокойных дум, о существовании которых я ничего не подозреваю, но допускаю, просыпался я, вслушивался в шум дождя и засыпал вновь.

Утром дождя нет, но падают с листьев на листья, на нижние листья, капли, стучат. Перед солнцем, перед днем торопятся листья стряхнуть с себя дождевую тяжесть. На земле лужи, а глянешь по сторонам — все деревья, все листья унизаны каплями. Сидят капли рядком, как осенние птицы на ветках: и оторваться не хотят, и не соберутся никак улететь. Что же, думаю я, глядя на капли, бедные деревья, плачете вы горькими слезами? Пожалеть бы вас, сирот несчастных? Как бы не так. Утро упругое, бодрое, свежее. В такое утро невозможно рыдать и думать о чем-то плохом. Но если они и плачут, то от радости плачут, оттого что утро свежее. Сказано же: сияй слезами радости! Вот они и сияют.

Говорю: вышел из дома. А из какого дома вышел? Где мой дом? Эта старая холодная изба, в которой я провожу дни и ночи? Ничего подобного. Конечно, изба мой дом, есть в ней и стены, и крыша, и еще кое-что. Но есть у меня и другой дом, не хуже этого. Крыша ему — небо, стены — края света, пол — земля. И так смешно видеть, как забирается человек из одного дома в другой, прячется в избу, считая ее своим домом, а о настоящем доме не вспоминает. А между тем он есть, стоит этот дом, и стоять ему века вечные. От незримых дождей он нас укрывает, от холода прячет. Кто может похвалиться, что знает этот дом, где у него окна, какие стропила, чем покрыта крыша, где крылечко? Кто чув-

ствует себя в нем хозяином, спокойно разжигает в плите огонь, варит суп, сидит у окна и смотрит в лес, подперев щеку, ложится в постель, отдыхая? Кто утром выбегает во двор и босиком шлепает по мокрой траве? Кто конопатит щели в стене меж бревен, латает крышу, осенью укрепляет завалинку? Кто уходит в лес по своим делам, вешает для приличия сломанный замок и пишет записку: «Я в обходе»? Где этот жилец, который охраняет лес, а мы его не видим? Мы его видим, да только не хотим видеть. «Нет его, нет»,— говорим. А он есть.

Изба у меня холодная, и если не затопить с утра плиту и сидеть без движения, не рыть огород, не колоть дров, не косить траву, не бежать к колодцу за водой, то к середине дня продрогнешь основательно. В таких случаях, когда я, собираясь в обход, выхожу на крыльцо и делаю первые два шага, мне кажется, что на дворе собачий холод, я легко одет, надо вернуться и одеться потеплее. Но говоришь себе: пройдусь и согреюсь. Еще несколько шагов — и ощущение холода не ослабевает. И ты ругаешь себя: в лесу мороз, а ты чуть ли не голый и босиком. Есть у меня один тягунок, взгорок; как только я до него дойду и его одолею, начинаю тепло ощущать, начинаю менять отношение к погоде. То мне холодно казалось, а теперь, на взгорке, тепло. И чем дольше я бегу по лесу, тем сильней нагреваюсь и распаляюсь, что зима мне в лето кажется, снять бы часть одежды да повесить на сучок, чтобы не мешала!

Когда я раньше встречал в лесу браконьеров, я не понимал, отчего я на них наскакиваю, как молодой петушок, отчего горячусь. Я думал, я за лес болею, и негодование свое любовью к лесу объяснял. Я и теперь не отказываюсь от любви к лесу, глупо жить в лесу, служить ему и быть с ним во вражде, в тягость ему или испытывать равнодушие, но сейчас я думаю, что к жару моей любви тут прибавляется и жар скорого хода, иначе чем бы объяснять такое: я браконьеров не встречаю, порубок у меня нет, а в дороге я горяч, ожесточен, бегу, как борзая собака, и вслух кляну невидимых и, главное, несуществующих врагов-порубщиков, грожу им страшными карами и местью? Откуда такая злоба и гнев?

Гори во мне в такие минуты только любовь, я был бы тих и кроток, как овечка. Я бы любил лес, раз мне ничто не мешает, а о браконьерах и думать забыл, я бы предавался на ходу самым лучшим воспоминаниям. Кому интересно злиться и думать злое? Видно, скорость и жар хода подогревают мою температуру, вот почему я и бегаю обозленный. Конечно, можно сказать и другое, что я бегаю по лесу, чтобы разогреться, а не по любви, но мало ли что можно сказать.

Глава вторая

Начало октября, а теплынь стоит, словно лето опять вернулось. Тепло не только днем, когда солнце, но и вечером, и ночью, и ранним утром. Каждый раз говорю себе: ну, сегодня последний денечек. А следующий день опять такой же. Оттого что тепло и солнца много, листья на деревьях перестали желтеть, одни деревья стоят желтые и даже голые, а другие зеленые. Глянешь на них и не подумаешь, что осень. Но сколько может быть лето и лето, пора и надоесть. Шли бы дожди, стояло бы ненастье, знал бы, что пришла осень, притерпелся к ней и, расставшись с летом, смело шагнул бы в иную дверь. А тут снова расстраивайся, переживай. Так иной гость и распрощается с тобой, и в сени выйдет, все слова скажет, только ты в дом, а он вернулся, забыл что-то сказать, и опять продолжается беседа, и не расстаться с гостем никак.

Вот и я не могу расстаться с летом. Я сам давно с ним согласился расстаться. И хоть есть в моем сердце жалость и грусть, как при любом расставании, креплюсь, принимая осень. А оно, лето, со мной расставаться не хочет. Окутывает меня теплыми туманами, нежит дневным ясным солнцем, ласкает теплыми ночами, соблазняет меня легким ветром, оглаживает, охаживает,— то ли жалко ему со мной расстаться, то ли боится, как бы я его не забыл, то ли не надеется больше на встречу.

Утро. Глаза открыл и увидел, что солнце из-за леса поднимается. Встречаю его лежа на постели, к нему лицом. Обиделся я, что оно меня рано разбудило. Кряхтя перевалился на другой бок. Отвернулся от солнца и ду-

маю: не обидится ли оно на мою невежливость? Обидеться-то мне, конечно, не грех, но как бы не перегнуть палку, не вызвать гнев или обиду у солнца? Вдруг оно, обидевшись, застроптивничает, глядя на мои выкрутасы, на мое невнимание, и повернет назад, и вместо утра и дня появится ночь? Подобная перспектива меня не устраивает. Ночь я уже провел хоть и в добром здравии и с приятностью отлежал себе бока, но повторять этот круг вращений снова не хочется. Спи и спи. Прав поэт, это и медведю надоест! Решил я показать солнцу не так резко и демонстративно свое неудовольствие, что оно меня разбудило. Но как это сделать, если, спиной повернувшись, лежать невежливо? Лег животом вниз. Голову слегка повернул к окну и гляжу: не ушло ли в обиде солнце, не опустилось за лес? Нет, вроде не ушло, не опускается, свет в окне и на дворе не уменьшается, не угасает, а, напротив, здоровеет, набирает силу. Все-таки для безопасности совсем повернул к солнцу свое лицо. А там и тело переместил поудобней, как вначале лежал — весь к солнцу обратившись. Думал, повернусь к солнцу и худо мне будет, настроение испорчу, опять обида и злоба на меня найдут, что солнце меня разбудило, а повернулся и ничего худого не замечаю. Напротив даже, к моему удивлению, очень хорошо мне находиться, повернувшись к солнцу лицом, гораздо приятней, чем спиной. А повернувшись к солнцу и ощутив радость от этого, подумал я: зачем от солнца отворачивался, что за причина обижаться на него была? И никак вспомнить не могу. Помню, что была какая-то причина, а в чем ее суть, не помню. Долго и мучительно вспоминал и, когда уже отчаялся вспомнить, вспомнил — от обиды, что солнце меня рано разбудило. Поглядел я вокруг: где ж рано? Солнце уже в зените, день в разгаре, а я в постели валяюсь, вставать мне неохота. Стал оправдывать себя — мол, вчера поздно лег, до полночи по обходу шатался, отчего бы сегодня и не поспать подольше? Да не очень-то мое оправдание меня оправдывает. Сам же я его себе говорю, сам и не принимаю. Решил совесть свою успокоить, проверить: выспался я или нет? А как это сделать? Уснуть снова или встать? Вскочил с постели, раза два руками в воздухе помахал, присел, босиком по холодному полу на двор, на крыльцо выбежал. Пока вскакивал с постели, пока руками в воздухе махал, пока приседал на полу, были сомнения, правильно

ли сделал, не лучше ли мне лечь, глаза смежить? А как на крыльцо, во двор выбежал — все свои сомнения позабыл. Позабыл, как солнце меня разбудило и я, обидевшись на него, от него отворачивался,— всю свою постельную утреннюю возню и обиду забыл. И день меня приветливо встретил. А заупрямься я в своей обиде, продолжай лежать к солнцу спиной, и чем бы все это кончилось — неизвестно.

Был у реки — никого не слышал. Отошел — закрякала утка, сочно, призывно, точно потребовала, чтобы я воротился назад. Думаю, дай подойду. Что будет? Подошел, а она смолкла. «Зачем же тогда,— говорю,— кричала?» Посидел на пенечке, может крикнет? Молчит и себя не показывает. Послушал, как река шумит, как ветер осеннюю траву колышет, стал подниматься по дороге на взгорок, утка опять заголосила. Я бегом к ней. Несколько раз подходил к ней и отходил. Когда я на реке — утка молчит, когда ухожу — орет благим матом. Что бы это значило, думаю. Захотела поговорить со мной, развеять одиночество? Уж не играет ли она со мной в прятки от нечего делать? Жир за лето нагуляла, набродилась в лесных зарослях, речных камышах, выводок вывела, вырастила, а лететь на юг рановато. Вот и озорничает со мной. Только с какой стати мне с лесной уткой играть. Или больше делать нечего, или серьезней занятия не найти? Обиделся на утку и зашагал домой.

Осень — пора увяданья, умирают травы, умирают цветы. Вчера отцвел последний осенний одуванчик у дороги. Почему же я мало говорю о смерти? Почему не прославляю ее или делаю вид, что не замечаю? И что на дворе осень, и что природа умирает — это я вижу каждый день. Слепой и тот бы заметил. Это не заметить невозможно. Но почему я должен прославить смерть? Или я нанялся в услужение к каким-то ужасным злодеям и разбойникам, чтобы оправдать их черный промысел? Не заставит меня никто заниматься этим делом.

Но разве не прекрасна осень, не красива, не воспевают ее поэты в стихах? Иные, кроме осени, видеть ничего не хотят. Дай им багрец и золото лесов, да и только.

И никто не осуждает этих поэтов, напротив, славят. И что же, раз смерть — плохо, значит, и не нужна, и вон ее из леса? Я не самый большой любитель осени, я люблю ее, люблю желтеющие березовые леса, лёт паутины, туманы и прочее, но, сказать по правде, мне больше по душе лето, весна, даже зиму и ту я люблю больше и принимаю, но, если бы мне завтра сказали: ликвидируем осень навсегда, уничтожим ее как негодный элемент, я бы первый встал на ее защиту.

Пусть она будет, осень. Конечно, для некоторых, если не для большинства, приход ее страшен и неожидан — никому неохота расставаться с теплом, с летом, но и в этой грустной поре есть очарование. Его трудно принять умом, можно принять только сердцем. Умом принять — все в ней плохо: и холод, и слякоть, и грязь, и первые белые мухи, и щели в избе, и нет дров, и дырявые валенки, а где-то грядет зима, морозы. А принял сердцем, полюбил ее, и она чище и прекрасней весны. Очистительная осень, спасительная, благословенная. Осень-красавица. Она так же жива, как жизнь, хотя и утверждают, что она смерть.

Все позднее лето отгонял я мальчишек от ягод рябин, как цепной пес, лаялся с ними, чтобы они не ломали веток, не рвали ягод на забаву, а оставили птицам, и делал это так рьяно, словно специально был приставлен для охраны рябиновых ягод. Одному мальцу говорил: «Тебе ягоды на баловство, а осенью птицы прилетят, что есть будут?» Малый, нахохлившись не хуже иной птицы, отвечал с недоверием: «Воробьи, что ли?» — «Глуп ты как бревно,— отвечал ему я,— свиристели». И вот они прилетели и обсыпали рябину. Все-таки я их дождался. А точней сказать, не я дождался, а рябина. Мне от их прилета ни холодно ни жарко, не меня они клевать явились. А вот рябинам их прилет важен. Бережно, терпеливо они держат на своих ветках этих птиц. Одно дело умереть с пользой, другое — скукожиться на корню никому не нужным. И хоть не бывает в природе таких вещей, что что-то остается ненужным, все тут нужно и все имеет цену,— глядеть, как пропадают ягоды рябины, не съеденные птицами, почему-то горько. Глядя, как птицы освобождают рябину от тяжелого осеннего груза, и сам ты вместе с рябиной ос-

вобождаешься, облегчаешься от дневных волнений, забот, бед. Все-таки неплохо устроился человек, если прилет птиц, их поклев рябиновых ягод его от забот и волнений освобождают.

Иногда, когда в осеннем лесу сижу на бревнышке, усталый от ходьбы, или стою у желтеющей березы, у меня бывает такое состояние, словно меня нет на свете. Лес есть, а меня нет. Почему так кажется? Потому что на душе легко, ничто не болит, не беспокоит,— скажут мне и будут правы. И в самом деле, настроение у меня не такое, чтобы искать веревку и лезть на сосну, и болезни никакие не донимают. Но так уж не донимают? И такое ли развеселое у меня настроение, что от радости себя не помню, не вижу? Конечно, бывает и хорошее настроение, и болезни не донимают, но только не сейчас, в другой раз. А сейчас и тяжко мне, и поясница ноет, и нога болит. И во всем теле какая-то несогласица и хворь, и тошно мне смотреть на мир, на лес, и бежать куда-то хочется. А куда бежать, зачем бежать, не знаешь. Вот и таскаешься по лесу, как бездомный волк, или сидишь в избе, как будто некуда тебе выйти, ты в тюрьме, в заключении, а весь мир вокруг тебя. Щупаешь себя пальцами, потрогаешь ногу, уши, нос, — есть ли они? Вроде есть. Перестанешь щупать, вроде нет. Отчего же все-таки такое состояние? Я думаю, от большого желания. Ты желаешь избавиться от болезней, от болей, от тяжести душевной, они тебя вконец допекли, ты очень сильно этого желаешь, а они не уходят. Привязались, как репьи к штанам. И тогда, чтобы они ушли, ты сам уходишь, и тебя нет. А тебя нет, какие могут быть боли, беды, болезни? Никаких.

Упорно ставил у реки скамейку, чтобы сидели на ней люди. А ее так же упорно ломали. Я врыл столбы в землю, плаху наверху гвоздями пришил, скамейка, конечно, не образец какой и не совершенство, но сидеть на ней и любоваться красотами природы можно, в усталый от дороги час дать отдых своему телу, взбодрить дух. На следующий день пришел полюбоваться плодами своих рук — столбы выворочены, доска оторвана и заброшена в кусты малины, а перед самой скамейкой нагаже-

но. И не зверь набезобразничал, а человек. Сколько раз я эту скамейку ставил — десять, двадцать? Боюсь сказать точно, чтобы не соврать, но много. Я хочу человеку доброе сделать, а ему, оказывается, мое добро не нужно. И видна в его действиях какая-то злоба и глумление. Ты, мол, мне добро, а я на твое добро плевать хотел. Стоит тут понять мое упрямство! Не так за скамейку я бился, черт с ней, со скамейкой, или в лесу нет мест, где можно присесть и отдохнуть,— на принцип меня повело. Уж каких я хитрых приспособлений ни придумывал, на какую глубину столбы ни зарывал, какими толстыми гвоздями плаху ни приколачивал — не помогало. Из железа бы сделал эту скамейку, и ту бы наверняка уничтожили. Деревья сохранять мне удавалось, а эту паршивую скамейку нет.

Не скажу, чтобы не нравилась моя скамейка людям, и сидели на ней парочками и в одиночку, и любовались лесом, и усталый дух свой бодрили, так что можно сказать, что скамейка была им нужна. И не нужна, раз ломали. Да и сам я был не прочь, в иной дождливый и холодный день присесть на ней и отдохнуть, вместо того чтобы валиться на мокрую землю, рискуя схватить радикулит. Если бы мне платили деньги только за то, чтобы поставить эту скамейку, утвердить ее на земле, и не было бы у меня никаких иных лесных дел, более важных и существенных, хотя, думается мне, скамейка тоже не пустяк, я бы переломил эту злую силу, что портила скамейку, и добился своего; и стояла бы у реки моя скамейка как вечный памятник недюжинным человеческим усилиям принести людям добро. Но деньги мне платили за охрану леса, а скамейка была так, блажь, благородное движение души, мимолетность.

И я отступил. Вывороченные столбы и сейчас валяются у реки, и, когда я прохожу мимо, я стараюсь не глядеть на них. Мне неловко за себя, за свою праздность, что, польстившись на легкую победу, я, вместо того чтобы заняться скамейкой серьезно, валял дурака и был побежден.

У меня возбужденное состояние, торопливость — скорей бы, скорей. А куда тороплюсь? Что скорей? Этого я не знаю. Может, как лист, трава, я тороплюсь скорей к смерти? Но я-то прекрасно знаю, что мой срок

еще не настал. В лесу осень, а у меня разве осень? По моим годам, у меня весна или начало лета. Что я, старец, глядящий в могилу? Я полон сил, я молод, хочу жить и кое-что сделать, я собираюсь еще прожить какое-то время, прежде чем отправиться в те, далекие, леса. Так что на осень я смотрю без всякой опаски за свою жизнь, осень пройдет, я останусь. К чему же я тогда тороплюсь, если не к смерти? Я задаю себе такой вопрос, как будто только к смерти торопиться можно. К жизни, наверное, тороплюсь, красавец. Но как можно торопиться к жизни живя? Или я тогда не жив, не живу, а мертв, и, мертвый, тороплюсь к жизни? Лист, трава живут; тороплюсь к своей смерти я один; мертвый, тороплюсь к жизни. Звучит это на первый слух несколько необычно, но мало ли что по первости кажется странным? Минет срок, и все пообвыкнется.

Трава умирает живой, она торопится к смерти, я не умираю, я, мертвый, тороплюсь к жизни. Что тут необычного? Кто-то должен на период зимы быть живым. Вот я и становлюсь живым и буду им всю зиму, а придет весна, жизнь свою передам травам. Если это не умозрительная фантазия, не игра ума — а что это реальность, я не сомневаюсь,— становится понятной причина прихода весны и осени: кто-то умирает, а кто-то рождается — вот безостановочное колесо жизни, ведь не одни только травы и цветы умирают, вертится оно со дня основания мира, и никому его не остановить.

Осень леса — не моя осень, но могу ли я представить себя стариком, человеком, прожившим жизнь и уходящим в могилу? Конечно, могу. Тут не нужно большого воображения — увидеть себя больным, немощным, хилым, на голове поредели волосы, выпали зубы, поумерился шаг, не разбежаться теперь, как прежде, остыла кровь в жилах, ушли желания, страсть, темперамент, беспричинно не запоешь в лесу, да и вообще запоешь ли, не засмеешься и не закатишься смехом, не подпрыгнешь вверх от нечего делать или оттого, что день хорош, не побежишь на речку только затем, чтобы посмотреть, как отражаются в воде облака,— все тебе известно, все понятно, все прожито, тут спина болит, тут ногу ломит, дела сделаны, пора и на покой. Но с другой стороны, как представишь себя стариком, если я не стар, а мо-

лод, если ничто у меня не болит, ничего я не пережил, полон желаний и до смерти мне далеко? Может, я вообще до старости не доживу, может, умру завтра или послезавтра? Завтра или послезавтра я, пожалуй, не умру, это я точно знаю, хотя и не ручаюсь; с чего мне умирать завтра или послезавтра, разве что сосна случайно упадет и придавит меня или в болото провалюсь, но это дело сомнительное. А лет через десять — пятнадцать, может, смерть и придет, почему бы ей и не прийти, может, не будет она дожидаться моей старости и унесет меня молодым?

Я бы хотел умереть молодым. Не хочу я быть старым, в тягость людям, лежать в постели, болеть, мочиться под себя, заискивать перед людьми. Не от гордыни какой не хочу заискивать, унижаться, я при случае могу унизиться как никто — что ж, и унижение свойственно человеку, и ему ли от него бегать, — не хочу унижаться и заискивать не из-за себя, а из-за людей,— их своим унижением обижу и оскорблю. Но судьи ли мы себе и сами ли решаем свою судьбу, когда нам рождаться, когда умирать? Не судьи. Приходит срок, и если тебе говорит судьба: пора — ты собираешься и идешь, а рано это или поздно — тебя не касается.

Ты можешь, конечно, быть недоволен, можешь возмущаться, негодовать, просить — мол, подожди, или поторопить, бывает и такое, но вряд ли она послушает тебя. За всю историю человечества ни с кем этого не случалось. Только лес, поле, природа имеют такую роскошь — знать, когда наступит смерть, их срок. Но и они знают ли его точно? Сегодня он пришел в сентябре, на следующий год в октябре, одна осень на другую никак не похожа. Да и лучше ли знать, что сегодня живешь, а завтра умер? А если мне сегодня умереть захочется или появится в этом нужда и нельзя будет ждать до завтра? Или такой нужды не бывает и не идут на смерть люди ради какого-то дела, прекрасно сознавая, на что они идут? Я не такого высокого мнения о себе, чтобы готовить себе жертвенную судьбу, я живу незаметно и умру незаметно, я — как все, как трава, которая довольна тем, что она прожила свой век и умерла без претензий (и на этом спасибо), и, если я говорю, что хотел бы умереть, не дожив до старости, я сулю себе не героическую смерть, овеянную славой и легендой, не величественные похороны с воинскими по-

честями, не бронзовый монумент и толпы поклоняющихся моему праху, а рядовой конец, как умирают миллионы. Из противоречивого чувства я бы даже не хотел какой-нибудь особенной заметной смерти: быть растерзанным волками, заброшенным в одиночестве. Вот, мол, угрызайтесь совестью за небрежение к человеку, за злодейство.

Но иногда нет-нет да и кольнет в моем сердце робкая надежда, не надежда, а намек на нее, одна тень надежды: а вдруг и мне улыбнется счастье, не за мои малые, слишком малые труды, они не в счет, а так, по нелепой случайности, и судьба наградит меня героической смертью, и я паду на землю не от болезни и старости, а в битве с врагом, молодой, полный сил, веры, любви и счастья.

Осень стоит в самой поре, желтая, праздничная, даже веселая по-своему, хотя она и грусть навевает, а веселая потому, что стоит в самой поре. Когда идешь по лесу, ее вроде и не замечаешь, простор в лесу небольшой, особенно в хвойном, сосны да ели загораживают пространство, упрешься в сосну, как в высокую гору, и, кроме нее, ничего не видать. А по сосне, по елке осень не различишь, они вечно зелены.

Зато когда идешь по шоссе, виды для глаз, для души открываются удивительные. Глянешь направо, а по всей правой стороне зарделся лес, забагрянился, пятнами выступают то желтые, то зеленые, то красные кущи. Глянешь налево — та же картина, только рисунок пятен другой — больше, меньше, бледней. Тут рябина стоит, листья пожухлые, будто их огненным ветром опалило. Там стайка осинок, листья у осины ярко-красные, как закат. А на взгорке у дороги огромная береза, пожелтела, а листья не отпускает, стоит желтая до звона, точно из земли фонтан золота вздыбился.

Идешь по дороге, и осень вместе с тобой идет, глядишь направо, налево — одна картина чудней другой, одно дерево краше своего соседа, пространство и дали раскрываются. Где найти краски, чтобы передать всю красоту осени? Нет их. Как нет красок, чтобы передать красоту зимы, весны, лета. Любое изображение есть только подражание, но и ему ты рад. Я говорю себе: как ты можешь вполне ощутить осень, если ее нет у

тебя в душе, если ты не стар? Но разве обязательно нужно ощущать осень только будучи старым? Пусть что-то одно в тебе найдется умирающее, самое малое. Волос умер и пал с головы. И этого достаточно, чтобы ощутить осень.

Хоть и осень в лесу, и соглашаюсь я, что и у меня в душе осень, но не осень у меня, а лето. Весну свою я уже прожил. Она пролетела не быстро и не медленно, промчалась без остановок, и — доброго ей пути. А лето мое наступило. Как же так, скажут мне, осень на дворе, а он говорит — лето. Ну что же в этом удивительного, разве не бывает весны осенью, когда и лес, и воздух, и вся природа, кажется, живет весной; после обильных дождей и ранних холодов вдруг потеплеет, выглянет солнце, засветит, заиграет, обсушит лес, поля, загуляет по дорогам нежный ветерок, защебечут осенние птицы перед отлетом на юг, заколотится сердце,— так вдруг повеет весной; зацветут одуванчики, лютики, анютины глазки,— и разве не будет тогда весна, хоть и пришла она в осеннюю пору? А может случиться и так. Могут весной вдруг прийти холода, дожди, осень, и после брызжущих светом и теплом дней, после румяного солнца, блеска и журчания снежных ручьев нагрянет хлябь и стужа, что знобит не только тело, но и душу. Разве не осень тогда наступит, хоть и будет март-апрель? Мое лето не в том, что сейчас в лесу осень, а в том, что во мне лето, а осени нет и быть не должно. Будь во мне осень, был бы я молод, пел бы, прыгал, скакал, жил бы верой, надеждой, безумными, почти юношескими мечтами? Я бы готовился к смерти. Лежал на печи и ни о чем не мечтал и свою жизнь, мечту посчитал бы пустой затеей. И весь мир со своими красотами и прелестями, радостями и муками для меня перестал бы существовать. Да и зачем мне тогда этот мир, если я ухожу в иной? Но я не лежу на печи безучастный и мир от себя не отпускаю. Я не хочу сказать, что я крепко его держу и ни за что не хочу его отпустить, будет судьба отпустить — отпустишь. Я люблю этот мир, а о другом пока не помышляю. А раз я люблю этот мир, значит, мне еще предстоит жить, продолжать свое начавшееся лето, ибо оно ко мне только пришло, и горячо еще, и не порвало связи с весной.

Удивительно, как любит человек разные хитросплетения, как падок он до всевозможных сложностей, как убегает от простоты. Поистине, простота тот зверь, которого человек боится пуще семиглавого змея. Нет бы сказать попроще, что у меня в душе весна, что молод я и здоров и потому по-весеннему счастлив. Так нет, горожу огород, что осень у меня в душе, потом поправляюсь, что не осень, а лето, и прихожу в конце концов к тому, что вполне категорично заявляю, что у меня весна. Что же у меня на самом деле: осень, весна или лето? А может, зима? Почему бы ей не быть, матушке, или она чем не удалась? А это все от желания усложнить. Иной человек глаз поутру по простоте продрать не может, а все со сложностями. Кажется, проснулся бы и встал. Лежит он в постели и мучается в неразрешимых вопросах: вставать или не вставать? Как будто, если он не встанет, мир в тартарары провалится. А миру-то, конечно, до этого нет дела. Возможно, поскольку все в этом мире переплетено и взаимосвязано, что-то и случится, возможно, даже и грандиозное нечто произойдет, конец света наступит, страшный суд, но разве это причина для сомнений? Встал ты или не встал, а день-то встал. И солнце поднялось, и облака полетели. И ветерок, легкий на ногу, как дитя, скоро побежал по травам. Птицы запели, вороны закаркали, люди заторопились по своим делам. Во всем сработал великий механизм, что побудил мир к жизни, к делу. Почему же тебя он одного не побуждает, да мужества нет сознаться, что день наступил. Скажешь, а потом отвечай. Вот и находишь всякие уловки и увертки. Скажешь «я», а мучаешься: может, не я? Скажешь «день», а думаешь: может, не день? И такого тумана в голову наберешь, такой путаницы напустишь, что сам уже не разберешь, ты это или не ты, день стоит в лесу или ночь. Выйдешь на крыльцо и трясешь головой, как конь гривой, словно подобная тряска все сомнения привести в порядок может.

Утки пролетели над головой, улетает пернатая дичь на юг, оставляет нам снег и морозы. Но снега нет, и морозов нет, хоть они скоро будут, а льет занудный, нескончаемый дождь, ночь льет и день, и скоро ему придет конец. Что же касается уток, то они появились и уже улетели. И нет их, и только память оставила след,

что они были, летели над лесом, но скоро и памяти о них не останется: память на птицу слаба. Да и почему быть ей крепкой? Какие нити должны связывать живой утиный клик и человеческую память? Но в том-то и дело, что она, память, не проходит. Как проклятье, как наваждение, как райский сон, будет всплывать каждый день, пока будет длиться зима, и думать о птицах будешь, и забудешь, а все равно думать будешь. Почему? Да потому, что улет уток — это не просто улет, потому что, улетая, они уносят от тебя частицу тебя и летают там, в южных странах, беззаботно с твоей частицей, а ты сидишь здесь без нее и страдаешь.

Из равновесия меня может вывести сущая безделица. Вышел на крыльцо, посмотрел на куст бузины, увидел на ветке дождевую каплю, показалось мне, что висит она не на том месте, и я уже недоволен. Будь я олицетворением самого спокойствия — все летит у меня в прах, размышляй я до этого и после этого о самых возвышенных вещах, пребывай в самом блаженном до отвращения состоянии — с этого мгновения спокойствие для меня кончилось. Сердце замрет, застучит, кровь разволнуется, забыты самые прекрасные и твердые мысли о гармонии, о мире, о душевной тишине. Я весь в таком волнении и тревоге, хоть бери эту каплю с ветки бузины и пересаживай на другое место. И взял бы и снял, если бы такая пересадка помогла. Да не помогает. Пересади на иные места тысячи капель, занимайся этим всю жизнь, а тревога и душевная смута будут расходиться сильней и сильней. Как снежный ком, разрастаются страсти. Потерять себя в такой момент ничего не стоит. Да что себя терять, когда ты давно потерянный. Ты потерял себя с того самого мига, когда каплю на ветке увидел не на своем месте.

Так и сегодня, глянул на восток, а солнце запоздало с восходом да и появилось не там, где было вчера. И недоволен я стал, грозен, бранчлив. Ругаю себя на чем свет стоит и ничего делать не могу: ни в лес идти, ни плиту разжечь, ни чай вскипятить.

Девушки-студентки работали в поле. Подходить к ним мне было неудобно, а заговорить и познакомиться

хотелось. Я раз мимо них прошел, другой — они меня не заметили. Я в третий раз прошел, насвистывая. Одна оторвалась от дел, глянула в мою сторону — что, мол, за свистун объявился. И только. У реки двух рыбаков увидел, попробовал заговорить с ними: как, мол, рыбалка? Они не удостоили меня ответом. Отошел от них, обиженный, а мне непременно с кем-то поговорить надо. Приблизился к березе. «Что, говорю, стоишь?» Но и она мне ничего не отвечает, на меня не обращает внимания — шумит листьями на ветру. Я и к озеру подходил, и у кустов малины отирался, и с ветром заигрывал, и бабочку останавливал в полете — все отвернулись от меня сегодня. С кустами малины мы уж как иной раз общаемся. Я им: «Шу-шу-шу». Они мне: «Ши-ши-ши». А тут ни звука, ни слова. «Что же такое делается,— говорю я себе,— или я такой никудышный?» И только это сказал, синичка ко мне подлетела. Посмотрела на меня, повертела головой и улетела. И недолго была, одну мимолетность, так что в пору усомниться — была ли, а доброе дело сделала. Успокоила меня. Мол, дурное это настроение у тебя, оттого тебе и кажется все в дурном свете.

Прилет синички я как благую весть принял. Вернулся к девушкам на поле. «Здравствуйте,— говорю,— красавицы. Бог вам в помощь. Давайте и я помогу». Они прыснули со смеху, а скорей не со смеху, а от стеснения — чужой человек явился. Я поулыбался им, картошку помог копать, поговорил о погоде, о грибах, сказал, что лесник и ягодные места знаю. Был чужим, а распрощались друзьями. Сходил к двум рыбакам у реки. «Ну, как рыбка?» — опять спрашиваю. Они мне в ответ: «Какая тут рыба. Один свежий воздух да удовольствие в тишине посидеть». И с ними я поговорил, и распрощался если не друзьями, то товарищами. К березе сунулся. И она мне на мои вопросы отвечает. Не скажу, что охотно, но и не молчит, не ломается как мятный пряник, как в прошлый раз. «Стою,— отвечает,— и еще стоять буду». Я к озеру, и озеро со мной на «ты». Шумит, плещется у берегов. Я к зарослям малины: «Шу-шу-шу». Они мне: «Ши-ши-ши». Я с ветром поиграл, и он мне рад. Бабочка летит. Стою и думаю: останавливать ли мне бабочку в полете? Вроде бы и хочется остановить и проверить, остановится или нет? А с другой стороны, неловко ее по пустякам отвлекать. Может, ей ку-

да сейчас срочно надо. Долго стоял в нерешительности, пока она не улетела.

Вернулся к себе в избу и думаю: как же так происходит, что до прилета синицы со мной никто говорить не хотел, а она прилетела — и все переменилось? Прилетают ли эти пичуги и к другим, когда им плохо, приносят ли им благую весть, меняя им настроение, или только мне посчастливилось, а больше таких случаев не бывает? И хочется мне думать, что я не один такой прекрасный, что и на других есть свои синички.

Живу я спокойно, никто меня не трогает, никто не мешает. Если солнце светит мне редко, я не очень на это обижаюсь, спасибо и за то, что есть; если дождь льет не переставая и с потолка каплет на постель в середине ночи, и тут я невозмутим — покапает и перестанет.

Больше всего заботы меня досаждают. Протекает потолок, значит, обязательно крышу чини. Ищи дранку, кровельное железо, а то просто консервную банку расплющь и лезь на крышу, заделывай дыры. Если солнце светит редко, а заботишься, чтобы светило чаще, значит, думай об этом, а думать-то тебе и не хочется. Хорошо, если мирно думаешь, с теплотой в сердце, а чаще злоба в душе рождается, хула и брань. Заботы — это не по моей части. Я готов жить сто, двести, миллион лет, я согласен даже на бессмертие, если вдруг кому-то захочется этим меня наказать, но если впереди мне грядут какие-то заботы, я откажусь не только от бессмертия, но и от одного лишнего года. Хуже нет для меня забот! Мне кажется, они выдуманы для того, чтобы сокращать человеку жизнь, а в конце концов и прикончить его. Я не отказываюсь от работы, от участия и соучастия, я готов сострадать, действовать, суетиться, чинить крышу, пилить дрова, ухаживать за больным, растить леса и нянчить чужих детей, готов выполнять миллионы дел, больших и малых, только избавьте меня от забот. Сегодняшние они, завтрашние, послезавтрашние — они все вчерашние, они умерли раньше, чем родились. Почему я должен заботиться о том, чтобы не протекала крыша? Не хочу я об этом заботиться. Пусть течет не переставая, а заботиться я не хочу.

Прекрасно, скажут мне, примем твои вопли и стена-

ния к сведению, избавим тебя от забот, но как же ты будешь жить с худой крышей? На это я отвечу: не стоит сгущать краски. Во-первых, дождь не вечен, побрызгает и пройдет. А во-вторых, почему вы решили, что я буду мокнуть и не починю крышу? Я полезу и залатаю дыры, только от забот меня избавьте, пожалуйста. Я без забот хочу ее починить, а не с заботами. И так во всем я бы хотел жить без забот: сторожить лес, думать о судьбах человечества, стирать белье, пахать огород, страдать о неурожае...

Под дождем я забрался на чердак, а оттуда на крышу, я убрал старую сгнившую дранку и заделал дыры. Я все сделал основательно. Жить мне теперь в сухе. Я потратил на ремонт крыши день без забот, и теперь я в хорошем настроении. Когда одолевают меня заботы, у меня руки опускаются, ничего я делать не могу.

Ночь. Без четверти двенадцать. Лежу и жду полночь. А что ее, собственно, ждать? Или не придет она, или прибежит раньше времени? И раньше времени не придет, и не задержится ни на минуту, а явится ровно в срок. А впрочем, если и задержится, то мне какое дело до этого? Что я, ревнивый муж, что ли, спрашивать, где шлялась, и призывать к ответу? Где была, там уже нет. Или должница она мне какая, дал я ей в долг, обещала вернуть и не вернула? Так нет, кажется, ничего я ей не давал, а скорей она мне одалживала. Ладно, ждал бы чего путного: приезда товарища, смерти, случайного прохожего, те хоть не сразу, но явятся. Даже смерть придет, не задержится. А с какой стати ждать полночь? С той стати и ждать, что она уже идет. И до ее прихода осталось минут пятнадцать. Полежим, подождем, а придет — приласкаем, скажем несколько нежных слов. Или мы какие неумехи, чурбаны, грубая деревенщина, неспособная к ласке? Так расколемся, так голову задурим, закрутим, что как бы не забыла она о своих делах да не осталась бы у нас навсегда. Что-что, а голову задурить бедной девице мы умеем. На это нас хватит.

И вот я слышу стук в дверь, и ее легкие шаги, и такое же, как шаги, легкое дыхание. Я встречаю ее с улыбкой и говорю нежные слова, я говорю, говорю не переставая, журчу, как весенний ручей, я тороплюсь выгово-

рить то, что накопилось у меня за целый день молчания. Издали посмотреть на меня — я несносная болтушка. Она садится на кровать, я прижимаюсь к ней. Она гладит мои волосы, и я от большого волнения тут же засыпаю. Просыпаюсь я утром, на рассвете.

Я свою жизнь подчинил лесу и сразу успокоился. Я и раньше служил ему верой и правдой, с тех пор как появился на кордоне, как стал лесником, я отдал ему себя. А он меня не принимал. Это каждый дурак может сказать: буду служить лесу. А будет ли он служить? Служить будет, да будет ли? Тут одного желания мало, тут еще надо известный пуд соли съесть и еще кое-что сделать.

На вид все это вроде и не трудно, а на самом деле не легко. Иной жизнь в лесу проживет, а лес его не принимает. Он его и так, и эдак обхаживает, как любимую жену в невестах не обхаживал, а все без толку. Так и со мной было. Иду я по лесу, и люблю его вроде, и готов голову за него положить, а он кособочится, выталкивает меня, отпихивает. Не впрямую выталкивает и гонит, оставляет, держит, да каково тебе находиться в этом лесу, если ты чувствуешь и знаешь, что ты чужой, нелюбим.

Пострадал я, намучился, хлебнул горя немало, но верил, что полюбит меня лес, что смогу я ему подчиниться. Вера тут самое главное, без нее никак нельзя. А подчинившись, я любовь леса к себе почувствовал и успокоился, как бы второй раз себя нашел. А тогда что за жизнь была? Работаешь лесником; ноги бьешь по дорогам, а думаешь, лесником ли ты работаешь? И топор у тебя есть, и пила, и пожарная лопата, и кордон, где ты спишь, и ограда, покосившаяся от времени, и огород, есть у тебя лесные кварталы и всевозможные делянки, литера, куртины, речка, тропы, цветы, дороги, есть инструкции, как быть, не забыты даже браконьеры — все дала тебе судьба, ничем не обделила; и честь, и гордость, и достоинство, вроде бы и жить тебе и работать горя не зная, а посмотришь внимательно — нет у тебя ничего и сам ничего ты собой не представляешь. Напыжился, как индюк, а тля тлей.

Пока жив, какие-то старания зачтутся. Умер — и на-

век погребла тебя земля. С телом похоронила и душу, как бы желая навеки спрятать от людей свое неудачное творение.

Листья на деревьях падают незаметно. Еще вчера береза была в платье, а сегодня обнажена. Глядишь на нее, и трудно представить, какой она была вчера. Конечно, память удерживает образ — она была такой и такой, и память бы его удержала и расцветила яркими красками, сиди ты заточенный в темницу и вспоминай про лес. Но ты не сидишь в тюрьме, лес пред тобой, и голое дерево, что недавно было в листьях, пред тобой, и, видно, потому трудно его представить прежним. Остается одна надежда: чтобы увидеть его таким, каким оно было, нужно дождаться следующей осени. Но тогда захочется увидеть, каким оно было летом или зимой — зеленым или голым? А для этого придется ждать зимы, лета. Поистине жизнь человеческая бесконечна, ты бы и рад умереть, да как умрешь, если зеленое дерево не можешь себе представить.

Любой день хорош, даже такой дождливый, грязный, как этот. Не помню дня, который бы мне показался плохим. Был плох я, были плохи люди, но день, особенно в нашей северной полосе, разве когда он бывает плох? Пришел тихо, ушел тихо, нигде ничего не задел, не испортил, никому не нагрубил, вежливый, мягкий, обходительный. Бывают, конечно, и с ним нелады. Бывает, и он проснется задиристый, встанет не с той ноги или загуляет, запирует с утра, осердится на что-то и вконец озвереет. Но кто из нас составлен из одного добра? С кем худого не случалось? Лично я от подобных утверждений воздержусь. Всякий день мил, по душе, и осенью, и зимой. Один день я никак не могу принять, когда он как заезженная пластинка. Ты поставил ее, а она прокручивает одно и то же. Все вроде бы в этом дне на месте, все скроено по известному фасону и размеру, есть у него утро, есть вечер, сияет он и в звонкий полдень. И живет он вроде, а нет в нем жизни. Твердит он одно и то же. И жалко его до боли, и сердишься на него, и ничем не помочь. Такие дни приносят нам ложь, грязь, убийства,—и хочется бежать от них, да куда убежишь. И ругаешь их, и жалеешь, и чем больше руга-

ешь, тем больше жалеешь. Не знать бы о них ничего, прошли бы они стороной, умерли, да разве посмеет душа пожелать кому-то смерти? Не ты дал жизнь, не с тебя и спрос. Нет, о смерти не заикаешься, желаешь жизни, добра, да только неосуществимы твои пожелания. Заезженная пластинка твердит одно и то же. Себя винишь: отчего это? Кто виноват? Ты виноват.

Хорошо отдохнуть от ходьбы, от работы, забыть свои обязанности, отключиться от всяких мыслей, сидеть пустым, словно ты старое дерево и внутри у тебя дупло. С первого раза такая пустота пугает. Как так — пустота? Хорошо ли, мыслимое ли дело жить без чувств, без мыслей? Не рискованно ли? Не останешься ли беззащитным перед этим миром и не погибнешь ли? С первого раза многое тебя пугает, а особенно неизвестность. (Если ты пуст, ты слаб, а мир полон, силен.) Но едва ты согласился стать пустым, согласился принять пустоту, как к тебе пришли и мысли и чувства. Откуда они только взялись? Можно сказать, что они берутся из ничего, и я так и думал вначале, но потом понял: они, мысли и чувства, в тебе всегда есть, ты полон ими, как осенний дождь влагой, но иногда ты не видишь их и потому тебе кажется, что их нет. Умение их найти, а главное, вера, что они есть у тебя всегда, а еще главнее этого бодрость духа, терпение ждать, нежелание отчаиваться в трудные минуты — вот что хотелось бы знать и держать при себе постоянно, и тогда тебе не страшен никакой враг, но удержать его богатство невозможно. Сейчас ты его держишь в руках, а через час потерял. Как солнце ты каждый день встречаешь и теряешь, так и это теряешь и встречаешь, и ждешь такого момента, когда перестанешь терять и обретешь навсегда.

Представляю такую прекрасную картину. Вышло изза леса солнце, поднялось в зенит, остановилось. Начался день, и продолжается он без утра, без вечера, без ночи. Разве хотелось бы такого дня? Я говорю: хотелось! А между тем, как подумаю я о таком дне — и славен он, и прекрасен, и света в нем полно, и щебета птиц, и прочего, а пресноват. Уж если узнал я ночи и их нежную коварную темень, если грустил и хандрил вече-

рами и горланил от бодрости песни по утрам, то почему я должен от них отказываться? Я могу от них отказаться ради чего-то более высокого, но я их буду любить всегда, и никто не заставит меня выкинуть их из своего сердца. Но ради чего более высокого мне от них отказываться, разве есть что выше ночи, песен, любви?

Я приветствую любую красоту леса, ночь ли, день — они все мои, от них я отказаться не могу и не желаю отказываться, и тем не менее говорю: пусть день остановится, пусть будет день!

Пришел вечером домой, лег в постель, и пятки жжет. Я думаю: отчего бы это? Подошвы горят, как будто я по раскаленным углям плясал. Но по жарким углям я нигде не ходил, по лесу только шастал. Отчего же так горячо моим ногам? Может, бросило их в жар от стыда, оттого что пренебрег я своими обязанностями, поленился и слегка сократил свой привычный ежедневный путь? Но я его не сократил, прошел сколько нужно было, даже лишку прихватил. Это оттого пятки горят, что бежал я, торопился поскорей оглядеть свой обход и убедиться, что нет в нем порубок. И натрудил их. Но бегаю я столько и на такой скорости каждый день, а пяткам жарко только сегодня. Уж не заболел ли,— сам себя спрашиваю, но вроде бы недомоганий никаких не чувствую. Усталость есть, но она и должна быть после долгого пешего дня. Да и что это за болезнь, если температурят одни подошвы? Уж не убегал ли я от кого? Вроде ни от кого не убегал, сколько шел, все вперед стремился, как будто не убегал, а догонял кого. Шел, торопясь, по влажной траве, прыгал через лужи, зарывался ногами в опавшие листья. Вот отчего пяткам жарко! Я по опавшим листьям шел. За лето они вобрали в себя весь жар солнца и теперь хоть и пожелтели, хоть и опали, а жгут.

Я бы любил осень и принимал ее такой, какая она есть, и не расстраивался по поводу бесконечных дождей, желтых листьев, грядущих холодов и прочего, если бы не одно обстоятельство, если бы умирала не природа, не лес, а я. Трудно ходить по пустынным дорогам, видеть, как медленно увядает природа, как уходит она в небытие, а самому оставаться живым. Я понимаю, тут ничего

не поделать, природа, лес больше и сильнее нас, и не мне диктовать им условия, и если по каким-то внутренним своим побуждениям они решили быть так, а не эдак, значит, так тому и быть. Как ты ни горячись, а ход этой телеги не остановить.

Но есть же у человека честь, совесть, душа, не полный же и бесконечный он кретин, имеет он право на свой выбор, может ли сострадать и сокрушаться? Не знаю, как кто, но я, когда вижу чью-то смерть, всегда испытываю угрызения совести: почему он, а не я? Что же касается леса, то тут вообще жертва налицо — лес умирает, чтобы ты жил. И это переносить нестерпимо. Одно утешает — что мы рождены для мук и страданий, придет час, и, кто знает, может, и тебе улыбнется судьба. И я, научившись у осеннего леса, смогу пожертвовать собой ради чьей-то жизни, дела. Я думаю, лес именно это имеет в виду, когда преподносит нам осень. Не для красоты она приходит, не для восторженных слов и мрачных раздумий, она приходит для того, чтобы научить человека жертвовать собой. И если в нашей будничной жизни еще находятся такие смельчаки, которые бросаются в огонь и в воду и ценой собственной жизни идут на помощь погибающим, это происходит оттого, что на земле не умирает осень. Так пусть же она здравствует и живет!

Чем проще мысль, тем она гениальней. Потому, наверное, люди так мало дают гениальных мыслей, что они думают, что гениальная мысль бог знает как сложна. Вроде того, что правой рукой взять левое ухо. Не спорю, взять правой рукой левое ухо — это тоже нужно уметь. Но левой рукой взять левое ухо еще проще. Хотя и трудней. Когда есть на свете ты и есть у тебя лес, работа, что тебе еще надо? Мне не надо ничего. А надо ли что другим, не знаю. Конечно, мне нужны и небо, и море, и речка, и сосед за лесом, и сапоги для осени, и то, что называют мелочами жизни и без чего жить невозможно, и духовные горы, без которых человеку не обойтись. И я не отказываюсь от них, пусть они все идут, если они хотят меня видеть. Пусть и я к ним приду, чтобы они не считали, что я гордец и выскочка и пренебрегаю их существованием. Они есть, и спасибо миру, что они еще не умерли. Но если есть ты и есть

работа, все другое уже перестает существовать. Вот почему я пою лес, работу, потому что в мире есть только ты и лес, а остальное для тебя все то, что прилагается к ним: дом, печка, забор, корыто. Когда человек видит себя в паре, в сочетании с лесом (конечно, у каждого свой лес), тогда что еще может быть? А если что-то и есть, то оно не существует.

Я сейчас такой, я думаю так. Это помогает мне жить, не мешает мне жить, не терзает меня, не мучает, не разрывает на части. Тут есть я, тут есть и лес, тут есть все. А что еще нужно?

Надоело ходить в голый лес, видеть его. Устроился в избе на кордоне и сижу. И никаких угрызений совести не испытываю. Напротив, такое чувство, что, пойди я сейчас в лес, и что-то в мире плохое случится, а останься дома — и все будет хорошо. Ну, а разве я враг лесу? Поневоле, правда без особых усилий, удерживаю себя.

Я заметил: когда много ходишь по лесу, смотришь на него и днем и ночью и нет времени посмотреть на себя, ты как бы снашиваешься, стачиваешься, было тебя много, а ничего не осталось. Если продолжать действовать в том же духе, можно истончиться до того, что исчезнешь совсем. Глаз глядит на дерево и истончается. Мозги соображают о лесе и истончаются. Кожа ощущает лес, один только лес, и истончается. Побродишь в лесу с месяц, и ты был большой, в свой нормальный рост, а стал маленький. Глядишь на себя в зеркало или в лужу и не замечаешь: где голова, где ноги, где уши, нос, глаза? Не только ушей или носа не видишь, это еще полбеды, не только головы, рук, ног не замечаешь, это еще тоже куда ни шло, мало ли безголовых по свету болтается, и ничего, не считают себя сиротами, кем-то и в чем-то обделенными, напротив, радуются, полагая, что счастливы,— тут себя не различить. Глядишь на себя, а тебя нет, вместо тебя пустое место. Особых беспокойств, правда, это обстоятельство не вызывает. Нигде у тебя не колет, не болит, не сосет под ложечкой. И не гляди ты на себя в зеркало или в лужу, и тени тревоги бы не возникло. Ходишь ты как призрак, как дуновенье, и ладно. Главное, ходишь, живешь, ешь, пьешь, спишь, существуешь, а как, в каком виде, это неважно.

Но разве можно прожить день-два и не глянуть на

себя? День-два прожить можно, а больше нельзя. Лес хоть и не дворцовый зал, и не парикмахерская, набитая зеркалами, но луж по дорогам, особенно осенью, полно. Не захочешь, а глянешь в одну, в другую. Посмотришь, ладен ли ты, не мешковато ли сидит телогрейка, не взлохмачены волосы? Не на себя посмотришь, я не девица, чтобы таращиться на свое отражение, на лужу кинешь свой взгляд, а в луже увидишь себя. Ранним утром, отстоявшись за ночь, лужи лежат на дороге, словно в них не дождевая вода, а небесная влага. Пока люди, звери не потревожили их тишину своим присутствием, глядеться в них одно удовольствие. Они вроде и не искажают, не приукрашивают твоего образа, а в то же время ты в них другой, какой-то особенный, красивый. Глядеться-то вечером в лужу никогда не стану. Глянешь и увидишь себя стариком, а то и злодеем, если вообще себя увидишь. А утром ты чист, ты свеж, нет в тебе дурных качеств, ты любим и ты всех любишь. А что еще может быть прекрасней! Это когда ты себя видишь. А когда ты себя не видишь, да не день, не два? Будь моя воля, я бы вечность не глядел на свою физиономию, лицезреть ее мне особого удовольствия не доставляет, да почувствовать себя когда-то надо, что ты есть, здесь, тут, что жив, что не тень, не образ, не дуновение ты, а человек от плоти и костей, со своими, свойственными только тебе недостатками, замашками, привычками, смехом, ходьбой, разговором, ужимками, жестами. Когда я умру и не будет меня в этом мире, то и претензий у меня не будет. Кончился я, истончился, какой я есть? Да никакой. Но пока я живой, мне важно видеть свое лицо, пусть хоть оно и не поражает никого, мне хочется видеть себя таким, какой я есть, а не истончившимся до букашки, до тени или бог знает еще до чего.

Вот почему я сижу на кордоне, избегаю леса. Гляжу в себя, вглядываюсь, уменьшенный от беготни по лесным кварталам, наращиваю себя до своих нормальных размеров и, как дорасту, отправлюсь в лес.

Мне не за что обижаться на свою судьбу, счастливец я или несчастливец? Конечно, счастливец. Мне скажут, какой же ты счастливец, если все свои лучшие годы,

всю молодость провел в лесу? Что ты видел, что слышал, в каких заморских странах побывал? В заморских странах я, действительно, никаких не побывал, но кое-что и я видел и слышал. Дело ведь не в том, где видеть и слышать, а что. Я слышал, как шумят листья на ветру в осенний вечер и как стучит по крыше ночной дождь, слышал пение дроздов утром на заре и сочное кваканье лягушек на озере, я слышал стрекот кузнечиков в поле и скрип одинокой сосны, завывание метели и ропот речных струй. И видел я предостаточно и дней, и ночей, и зорь, и красот всевозможных. А что может быть прекрасней всего этого? Какие реки сравнятся с той рекой, что течет в лесу? Какие зяблики поют чище и слаще, чем мои зяблики, какие лягушки квакают громче, чем на озере? Где можно найти ту красоту, что повстречал я на своем кордоне, в какой Италии, Испании, Америке? Боюсь, что таких Америк не существует на свете.

Странное дело, мне все время казалось, что я сторожу лес, берегу его, забочусь о нем, делаю ему добро, а теперь кажется, что все это не так, я-то, конечно, что-то делаю лесу, но главное добро он принес мне, он меня охранял, заботился обо мне, оберегал мои кущи. Кто из нас за кем присматривал — я за ним или он за мной? Я думаю, он за мной. Я был и есть как беспомощное дитя, за которым присматривал лес, которое нянчил лес, кормил, учил, выводил в люди. Если у меня что-то и есть хорошего, если оно, конечно, есть, всем этим я обязан лесу. Всем дурным я обязан себе. Чем дальше идут мои годы, чем больше я живу на свете, тем горячей моя благодарность лесу, и если она будет так разрастаться, то я боюсь, как бы она не убила меня.

Все я тут видел, все слышал. И незачем мне ехать в заморские страны, праздно глазеть по сторонам на мертвые города и древние камни, их я лицезрел и в своем лесу предостаточно. Не было и нет ничего в мире, что бы я здесь не нашел. Зачем же мне ездить, перемещать свое бренное тело туда, где я уже побывал? Не лучше ли отправиться в свое, да новое? Если же и ехать туда, так для того, чтобы увидеть там своих дроздов, зябликов, пеночек, чтобы встретить свои сосны и ели, чтобы наслаждаться свежестью своего ветра, чтобы встретить там свой лес, который ты вырастил и сберег и который тебя вырастил и сберег.

Свиристели обсыпали голую рябину, встряхнутся и опять сидят под дождем. Я не поленился посчитать их и насчитал шестнадцать штук. Потом на сосне еще увидел парочку. Есть птицам было нечего, в этом году неурожай рябины, и я подумал: голодные или сытые они сидят? Если они голодные, то почему не ищут другой корм, а если сытые, то это несколько странно и не верится. Сейчас утро, а сытых свиристелей утром я никогда не встречал — вечно они заняты поиском еды. Но глянуть на них и можно прийти к противоположному выводу, что они сыты, внешний вид у птиц степенный, характер медлительный, сами они в перьях кажутся толстыми, даже жирными и оттого неповоротливыми: кинь в них камень — не пошевелятся.

Пролетела ворона и спугнула стаю. Вмиг они оставили рябину и пропали. Дерево встряхнуло облегченно ветками и замерло. И ничего уже нет и не будет на нем, кроме легких капель дождя и нелегкого снега до весны.

Не понимал, отчего осенью в лесу становится прозрачней и светлей, не замечал, не задумывался никогда, а тут глянул и понял: больше в лесу неба стало. Листья у деревьев облетели, зелени стало немного — трава да кусты ежевики,— а неба много. В иной роще глянешь наверх, а там одни голые ветки да небо. И оттого, что больше стало места в лесу для света, он, свет, тоже стал светлее, ослепительней. Глянешь на небо, а оно не голубое, как бывает в зимние дни, не белесое, подернутое дымкой, уставшее от летней жары, не темное и глубокое, как колодец, а полно света и ослепляет. Оно оттого полно света вверху, что и книзу его с избытком. Так и со мной бывает. Весел я, и, оттого что весел, мне еще веселей становится. И уж под конец так развеселюсь, что и до рыданий недалеко. Отчего разрыдался? Смешно сказать — от смеха. Грустно становится, печально, одиноко, и только по одной причине — что до этого слишком весело было.

Если я смеюсь немного, я не испытываю тревоги, а если смех меня разбирает бойчей, тут вместе со смехом боль проникает в мою душу, и, чем сильнее смех, тем мучительнее боль, тем страшнее думается: что-то будет? Остановить бы себя, не смеяться, да кто добровольно согласен отказаться от такого лакомства? Плакал бы от

горя, от обиды, оскорбленный, униженный, в нищете, никем не понимаемый. Так этого нет. Кто меня унизил, кто оскорбил, кто не понимает? Все понимают. Кто клянет? И этих не видно.

Синицы голодные, а может быть, избалованные мной, с утра снуют и заглядывают в окно избы. Удивлены, расстроены, рассержены, недовольны, что не несу им корм. Чуть я встал, чуть со лба волосы убрал, они тут как тут, чуть рукой взмахну или лицо к стеклу приближу, они выныривают из леса, как я из комнатной темноты, и, наклонив голову и повернувшись туда-сюда, влево-вправо, разглядывают меня. Недоумевают, что не кормлю их, но птичье терпенье невелико, поглядели, попрыгали, постреляли глазами в темное окно, ничего не настреляли и улетели, и опять где-то пропадают, а где, бог весть.

Я считаю, что я их кормлю и делаю для них благо, а они считают, что делают для меня благо, принимая мои подношения. Кто из нас прав, я доискиваться не буду. Даже если одна синица пискнет, что осчастливила меня тем, что взяла корм из моих рук, я соглашусь с ней. А вдруг они действительно осчастливливают меня своим присутствием, а я только по глупости упрямо твержу, что благодетель их — я? Конечно, здравый смысл говорит в мою пользу,— какие они благодетели, если я их кормлю и одариваю сполна. Глядишь, с годами бог надоумит меня, наградит мудростью, и я вдруг пойму, что был не прав и благодетели были они, а не я. И тогда, не удивляясь и не считая себя пораженным в споре, я скажу: видите, я был прав.

Осень есть осень, но время идет, осень проходит, и где-то впереди маячит зима. Какой-то она будет? Сейчас я бодр, весел, трудностей для меня нет, море мне по колено. Не скрутит ли она меня своими холодами, не заметет мою избу снегом? Не ждут ли меня лютые морозы и метель? Может, и ждут. Но о них я не думаю, не думал. Стоит в лесу царственная осень, и я живу ею. Мне даже кажется, что осень так и будет продолжаться вечно. Но, к счастью или к несчастью, ничто не стоит на месте, кончится осень, придет срок зиме. И если я заго-

ворил о зиме, то, видно, долго ее ждать не придется. Еще не замерзла земля, еще днем оттаивают лужи на дорогах, еще висят на деревьях одинокие листья, еще зелены ольха и кусты ежевики, и табуны перелетных птиц мечутся из одного конца поля в другой, сегодня ты их видишь, а завтра они улетели. Еще по ночам и утрам сеет дождь, а в полдень его разгоняет солнце, и становится тепло, так тепло, что можно выйти на крыльцо в куртке, без шапки, а в особенно жаркий миг оживают за окнами мухи и сонно жужжат. Еще солнце, укорачивая свой бег, не настолько его укоротило, чтобы нам хотелось его удлинить, и мы со спокойной душой принимаем и позднюю утреннюю зарю, и долгую темную ночь, и ранний вечер. Еще земля, насладившись летом и теплом, никак не может остыть, но она уже остывает, медленно и верно, и все в природе идет к зиме.

Пока еще ничего от зимы нет, ее не видно, нет снега, нет холодов, нет морозов, но зима начинается. Она начинается невидимо, незримо, и в первую очередь она начинается с твоего сердца. Если бы меня спросили: откуда начинается зима? Я бы ответил: она начинается с сердца человека. Не жди человек в себе зимы, не готовься к ней, не говори, не думай о зимней вьюге, может, природа и сжалилась бы над человеком и не наслала зимы. Но суетный человек без мыслей о зиме жить не может. Ему мало лета, мало тепла, счастья. Он еще и несчастье испытать хочет. И зарождается в его горячем сердце холод, и распространяется он потом вширь, и дает толчок вселенскому холоду.

Мне скажут, есть смена времен года, их очередность, и никуда от этого не деться. Конечно, есть времена года, и смешно думать, что от холода в человеческом сердце рождается в природе зима. Разве человек ответствен за то, что творится в природе? Он не царь и уж, во всяком случае, не бог, чтобы взвалить на себя ответственность за все неустройства и несовершенства. Но почему тогда его ругают за то, что он там кого-то убил, что-то отравил, уничтожил, сжег, погубил, вырубил? Тогда и здесь его не будем ругать. А скажем: миленький, губи еще больше. К счастью, мы этого не говорим и, надеюсь, не скажем. А вот сказать, что от холода в сердце человеческом рождается зима — это сказать боимся. Как будто обвинят нас за это в ребячестве.

Пусть обвиняют, только пусть сердце свое берегут и вытравляют из него холод, не давая тому возможности обжиться.

Я согласен провести один опыт в доказательство своей правоты. Если люди хотят, чтобы не было зимы, пусть они будут все горячи сердцами, пусть у всех людей, какие живут на земле, в этот момент горячо бьется сердце. И если случится так, если не останется на земле ни одного человека с холодным сердцем, я убежден, будет вечное лето.

Любил осень и любовался ее красотой, а теперь красоты не вижу и засомневался в своей любви. Это у меня от переизбытка чувств и восторженности. Говорил: красавица осень, умница осень, высказывал тысячи ласковых слов, как змей извивался в любовных объяснениях: миленькая, хорошенькая, золотая, осень-лапушка, зайка. А сейчас хочется сказать: осень-дура, гадина и дрянь и еще что-нибудь покрепче, и какую брань ни скажешь, все будет мало. Замечаешь, что красота ее — это обман, улещенье, что зла она и бесплодна, нет в ней ни нежности, ни тепла — одно волчье молчанье. Зачем же тогда ее хвалил, зачем в любви рассыпался? По глупости, наивности, по простоте своей душевной, а может, из страха: мол, похвалю, и она лучшей стороной ко мне обернется. Не обернулась. И все-таки, думаю сейчас, не в ней дело, а во мне. Но почему во мне? Или я судья всевышний, хочу — казню, хочу — милую? Не слишком ли много на себя беру? Может, не только во мне, может, и в ней есть какое-то зло, а я, как попугай, твержу: нет его? Не могу согласиться, поверить не могу, что у осени есть зло. Что у меня есть зло, могу поверить, а у мира, у осени — не могу. Прав ли я? Если у меня есть, то и у них есть. Есть в мире что-то прекрасное, есть оно и во мне, есть во мне злое, есть оно и в мире.

Выходит, зла в этой осени нет, и если ты ругаешь ее гадиной, дурой и называешь бесплодной, то ты таким образом не о ней говоришь, а о себе — ты гадина, ты дурак, ты и бесплоден. С этим я могу согласиться почему-то легко, я на себя еще больше могу собак навешать, а ее не могу представить гадиной. Но почему же не

могу, если ругаю? Сам я дурак, простофиля, осел, чурбан — себя и ругаю. Но себя ругать не хочется, вот и ругаешь кого-то другого.

Ворона прилетела, села на сук сосны на виду у меня и принялась с ожесточением чистить свой клюв. Раз чиркнула по шершавому стволу, как саблей по точильному камню, два. Мне показалось, аж искры посыпались вниз — так она старалась. Посмотрела на меня и опять чирк, чирк! С чего бы такое рвение? Я ее вроде не просил, не заставлял, да и сук сосны не точильный камень. Как бы не воспламенилась от такого усердия! А все от вздорного своего характера. Паслась где-то в лесу, а ко мне прилетела показать, что сыта. А зачем мне об этом знать? Сыта ты или голодна, мне-то какое дело. Кормить я тебя, если ты голодна, все равно не буду. Да и нет у меня ничего. Разве что клок мяса из бедра вырвать. И вырвал бы. Тут каркнула ворона, взмахнула крыльями и улетела.

Кажется, осень уже надоела, скорей бы зима, говоришь, но в том-то и прелесть, что ты хочешь зиму и осень тебе обрыдла, а ей до тебя нет дела. Она стоит, не пошевельнется и будет стоять столько, сколько захочет. Ты хоть умоляй ее, хоть с кулаками бросайся — она неумолима, неуязвима, непреклонна. А будь она посговорчивей, что бы произошло? Любой бы нетерпеливец, вроде меня, сказал бы — уходи, и она бы ушла. А другому не понравилось бы это и он возразил — приходи. И она бы пришла? Кого бы она послушалась? И, вообще, нужно ли ей кого-нибудь слушаться? Или она не сама себе хозяйка? Или дитя неразумное и не отвечает за себя? И хозяйка, и сама за себя отвечает, почему же она должна слушаться каких-то выскочек, вобравших себе в голову бог весть что? Ясное дело, не должна. И она не делает этого. Так зачем же мы тогда сыр-бор заводим? А затем, что хоть она и не делает этого, и стоит на своем, вдруг, в один какой-то момент, особенно чувствительный или еще какой, ослабнет в ней воля, сжалится она над просителем и сделает то, что он хочет. Сердце у нее женское, мягкое, жалостливое.

Если добрый человек скажет и не для зла, пусть и уходит осень, немного мы потеряем, время свое она

взяла, и недолго ей быть осталось, а если злой человек потребует к ответу, да для худого дела? Тут уж никак нельзя ему уступить. Тут, хоть и срок ей подошел, и пора зиме наступать, пусть она повременит, задержится на день, на час, на одно мгновение. Нельзя допускать, чтобы в мире из-за злых людей творилось зло. Я думаю, это она и делает. И если зло случается на земле, не оттого оно происходит, что осень приходит не вовремя — она свой срок хорошо знает и держится ровно столько, сколько необходимо,— а по иным причинам. Некоторые, я знаю, ее винят, говорят: не будь осени, приди она раньше... Будто не будь ее, приди она раньше, и все изменилось бы к лучшему. А по мне, не она в бедах виновата. Она честно, по-рыцарски тянет свой крест, но ей одной не вытянуть, должны и люди стараться.

Ночи облачные, звезд не видно, а когда звезд не видно, кажется тебе, будто ты в коробке, в банке какой находишься под крышкой. Как простор ни велик, а ощущение, что ты в банке, не проходит. Банка есть банка, хоть она огромных размеров. Появись на небе одна тусклая звездочка, и ощущение меняется — ты на свободе.

Кто-то точно заметил, что синицы щекастые. По-моему, они от жадности за щеки еду набивают, хотя и кажется, что к еде это не имеет никакого отношения, а щекасты они оттого, что перышки у них на щеках особенно пушисты. Но почему перышки у них пушисты только на щеках, а не на брюшке, не на спине, не на затылке наконец, как, например, у свиристелей,— торчит на затылке хохолок, а щеки вполне нормальны, и никому в голову не придет называть свиристелей щекастыми? Или у сорок. Я уж не говорю о воронах. У тех вообще щек не видно. Впали, бедные, как у дистрофиков. А еще говорят, что вороны прожорливы, ненасытны, что хватают на помойках всякую всячину и набивают ею брюхо. Как же набивают они всякой всячиной брюхо, если щеки у них худые, провалились? Да ничего они не едят, сидят на голодном пайке, бедняжки. От черной зависти, от недоразумения их обжорами назвали да еще вдобавок воровками нарекли. Где тут справедли-

вость? Синицы — вот кто обжоры, вот воровки. Целый день выковыривают из моих окон замазку, еще несколько дней такой бурной деятельности, глядишь, выдолбят они вместе с замазкой все стекла и сидеть мне зимой в холодной избе. Пока не поздно, взять бы дрын да дрыном их за такое безобразие. И что, не хватал я дрын, не гонялся с дрыном за синицами? И хватал, и гонялся, только успеха не имел никакого. Кто знает, как с ними воевать, пусть поделится опытом, я против них беспомощен, зол и раздражителен уже не в меру.

Встретил белку, а она к зиме приготовилась, шкурку свою поменяла, вместо рыжей стала серая, дымчатая. А я как был одет в летнее, так и сейчас хожу. Почему такая несправедливость? Почему у белки одежда к зиме меняется, а у меня нет? Возьму рассержусь да и буду ходить в летней одежде всю зиму до тех пор, пока она из летней не переменится в зимнюю. Или я не имею права в морозные дни быть в тепле? Что же теперь, стучать мне от холода зубами, околевать на морозе, как паршивой собаке? И я бы околел и замерз, чтобы доказать, что каждая былинка имеет право на участие и тепло, да боюсь лес оставить сиротой. Кто его без меня охранять будет? Белки? У них своих забот хватает.

Не сидеть, не созерцать тебе, дружок, надо, а двигаться. Насиделись и насозерцались мы предостаточно. Иной раз столько сидел, что корнями прирастал к земле, к табуретке. Случалось и так, что люди, проходя мимо, не замечали меня, думая, что перед ними дерево или куст,— так сидел я неподвижно и тихо. И могу с полной уверенностью сказать, что в таком сидении есть своя привлекательность (мне сейчас она не нужна). Когда ты сидишь в подобном бездействии, весь мир вокруг тебя, как бы ни был он тоже бездвижен, движется, ты своим бездействием заставляешь его двигаться. А что может быть интереснее, чем увидеть, как движется неподвижный мир? Для всех дерево стоит на месте, а для тебя совершает кругосветное путешествие, и до конца ему осталось пройти совсем немного. Те же предметы и существа, которые движутся, тут становятся, наоборот, недвижимы. Летит ворона. Но летит она для

других, для тебя она стоит, парит на месте. Разглядывай ее как хочешь, созерцай, трогай пальцем, считай перья на хвосте, она никуда не улетит, никуда не денется, пока ты этого сам не пожелаешь. Кому интересен лес и кто хочет познать его жизнь, тот должен научиться сидеть сиднем. Только тогда можно увидеть, как летит неподвижный камень, что валяется на дороге, и разглядеть во всех деталях вечно убегающего дергача. Тогда можно разъять на составные части дождевую каплю, повисшую на кончике твоего носа, вдохнуть жизнь в тело убитого крота.

Но, насидевшись вдоволь, не сидеть же весь век, пора и двигаться! И вот ты начинаешь двигаться с такой скоростью, что мир, движимый ранее, останавливается перед тобой и замирает.

Сегодня бежал по лесу, торопился в двенадцатый квартал посмотреть, все ли там в порядке.. И все замерло. И солнце, и звезды умерили свой бег, даже время остановилось. Понятно, что стояли и браконьеры; когда я подбежал к ним, они стояли не шелохнувшись, не могли убежать, не успели дерева срубить, и только когда я остановился, дали деру. Я их не догонял.

Если кто, грешным делом, и подумает, что я хочу прославить себя, он глубоко ошибается. Слов нет, хвалю я себя достаточно, и больше, чем ругаю, но разве я хвалю себя и хвалю для того, чтобы хвалить? Никогда я себя не имел в виду, и себя мне хвалить совестно. Кто я такой, чтобы хвастать своими добродетелями, да и есть ли они у меня? Если я себя где и похвалил, и покрасовался чуток — с кем этого не бывает,— то хвалил я, выпячивая не себя, а лес. Только ему одному мои заботы и мои признания. И в этом смысле можно смело сказать, что меня нет. Есть только лес, а я и существую, и как бы не существую. Существую я постольку, поскольку существует лес, а не существую, поскольку его нет. Вот тут и выясняй, существую я или не существую? По правде сказать, личность моя так мала, а притязания настолько мизерны, что, не боясь себя унизить и оскорбить, могу сказать, что я не существую, а существует только лес. Но тайна, весь секрет заключается в том, что, раз лес существует, значит, и я существую. Так он сам хочет, так сам велит, а коль он велит, грех

ослушаться. Не знаю, может, я не прав, может, во мне говорит гордыня, но твердо я верю, что есть я и есть лес, и даже больше того — что есть только я, а леса никакого нет.

Лес, лес! Безбрежен ты в своих границах, невыразим, необъясним! Могу ли я своим скудным умом и малыми способностями сказать о тебе что путное, не оскорблю ли, не унижу? Что я и что ты, вечный, сияющий, дивный, царственный лес? Склоняюсь перед тобой в любви и робости, гляжу на тебя, живу тобой, и ничего мне больше не надо.

Вот мелкий дождь сочится и ложится на землю, хвоя у сосны напиталась влагой, с желтых листьев берез стекают капли, мокрая трава стелется под ногами, мокрые ветки холодят лицо и руки. Дождь знобит, скорей бы дом, чай, печка, посидеть, обсохнуть у окна. Я тебя принимаю любым, и в дождь, и в холод. Не принимал раньше, не знал, отворачивался, проклинал, бесился от злобы, от одиночества. А кого ругал? Себя. Кого не принимал? Себя. От кого отворачивался? От самого себя. Расти ты и цвети, мой господин, а тебе буду служить неустанно. В этом я вижу свой долг на земле.

Между мной и низким осенним солнцем стоит голое дерево, и капли висят на его ветвях, и серебрятся, искрятся, и кажутся капли ягодами. Но, конечно, это не ягоды. Ночью был дождь, облил, обмыл дерево, упал на землю, остатки оставил на дереве, пока они не испарятся, не упадут или не улетят. Воду земля впитала, и если бы не капли на дереве, то о прошедшем дожде никто бы ничего не знал. Знала бы ворона, которую ночью слегка подмочил дождь, знала бы сорока, но какие они знатоки? Спали крепко и ночного дождя не слышали, а проснулись утром. Правда, глаза у них есть и, проснувшись, могли бы поглядеть вокруг и увидеть дерево и капли на нем и сообразить, что был ночной дождь. И что дождь специально оставил капли на ветках, чтобы все знали, что ночью был дождь, тоже могли сообразить, я-то догадался! Да где им! На то они сороки и вороны, чтобы не догадаться. Трещат и каркают без передышки — мол, все знаем, а что они знают, если не знают, что ночью был дождь?

Впрочем, говорю я опрометчиво, с некоторой долей предположения. Точно ручаться за то, что вороны и сороки не знают, что был ночью дождь, я не буду. Может, и знают. И почему бы им, собственно, не знать! Или они дуры набитые, или меньше тебя встречались с дождем, что он для них редкое чудо? Много на себя берешь, приятель, отдай кое-что и другим. Нате, берите этот дождь, вороны и сороки, мне хоть и жалко с ним расставаться, а все равно берите.

Дни короче, солнце с каждым днем ниже и ниже, и, кажется, скоро оно совсем ляжет на землю, на траву и будет не по небу катиться, а по траве, по земле, как жеребенок, как озорной мальчишка, и так, катясь, греть и светить. Заметил, что жду одного мига, когда оно будет глядеть на меня не сверху, а заглядывать в мои глаза снизу, как будто оно что-то там высмотрит. Солнце вверху — дело понятное, солнце внизу — необычно, вот и приходят в голову такие мысли, и думается: хорошо бы было, если бы это случилось? Но, понятно, ничего такого сверхинтересного и сверххорошего в этом нет. Светило бы снизу? А зачем ему светить снизу? Или так удобней ему будет? Или тепла даст больше, или сумеет заглянуть к тебе в душу и высветит все ее мрачные и темные уголки? Не слишком ли много ты требуешь от солнца и ничего от себя? Если жаждешь высветить свои темные углы, не на солнце уповай, оно-то высветит, если ему будет надо, а на себя.

И тем не менее оно бежит по небу ниже и ниже, кажется, вот-вот и ты достанешь рукой его. Все лето оно было так далеко от тебя, висело в недоступной вышине так высоко, что ты его временами не видел, а нынче встречаешь чаще и чаще, как соринка оно попадает тебе в глаз. И ты привыкнешь к нему. Летом оно слепило, теперь ты почти спокойно смотришь на него, оглядываешь, и оно в своем беге становится таким же доступным, как ворона в полете или заяц в прыжке. Обнять бы его, прижаться головой, да как это сделать?

Иду и думаю: одно дело — лето, другое — осень. Летом я вставал рано, в пять утра, и казалось, поздно. Ты

встал, глаза продираешь, а птицы давно свои горла прочистили, пропели песни, поели, солнце поднялось, ветерок по лесу побегал, цветы распустились, везде и во всем они были первые; ты, что ни сделаешь, будешь вторым. Сейчас, осенью, встаю в семь, и поздно, а все рано. И солнце после тебя встает, и ветер запоздает, а птицы еще досматривают предпоследние сны. Летом день долгий, никак его не одолеть. К вечеру, как высокая трава, к земле клонишься, скорей бы в постель, так ноги в ходьбе наломаешь, так глаза наглядятся на свет божий, ничего не хотят видеть, и только сердце одно не настучится. Днем просыпаешься, днем засыпаешь, ночи как будто в природе нет, а есть одно только в тебе дневное бодрствование.

Если так все плохо, почему ты рад? Плакать бы тебе, рыдать безутешно по умершему лету. По-моему, все слезы небом выплаканы, даже у меня взаймы взяты.

Идешь ночью по осенней дороге, темень кругом, и такое настроение, будто ты жизнь окончил и к последнему своему порогу приближаешься. Деревья по бокам, едва угадываемые в темноте, как узкий коридор, еще пройти немного — и все, конец, прощайся со своей жизнью. И неважно, сто лет ты на этом свете прожил или двадцать и сколько тебе еще жить осталось, сколько ни осталось, ничего не осталось, осталось пройти вот этот участок дороги — может, сто метров, может, пятьдесят, а может, ступить последний шаг и умереть. И ты идешь и готовишься к смерти. Как готовишься? Конечно, не так, как люди, которые поистине приближаются к своему порогу. Тем страшно, не знают они, куда идут и что там будет, хотят они покаяться, снять с себя вину и других простить и уйти из этого мира чистыми. Тебе же не страшно, и каяться ты не собираешься, и врагам своим обид не прощаешь. Ты принимаешь смерть, как будто ты не умер, а остаешься жить, но принимаешь ее с той серьезностью, как будто ты ее по-настоящему принимаешь. Потом можно, конечно, увидев себя живым, удивиться, что не умер; увидев те же травы, деревья, избу, услышав карканье ворон и стрекотанье соек, обрадоваться, что ты остался жив. Но это не главное. Главное, ты пережил смерть, ты понял, что она есть, ты

принял ее и узнал, что она такое, и она тебе уже не страшна. Страшна-то она остается, да не так страшна, как была, видишь в ней не только смерть, но и жизнь.

Встретил старика в самой глуши леса у развилки дороги. Он меня спрашивает: «Как лучше домой пройти, этой дорогой или этой?» Я ему: «А где твой дом?» — «На улице Мира». — «А где улица Мира? — «У площади». — «А где площадь?» — «Возле памятника». — «А где памятник, в каком городе?» — «На улице Мира», и так далее. По всему видно, что старик забыл, где его дом. Я ему объясняю, что не дело ему шататься в лесу, что к шоссе выбираться надо, там люди, машины, там он скорей домой доберется. А он свое твердит: «Я знаю, куда мне идти», — и в лес прется. Вечером в темноте возвращаюсь обратно, вижу, шевелится что-то под елкой. Я подошел ближе, а это лежит человек. «Ты, дед?» — «Я». — «Что же ты лежишь?» — «Устал я, нет сил идти, спина болит, ноги». Потащил я его к шоссе. А он совсем скис, трясет его от холода, и идти совсем не может. Тянет его к земле. «Лягу я, отдохну». Я его ругаю, говорю: «Ты чего, старый черт, в лес забрался, жить тебе надоело? Взялся ты на мою погибель». Полдороги дотащил, а дальше тащить не могу — устал, и он ног не волочит. Да и куда его тащить? Своего дома он не знает, а ко мне на кордон далеко. Спрашиваю его опять: «Где твой дом?» — «На улице Мира». — «А улица Мира где?» — «У памятника». — «А памятник где?» — «На улице Мира». И так мне отвечает, словно за дурака меня считает — мол, все люди эту улицу знают, один ты не знаешь. А я озверел: «В каком городе, — ору, — в Москве, в Ленинграде, в Париже?» — «На улице Мира», — отвечает. Задумался я: где эта улица Мира, где старик живет? А делать с ним что-то надо, не бросать же в лесу. Дотащил старика до шоссе, остановил машину. «Подвези старика», — говорю шоферу. «Куда?» — «На улицу Мира», — говорю, а сам жду, что он скажет. «Садитесь», — говорит тот старику. Посадил он старика, и они поехали.

С утра сеет мелкий дождь, и деревья в мелких каплях, и от капель свет в лесу особенный, влажный какой-то, мокрый. Подойдешь близко к березе, заденешь ее,

осыпят тебя капли — холодный душ, неприятно, а со стороны смотреть: приятно и весело. Потому что редкая это картина, чтобы на каждом дереве, на каждой ветке, на каждом сучке висели капли и светились. Нет в лесу такого места, где бы не было их. Когда еще таким бывает лес? Никогда. Или крайне редко. Случается, в дождь застрянут капли в еловой, в сосновой хвое, бывает, висят на ветках, гнутся к земле, бывает, облепят сук, как мухи, и усыхают медленно на ветру и солнце, так и не упав, не добравшись до земли, растворятся в воздухе, и образ мира, леса, отраженный в них, разнесут по всем частям света, все бывает. Но так, чтобы весь лес был в каплях, такое случается редко. Столько капель в лесу, что и сам я чувствую себя каплей. Куда улетишь? Куда упадешь? Где затеряешь свой след? Какой мир отразишь? На каком сучке висишь? Какое солнце и ветер развеют?

Когда придет мой час смерти, и я неожиданно для всех пропаду бесследно, и скажут: только был тут, а нет его,— пусть добрые люди, мои немногочисленные друзья, сотоварищи и подруги, не слишком удивятся моему исчезновению и не подумают, что я от них убежал или что меня утащили какие-нибудь мои страстные ревнители браконьеры, дабы схоронить в тайном месте, удобном для почитания. Пусть не вызывают они милицию и не бродят по округе, расспрашивая людей, не видели ли те трупа имярек. Сколько бы они ни ходили, они ничего не найдут. Но куда же в таком случае я денусь? Уж не вознесусь ли я невидимым образом на небо за свои добрые дела? Если бы я за весь свой короткий век совершил хоть одно маленькое доброе дельце, я бы мог еще надеяться на то, что могу вознестись, хотя, по правде сказать, я в это не верю. Но с моим запасом деяний трудно рассчитывать не только на божескую милость, но и на более скромную и земную — человеческую.

И тем не менее, если подобное произойдет, а оно вполне может произойти, я советовал бы тем, кто особенно бы хотел меня найти, искать не мои останки, череп, кости и прочий иной прах, а маленькую сосенку в лесу, через год, два, а то и три после моего исчезновения. Через год эту сосенку вряд ли найти, через два

тоже она еще мала и не слишком видна в траве, а через три она уже хороша для глаза. Этой сосенкой, которая появится в лесу после моей смерти, и буду я, пропавший. Скажу просто: после смерти я, человек, превращусь в сосну.

Предвижу хулу многих недовольных — как же так, скажут они, человек превращается в сосну, не есть ли это гибельная ошибка и умаление человеческой сущности, почему он не рвется ввысь, не дерзает, почему после смерти не хочет превратиться во что-то, что выше его, пройти, например, новую жизнь не в качестве простого лесника, а в качестве героя, мудреца, учителя, ученого, почему предпочитает такой низкий удел? Не стыд ли, не позор такое унижение? И стыд, и позор. И я бы без раздумий заклеймил бы всякого, кто осмелился бы, вместо того чтобы двигаться вперед, повернуть назад и идти не к большому, а к малому. Но в том, что я превращусь в сосну, не моя воля и вина. Я бы с бóльшим желанием после смерти стал героем, мудрецом, поэтом, я не мыслю, чтó может быть на свете выше этого. И я превращусь в сосну не от своей строптивости, не оттого, что хочу иметь малое вместо большого, прибиться к тихой гавани, а, смешно сказать, оттого, что слишком любил лес. Что слишком, то всегда плохо. Хорошо то, что в меру. Я слишком любил лес, я отдавал ему сил и любви больше, чем это нужно было, в ущерб любви к другому, к людям, например, и он меня за это, уверен, накажет именно таким образом.

Потому, когда не найдете меня однажды и исчезну я бесследно, не ищите меня, не ройте земли, не прощупывайте болото, не ныряйте в реки и озера, чтобы отыскать мой труп,— там меня не найдете, а ищите в лесу маленькую сосну. Это и буду я.

Часто слышал, но до конца никогда не понимал, что такое победить себя. Казалось мне это громким словом, и представлялась победа чаще всего в плане спортивном. Бежит человек, ему трудно, он хочет остановиться, лечь на зеленую траву отдохнуть, но пересиливает себя и тем самым побеждает. Спортсмену победить себя просто: беги, и весь сказ. А как победить себя, например, леснику, нужно ли ему побеждать себя, и возможно ли это? Больше бегать по лесу? Но если б в одних ногах

прятался смысл лесного дела, то лесной охране целесообразней было держать скороходов. Но если дело не в ногах, то в чем? В любви к лесу. Но как победить себя в любви — вот вопрос, над которым с полной безнадежностью могут биться все мудрецы мира и, думается мне, вряд ли решат эту задачу. Победить себя в любви, что это значит? Что ты любил, а больше не хочешь любить, от любви отказываешься? Но это кощунство. Ты устал любить, а продолжаешь любить? Но лес любить не труд, а отдых, и устают от любви к лесу одни невежды. Ты любишь лес, хочешь любить его еще сильней? Но разве может быть любовь больше или меньше? Любовь может быть только одна — большая, громадная, даже если она маленькая.

Ночь стоит прекрасная, темная, сырая. На дорогах вода и лед. Листья валяются на желтом снегу. Воздух ночи волнующ. Почему? Никогда не волновал меня воздух дня так, как волновал воздух ночи. Пусть был он острей, душистей, пусть будил самые нежные струны, пусть был и остается самым волнующим и прекрасным — все равно воздух ночи прекрасней воздуха дня в тысячу раз. Мне иногда кажется, что это происходит от темноты, тьмы ночи. Что особый запах ночи придает темнота. Но разве может темнота приносить особый запах ночи? Разве темнота осязаема? Я и сам думаю, что нет, но выходит, что осязаема, раз так слышна. Не темнота ночи меня волнует — запах ночной темноты. Я мог выйти на крыльцо или к сараю, к поленнице дров, на мгновение вдохнуть этот воздух, и голова у меня закружится. Приду в избу и ночь переживаю, радуюсь ей, сочувствую, в ночь сам превращаюсь, пока не устаю от превращения и не отхожу ко сну.

Глава третья

Зима задерживается. Теплые ветры вторглись с Балтики и шумят над лесом. Уже ноябрь, уже пора пасть на землю первому снегу, и растаять, и снова пасть, лужам покрыться толстым льдом, а иным и вовсе промерзнуть до дна, пора первому санному пути и первой легкой метели, первому морозному

утру, замерзшей земле, трубному дыму, рвущемуся вверх к небу, веселому потрескиванию еловых дров,— пора, пора зиме, мы готовились и заждались ее. А вместо зимы тянется длинная темная осень. Деревья облетели, и желтизны на них уже нет, бросаются в глаза с непривычки одни черные голые стволы и ветви, которые видел все лето в зелени. И голые черные ветви, и темные облака вверху, и черная, раскисшая от дождей земля, когда, куда ни глянь — вверх, вниз, в стороны,— все черно,— придают лесу и осени черный, пасмурный вид.

Осень отпраздновала свое великолепие и ушла на юг, ее нет, и тянется за ней тень воспоминаний. Что же, не нравится мне эта пора и я сетую на нее, браню и призываю зиму скорей появиться? Ничуть. Я и пальцем не пошевельну, чтобы способствовать ее приближению. Кому как, а мне нравится и такой лес, и я нахожу в своем сердце для него любовь и ласку. Нет, кажется, ничего в лесу, что бы я не принял. И эту черную осень я принимаю. Я люблю ее, и я даже говорю ей: задержись. Говорю тайком, чтобы никто не слышал. Почему же я таюсь, или мне стыдно, что я ее люблю? По правде сказать, стыдно. Я знаю, такую осень любить нельзя, такую осень никто не любит, что в ней толку: раскисшая грязь, жухлая трава, желтые палые листья,— тут нет ни жизни, ни смерти, какое-то забытье, затишье перед бурей, какая-то дурная семибоярщина — ни блеска ручьев, ни пения птиц, одно унылое карканье вороны да стрекотание сороки. Кому это может понравиться, принести радость и утешение? И все равно, раз она есть, я удерживаю ее. Странное я заметил в себе чувство: все, что ни есть в мире, что движется, имеет время, начало и, естественно, конец, все я удерживаю. Было лето — я удерживал лето, есть осень — удерживаю осень, и надоела она вроде, а я уцепился и держу, каждый день держу, каждый час, каждую минуту. Катится по небу солнце, мне жалко, что быстр его путь. Пролетит ветер, я хочу его удержать. Льется дождь, и он мне не в горе. Я бы и поторопил их, да куда им торопиться, не хуже меня они знают свой срок, и мое торопление ничего не изменит. Оно, конечно, изменит, и солнце подвинет, и ветер подтолкнет, но подвинет ли, но подтолкнет ли?

Если что меня и заставляет жить в этом мире, и поднимает с утра с постели, так это не мысль о куске хлеба, не то, как бы мне купить новые сапоги, зимнюю шапку, и, тем более, не честолюбивые устремления к славе, успеху,— мне кажется, все это не является для меня стимулом к жизни, я давно понял их истинную суть, и, когда я думаю о своей жизни как о пути к славе, мне становится скучно. Мне кажется, мною движет совершенно противоположное чувство, в нем я не смею себе признаться и едва о нем догадываюсь: ничего не иметь — ни славы, ни успеха, быть бедным, терпеть нужду и голод. Я хотел написать, что жизненным стимулом моим является любовь, что красота цветка мне дороже всяких сундуков с золотом,— это все хорошо, благородно, но не решает основного вопроса. Жить, чтобы добиваться неблагополучия,— не есть ли это какой-то дешевый абсурд, а может, это только на первый взгляд так кажется?

Я не знаю, что тут есть на самом деле, но могу сказать, что такое положение, когда я смотрю на жизнь как на путь к смерти, меня волнует, я чувствую в этом тайну, она меня радует. С такой мыслью и смерть не покажется мне ненавистной, злой и безобразной. Я приму ее легко. Но и это не все, хотя и не так мало. Умереть — невелика забота. Придет срок, и ты умрешь, с какой бы мыслью ты ни встретил смерть. Ты будешь жить полной жизнью, ты проживешь свою жизнь так, как это предназначено свыше, и лучше никак ее уже не прожить, ты будешь вдвойне счастлив и в жизни, и в смерти, а что может быть лучше этого? Когда ко мне приходят подобные рассуждения? Тогда ли, когда я сижу на кордоне голодный, без куска хлеба, и желаю, чтобы у меня его не было? Желать того, что имеешь — есть ли большее заблуждение? Когда я сижу без куска хлеба, я думаю о куске хлеба, в этом нет ничего неестественного. Вот когда я ловлю себя на мысли, что я больше занят думой о хлебе, чем о лесе, тут ко мне и приходит желание отказаться от хлеба. И я с легкостью отказываюсь.

Живу с ощущением, будто я закланная овца, и неприятно мне оно, кому интересно чувствовать себя чьей-то жертвой, и стараюсь утешиться: мол, ничего неприят-

ного нет, это с первого взгляда неприятно, а копни глубже, и даже очень приятно, что судьба тебе готовит такую участь, единственную, которую ты бы хотел. Неприятно мне одно — что не радует меня мысль о жертве, а так все хорошо.

Почему же я определил себя закланной овцой? Потому ли, что отдался осени и не вижу пути, где бы мы могли с ней полюбовно разойтись? Я вижу себя добрым, слабым, беспомощным, я всегда себя таким видел и боялся своей беспомощности, каждое существо, даже малая травинка, даже муравей какой-то захудалый, сильнее меня — вот как я слаб и беспомощен. Что тут говорить об осени? Отдаваясь ей, погибну, но дам жизнь лесу. Итак, я закланная овца и не очень радуюсь, что буду убит. Но не сейчас же это произойдет, не сей миг? Вдруг возникнут в сенях шаги, откроется дверь, кто-то войдет и скажет громовым голосом: пора! — и потащит меня на расправу. Тихо в избе, никто не гремит каблуками, не открывает дверь, не появляется в дверном проеме,— лишь дождь стучит по бревенчатым стенам да крысы устроили веселый писк в погребе, и осень продолжается, и пора зиме.

Поскольку большинство людей рождается в городах, живет в городах и умирает там же, выбираясь в лес, на природу лишь в редких случаях, едва успев глотнуть чистого воздуха, а то и не успев, поскольку они проводят свою жизнь вдали от деревьев, цветов, речек, трав, среди трамваев, машин, зданий, электричек; поскольку они не могут бывать на природе чаще, а то и не хотят, и удаляются от нее все дальше и дальше, так что сосну начинают воспринимать как некое заморское чудо, а бабочку-крапивницу за создание, слетевшее с небес,— не худо, чтобы нашлись такие, которые показали бы этим несчастным отщепенцам всю прелесть природы, написав картины или книги; не худо, чтобы и сама природа почаще заглядывала в город, стыдливость и гордыня тут не к месту, дело это настолько серьезно, что, будь я на месте деревьев и трав, не откладывал ни минуты на размышления: нужно идти или не нужно; я бы не раздумывая пошел и, как самая последняя уличная девка, соблазнял горожан, очаровывал их, ослеплял своей красотой, заключал в свои объятия и никого не отпускал,

Беда в том, что природа отдается и соблазняет, показывая и обещая свои прелести, но люди неохотно идут к ней. Занятые своими делами, они проходят мимо, не замечая вокруг себя ничего. Поистине цена природы пала так низко, что природа стала никому не нужна. Это такое кощунство, до которого еще никогда не доходил человек. Занятый созданием природы искусственной, он перестал видеть природу естественную — леса, горы, реки. И жестоко за это поплатился. Или он сам — не лес, не реки, не горы? Или он хочет искусственно породить себя самого?

Конечно, легко обвинять деревья и травы, что они не проявляют должных усилий, чтобы обольстить, очаровать человека, показать свои прелести, но и их можно понять. Если их унижают или пренебрегают ими, если их не любят, само их существование ставят в вину, если их гонят и губят, могут ли они обольщать и очаровывать? Я поражаюсь, как до сих пор, перенося такое небреженье, они не потеряли присутствия духа, не сникли, не подурнели лицом, как не утратили они веры в добро, как они милосердны, справедливы, как не устают они источать свою редкую красоту и ароматы на тех немногих, что еще любуются ими, как хватает им мужества переносить невзгоды и лишения и быть вечно юными, вечно прекрасными, как еще цветут весной травы, текут реки, высятся горы, зеленеют леса, как не умолк в зеленой чаще леса свист соловья.

Спасибо вам, травы и деревья, за вашу стоическую жизнь, не будь вас, и все в мире пошло бы прахом! Только благодаря вам это разбуженное, разъяренное чудовище — человек — пока не наделало бед. Я думаю, придет пора, и будет победа, и вам зачтутся ваш труд и самопожертвование, и станете вы еще прекрасней, только возможно ли быть прекрасней, чем вы есть, я не знаю.

Плакать хочется, так жалко себя и осенний лес. Но почему, собственно, плакать и отчего жалость на сердце? Или кто губит лес, покушается на твою жизнь? И губит, и покушается. Нет, таких конкретных людей, кто бы губил лес и покушался на мою жизнь, я не знаю, знал бы, я бы с ними поговорил по душам, но что они есть, что они живут где-то поблизости, дышат одним

с нами воздухом, едят, спят, говорят и даже любят себя, своих жен, сыновей, детей — это я знаю. Пока они невидимы, и, сколько бы я ни тратил усилий найти их, я обречен на неудачу. Единственное, что я пока могу — кричать и вопить, что они есть. Но кто меня услышит отсюда, из лесной чащи, и что это даст?

А между тем придет срок, и явятся они, и посеют огонь и смерть. Никого не хочу запугивать, осуждать. Будь в моей власти, я бы всех любил и не было бы в мире предмета, который бы я обошел стороной. Твердо знаю: мое призвание, моя суть — любить, больше я ничего не хочу, любить и любоваться природой, лесом, а разве я виноват, что любовь моя не может изменить облик этого мира, повернуть вспять. Видно, маловато во мне силенок, видно, не так я добр, чист, как себе кажусь, да и любовь моя — одни слова и видимость, что неспособна она совершить чудеса и устроить на земле счастье. Да и с какой стати мне бы была дана такая высокая честь? Или я умней других, или ростом выше, или глаза мои красивей, чем у соседа? Не умней я других, и ростом не выше, и глаза у меня самые обыкновенные, коричневые. И дана мне не великая любовь, а только тяга к ней, жалкое подобие любви, а сама любовь во мне не ночевала.

Не знаю, какая любовь во мне, великая или малая, способная творить чудеса или только плакаться от бессилия, но она есть. Пусть маленькая, что с того? Не объять ей всего мира, я за объятием не гонюсь, мне чтобы она чиста была, как утренняя роса, светла, как день, весела, как весна, и бесконечна, как лесная дорога. А коль будет она такой, а она такая и есть, и я доволен. Есть она, есть,— твержу. Иду днем мимо сосен и говорю: люблю. Пробираюсь ночью у края поля и твержу: люблю. Остановлюсь у реки и восклицаю: люблю, люблю! И стыдно мне это говорить, и неловко, что на устах одно слово, и не волен я себя удержать, не в состоянии контролировать. Что это, исступление, сердечный жар? Или я только что на свет родился, увидел мир и полюбил его и способен от любви умереть? Правда, ничего стыдного в этом вроде и нет, никому я не мешаю, а если часто объясняюсь в любви травам и деревьям, то, думаю, простят они мне мою настырность.

Трудно быть уверенным во многом: в друге, жене, в сыне, в славе, в богатстве, трудно надеяться на здо-

ровье, успех,— что он? — пришел, ушел, только его и видели. Что друг? Сегодня он друг, а завтра враг. Что учитель? Сегодня учитель, а завтра ученик. В одном я могу быть уверенным — в любви. Если человек любит, если он любил, никакая сила в мире не поколеблет его в знании того, что он любит. Любовь — вот единственное, что может он знать. Обо всем другом он только догадывается.

Вчера в первый раз увидел снегирей, а сегодня ночью был заморозок. Утром крыша на избе в инее, и трава замерзла, идешь по траве, а она, мягкая и податливая прежде, так, что ее под ногой и не замечаешь, сейчас жестка и пружинит, и ногам в сапогах от нее холодно. Желтый и тощий одуванчик замерз на опушке у дороги. Лес никогда не скудеет цветами. Кажется, уже давно кончилось лето, давно отгорело солнце, ушла и пора цветов, и негде, незачем им, цветам, цвести, и не видишь цветы, нет их, что тут видеть? А они есть. Помоему, они в любое время года растут и холод им не помеха. Есть они и зимой, но только под снегом их не видно.

Если бы я умер сейчас, среди бела дня, не растерзали бы меня волки, не убила осень, а скончался бы я по своей доброй воле, от болезни или иных каких бед, лежа на кордоне, в постели, в одиночестве, что бы говорили обо мне люди? Они бы сказали: в какой нищете он жил и умер! Не было у него над головой даже своей собственной крыши. Поистине жалок и несчастен этот человек.

Я говорю об этом и думаю, что я не прочь бы умереть, что для меня было бы великим счастьем жить и умереть в бедности, в одиночестве, на кордоне. Конечно, смерть не выбирает, и в том, что человек умер в богатстве, в окружении людей, друзей, ничего плохого нет, мало ли людей наживало добро праведным трудом, в их пути есть и смирение, и покорность, а в моем один каприз и тщеславие. Тщеславие тут, разумеется, есть, но даже если его откинуть, мне кажется, что смерть моя была бы для меня подарком. Умереть в славе, успехе, богатстве, в окружении семьи, в своих хоромах — пре-

красно. Но умереть в чужой, казенной избе, безвестным, в окружении сосен и берез, имея в качестве друга и душеприказчика синицу или старую ворону, которые выслушали бы твои последние слова и закрыли тебе глаза,— о такой смерти можно только мечтать, и, если она паче чаяния придет, хватай ее за руку (да покрепче) и не отпускай.

Говорить о смерти куда ни шло, а принимать ее не хотелось бы. Придет, а я неподготовлен, скажу — молод, какие мои годочки! Годы мои действительно невелики, да и со смертью не шутят. И кто к чему призывает, тот к тому и приходит. Но разве призываю я смерть? Разве жить без нее не могу? Влюблен по уши? Души не чаю? Да пропади она пропадом, чтобы я по ней скучал. Порассуждать о смерти никому не грешно, а так — обойди она меня стороной. Но и тут я не прав и думаю, что недостойно человека, а особенно мужчины, бояться разговоров о смерти. Как ни страшна она и ни жуток ее приход, а готовиться надо, никого она еще не миновала, придет и твой черед, и хорошо, чтобы она не застала тебя врасплох.

Глупо умереть от боязни зажиться, но еще глупее — от сознания того, что ты никому не нужен. Я полагаю, и в этом я убежден, что человек умирает не оттого, что он нужен или не нужен жене, детям, любовнице, а потому, что он не нужен самому себе. Живет — значит, нужен себе. Умирает — не нужен. Что ж, выходит, я думаю о смерти, а потому себе не нужен? Себе-то я, может быть, и не нужен, а травам, лесу еще пригожусь.

Иной раз наденешь шапку, бушлат и стоишь в избе час, другой, как будто ты не в избе, а в лесу. Стоишь-то в избе, а кажется, что в лесу, потому что кто же стоит в избе одетый? Я понимаю, когда с работы, из леса придешь и сидишь на табуретке не раздеваясь — это другое дело, тут не раздеваешься, потому что устал от ходьбы, от долгого дня, от рубки, клеймовки и прочего, придешь домой, руки не движутся, ноги не ходят, весь день ты не ел, промок до нитки под дождем, и невмого-

ту пальцем пошевелить, плиту растопить, переодеться, что-то сготовить.

Бывает, как ни голоден, а придешь домой и сразу в постель. Встал утром, вечером упал — будто и дня не было, а только подъем и отбой да между ними какое-то серое мельканье от пней, деревьев, клейма, топора, дороги. Но вот утром ты встал, ты бодр, свеж, полон сил, ты сыт и готов к работе. Что же удерживает тебя в избе? Этого я и сам не знаю. А и знал бы, так не стал говорить. Неужто все, что с тобой совершается, происходит, поддается объяснению? Я понимаю, многое можно объяснить в человеке: и как он рождается, и как умирает, какое у него сердце и из каких клеток состоит мозг. При желании многое можно понять из жизни леса, природы — и что есть сосна, что звезды, сколько в мире морей и какой высоты горы. Нет, кажется, такой мелочи, которая бы укрылась от человеческого объяснения. Это, скажут, произошло потому-то и потому-то, а это совсем по иной причине. Слушая подобные объяснения, радуюсь я человеческому могуществу, удивляюсь безграничности познания и думаю — неужели нет ничего в природе такого, чего нельзя было бы понять, неужели все в природе объяснимо? Не то чтобы я был какой враг человеческому разумению и стоял на пути прогресса и просвещения, я за них обеими руками, да нет-нет и скучно мне вдруг станет оттого, что подумаешь, что все в мире можно объяснить. И думаю, хоть самая малость, кроха какая-то, червячок захудалый, который и цены-то настоящей не имеет, молекула какая-то невидимая, а должна отыскаться в природе, чтобы захотел ее понять человек, а не смог бы понять. Для чего? Для равновесия духа и, опять же, для того, чтобы было что в природе непознано.

Я человек малых способностей, воспарять умом, как некоторые, не могу, я пробовал объяснить этот факт и так и этак и наконец отступился. Неведома мне причина моего стояния одетым в избе. Впрочем, одна мысль меня все-таки посещает. Мне кажется, я стою одетым в бушлат и шапку не потому, что мне лень выбираться из теплой и сухой избы в грязь и холод — такое примитивное объяснение я бы никогда не допустил,— мне кажется, что я стою одетым потому, что меня ждет какая-то иная работа, и не та, которую мне нужно сегодня выполнять. Может, нужно и грязь месить, и топором ма-

хать, но делать это в другом месте, иначе, и вообще делать как бы ничего не делая. Вот отчего я и стою час, другой не шевелясь, не двигаясь, время проходит незаметно, день проходит незаметно. Не намочив ног, не натрудив рук, ты наработался к вечеру, ты возвращаешься на свой кордон, раздеваешься, готовишь еду и усталый ложишься спать.

Второй снег, а первый был несколько дней тому назад. Лег он на мерзлую землю, а потом пришла оттепель, и снег растаял. Как ни задержалась осень, а зима грядет. И ничто не остановит ее прихода. Впрочем, спроси меня сейчас, что на дворе — зима или осень, и я не смогу ответить. Ответить-то смогу, скажу — зима или скажу — осень, и в обоих случаях буду прав. Но и не прав тоже. Потому что точного определения у меня нет. Вот она, пора безвременья! Ты говоришь одно, ты говоришь другое, ты колеблешься между тем и другим, но ты не говоришь чего-то одного. Скажешь — зима, но для зимы время пока не наступило. Пал, но не лег снег, и неизвестно, сколько он пролежит,— день, два. Нет холодов, морозов. Погода стоит теплая, идут дожди, моросят дожди, и, кажется, нет им конца и начала. Скажешь — осень. Но какая же это осень? Листья с деревьев давно облетели и прибились к земле, деревья стоят голые. День короткий, едва рассвело — и уже темнеет. По утрам, по ночам дуют с севера холода и леденят душу.

Радует меня такое безвременье, пугает? Не радует и не пугает, поскольку изменить этот порядок при всем своем желании не могу. И определенности требует, поскольку нет ничего хуже чего-то неопределенного, неясного. Погода неясна, и ты сам себя определить не можешь. Какой ты — высокий, низкий, крив на один глаз? Высокий ты или низкий, а уж тем более крив ли на один глаз — это определить ты можешь, наука невелика, а не можешь — в зеркало посмотри, оно скажет. А вот добр ты или зол — этого не определить. Где такое зеркало найти, чтобы узнать, каков ты есть на деле?

Кажется мне, ничто не может человек потерять, а все только приобретает. Не теряет он ни детства, ни здоровья, ни весны, ни любимой девушки, ни жизни.

А приобретает старость, болезни, осень, разлуку, смерть. Это только любители красивых слов придумали, от нечего делать, о потерях человеческих. Не так он жалок, этот человек, чтобы терять и плакаться. А приобретает, как богач, обрастая приобретенным, и, чем больше теряет, тем больше приобретает. Вот и я потерял осень, а разве я ее потерял? Разве ушла она от меня и больше никогда не вернется? Не подарит свой последний поцелуй? Возможно, что и не вернется. Думается мне, что это последняя моя осень, но не потерянная мной, а приобретенная. Я ее нашел, и я ей рад. И она, даже уйдя, никуда от меня деться не сможет. Прощай, осень, и здравствуй! Не говорю: здравствуй, зима. А говорю: здравствуй, осень. Как не скажу: здравствуй, весна. А скажу: здравствуй, зима. Нет, ничего человек в этом мире не теряет — ни волоска, ни срезанного ногтя. И все-таки прощай, осень!

Одного мне жаль, что, умерший, не смогу охранять я лес. Да и память обо мне поистратится быстро. Придет на кордон другой лесник и будет любить лес не хуже, чем я. Может, и не хуже, но не так. Мне кажется, только моя любовь есть истинная, а остальные хоть и хороши, да плохи. Но что-то говорит мне внутри, что я не прав. То, что я не прав, когда возношу себя и считаю незаменимым,— это и ребенку ясно. И говорю я это скорей от малости своей, чем от высоты и величия. Не прав я, когда жалею, что умру. Чувствует мое сердце, что могу жить спокойно, не испытывая сожаления о смерти. Не потому, что не жаль умирать, а потому, что так надо. Что же касается памяти, то так ли скоро она развеется по миру и превратится, как и тело мое, в прах? Она бы и превратилась и улетучилась, но куда? Где то место на земле, куда девается о нас память, не только же она в одних книгах и сердцах людей зарыта? Где бы ей ни болтаться, а леса, гор, полей не миновать. А память у леса крепкая, лист по осени упадет, и тот на вечность запечатлеется.

Сопричастность с лесом получается такая, что трудно разделить, где ты, а где лес, да и нет нужды в этом различии. Говорят: растворился в природе. Необдуман-

ное, неточное выражение. Коль растворился, то где ты? Не растворился, а есть, даже окаменел от своей собственной сущности, настолько она твоя, настолько она явственна и существует равным образом, как и существует лес, не ты один существуешь, и не лес один существует, без тебя и помимо тебя, как это казалось и было раньше, а живете вдвоем, полюбовно, как один, как живут вдвоем муж с женой, любимый с любимой, земля с небом, речка с берегом, день с ночью, солнце с луной. Что я говорю? Что шепчет лес? Шепчет лес, а это я говорю. Говорю я, а это шепчет лес. Можно ли тут разделить меня и лес? Я думаю, напрасные старания. Мы так обнялись с ним в жарких объятиях, что оторвать нас можно, лишь уничтожив кого-то физически. Вот они, те две половины, о которых говорят и мечтают молодые люди, мужчины и женщины. Моя половина — лес, нас с лесом соединила любовь, и я рад, что моя половина нашлась.

Некоторых может удивить такой выбор, оттолкнуть, а иных и напугать: он и лес — это что еще за парочка? Но я, поскольку вижу в своих отношениях с ним мир и веселье, не вижу тут ничего худого. Земля и небо, мужчина и женщина, он и она — так ли уж важно, кто нашел свою половину и в ком, главное, что нашел, любит ее и рад бесконечно, хоть и страдает.

Нет, не обязательно, чтобы восторгаться природой, нужно бродить по лесу, по горам в поисках красивого местечка, кормя комаров, поджидать в зарослях пламень утренней зари и любоваться им. Такой способ лицезрения прекрасен и прост, и кто из любителей природы не пользовался им не мудрствуя лукаво, не вскидывал за плечи рюкзачишко, не отправлялся на дальнюю реку, озеро на день-два насладиться тишиной, вечером, звездной ночью, светом и жаром костра. И я сам такое проделывал не однажды, хоть, по правде сказать, мне было это вовсе ни к чему: кто круглый год живет в лесу, а не наскакивает в него наездом, тому незачем искать каких-то специальных красот — они сами тебя настигнут, даже если ты не пожелаешь. Сколько людей открыло для себя лес, море, горы только потому, что они увидели какой-то взволновавший их душу пейзаж, набрели

на единственное для их глаза место, где невозможно не родиться любви. Сколько подобные наблюдения родили поэтов, художников, любителей, ценителей и почитателей родной земли — почти из ничего, из черствого и пустого сердца.

Я не против подобных наблюдений и могу их только приветствовать, но я знаю и другой способ наблюдать и разжигать в себе любовь к природе, и если я говорю о нем, то не для того, чтобы унизить первый, а чтобы сказать о втором, о котором по какой-то неведомой мне причине почему-то забывают.

Суть его в обратном: искать самые некрасивые и неинтересные места, а то и вообще запереться в тесной избе без окон или в темной комнате в городе, окно которой упирается в глухую стену соседнего здания, и представлять себе лес. Впрочем, он и сам представится, не понадобится и побуждений. Стоит посидеть в такой комнате день, другой, третий, послушать крик соседей за фанерной перегородкой, грохот машин и трамваев на улице, вой джаза по радио и симфонического оркестра по телевидению — и лес, тишина, уютный пляж у реки, сосны, березка в поле, две ромашки у тропы, теплый летний вечер, ласточки в небе, стрекот кузнечиков у колодца сами представятся твоим ушам, глазам, и представятся не как какие-нибудь фантастические картины, а вполне зримо и реально, как ты когда-то видел их в детстве или несколько лет назад. Но тогда, когда ты их увидел в детстве, ты на них не обратил внимания и, не сиди сейчас в комнате, вообще бы не вспомнил и, кто знает, может быть, и не полюбил. Сейчас же они предстанут пред тобой в таком очаровании, что ты вполне уверен, что жить не можешь без этого кустика бузины, мимо которого проходил раньше тысячу раз, или без желтой ромашки.

Мне скажут, не мазохизм ли это — искать плохое, чтобы найти хорошее, не есть ли в этом что-то дурное? Дурное, может быть, и есть, но как подумаю я о том, сколько людей живет не посещая леса, не отыскивая красивых мест, а значит, живет без любви к лесу, к природе, так и возникает у меня вопрос: а что же в том плохого, что мы испробуем другой метод, ведь не для зла мы будем стараться, для добра? Но, с другой стороны, какое же это добро — загонять людей в тесные и темные каморы, лишать их зелени, леса, рек, цветов,

света, пения птиц с единственной целью, чтобы, насидевшись в темницах, они соскучились по дивной природе, увидели ее и воспылали к ней горячей и пламенной любовью? Кто даст нам гарантию, что случится именно так, а не иначе? А вдруг люди, загнанные в эти душегубки, привыкнут и к темноте, и к тесноте, и ко всем прочим неудобствам и, оторванные от леса, совсем забудут про лес, и не оставит им память ничего из прежнего, и полюбят они свои узилища? Все может быть, все возможно.

Лес засыпает, умирает, земля сковывается морозом, а мне жить хочется, да скорей, скорей. Кажется, никогда я так жить не торопился. Будто жизнь до этого спал, а сейчас проснулся. Еще летом жил как бог, словно не столько-то лет мне отпущено, а вечность, никуда не спешил, времени не замечал, проспал день — не жалко: что день в общем мироисчислении? — а сейчас каждый час жалко, и времени свободного нет, ничего не успеваю делать. А раньше, сколько ни работал, все оставалось. Что же, плохо то состояние или это? Я думаю, оба они хороши, и ни одно я не хочу ругать. Жил не торопился, и в этом был свой резон, теперь бегу. Изменился я? Думаю, что нет. Внешне, может, и изменился, торопиться стал, а внутренне остался прежним. Каким? Неторопливым. А раньше внешне был нетороплив, а внутренне торопился. И еще можно сказать, что сейчас я тороплюсь не торопясь, а раньше не торопясь торопился.

Вот оно, самое тяжелое испытание, которое мне предстоит пережить: жизнь мне скучна и неинтересна. К своим годам я, кажется, познал все, что мне нужно было познать: любил, сколько мне отведено, сделал, что мог сделать. Возможно, что я израсходовал свои силы, прожил, что мне положено прожить, а может, все это чепуха и жить мне надо еще и работать? Но отчего же у меня такая тоска? Я, как старец столетний, кажется, все знаю, познал. Я хочу работать, хочу жить, но временами у меня сил на это нет; на работу силы есть, на жизнь не остается. Чем больше желания жить, тем меньше сил остается на это. Жить и радоваться жизни — это и дурак сумеет, а ты попробуй поживи не желая жить. Легко сказать: грех. Да, грех, но что я могу

поделать, не сам же я хочу не любить жизнь, не сам на себя тоску нагоняю. Я борюсь с ней, гоню от себя. А она подкрадывается ко мне.

Я не о цели и смысле жизни думаю. Я молю бога, чтобы он дал мне интерес жить, пока я живу.

Гляжу на кусок стылого дня в окне, радуюсь ему беспричинно. Не вижу границ, где бы могло остановиться, споткнуться мое любование, радость этому дню. Чем больше смотрю, тем больше радуюсь. А чем больше радуюсь, тем страшней становится. Видно, человек не такое уж беспредельное и бесконечное существо, не сосуд бездонный, что боится лить в себя без конца? Сосуд-то он бездонный, другое дело — на что ты способен, какой ты сосуд? Иной человек едва пригубил и уже помер. Другой и вберет немного, а сошел с ума. Бывает и такое, что пьют, а питье им не в пользу, не добреют они от этого вина, а злеют. И лишь немногие получают, что должны получить: и пьют, и радуются. Я пока из тех, что стоят на первой ступени. И хотят они, и смерти боятся. Они выпьют, такова их участь, и получат должное, но без страха тут не обойтись. Скорей, оттого что страшно, оттого и весело, и интересно, и манит пригубить этого питья. Пей же и принимай свою судьбу!

Ранней осенью я страдал, но у меня не было отчаяния, нежелания жить. Я терпел, мне казалось, я несу крест и нести его мог до конца своих дней. Кончились страдания, жизнь полегчала, и я говорю, что не хочу жить, нет у меня на жизнь сил, энергии. Что же нужно для того, чтобы опять хотеть жить? Снова страдать, желать умереть? Но если сейчас я пожелаю умереть, я умру совсем, по-настоящему, физически исчезну из этого мира. А так умирать я пока не хочу. Я говорю: я умру, но пока не пришел мой черед. Глупец, откуда я знаю, когда мой черед? Может быть, он как раз сегодня наступил? Нет, не наступил. Хочу я работать, хочу пока жить? Хочу. Значит, срок не наступил. Когда он наступит, я не буду отворачиваться, уговаривать его повременить, а приму, как принимаю этот день, как должное, но сейчас еще срок не наступил.

Что нужно сделать, чтобы хотеть жить, как заставить себя полюбить эту жизнь? И сам себе отвечаю:

живи и не задавай глупых вопросов. Нет тут обходных путей, а есть путь один — жить как живется. На все смотреть такими глазами: я жизнь признаю, но за нее не цепляюсь. Вернее, я равно отношусь как к жизни, так и к смерти и спокойно приму то, что ко мне придет. Отчаяние от нежелания жить и само нежелание жить приходит ко мне от большой энергии, от огромного желания жить. А раз так, чего волноваться, чего отчаиваться, все хорошо, все на колесах, и дальше поехали.

В лесах спокойствие и молчаливость. Зима, листьев нет, ветви у деревьев оголены, чувствуется в этом суровость и беззащитность. Появится ветер с севера, пройдется по всему лесу с севера на юг, с востока на запад — нигде ему задержки нет, дует, как в трубу. И лишь в тех местах, где сосны, если остановится, закружит. Люблю при ветре, как под парусами, гулять по лесу, точно не на суше ты, а в океане. То левее берешь, то правее — галсы меняешь, а сила ветра крепка, а свежесть упоительна. Ткнет тебя ветер в бок, точно колом огладит, счастье, что не забьет насмерть. А ты ему рад — спасибо, голубчик. Притронулся едва к твоему лбу, чуть приласкал — ты и доволен. Ровно давит в твою грудь, словно в заветную дверь не пускает, а ты рвешься — и здесь ты на него не в обиде. А уж коль в спину подхватит да словно за белы ручки поведет — тут, кроме благодарности, никаких слов не можешь подыскать. Летишь мимо деревьев, за кусты одеждой цепляешься, лавируешь между стволов. Устанешь ногами перебирать, за какую-нибудь случайную березу схватишься, причалясь к ней, отдыхаешь. А ветер тебя донимает, дует все сильней и сильней, и страх в душу находит, как бы куда не унес. До самой южной границы леса, как лист, тебя донесет. Но всему бывает конец, бывает он и ветру. Он улетел, а ты, держась за березу, здесь остался. Его в лесу ничего не удержало, а тебе счастливая береза на пути попалась.

Вчера плакался и страдал, а сегодня встал поутру и жить мне хочется, забыл я о вчерашних заботах, как будто не было их никогда, и зряшны они, и надуманы, и только какая-то грозовая тень, как туча в отдалении,

напоминает о том, что не так это все легко и отмахнуться от смерти не просто.

Но что сегодня думать о смерти? Не хочу думать, нет ее для меня. Вижу серое, пасмурное небо и люблю его, вижу и хочу видеть завтра и послезавтра, вижу голый, уснувший лес и рад ему, и он не вызывает у меня печальных и неприятных чувств, мыслей, вижу замерзшие лужицы на дороге, и им я рад, замечаю их, значит, рад и готов каждой спеть восторженную песню. Остро чувствую утро, кажется, к полдню чувство должно ослабеть, а я еще острей полдень люблю, и уже совсем невмоготу мне любить вечер. И деревья те же, и краски одни, серые, и пейзаж — нет ничего в нем нового: та же дорога, тот же лес, косогор, изба, сосна у дороги, та же ворона на солнце сидит и ждет, не выйду ли я из избы с помойным ведром, те же сумерки наступают, все это видел тысячи раз, а волнует все меня, каждый раз какое-то новое чувство испытываю.

И странное это чувство. То бывало острое чувство, что вытерпеть невозможно. Ощутишь его и скорей теряешь, отвлекаешься, стараешься перебить чем-то, хоть словом, хоть бодрым шагом, хоть переменой мест, хоть песню запоешь. А это чувство испытываешь, и не тяготит оно тебя, разливается ровно, никуда ты от него не бежишь, а говоришь — пусть разливается... Что это за острое чувство? Как его назвать? Я называю любовью. Хотя допускаю, что это не любовь, а что-нибудь другое. Но если это не любовь, то что это такое? Я чувствую этот лес, я живу с ним, я готов жертвовать ради него, я люблю его, он мне не надоедает, я готов смотреть на него часами, мне скучно без него, мне сладко с ним, и только с ним одним сладко,— что это, как не любовь? Другого слова, чтобы определить это чувство, я не знаю.

Где обитает, где прячется наша любовь? В лесах она обитает, в кустах прячется. Пугливая, как зверь, веселая, как синичка утром, постоянная, как зеленый цвет сосны, решительная, как смена дня и ночи,— как мы жить без нее не можем, как стремимся к ней, нежим ее и холим! Мы не так лес любим, как оберегаем свою любовь, и она нас оберегает. В лесу она прячется. И в лес идти надо, чтобы ее найти. Меня спросят: на каких тропах ее искать? Я скажу: на самых прекрасных,

В какой траве ее искать? В самой бархатной. В каких лесах ее искать: в сосновых, березовых, еловых? В сладчайших. В какое время года ее искать? В час, когда застучит сердце. Что же, она висит на дереве яблоком или грушей и ее надо сорвать или цветет аленьким цветочком? Она висит плодом и цветочком, как кому придется по душе, прискачет белочкой, а то и прокаркает вороной, она явится на каждого любителя змеей или пеночкой — важно только ее отыскать. Что же, каждый находит ее, бродя по лесам? Каждый, кто находит. Что же он потом с ней делает? Нюхает, как цветок, или пробует на вкус? И нюхает, и пробует на вкус, и еще кое-что умудряется делать. Почему же тогда не идут в леса, не ищут, а вздыхают — нет, мол, ее, обошла стороной? И идут, и ищут, да не находят. Ибо труден поиск этого плода и не каждый его находит. Что же, другие не нашли, а ты нашел? Не нашел, говорю, а ищу, и верю, что найду.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕСНА

Глава первая

Мне кажется, что все мои беды оттого, что меня убедили или я сам себя убедил в том, что я ничто, малость, плох во всех отношениях, что я страшусь себя, вижу себя неловким, бесталанным — хороши только другие. И лес мой плох, и дни плохи, и рот, и волосы. Раз мое, значит, никуда не годится. А живи рядом со мной какой лесник и будь он, как я или даже хуже, и он бы мне казался верхом совершенства.

Трудно понять себя, еще трудней отважиться сказать, кто ты есть, такой ты или этакий. Сейчас я говорю, что я себя принижаю, и это плохо, мне не нравится, а через час буду возвеличивать, буду с горячностью утверждать, что я самый прекрасный человек на свете, и буду считать, что это тоже плохо. Найти бы такую меру, когда можно было бы не возвеличивать себя и не уничижать, а жить ровно, как живет дерево или день. Или и у дня бывает такая промашка, что он то поднимается на цыпочки, то падает на колени? Мал я или велик? Как было бы хорошо, если бы меня этот вопрос не интересовал совершенно, а то можно подумать, что от него, оттого, мал я или велик, мир разрушится. Но, видно, человек не может не думать, мал он или велик. Он думает так, он думает иначе, взгляды его круто меняются и ни на чем не могут остановиться. Отчего это происходит? Оттого, что себе не доверяю, оттого, что разделил лес надвое и себя надвое и попеременно становлюсь то одним, то другим? То я малый лесник, а лес велик? То я велик, а лес мал? Я не хочу быть ни малым лесником, ни великим. Я хочу быть таким, каков я есть, но как я могу быть таким, как я есть, ни малым, ни великим, если передо мной лес, а он велик и мал? Это только кажется, что лес велик, иногда он сжимается до размеров маленькой комнаты в коммунальной квартире, до размеров макового зернышка. Но и эта комната тогда

велика. Так и я и мал и велик? Откуда рождается чувство малости, не лес ли его рождает, не я ли его породил своими размышлениями?

Вначале я был как чистый лист бумаги, ни плох ни хорош, ни мал ни велик, ни бел ни черен. Потом все качнулось во мне в сторону, я стал и мал, и велик, и бел, и черен. Потом я стал только мал, плох и черен. Глядишь, дойдет и до того, что я буду только велик и прекрасен, как бог. Но, возможно, кончится тем, что я буду плох и черен.

Зима приносит мне ум, она заставляет меня размышлять, задает вопросы, она меня умаляет или, наоборот, возвышает? Я чего-то страшусь, я плох, недоволен собой, я — мал. И только лес меня успокаивает. Зима отнимает у меня половину мою, великое, и оставляет малое, и я становлюсь малым? Я ничего не знаю, я только знаю, что зима приносит мне эти вопросы и я хочу на них ответа.

Ветка качнулась, разгрузившись от тяжести снега, а я подумал, что она вздрогнула, меня испугавшись. Но видел я, как снег упал, значит, качнулась от облегчения. Но подходил я к дереву с суровым лицом и, что еще более важно, с таким мрачным настроением, что не могла она меня не испугаться. Успокоился на том, что решил, что она от тяжести снега качнулась и оттого, что меня испугалась.

Не вижу леса не потому, что глаза слепые, а потому, что лес на меня не смотрит, не нравлюсь я ему. Или что-то нашел он во мне подозрительное, или рожа ему моя не подходит: нос не прямой, волосы поредели, глаза не того цвета. И отворачивается от меня. А что отворачивается? Ну, не красавец, сам знаю, но и не урод! Не хром, не слеп, не горбат. А был бы хром или горбат, значит, можно было бы от меня отвернуться? Немилосердно это как-то получается. А может, совершил я какой перед ним проступок и за грехи мои он наказывает? Возможно, что и так, но как тогда узнать, за какие? У меня их тысячи, всех не искупить, что же, я так и буду жить леса не видя, и он будет прятаться от меня, как первая красавица, недоступен и холоден?

Нежелание жить у меня не от житейских неурядиц, не от холода и зимы. Еще не ведая умом, я захотел жить, и тут же у меня возникло нежелание жить. Теперь все, что придет ко мне, будет двойственно: жизнь породит смерть, а красота — уродство, добро — зло, а нежность — жестокость. На одно лишь я уповаю, это останется неизменным — желание быть с лесом. И знай: если ты скорбишь духом, это происходит не оттого, что ты плох, изжил себя, у тебя нет энергии, напротив, ты полон сил, ты энергичен, ты прекрасен. Есть у тебя всегда что-то такое, что всегда выше плохого и хорошего, желания и нежелания. Что это, я не знаю, могу сказать, даже не ощущаю, даже не верю, забываю, лишь иногда угадываю, но оно есть.

Откуда берутся самоубийцы? От нежелания жить? Ничего подобного. От страстного желания жить, мучительного, неутоленного, не терпящего никаких проволочек. Но жизнь им не дается. Выходит, это только кажется, что грех в унынии, в нежелании жить,— он в жажде жить? Грешно как желать жить, так и не желать? Человек жаждет жить, и он становится убийцей или самоубийцей.

Лес, травы жаждали жить и убили себя до весны. Я отделался меньшим и даже, может быть, необходимым злом, но иного пути у меня не было. Я говорю не об убийстве физическом, а о духовном перерождении. Но разве я переродился? И не такой, каким был?

Кто сильней, я или смерть? Кто тут победитель? Что я должен делать, побежденный ею? Жаловаться на свою судьбу, плакать, стонать? Ходить до весны, до своего пробуждения, мертвецом, не чувствуя ни природы, ни жизни, ни леса? Ох, ох, горько мне! Недоволен я собой. Но и доволен. Почему? Потому что понял, что я умер, принял все-таки свою смерть и не сопротивляюсь, а это уже много. Теперь мне будет легче с ней бороться. Главная сложность не в том, что ты смерть одолеть не можешь, ты одолеть ее можешь, есть такая сила, способная одолеть смерть. Сложность не в том, что есть у человека силы, не подвластные ему, а в том, что не знаешь их имени, не видишь их. А коль назвал имя, считай, что ты ее одолел.

Я жив, а был мертв. Я чувствовал в себе какую-то мертвечину, стесненность, скованность, закрытость и прочее, но я это относил не к смерти, а к жизни. Я страшился отнести это к смерти. Отнесешь к смерти, и сам себя убьешь,— думал я. И спрашивал жизнь: почему? И она мне, естественно, ничего не отвечала. Было бы в высшей степени странно, если бы она, жизнь, дала мне ответ. Спрашивал я не ее, а смерть. Она ответа не давала, и я стал уже разочаровываться не только в жизни, но и в себе. И тут меня осенило: что я, дурак, делаю, кому вопрос задаю? Ведь я обращаюсь не по адресу, к смерти нужно обращаться, а не к жизни, и она все скажет. И точно. Едва я ее спросил, как она мне тут же ответила.

Можно подумать, что зима ко мне пришла только сейчас, а до этого я все еще находился во власти осени. Я умирал. Я думаю, что я пока еще и сейчас умираю. Когда же умру окончательно? Весной? А зима будет для меня порой медленного угасания, осенью? В таком случае можно было бы сказать, что я живу как бы замедленной жизнью, опаздываю на один срок. В лесу осень, я же жил летом, теперь зима, а у меня осень? Ждать ли в таком случае прихода весны, если с ней придет моя окончательная смерть? Тут поневоле задумаешься. Но почему, собственно, и не ждать? Или я трус и боюсь смерти? Или она что-то дикое, страшное? Она, конечно, дикое и страшное, но не настолько, чтобы ее не принять. Придет, и примем, и не будем отказываться, как не отказывались от жизни (отказывайся, не отказывайся — все равно придет).

Плохо то, что не подступиться к ней. Не удивительно, что я хочу все время спать, что хандрю, ною, равнодушен и невозмутим и никакие красоты меня сейчас не удивят, самая божественная красавица стань передо мною, и я ей не возрадуюсь. Все это, конечно, плохо, и в другой раз я бы основательно себя поругал за то, что опустился так низко, но за что ругать? И виноват ли я в чем? Как говорят, против рожна не попрешь. Зима, смерть — этим все сказывается. Значит, нужно нести свой крест и не роптать.

Странное дело, как только ты соглашаешься с этим, к тебе приходит прекрасное настроение, как будто смерть — это так же хорошо, как жизнь, как будто ты не хандру принял, скуку, недовольство, сомнения, а бла-

годать на плечи взвалил, розу понюхал. А скорей всего так: жить и умерев можно. И нужно. И это меня радует. Выходит так, что жизнь больше, чем смерть, и даже тогда, когда ты умер и тебя нет на земле, а есть о тебе одно воспоминание, некая бледная тень, дух незримый, ты все равно живешь, как одуванчик летом, что распушился и жил много дней, сорванный и брошенный детьми на дороге. Прими смерть, прими,— говорит мне сердце, уговаривает,— жить иначе все равно невозможно. Не принимай,— говорит другой голос,— ведь это смерть к тебе пришла, а не случайный прохожий воды попить. Принять смерть не мудрено, а как снова на этот свет родиться?

Неподалеку от кордона в старом блиндаже у оврага живет лиса. Я часто вижу ее следы в поле, у стога сена, где она охотится на мышей, у речки, где ищет тетеревов, на лугах. А недавно повадилась она ко мне на кордон. Утром встану, выгляну на крыльцо, а тут след лисы и отметина на самом краешке крылечка. Я обескуражен. Как мне принимать сей знак? Обижаться или обрадоваться? С одной стороны, вроде бы ничего плохого в этом нет — пришла, оставила свою метку, и нет ее. Что сделала плохого, чем оскорбила? Или уголок крылечка не для того существует, чтобы на нем отмечать свои следы? Но, с другой стороны, уголок-то крылечка не ее, а мой, я сам при желании могу тут отметиться, а не отмечаюсь, и потом, как у лис, не знаю, а у людей не очень принято оставлять отпечатки подобного рода. Ну, пришла бы, ну, побывала в гостях, если ей уж очень захотелось, сообщила какие новости, а уж свой груз оставила бы где в другом месте. Вовсе не обязательно приходить к приятелю в гости, чтобы мочиться у него на пороге.

Голова в тумане, как будто заморожена, недавно были большие холода, и вот ее прихватило. И весь я заморожен, как земля. Горько мне от этого, живой человек, а мертвый, как будто цел, невредим, а ни рук не поднять, ни ног. Смерти своей не пугаюсь, что мне ее пугаться, если я мертв. Будь я живой и умирал, тогда другое дело, тогда мне было бы жалко расставаться с

жизнью, тогда бы я цеплялся за нее, но умерший, что он чувствует, что ощущает? Он мертв, этим все сказано. Впрочем, хоть он и мертв, он не бесчувственная же деревяшка, он и старое помнит, и новое ждет. Но помнит без сожаления, но ждет без волнующих и тревожных сомнений, он знает — придет. Одно ему трудно: быть мертвым и иметь этот длинный зимний день, и хоть не настолько трудно, что ложись и помирай, а все же невтерпеж. Как будто в какой-то постоянной готовности находишься, как солдат, или пожарник, или мать у колыбели. Чуть стихнут морозы, чуть солнце вспрянет, зажурчат ручьи, заблещут воды, потеплеют ветры, оттает земля — и тут же рванется к свету зеленый стручок, ни на секунду не задерживаясь. Будет ли он сомневаться, идти ему или не идти, стрелять или не стрелять вверх? Таких сомнений он не знает.

Я делаю что-то, дрова рублю, в обход хожу и как будто ничего не делаю. Душу в работу не вкладываю. Ругаю себя и не ругаю. Причина понятна — зима. Пришла она в лес, пришла и ко мне. И было бы глупо ругать себя за лень и вялость. Или в лес зима прийти может, а к тебе ей прийти нельзя? Но почему, когда была осень, говорил: нет у меня осени, а есть весна? Там я не хотел жить осенью, бодрился, молодился, а тут скис, и зиму, как смерть свою, принял. Наверное, и там, в осени, мне только казалось, что я не принимаю осень, что молод и до осени мне далеко, а был я в ней угрязший по уши и тогда, когда пел гимны своей молодости, доживал последние дни. И смерть была у порога. Я себя обманывал и обманул. Хорошо, что я тогда об этом не знал, а знал бы, сколько ненужных слез я бы выплакал, сколько стенаний вырвалось бы из моей груди! Жалко расставаться с жизнью (еще бы не жалко!), жалко покидать этот мир, пусть он и глуп, и несовершенен, и дрянной, и соседи тебе не нравятся, и прыщ на носу вырос, но, когда расстался с жизнью, перешел через порог, чего тебе жалко, какие ты слезы льешь? А никаких. Потому что ты ничего не потерял. Или, умерев, ты потерял жизнь? Но ты живешь. Солнце? Но оно светит, хоть и не так ярко, как летом. Больше того, у тебя есть то, чего осенью, летом не бывало. У тебя есть надежда и вера в жизнь, что придет весна и ты ожи-

вешь. А как приятно и прекрасно надеяться, верить и ждать. Поистине, это лучшее, что может быть в человеке.

Если что и вспоминать о зиме, то толстые бревна, двуручную пилу, себя с пилой склоненным над бревном, пиликаешь это бревно туда-сюда. Странно, но, несмотря на свою красоту, зима, оказывается, как смерть, безлика, она, правда, не так ужасна и страшна, как смерть, но не потому ли, что к зиме мы привыкли, а к смерти не можем привыкнуть, да и когда к ней привыкать — сегодня пришла, сегодня и нет тебя. И все-таки не только бревно я помню, и двуручную пилу, и себя, склоненного над бревном,— такое приходит на ум сразу, видно врезалось сильнее, а вспоминаю я и лыжные походы в лес, и замерзшую реку, и булькание воды подо льдом на порожистых местах, и следы зайца в огороде, выдру, тихо согнутые от снега коромысла берез, лунные ночи, искры снега под ногами, точно ты идешь по звездному небу, жаркую грудь снегирей, встречающих бледное от морозов солнце. Значит, и в зиме есть какая-то прелесть, и человек находит в ней прелесть. Это важно понять для чего? Для того, чтобы не совсем нам отвергнуть зиму.

Устав от нежелания жить, от отчаяния, я бы в один прекрасный момент согласился умереть, наложив на себя, грешного, руки, или внушил бы себе мысль о ненужности, никчемности своего существования и, думаю, не сделал бы ничего сверххудого. Худое бы я, конечно, сделал, грех и непростительная вина — покуситься на свою душу, и никто тебя в этом не оправдает. Но не сделал я бы этого не потому, что тебе нет прощения, а потому, что, наложив на себя руки, ты будешь продолжать жить и кольцо твоих отчаяний и ужасов будет сжиматься все сильней и сильней. Обманчива подобная видимость освобождения. Тебе кажется, стоит тебе полоснуть ножом по горлу или набросить на горло петлю, и ты избавился от всех бед и влетел в обитель рая вкушать незримые плоды. Будь этот путь верен, сколько бы страждущих безумцев каждый день полосовало себе горло и уходило туда. Однако ничего подобного мы

не замечаем, мы видим, что люди мучаются, страдают, переносят лишения, но идут, но бредут, но шагают, добираясь до мучительного освобождения иным путем. Близок путь к смерти и далек к жизни, и, как он ни далек, мы за него хватаемся и призываем к себе.

Обманчивы спокойствие и безмятежность зимнего леса. Кажется, он спит, он тих, он, как колода, бесчувственный, в золотой сон погрузился. И будет спать в этом сне до весны. Как бы не так. Именно в зиму он страдает больше всего. Он переживает, что он мертв, что не цветет, не растет. Но разве кто требует, чтобы он цвел? Или солнце его к этому призывает, или луна торопит? Никто его не торопит. А меня торопит. Кто? Жизнь, я сам, люди, лес. Может, лес не страдает, только я один страдаю, стоит он себе и горя не знает. А мне не заснуть — вот потому я и страдаю. Как бы ни говорил, что я смерть принял, как бы смерть ни умолял прийти, а до смерти моей далеко и слова о смерти — это только слова и ничего больше. Вот когда умру, тогда я действительно буду мертв, тогда и смерть ко мне придет. Трудно быть живым и в то же время считать себя мертвым или быть мертвым, а считать себя живым,— тут какое-то противоречие большое и серьезное. Пока не кончится зима — так мне и страдать и не разрешить его? В лесу зима, и у меня должна быть зима, а я жив, я не умер, не уснул. А откуда мне известно, жив я или умер? Может, я давно в покойниках хожу и в земле мои кости гниют. Мало ли мы знаем ходящих, глядящих и прочих мертвецов, которые давно умерли и сгнили, а все по земле бродят. Полон свет этих красавцев.

Меня ждет весной встреча с одуванчиком, и я мысленно прокручиваю эту встречу. Я вижу его у дороги, у колодца, у кордона, на лугу. Вот он далеко, так далеко, что отдельного цветка не видно, а желтеет вся семья — маленький желтый туман стелется над зеленой травой. А если одуванчики еще дальше, то и тумана не видно — ничего не видно, одна только мысль об одуванчике в голове. Вот цветок совсем рядом, я вспоминаю, как разглядывал его раньше, как подходил близко и уходил далеко, не специально разглядывал, а идешь по

дороге — почему не поглядеть? Мне кажется, я сейчас в своем воображении вижу одуванчик еще явственней, чем в жизни, стань он сейчас передо мной, и я бы остановился и глядел на него, нюхал бы его острую горечь, он бы волновал меня, как близкое присутствие девушки. Я вспоминаю все случаи, когда рвал одуванчики или обращал на них свой взор, то от нечего делать, то вообще неизвестно почему.

Конечно, всех встреч с одуванчиками при самом горячем желании не припомнишь. Сколько их попадалось? Может, и не тьма, но и не один, не десяток-другой, а сотни, и каждый был по душе, от каждого остались добрые воспоминания, чувство признательности за ласку, за привет, каждый живой стоит перед глазами, когда на самом деле его давно нет, во всяком случае рядом нет. То, что они уходят, меня не огорчает, я радуюсь будущей с ними встрече. Рады ли они встрече со мной? Мне хочется думать, что рады.

Морозы, и неуютно мне от них. Как ни стараюсь я принять зиму, а душа ее не приемлет. И холодно мне, и зябко, и ватник тесен, и спина болит, и сапоги кажутся тяжелыми. А на дворе что? Воздух тяжелый, мороз, метель — нигде ни сесть, ни остановиться — беги, как голодный волк, и бегу своему радуйся.

И не голоден я вроде, и хлеб у меня пока есть, и вода в колодце, а оттого что зима, хлеб несытным кажется и жизнь сиротской. Видно, недостаточно крепко я на ногах держусь, что одно только явление зимы меня наземь сбивает.

Будь я барин, богач, имей тулуп донизу, валенки, еду пожирней да погуще, сани с лошадьми, теплую лежанку, которая никогда не остывает, бабу под боком, может быть, я тогда зиме радовался. Мне же зима своей лютостью дух перебивает и студит все внутренности. От зимы я скукоживаюсь, угнетаюсь.

Плохое настроение, а точнее состояние, от меня зависит. Зима прекрасна. Ай да зима, чудо как хороша! Я плох. Но и плохой я не настолько плох, чтобы клеймить себя и пинать ногами или сказать зиме: уходи!

Сказать бы сказал, да уйдет ли? В том, что уйдет, я глубоко сомневаюсь. Если можно было бы так сказать себе, каждый бы говорил и прогонял плохого, а хорошего привечал, но он сидит, ты его гонишь, а он не идет. Да еще развалился, ногу на ногу назло заложил, чаю, кофе требует, музыку ему включи, книгу хорошую дай. На этой постели, скажет, я, братец, спать буду. Люблю спать на мягком. И займет твою единственную постель, а тебя на пол положит. Эту книжку я сперва почитаю. Возьмет у тебя книжку и будет читать и получать от нее удовольствие, давиться смехом или исходить слезами, а ты сиди у окна, гляди в лес и соображай, чем бы тебе заняться. А почитав книгу, отложит ее в сторону и скажет: что-то проголодался я немножко. Ну-ка сообрази поесть. И ты соображаешь. Пока он сидит, развалившись в самодельном кресле, ты бежишь за водой, чистишь картошку, топишь плиту, варишь, кормишь его, поишь, ухаживаешь за ним, как за грудным младенцем, — ты весь к его услугам, в его распоряжении. (И счастлив, что у тебя хоть кто-то есть.) Кажется, где тут логика? Остановиться бы, посмотреть спокойно со стороны да и заявить категорично: а ну-ка, почтенный, убирайся отсюда на все четыре стороны. Не лакей я тебе и не слуга, и ты не барин, чтобы я тебе прислуживал. Но ты прислуживаешь, сгибаешься в три погибели, а он фанфаронит, фордыбачит, ходит важный, как гусь. И ты, ко всему прочему, еще доволен таким положением. Стал бы он собирать свои манатки, ты закричал бы: не уходи, останься со мной навеки. Впрочем, кричал бы ты или не кричал, этого я не знаю. Предполагаю.

Услышал слабый ропот и огляделся: откуда бы голос? Поле голое вокруг, нет ни деревьев, ни кустов. И тут заметил слабую травинку. Она-то и трепетала при виде меня. Отошел на шаг. Трепещет. Я дальше посунулся. И тут не умолкает. Обошел ее стороной. Шапку снял, чтобы лучше слышать. А она хоть и тихо, но лепечет, и трепет ее в снежном поле слегка раздается. Что за наваждение! Неужто я какой страшный зверь, что при виде меня травинка трепещет? Ушел совсем и долго в ушах ропот травинки слышал. Весь день он меня преследовал. Как остановлюсь, ухо к тишине пристрою,

слышу травинки голос. Так по сей день он в моих ушах и остался жить. Да и почему бы ей не трепетать? Не зверь, возможно, но и не ангел.

Помню, как в детстве бабушка варежки связала, а мне до сих пор тепло. И если зимой не ношу я никаких варежек и в метель и в мороз хожу с голыми руками — это не оттого, что денег у меня нет или времени съездить в город и купить рукавицы, и совсем уж не оттого, что рукавиц этих нет в продаже, их в магазине полно, а оттого, что тепло от бабушкиных рукавиц мне и сейчас руки греет.

Тогда скажут мне: почему ходишь в брюках, почему не ходишь без них? Ведь и штаны тебе когда-то покупали в детстве, да не одни, а несколько? (Сколько их было, я счет потерял.) Почему же они тебя не греют, а как только износились старые, ты тут же покупаешь новые? Я и сам этого не знаю и удивляюсь. Видать, бабушкины варежки оказались долговечнее иных штанов.

Зимний день, он приходит к тебе и ласкается, как прирученный зверь или ребенок. Кто его не замечал! Он ласков, он обихаживает тебя своим душевным расположением, игрой, и ты его обихаживаешь, и, кто дарит ласки нежней, не понять. Но, конечно же, он. Трудно представить, чтобы ты дал много, а он поскупился. Он дает, а ты скупишься — так будет точней. Ничем он не примечателен и повседневен, как бывает обычный зимний день в три часа пополудни. Тот же тихий свет, неяркий и краткий, струится по лесу, те же ели и сосны смотрятся сквозь морозную поволоку, тот же снег на дороге, на поле, на ветвях дерев; белесое небо; хилые облачка, просвечивающие синевой; тусклое солнце на закате и снегирь на ветке, ярче чем солнце; безветрие; бревна, привезенные на машине и сваленные второпях; сани; топор, прихваченный инеем. Ничего нет в этом ласкового, если смотреть отдельно, ни небо, ни бревна, ни топор тебя не нежат, не обнимают, а если взять во внимание мороз, так он скорей колет и режет, чем гладит. Картина привычная, кажется, с детства, была она вчера и завтра простоит — столько в ней незыблемого, вечного и даже тоскливого. А все вместе рождает ощу-

щение, будто тебя этот мир поцелуем увенчал. Чмокнул в лоб — и ты отмечен. И не то мне радостно, что отмечен, а то, что ласку в зимнем дне вижу.

Каждый шаг я готов петь здравицу в честь природы: зеленой сосне в снегу, инею на ветвях березы, мерзлому полю, распушившейся иве. Нет, кажется, в мире такого предмета, которому бы я не поклонился с благодарностью и не воспел его. Какой-нибудь навоз, березовую опухоль и ту воспринимаю. И это меня не злит, а раздражает. Ну, можно обрадоваться утру, можно поприветствовать солнце, можно открыться в любви к сосне или мерзлому полю — выбор на вкус, а он у человека велик, противоречив и непонятен. Утро ты поприветствовал потому, что без этого как-то и день начинать не хочется. Солнце поздравил — как не сказать ему несколько слов, работяге? Иву полюбил — и тут твои симпатии и чувства понятны. Не возражаю против восхваления и всего остального — вьюг, морозов и метелей. Но если рассуждать так, неужто нет в этом мире таких вещей, которые не только восхвалять, но и пугаться и бежать от них нужно, которые приносят смерть, разруху, разрушения? Вот и кажется мне, что восхваление мое и любовь есть не истинное восхваление и любовь, а некое ложное чувство, говорящее скорей не о любви, а о равнодушии. Или о любви к себе, а не к деревам и снегам. Но может быть и так, что чувства мои вполне серьезны и искренни и устойчивость их предполагает во мне в будущем жестокую хандру и ненависть ко всему тому, что я сейчас прославляю.

Серенький зимний день, серое небо над тобой, как брюшко зайца. Оно вроде все и белое, но серит, и не в глазах, а на самом деле. Но не только то, что белое кажется серым, а и черные деревья, и изба, и дальний еловый лес, который в обычные дни от густой зелени черен, как головешка, теперь размяк, посерел и в серости своей растворился на горизонте. Кажется, все в природе победила серость, меня одного ей не одолеть. Не успела, или сама не взяла для равновесия, или я показался ей недостойным.

Бодро утром вскочил с постели, бодро затопил пли-

ту, поел и теперь бодро гляжу на окружающую меня природу. Вот, мол, она сдалась, а я не сдамся! Но серость мягка, она не давит, не печалит, но и давит, и печалит своею мягкостью, и опутывает, завораживает своей добротой. И сам ты постепенно проникаешься этой серостью. И тебя уже не видать. Крикнуть бы: где ты, ау! А тебя нет.

Упрям я и зол на морозы. И чем больше злюсь, тем больше упрямлюсь. Но поупрямлюсь — и задумаюсь: а нужно ли упрямиться? Но кто на такие вопросы даст ответ? Говорят, одуванчик один раз в году отвечает. Да где сейчас найти одуванчик? Цветет-то он летом, в июне. Пошел на лыжах на луг, где летом рос одуванчик,— может, он сейчас мне, мертвый, что-нибудь брякнет? Не дожидаясь лета. Снега на полях еще много, земли не видно, и только память моя отмечает место, где рос одуванчик. Вот я, кажется, стою над ним. Прислушался. Слышу легкий шаг ветра над шершавым снегом, слышу такое же легкое попискивание мыши в норе под снегом, сразу и не разберешь, то ли снег скрипит, то ли мышь усердствует, слышу громкий, как пушечный выстрел, чих зайца на другой стороне леса, слышу дыхание вороны, сидящей за моей спиной на сосне. А это что за шум, неясный и туманный, тише самого легкого дыхания ветра, тише писка мыши и скрипа снега? Уж не одуванчик ли голос из-под снега подает? Напряг я уши, вслушиваюсь. Нет, это береза, нагревшись на солнце, грезит молодым весенним соком: как придет срок и оттает земля, хлынут из черной земли в белые стволы соки, зазеленеют листья. Забыл я про голос одуванчика, вспомнил, что весна на носу. Дотерплю до лета, а там и узнаю, злиться мне на зиму или нет.

Встретил в лесу птичку кругленькую, толстенькую, как картофелина. Я подошел к ней, а она меня не боится, не улетает, кажется, я бы руками мог ее взять, так близко она меня к себе подпустила. И оттого, что встретил я незнакомую птицу, или оттого, что птица оказалась дружелюбна, не испугалась меня и не улетела, как обычно улетают все птицы, даже вороны, которые меня знают как облупленного, не подумала, что я сделаю ей вред, стало мне радостно и легко. Я даже прослезился

от радости. Как приятна доверчивость птиц! Ты ее не знал, никогда не встречал до этого, встретишь, не встретишь еще — неизвестно, но сейчас встретил, зла на нее не держишь, напротив, душой расположен к ней, и она это понимает и принимает и тоже, может быть, рада, что ты доверчив, не побежал от нее, в кусты не спрятался.

Стоял, глядел на нее и запоминал, какая она есть, чтобы потом спросить у знатоков орнитологов, что это за птица, и не было у меня в голове мыслей поймать ее или, пуще того, убить. Недолго длилась эта мирная сцена. То ли подвинулся я к ней ближе положенного, то ли ей любопытство мое надоело, но она вмиг вспорхнула и улетела. А может, и сам я ее вспугнул или испугался неосознанно, не желая слишком длить эту невероятную встречу. Если бы все птицы не боялись нас, как не боятся домашние куры и гуси, принимали из рук корм, лезли в глаза, путались у ног,— это было бы так оскорбительно, так обидно! Но, с другой стороны, разве не обидно, что они нас боятся, как злодеев каких, как разбойников, покушающихся на их души? Обидно.

Не люблю зиму уже за одно то, что ношу сто одежек. Тут и майка, и рубаха, и свитер, и штаны, и телогрейка, и шапка, и рукавицы, и еще уйма тряпок, и сапоги какие-то тяжелые, и шарф, и прочее. На все, чем тебя наделила природа, надо что-то надевать: на голову, на руки, на ноги. Есть ноги — надевай на них сапоги, валенки. Голова — надевай шапку. Руки — цепляй рукавицы. Ходишь в одежде, и так ты укутан, так скрыт от чужих глаз, что задайся вопросом: где ты? — и не найдешь себя. Шапку найдешь, валенки, тулуп, а естество твое спрятано, его не видно, будто и нет его. И оттого не удивлюсь, когда на вопрос: кто это идет? — ответят: шапка, валенок. Это и в самом деле шапка идет или валенок. А человека тут нет.

Люблю лето, тепло, когда нет на мне этих проклятых тряпок или когда их самое малое число — одна, две, и они легкие, как перышко, как пух, и не медведем ты кажешься в них, не валенком, не овцой, а птичкой, когда все в тебе открыто и вырывается наружу, соприкасается с воздухом, с дождем, с землей. Ноги — с землей, лицо — с дождем, плечи — с ветром. И, глядя на тебя,

говорят: вон ноги идут, голова идет, руки торопятся. Весь ты тогда открыт, и одежда твоя — воздух, тебя окружающий, лес, небо, ветер, горы, да майка, да трусы, да и они так легки, что кажется, сотканы из ветра, из неба, из воздуха.

День солнечный, светлый, чистый, блаженный день. Куда ни посмотришь, все тебе нравится. Посмотришь на сосну — сосна стоит прекрасная. И зелень ее хороша, и ветки, и ствол, как колонна, поддерживает холодные небеса. Глянешь на ель — и она не уродина. Стоит остроконечная гора и полнеба собой занимает. Выйдешь в поле, и тут хорошо, ладно. Куст бузины невелик, да великолепен. Ветки упругие, крепкие, разросся бойко — как на него не любоваться? Кустик полыни сохранился между камней с осени. Кто же ему не рад? Трепещет он, помертвелый, над морозным дневным жаром, и весело тебе от общения с ним. Поле на обзор великое, а все в нем малое: трава, кустики, деревца, все к земле жмется. А в лесу на шаг не глянешь свободно, чтоб взглядом не уткнуться то в ель, то в камень, то в пень, то в край соснового бора. И только в небо большое все уходит: деревья, поля.

Если из всех дней в году выбирать самый светлый, то это будет зимний день. Почему? Потому что он в то же время и самый темный. Светел день весной, светлее этой поры, кажется, дней не бывает,— солнце висит в вышине и освещает землю, сверкают воды, тающие снега, сверкают глаза у молоденькой девушки, сверкает лезвие твоей лопаты в огороде. Зимой что сверкает? Разве что снег. Солнце низко цепляется за дальний лес и оторваться от него не может. Свет вокруг не столько бел, сколько розов, румянятся небо и сосны.

Сегодня в окошко заглянуло солнце в первый раз после зимы и оставило на стене след. Пока я его заметил, поохал об этом событии, и охал не долго, с какую-то секунду, его и след простыл — убежало солнце, но что-то крепкое во мне перевернулось. Я тотчас подумал: конец зиме. Нет ее, не было и никогда не будет. Где

там! В окно виден густой воздух от мороза, а чуть нос высунул на крыльцо — и зябко мне стало, и холодно, и в обход нет охоты идти. Сидел бы целый день в избе, грелся, да разве усидишь? Ногам и телу хорошо, а душе скучно, тесно ей томиться в избе, погулять хочется. Так бы и оставил свое тело на кордоне, а душу гулять отпустил, пусть она, резвая, бегает по снежному лесу, мороз ей не страшен, рыхлый снег не глубок,— набегается и вернется, кто ее украдет? А вдруг отпустишь, а она, от радости по обретенной свободе, унесется куда, в какие дальние веси, и не вернется, потеряется в дремучих лесах, или какой охотник ее поймает, подстрелит да в сумку спрячет? Нет, уж как ни хочется выходить в лес, а придется. Собирайтесь-ка, ноги, руки, лучше нам померзнуть, повязнуть в снегах, пострадать, а душу не отдадим!

Были легкие зимние облака, даже не облака, а пыль снежная, поднятая с полей и сверкающая на солнце. Было солнце, легкий морозец, и я впервые увидел ту весну, которую люди называют весной света. Света прибавилось не только утром и вечером, его стало больше и днем. И в полдень, если небо чисто, свет сияет повсюду, и все-таки зима есть зима. И хоть светло кругом до горизонта, остается в тебе ощущение, что светла только одна часть неба, южная, а северная темна, что день в свой самый светлый миг, когда он озаряет освещаемую часть мира, разделен на две половины и граница проходит посередине неба. Стоишь ты в одной половине — ты в дне стоишь и свету радуешься. Стоишь в другой половине — ты находишься в ночи. Это состояние полно веселых и тревожных чувств: какая часть неба тебя захватит — темная или светлая? И от такой раздвоенности небо зимой кажется низким, маленьким, съежившимся, как спущенный мяч. Это летом оно широко и высоко, звенит, как колокол. Глядишь в небо, ищешь ту, противоположную ей, светлой половине, часть и не находишь — так далеко она отдалилась, ушла.

Не по холоду определяют зиму, а по тому сроку, когда она является, приходит. Будь зима жарче африканского лета, а коль ее срок настал, то ее срок настал,

а не чей-нибудь другой. Не бывает после лета весны, а после осени лета. Вся тайна в строгом чередовании времен года, смерти и рождений. Если дерево родилось и обросло листьями и они должны у него пасть, то они упадут, а случится это весной или летом — нам нет никакого дела. Пусть падают летом, если им так нравится, а растут зимой; но, родившись, они должны умереть, а умерев — родиться. Оттого что дерево должно родиться или умереть — вот отчего приходят времена года: весна, осень, зима, лето.

Вот облаками загромоздило, заложило небо. Вот стушевались краски в лесу. Не блестит снег, не играет на солнце ручей. Нет для глаз голубизны и синих далей. Упирается взгляд в лес, в облака, в пень у дороги — нет ему нигде выхода. Не тенькают синички, не капают капли с крыши, не гуляет солнце по полям, сорока стрекочет, и тонет ее крик в сером тумане. Где яркая зимняя зелень сосен, оттененная снегом? Она черна. Где мечты о весне, о лете? У кого, в какой голове они возникнут в такой день? Разве что у вороны, от врожденного чувства противоречия. У нее всегда не как у всех. Где мысли о зиме? И их нет. Что же тогда есть? А ничего. Серая, волнующая душу облачность на небе, через которую не пробивается солнце, несколько часов светового дня, ноль градусов тепла и столько-то дней до весны. Не зима, но и не весна. Предвесенье.

Чем ближе к весне, тем свободнее бьется сердце. И, выходит, я был прав, и отчаяние мое — это дань зиме. Это не мое отчаяние было, а зимы, она его на меня навесила, и я нес его на своих плечах. Не попади я в ловушку, не уподобься лесу, и я бы пережил зиму беззаботно, не ощущая тяжести. Но тогда я бы не имел лета, осени, весны, не радовался бы им, не переживал бы вместе с ними веселые праздники и грустные дни, свою юность и свою спелость, и что бы я из себя тогда представлял? Конечно, тяжела пора отчаяния, нежелания жить, страх смерти наваливается на тебя, и давит, и тянет в могилу— все это так, но ощущать снова рождение, радость быть молодым, ребенком, липким лист-

ком, ощущать свет, лето, любовь, любить свою осень,— боже, какое это счастье — жить! Ради этого я готов принять сто раз смерть и зиму.

Вышел ночью на крыльцо и звук живого снега услышал. От тумана, от тепла, от лучей потеплевшего солнца ожили снега, задышали. Как тих, как робок их вдох и выдох, за стуком своего сердца не различишь. Звезды в небе, двигаясь по своим кругам, и те издают больше шума. Несмел говор снегов, кратковремен и скоротечен. Бьется он где-то между жизнью и смертью, то глянешь — и снег один видишь, то утром проснулся — где он, снег? Вместо снега на земле прошлогодняя трава. А снег ускакал, как конь, как золотой сон детства. Бросишься ему вдогонку, а тебя трава молодая обступает, зелень. Ты за снегами побежал, а зеленое лето встретил. И не досадно тебе за такой обман, да и обмана ты в этом не видишь; за чем побежал, за тем и прибежал.

От шоссе к кордону у меня две главные дороги — одна идет по лесу, темная дорога, другая, светлая, петляет по опушке. У этой дороги одна сторона касается высоких сосен, густых зарослей рябины, другая — открыта для поля. Дорога светла, обращена на юг, и я ее люблю и предпочитаю первой, особенно весной. Тут, от безделья, разумеется, и для того, чтобы разогнать зимнюю застоялость и лень, я устраиваю мастерскую. Я леплю снеговиков. Скульптор из меня никудышный, плохой. Смысла, как требуется в таких случаях в работе, я не ищу, и фигуры мои не несут никакой идеи. Это не какие-то осмысленные фигуры, а, скорей, слепленные глыбы снега, которые мне приятно гладить рукой. А от глажения они, естественно, меняют формы и обретают замысловатые очертания. Когда я занимаюсь подобным творчеством, мне важно не фигуру вылепить, мне важен сам процесс глажения рукой по снегу. Я глажу снежную бабу, и мне время от времени кажется, что я таким образом выражаю свое отношение к природе, к зиме, к миру — я их глажу. Ну когда, в каких иных случаях можно так предметно выразить зиме или весне свою любовь? Высказать ее словами? Это прекрасно. Но слов можно нагородить короб, и потом, никто еще из влюб-

ленных не ограничивал свои чувства одним словом. Движение, поступок — может, и не больше, но обнаженнее, откровеннее слова. Я глажу свое рукоделие, и мне кажется, что в причудливых изгибах, которые выходят из-под моей руки, есть какой-то смысл: они выражают мою любовь к природе, к лесу, ко всему живому на свете. Мне даже кажется, что самое чистое проявление любви — нежное поглаживание. И будь я художник, умей лепить людей, снежная баба от моих рук вполне бы ожила, почувствовав ласку, но я не умею лепить людей, да, выходит, и не хочу, и потому она не оживает. Да и кому на свете будут нужны мои уроды! Они еще долго будут стоять на дороге, плоды моей нежной любви, пока не расстреляет их весеннее солнце и они не пропадут, не растают. Но дело сделано — я любил их, я ласкал, нежил, совершал этот таинственный танец, а кого любил, кого ласкал, кого нежил — это ли интересно?

Хороша весна и прекрасна, а что-то в ней тебя не устраивает. Ты знаешь, что это, может быть, твоя последняя весна, будет иная, а такая уже не придет, но ты говоришь: будет еще и такая. И хоть сладок приход новизны, но и расставание со старым огорчительно. А между тем старое уже не придет. И нужно ли, отбросив его, устремиться к новому или немножко подождать, принимая и то и другое, и если от чего отвыкать, то постепенно? Этого я не знаю. У меня есть сотни готовых рецептов на одно и на другое. Я могу сказать, что нужно сделать так, а потом скажу иное, могу даже поступать и так и этак, но мне важно знать, где мой верный путь. А точнее, я знаю, что со старым у меня покончено, но новое я принять не в силах, и вообще, может быть, не приму никогда,— вот я и даю себе отсрочку, надеясь, что со временем, коль я не могу, оно поможет мне. Можно и не отчаиваться, но в какой степени себя понуждать? У тебя нет настроения, ты себя понуждаешь, ты отчаиваешься? Важно себя знать — какой ты, на что способен,— найти себя в лесу. Найти себя — это и значит найти себя в лесу. А до этого он для тебя потерянный. Не лес искать для себя, а себя в лесу. Или не себя в лесу искать, а лес в себе? Что тут вернее? Нашел себя, и ты уже знаешь, как определяться.

Едва отпустила зима, и я уже заслюнявил, заохал, заквохтал, соками любовными истекаю и без меры восторжен. Чувствую в себе восторг, а опыт говорит: главное — мера, успокой, утихомирь свое сердце — добром это не кончится. Люби — кто этому враг, кто не позволяет, но люби спокойно, мудро, не разрушая себя ложной взвинченностью. Поверь, в каждой любви есть ненависть, и имей ее, и держи в уме и в сердце, а то, что любовь выше ненависти,— это уже дело десятое. Так я сам себе говорю, уговариваю, убеждаю, и убедил бы, если бы мог, но сердце, но чувства как убедить? Ты думаешь одно, а сердце твое приказывает и убеждает: чушь это все про ненависть. Есть любовь — и люби, и живи любовью, если тебе живется и любится, до самых последних дней своей жизни живи, а если умрешь, то не от любви, а оттого, что жить без любви не сможешь, что уйдет она от тебя. Сам ты ее никогда не оставишь.

Чему радуюсь? Тому, что есть ноги и они ходят, есть руки, глаза, уши, сердце, радуюсь дню, ночи, радуюсь встрече с другом, радуюсь тому, что могу радоваться. С чего у меня такая жеребячья прыть? С какой такой молодецкой удали восторг? А не от удали это и не от восторга, а от страданий, боли, от стольких дней зимы, холодов, тьмы, страха. Сколько я перестрадал, перемучался за эти долгие осень и зиму, сколько раз умирал и был близок к смерти — кто об этом знает? кто свидетель? Разве что солнце, видевшее меня мрачным. Или сорока, сопровождавшая в пути. Или сосна, мимо которой я проходил каждый раз лесом. Но что они могут знать и видеть? Кто когда заглядывал в чужую душу без страха ошибиться? Нет, это не жеребячья прыть, не безумная радость — радуюсь, мол, и все тут, — а радость весны, освобождения, радость, последовавшая от гнета, от страданий, и чем она меряется: тем ли, что ты пережил плохого, силой твоей улыбки, светом ли после перенесенного мрака? Вот если так посмотреть, наверное, иной покажется эта радость, хотя, если говорить откровенно, радость всегда и всюду одинакова, от радости ли она идет или от горя.

Ранняя весна переносится еще тяжелее, чем зима. В зиму сидишь в холодной избе, мерзнешь и терпишь

неудобства, знаешь, терпи не терпи — все равно холод будет. Зиму как должное принимаешь, хоть и не хочется. А в весну нетерпение твое, ожидание, обиды нарастают, ты уже о тепле думаешь, о солнышке, а тебя каждый день морозы душат. Думаешь: вот завтра капель, вот солнце будет. Но не будет его ни завтра, ни послезавтра. В самый солнцепек в середине дня капнет с крыши с десяток тощих капель, на южных склонах оврагов солнце и ветер подлижут, подберут снега, очистят словно рубанком, синичка оттенькает за окном несколько едва слышных песен — и на этом весна кончилась. Все тут обманчиво: и солнце, и дали, и запах ветра, и мутное волнение в крови. Размечтается тебе в полдень: ах, весна наступила,— и ты в фантазии своей уже чертишь цветущий луг, травы, ручьи, а к вечеру, глядишь, и снег зарядил, и морозы, и быть им еще много дней. Конечно, хорошо, что весна собой поманила, кому еще, как не ей, тебя манить, но и тяжелая эта штука — возвращаться обратно из весны в зиму. Иной раз наслушаешься пения синиц, и вдруг побежал. Десять минут бежишь, и двадцать, и уже бежать тяжело, дух спирает, и не знаешь, куда бежишь, а кажется тебе, что бежать нужно, словно кого-то выручить из беды должен или встретить за углом. А потом вдруг поймешь, отчего бежишь,— это весна тебя поманила и бросила. Пока она манила, ты бежал за ней, а бросила — остановился. Стоишь в недоумении и ругаешь ее: долго она будет заниматься обманом? Долго ли будешь, глупец, простодушно верить ей? Как милостью своей, она тебя одарила десятком капель. Так будь доволен и этим.

Только после того, как пройдет время и ты переживешь нечто с тобой случившееся, ты поймешь, что с тобой было, и, чем тяжелей и ужасней события ты пережил, тем ужасней они тебе теперь кажутся. Что я пережил за свою первую половину года? Можно много удивляться и ужасаться, но все удивления и ужасы не раскроют и малой доли того, что было со мной. Даже сейчас, по прошествии всего этого. Осень я еще любил, и она была мне близка. Но особенно досталось мне от зимы. Как я выжил, как остался собой — этого я не понимаю. Умом понимаю, умом все можно понять, а сердце понимать отказывается. Я это говорю не для то-

го, чтобы сетовать на судьбу, чертить злые картины жизни, разбудить жалость к себе и выставить себя эдаким молодцом. Какие я картины ни рисуй, а молодцом я себя в них не вижу. Не был я молодцом, да и не о молодце тут речь. О том, какие испытания приходят на долю человека и как труден его путь. Так же как я любил жизнь в ту пору, так же я ее потом ненавидел. Как кричал лесу «люблю», так и орал ему «ненавижу», и что делал с большей страстью и убеждением, до сих пор не знаю.

Тяжко досталась мне эта зима, так тяжко, что вторую такую я уже вроде и не хочу, и надеюсь, что она больше не придет. Как я буду жить в дальнейшем, как представляю свой земной путь без зимы — сказать трудно. Скажу: не хочу ее больше. И она уйдет? Не придет? И снег не ляжет на землю, и не дохнет с севера холодный ветер, не нагрянут на леса морозы? Трудно себе представить лес без зимы, еще трудней — как я смогу уйти от морозов.

Что же не кричал, когда мне было тяжело, не звал на помощь? Где мои вопли, стенания? Где слезы и ужасные картины страданий и бед? Почему я их не нарисовал? Их нет и теперь уже не будет. Не орал, потому что от природы самолюбив, не звал на помощь, потому что некого было, — кого дозовешься в лесу в зимнее время — рысь да волка? Да от них не много помощи возьмешь. Да и самому хотелось испытать такие трудности. Не показал слез — с детства не умею плакать,— хотя, если посмотреть внимательней, кое-какие слезы пролились. Не рисовал картин ужасов, но и на это есть причины,— не люблю я ужасы, не верю в них, а люблю прекрасное. Для верности, для правды, для дела, конечно, нужно было кое-где сгустить краски, немного бледными они получились, напустить побольше черноты, но сейчас я, чтобы не вводить людей в заблуждение, заниматься этим не хочу.

Вечер. Солнце зашло, и небо темнеет, тающие снега потемнели, и стволы деревьев на фоне темнеющего неба пропадают, смываются. Вечер, переходящий в ночь, красив, и я гляжу на лес, и надо мной небо, и на небо глянуть хочется. И чем больше гляжу на лес, тем больше на небо глянуть хочется. Но я думаю: лес красивее,

буду глядеть на лес. А между тем понимаю, что в это время на небе такая красота живет и, поскольку я не гляжу на нее, пропадает. Терпел, терпел, а потом не вытерпел и посмотрел. И правда, красотища: небо темно, а звезды светлы, и, когда ты глядишь на все это, в душе какая-то особая расположенность рождается к этой красоте, да оно и понятно, какая красота может быть выше красоты вечного неба? Но гляжу на небо, а сам о лесе начинаю думать: как же мне без него быть, как на него не смотреть? Вырвал бы эти глаза, забросил бы один в небо, другой в лес — нате, ешьте, сказал бы им, наедайтесь до отвала, только больше нет сил терпеть эти мучения.

Солнце, как дерево, и вширь и ввысь растет. Давно ли в этот час сумерками лес томился, а сейчас он полон солнца, лежит солнце на ветках деревьев, на стволах, примостилось на краешке мертвой травинки. Войдешь в сосновый бор, солнцу не удивишься,— какой бор живет без солнца? — оно его обогреет, оно и опалит. Войдешь в ельник — и там светло. И непривычно тут солнцу, и ели неловко себя при нем чувствуют, вроде как стесняются, да что делать, если весна и солнце растекаются по лесу, как река. Выйдешь в поле, а солнце, кажется, все в лесу осталось, в поле его нет. Да и самого поля нет. А что же есть? А пустота какая-то огромная, где ни земли, ни неба не видно, бездна перед тобой. Она-то и зовется полем. Стоишь и ногу боишься двинуть дальше. А вдруг и в самом деле бездна, и, ступив в нее, провалишься? Да что там провалишься,— уже провалился, уже ступил.

Смотрю в окно на куст бузины — и смотреть на него не хочу, и не смотреть жаль. На него не смотреть — на что еще смотреть? На лес? Он, конечно, прекрасен, но разве сейчас сравнится с кустом? На снега? Они хороши, но и им далеко до куста. На унылую и голодную ворону? На нее-то меньше всего смотреть хочется, хватит, насмотрелся. На сосенку, на березку, что стоят поодаль от леса? И на них смотреть бы рад, да смотрел. Не сравнятся они с кустом бузины. Вот он, куст, стоит передо мной, серебряный, золотой, бриллиантовый,

смотрю на него, на обыкновенный куст бузины, и краше его ничего в мире не вижу, да и нет ничего краше.

Жизнь наедине с природой сделала меня переборчивым, и я день ли, вечер приму не каждый. Принять-то я его, конечно, приму, куда денешься, если он приходит, не выпихнешь обратно в сени, на крыльцо, не закроешь перед ним дверь — и не в силах это сделать, да и дверь у меня всегда настежь,— а неудовольствие свое, если мне какой день не понравится, выскажу. Каждый день я, как новый костюм, примеряю: и покрой его посмотрю, и как сшит, ладен. Иному дела нет, какой день придет, нырнет он в него, как в июльскую речку, хорош ли, плох — все сойдет. Я не таков. Мне подай такой, чтобы был как с иголочки. И если у него одна часть будет хороша, а вторая подкачает, не приглянется, мне этот день даром не надо. Что я, враг самому себе — таскать неугодное? Чтобы все смеялись? Уж я выберу себе день, чтоб он мне понравился и по вкусу, и по цвету, и по восходу солнца, и по его закату, и по теням от деревьев, по запаху земли, по легкому движению ветерка. Посмотрю, каков он у реки, каков на поле, хорош ли у болота. Справедливо считаю, что если его принимать, то не безобразника, не уродину, чтоб не скучно с ним было, но чтоб и не закрутил бы он голову своей суетой. Чтоб и ободрил, и приласкал, и солнцем поприветил, и ветром обдул. Не привередлив я, но и не желаю, чтобы он хмур был, мрачен, холоден ветрами, зол морозами, да кто в наше время дни для себя выбирает?

Лежу в избе и не воспоминаниями детства занят, не разбором обид по службе, не подсчетом, сколько у меня денег осталось, сколько хлеба, сахара, доживу ли до очередной зарплаты или не доживу, не с родственниками веду очередной семейный письменный спор, не о девушках гадаю, не рисую прекрасных картин будущего, не разрешаю проблем человечества, а ощущаю лес. И нет его рядом с тобой, не видишь ты его, и навиделся за день достаточно, крепкие бревенчатые стены тебя от него спасают, и темнотой ты от него огражден, а не спасен, не огражден, лезет он к тебе через бревна. Да что бревна. Кожа, последнее убежище мое, охранитель-

ница драгоценного сосуда, и та как бы рассасывается, и я не просто лежу обнаженный, а освежеванный, прикасаясь голыми нервами к лесу, траве, кустам, деревьям. Сладки ли эти объятия? Ужасны и нестерпимы.

Луна в облаках. Такая чудная картина, что, кажется, будешь помнить ее и через сто лет. Но помним ли мы когда такие ночи? Может, одну ночь и помним, но две, но три — вряд ли. День еще подержим в голове, месяц, а через год пролетит какой-то невидимый ветер и выветрит ее навсегда. Память, что была ночь, останется, а вот какой была эта ночь — не сохранит. Жалко мне этого? Ни капельки. Радостно? И радости я не ощущаю. Все равно мне, какой она была, важно, что была. За всю свою жизнь столько лунных ночей увидишь, что при всем желании не вспомнить. Но что значит — не сохранит? Конечно, не сохранит вид бега этих облаков, быстрого света луны, очертаний облаков, какие они были, на что похожи: на собаку, на девушку, на крокодила. Но и сохранит, отпечатает в памяти так крепко, что, кажется мне, буду лежать я мертвый в земле, а облака эти будут жить в пустых моих глазницах.

Солнца уже столько, что его больше, чем тьмы, его достаточно, чтобы растопить все снега. И утром, и в полдень, и в вечер в лесу полно света, и сам день как светлый золотой шар. Ты идешь и держишь его на ниточке, а он рвется ввысь, и ты его отпускаешь, и он летит и пропадает в вышине.

Вот и еще один день оторвался, и мне не жаль его, потому что он улетает в вышину неба, в глубину неба, а прилетает в твое сердце.

День прошел, а ничего от него не осталось — ни радости, ни печали, ни тревог, ни сожалений. Пришел он из глубины бытия и укатил бесследно. И утро было добрым, и полдень славный, и вечер хорош, солнце гуляло по небу, облака теснились на горизонте, ветер реял над лесом, блестели снега и истончались влагой — все было в нем, все явилось для полноты ощущений: свист синицы, карканье вороны, звук падающей капли с крыши.

И вот итог — пустота. Но для кого пустота? Для тебя. Это ты умудрился прожить день, не перечувствовав ни страданий, ни радости. А утро, разве оно не радовалось, когда занялось над лесом, а солнце не страдало, падая за край ельника на западе, а облака не печалились, уносясь за горизонт, ветер не сокрушался, гоняясь по открытым пространствам? Утро радовалось, солнце страдало, ветер сокрушался, все в лесу жило полнокровной жизнью и не могло не жить, ибо ничто не приходит сюда бесследно, как и не уходит.

Пришла весна, не успели растаять снега и зазеленеть леса, а я смело гляжу вперед, хотя дальнейших для себя событий — умру ли, буду жить — не представляю. Но теперь они меня не интересуют. Не потому не интересуют, что я пренебрежительно к ним отношусь или они мне безразличны, а потому, что любые они для меня хороши. А точнее, я твердо знаю, что буду жить, живой или мертвый. Осталось за малым — убедить себя, что жить живым все-таки лучше, чем мертвым. И я думаю, за этим дело не станет.

Дни теплые, а ночи морозные. Днем капель с крыш, тенькают синицы, тают снега, лужицы и ручейки на дорогах. Ночью лед под ногами, жесткий, ломкий и скрипучий снег, спекшийся в корочку от дневного солнца, и тоже хорошее настроение. И днем, и ночью теперь я одинаковый — природа разная. Но эта разность не вносит какой-то дисгармонии, разлада, напротив, несет мир и покой, она каким-то чудесным образом соединяет две несоединимые половины: тепло и холод, день и ночь. Кто их соединяет — я или весна? Я бы сказал — я, ведь у меня хорошее настроение, но это было бы заносчиво и нескромно. Сказал бы — весна, но уверен, она тоже откажется. Я и весна — это, я думаю, нас удовлетворит обоих.

Одинокая капля сидит на ветке бузины. Я приблизил к ней свое лицо и увидел себя и весь отраженный в ней мир: лес, деревья, березу. Ни в луже, ни в речке, ни в озере столько не увидишь. Нужно быть таким малень-

ким, как эта капля, чтобы вместить в себя весь этот мир. Представляю, как висит она ночью и отражает небо, и звезды сходятся к ней, к этой крохе, пусть не они сами, пусть их отражения, но как прекрасна эта способность маленького храбреца вбирать в себя большое. Поддался искушению и слизнул каплю языком, проглотил мир. Хожу счастливый — тут она, во мне. Рукой щупаю живот. И страх меня берет — не дай бог забеременею!

Днем, есть ли солнце, нет,— тепло, и лишь ночью — морозы. Земля, где уже открыта от снега, то замерзает, то оттаивает. Так и меня то в жар бросит, то в холод, то светел я, то грущу, то ожившим кажусь, то мертвым и никак не могу найти в себе постоянства. Но, может, и не нужно его пока искать и терпеть перемены, как земля; перетерплю, набегаюсь из стороны в сторону и успокоюсь и в своей успокоенности найду постоянство. Стану невозмутим и вечен, как лето. Только эта мысль и утешает меня и заставляет терпеть страдания. Придет ко мне счастье, не обойдет стороной. А не то стану столбом посреди двора и буду стоять день и два — до тех пор, пока не найду себе опору. Пусть меня ругают, пусть выгоняют из лесхоза — брошу все заботы о лесе, откажусь от еды, от питья. Буду стоять,— не человек, а квартальный столб на просеке. Будет сыпать на меня снег и лить дождь, лиса, что живет по соседству, придет и отметится, ворона посидит в задумчивости, тюкнет раз-два клювом, попробует на крепость мой черепок и улетит, туристы начнут дергать меня и щипать — я не шевельнусь, даже приезд директора лесхоза не замечу — столб на то и столб, чтоб стоять и не двигаться. Обопрусь о свой собственный стан, замру, задеревенею и уж тогда окончательно избавлюсь от перемен.

Оделся потеплее, вышел во двор, стал, стою, минут пять постоял, на небо глядя, в правом боку у меня зачесалось. Как тут не почесать, если хочется? Почесал в правом, захотелось почесать и в левом. Почесал и левый бок, обижать ли его? Постоял еще минут пять и стоял бы долго, да вспомнил, что на плите картошка варится. Картошку никак нельзя оставить без внимания, чуть на плите передержал — какой в ней вкус! И водяниста она, и вязка, как мыло. Я же рассыпчатую и сухую люблю.

Пришлось в избу бежать, спасать картошку, а великое свое стояние оставить до другого раза.

Шел по полю, опустился в низину и набрел на туман. Был с полем, а остался один. Не принимать же туман в напарники? Но почему и не принять? Он меня обволакивает, обласкивает, обольщает, мой милый туман-обольститель. Мое дело — принимать его любовь или нет. Приму — значит, мы с ним в дружбе, пусть он играет со мной в прятки. Не приму, обозлюсь — и тогда проваливай он от меня поскорее. Принял. Был с полем, а стал с туманом. Любил поле, а теперь люблю туман. Предмет любви не слишком надежен, сегодня он здесь, а завтра улетел, да и материальности в нем никакой, ни руками потрогать, ни приласкать. Вошел в туман, окунулся в эту любовь. Вышел — и остался туман позади. А мой путь по дороге вверх.

Проклятая человеческая природа: кажется, все у меня есть, сыт я, одет, обут, свободен, в лесу бездорожье, и ход туда порубщикам и браконьерам закрыт, легко у меня на душе, сплю и золотые сны вижу — словом, во всем получаю полное удовольствие. Кажется, живи себе век и не печалься. А пройдусь немного, и грызет меня какая-то тоска. Какая? Начнешь в ней разбираться и увидишь, что печали-то никакой нет, просто забыл ты, что счастлив, из памяти это у тебя вылетело, вот оттого и чело свое нахмурил. Хорошо, если сразу разберешься, тут и печаль свою отбросишь. А если сразу догадаться не сможешь, то и ходишь мрачный, озабоченный день, и два, и неделю, и давят тебя тоска и страх, как перед страшным судом, перед всечеловеческой катастрофой, как будто ты все беды на себя взял и несешь. А ты в это время ничего не несешь. Ты легок как пух, как перышко, ты свои заботы раздал. Напишешь для памяти на руке или на клочке бумаги: «Я счастливый»,— глянешь, прочтешь в мрачный день и вспомнишь, что печалиться тебе нечего. Бегай, пляши, забавляйся, как ребенок. На один день этого хватит, а на другой ты опять про свое счастье забыл: надпись на руке стерлась, клочок бумаги потерян.

Говорил: «зима», «смерть», «нет сил жить», казалось мне, что тяжелее часа для меня нет и не будет. Но вот пережил зиму. И что же, рад я? Пляшу и бегаю по лесу от счастья? И бегаю, и пляшу, и радуюсь весенним ручьям и своему счастливому настроению, но иногда вдруг на меня испуг найдет. Дали синие, поля зеленеют, леса листвой бархатятся, и я полон соков и сил, а у меня руки опускаются. Не хочется мне жить уже не оттого, что холод и мороз, от зимы, а от весны, от хорошей погоды. То, зимнее, отчаяние ты легко переживаешь, жить ты не хочешь, сил у тебя нет, а ты за жизнь цепляешься. И чем она крепче тебя бьет, тем злее, решительнее ты отстаиваешь себя. Весеннее нежелание жить губительней. Ты желаешь жить — и умереть стремишься, ты рад жизни — и ты ее не желаешь и сам же от нее бежишь. Как тут себя защитить, как отстоять от этих неумолимых, тайных, губительных для человека сил? И нужно ли? От зла защищать себя нужно, а от добра? Если оно тянет тебя в бездну неумолимо, и сладко тебе от этого и страшно, и крикнуть тебе людей на помощь хочется, и промолчать, забиться в уголок, побыть в уединении, не спугнув тишины. Ты и жить хочешь, и умереть стремишься, и ждешь,— что же в тебе возьмет верх?

И погружаешься ты в нее, в эту бездну, и умираешь. Не от холода умираешь, не от болезней и лишений, а от тепла, от солнца, от полноты жизни, от весны, от здоровья.

Возбуждаюсь я и от слов, и от людей, и от разговоров, брани, похвалы — безразлично. Пусть кто мне слово сказал — и я ночь не сплю, все думаю над этим словом. Сказал он «здравствуй», «да», а я думаю, что бы это значило? И так это слово поверну, и этак, и на свет посмотрю, и на вкус попробую. Звучат во мне слова, как сверчат кузнечики в поле. И думать я о них не хочу, а все равно думаю. Пересечет ворона мне путь, я в остолбенении, никак в себя прийти не могу: и весело мне и грустно, и плакать и смеяться хочется, и бежать куда-то норовлю. А куда, и зачем, и отчего, собственно? Оттого что ворона в лесу повстречалась. Давно с кумушкой не видались. А если она догадается мне в придачу к своей персоне звук свой подать, карканье, тут

меня совсем кондрашка прихватит, деревенею я и падаю в оцепенении, разум исчезает, я проваливаюсь в какой-то дивный сон, испытываю страшное, неизъяснимое блаженство, а после жестокую муку.

Ошибаются, когда думают, что человек умирает от пассивности, от нежелания жить, от бессилия и болезней. От нежелания жить и болезней он, конечно, умирает, но трудно представить смерть как некое пассивное времяпрепровождение: ты лежишь колодой, ни рукой пошевельнуть, ни ногой, ни один мускул у тебя не двинется, и тут происходит смерть — ты умираешь. Для прихода смерти нужна такая же сила, как и для жизни, если не больше. Человеку только кажется, что в нем нет силы жить. Не будь в нем силы для смерти, он бы никогда не умер, жил бы и тысячу, и миллион лет, и мы бы встречали на дорогах глубоких старцев, которые родились раньше неба и гор и бессмертнее самой вселенной. Но в том-то и хитрость, что человеку от природы дана вместе с силой жить и сила умереть и, когда приходит смерть, он умирает от этой силы. Конечно, бывают разные обстоятельства, бывает насильственная смерть, мы же говорим о смерти рядовой.

Встал вчера у горбатенького ручейка у дороги, и шевельнулось что-то в моем застывшем сердце, екнуло. Слабо шевельнулось, едва екнуло, я даже не понял, что со мной случилось, пока у ручейка стоял. А как отошел, ночь пролежал на левом боку, продумал, так сразу догадался — это жизнь ко мне пришла. Робкая, слабенькая, тощая, как прутик ивовый, как жердинка, как ручеек этот весенний. И пока день стоит и солнце вверху — ручеек чуть бежит. Придет вечер, падет солнце, ударят морозы и — ручеек замерзнет, застынет. Но это уже последний мороз.

Как же я теперь, вновь рожденный, буду смотреть на цветы, на травы, на лес и леса? Как буду удивляться небу, и буду ли? Как буду ходить, есть, разговаривать, болеть и плакать? Не уйдет ли от меня что-то такое, о чем я буду нестерпимо жалеть и желать? Буду ли смел, не побоюсь ли порубщиков, не отнимет ли у меня

судьба разум, смогу ли я отличать день от ночи, ночь от дня? Буду ли весел, бодр, свеж, деятелен? Буду ли дурен, груб, беззастенчив, упрям? Бегать по травам, любить — я хочу, чтобы это осталось. Жалеть, сострадать — и это не хочу терять. Удивляться, страдать — пусть не покидают меня и печали. Но что же ты тогда потеряешь, что приобретешь? Ничего ты не потерял, ничего не приобрел. Ты остался такой, какой ты есть. Ты жизнь потерял, и ты ее обрел.

Может, я буду глядеть на цветы и не радоваться им, а плакать? Или буду не охранять лес, а жечь и губить? Девушек не любить, а ненавидеть? Может, я буду все делать наоборот и там, где нужно делать добро, я буду делать зло? Ничего я сейчас не знаю. Мне достаточно знать, что я родился, что жив и все у меня впереди. Нет, я обманываю себя: все я знаю — что буду делать, а что нет, я вижу себя и свой путь в самых мельчайших подробностях, но говорить об этом не намерен.

И день открыто небо, и второй, и третий, и звезды горят ярко, и ты, войдя со двора в избу и ложась спать, еще видишь их перед глазами, и странное чувство не покидает тебя. Кажется, словно тебе не хватает чего-то — туч, облаков не хватает, чтобы они закрыли небо и ты бы не чувствовал себя каким-то незащищенным, неукрытым. Но что за странная фантазия может быть в голове! Когда это люди считали, что тучей или облаком можно укрыться в постели? И для чего у меня есть одеяло! Пусть оно худое и не очень греет — я укрываю им ноги, натягиваю повыше на грудь до самого подбородка. Как мне ни холодно, я никогда не прячусь под одеяло с головой — не люблю дышать спертым воздухом,— так что наружу высовывается одна моя голова. Тихо лежу и засыпаю. И досадно мне, что небо открыто, и я лежу под ним в чем мать родила, и стыну, и мерзну, и весь открыт для чужого глаза.

Глава вторая

Апрельский дождь, апрельская сырость, обложили небо весенние облака, ночью шел дождь, плакала за окном весна, а я не спал и прислушивался к ее плачу. Но почему она плакала? Что ее

тревожит, что беспокоит? Или кто обидел? А никто не обидел. И почему обязательно нужно кого-то обижать, чтобы он плакал? Разве не бывает слез без обид, не плачут иногда оттого, что просто хочется плакать? Весело на душе — это ведь и грустно тоже. Тем более что плакала-то не на глазах, не на людях, плакала, когда все спали, и своим плачем никого не побеспокоила, а легко отрыдалась сама — прошелся темной ночью светлый дождь, а утром утерлась и утешилась. Видно, причина тут проста. Уж больно радостная пора весна: все оживает, все раскрывается — и травы, и деревья — и жизнь впереди ожидается прекрасная, много дел, много мечтаний. Как будто стоял человек, стоял и вдруг взял да и тронулся. Куда? Бог весть. Не от скуки пошел и не оттого, что стоять ему надоело, а потому, что зовет его дорога и сулит счастье. Почему бы тут не поплакать, не освободиться от застаревшей тяжести. Отрыдался, как умылся, — и все прошло. Да и нелегкая судьба ее ожидает. До осени, до зимы далеко — сколько дней пройдет, не вечно ей быть молодой, явится на какое-то мгновение, украсит землю и уйдет навсегда. И никто ее не вспомнит, никто не попросит остаться, а попросит, так что от этого толку. Жизнь жестока: пришла — уходи, не задерживайся, дай и другим прийти. А она такая красивая, юная, чистая, зиме ли с ней равняться, но это пусть они спорят между собой. Стесняется девица своих слез, стесняется красоты, чистоты, стесняется всего, что потеряет и о чем жалеть будет, когда потеряет. Стесняется себя. Вот дура. Пусть плачет. И утешать ее не буду, не буду говорить ободряющих слов, раскладывать все по полочкам: это так, а это сяк, это, мол, оттого, а это от сего, что происходит, а что не кончается. Все равно не поймет. Да и слезы эти живые, от любви, оттого что зреет душа, от великого торжества жизни. Пусть поплачет, и посильней. Похлюпает за окном, погундит, и не могу я спокойно смотреть на слезы, и хочется утешить, и удерживаю себя. Не в свое дело лезешь, парень. За все не отплачешься. Не мешай ей в этом удовольствии, потому что иногда и слезы — радость.

Ночь близкая к рассвету. Открою глаза, погляжу в темное окно, и, если на дворе не очень темно и если поднапрячься вниманием, можно увидеть в окне черную

ветку сосны. Не столько увидеть, сколько угадать, что она тут. За долгое время, за все ночи и часы лежаний и спанья в постели ты привык к ней, так оглядел и принял в себя, что нам с нею уже не расстаться. Пусть ее сломает сильный западный ветер, пусть сам я срублю сосну топором, чтобы не заслоняла свет, пусть наступит такая ночь, что в темноте ветку не разглядеть, как ни старайся,— я все равно ее увижу на своем законном месте и не удивлюсь как какому-то чуду: мол, пропала и явилась. Чудо есть чудо, и, конечно, когда сломанная или срубленная ветка вдруг опять явится на прежнее место, можно принять ее появление за нечто невероятное: мол, судьба сбросила ее на землю, а она строптивничает, проявляет характер, идет вопреки высшему промыслу, пусть знает, кто она такая и где ей надлежит быть, и не вздорничает, не упрямится. Но, сто раз ломай ее ветер и секи топор, она вернется туда, где была. Такая непокорность судьбе сосновой ветки меня озадачивает, я вижу в этом кощунственную дерзость. Я готов уговаривать ее не идти против судьбы и покориться, я готов сделать все, чтобы заставить ее не маячить за окном, — все мои старания будут тщетны. Да и откуда у меня взялась такая уверенность, будто я смогу убедить ее что-то сделать?

И если когда-нибудь, не сейчас, а в необозримом будущем, случится несчастье и в один прекрасный момент мир полетит вверх тормашками, в какую-то гибельную катастрофу, и кто-нибудь из уцелевших в этой катастрофе будет выискивать причину всеобщей гибели, он может смело ее найти: она в дьявольской непокорности ветки сосны, не пожелавшей оставить меня одного, даже в противовес высшему промыслу. Собственно, великие катастрофы всегда и происходят из-за таких малых причин.

Скажу не хвастаясь — жизнь приучила меня к деликатности. Я стараюсь жить так, чтобы никому не мешать, но, кажется, в своем усердии чуточку перестарался. Если я чихаю в пути в лесу, то стараюсь своим чихом никого не потревожить, не напугать. Если я прыгаю через ручей, то и здесь не гремлю, не топаю ногами, а все совершаю тихо, как будто не зверей или людей я боюсь напугать, а самого себя. Если ем на кордоне, то

хоть и один за столом сижу, а не чавкаю, не сербаю, не шумлю ртом и носом, не испускаю дикие и якобы помогающие еде звуки, а ем неслышно, опрятно, как мышь, как и подобает сидеть и есть в порядочной компании. Сплю и укладываюсь для лежания так, чтобы случайно во сне не захрапеть, как дикий стреноженный конь. Словом, я культурный и воспитанный человек: смеюсь — не гогочу на весь лес, плачу в тряпочку, втихомолку. Я веду себя так тихо, что если кто имеет не очень чуткие уши, то, прожив со мной по соседству, не заметит, что я живу, а посчитает, что давно умер. Я сдерживаю свои страсти. Звери этого не хотят делать. Чихнет лиса, и я слышу ее чих на весь лес, хоть беги и говори ей: «Будьте здоровы, сударыня». Пройдет в ночи табунок лосей мимо кордона, и мерзлая земля задрожит, так они стараются копытами в землю ударить. Прыгнет заяц в поле, уж на что легок, а и тот словно коровья лепешка на землю брякнется. А уж как есть начнет, обгладывать осиновую корочку, тут наслушаешься за ночь такой музыки, такого беззастенчивого чавканья, сопенья, причмокиванья, такой аппетит этот чавкающий заяц нагонит, что терпишь-терпишь, а потом не выдержишь, встанешь с постели в середине ночи и давай шарить сам в темноте по пустым кастрюлям. А уж про храп я и не говорю. Да и какой зверь или птица не храпит. Судя по выражению глаз — ворона, но и она в иную ночь такого храпа напустит, что деревья гнутся. И смеются лесные звери и плачут громко, не таясь. Может быть, и таятся — кому охота свою печаль на вид выставлять,— да все равно получается у них громко, громче, чем у меня. И я ругаю себя за свою деликатность и говорю: зачем она? Коль ты один, ничего не стесняйся: веди себя как хочешь, кто увидит, услышит?

Проснулся утром, зевнул, отверз свою пасть и застыдился. Показалось мне, что солнце осталось недовольно моим поведением. Было утро чистым и вдруг нахмурилось, пришли тучи и закрыли от меня солнце. И правда, каково ему смотреть на зевающего невежу. До вечера ходил с опущенной головой, себя ругая.

Шла весна, а я, как Фома неверующий, ее отвергал и говорил: не пора, будут еще морозы. Вот когда будет пора, тогда и повеселимся. И что же? Не веселился,

когда пришла весна, не веселюсь и сейчас. Не оттого не веселюсь, что недоволен ею, а что раньше не веселился, когда она только что появилась. Вот когда мне надо было разгладить свое лицо, улыбнуться, сказать ей доброе слово. А я отвернулся, не замечал, сделал вид, что не заметил. Никак себе не могу простить такого пренебрежения. И понимаю, что весна на меня не в обиде и моя угрюмость ее не оскорбит, а все равно как-то неловко мне в душе и чувствую себя скверно. Хотя бы слегка головой кивнул в знак приветствия, и то ладно. Так нет, сделал вид, что ее не существует. И хоть был я прав, и действительно были морозы, и до весны было далеко, чувствую я себя предателем, что не поддержал ее в трудные минуты. Мрачен хожу, угрызаюсь совестью: недостойный я человек. Она, весна, светла, а я мрачен, черен.

Деревья стоят мертвые, без листьев, но скоро весна вдохнет в них жизнь. А пока птицы обпархивают их ветки и пением своим, своим присутствием, танцем, скитанием по ветвям как бы призывают их к пробуждению. Музыка — вот что первое после света является в период пробуждения. Так и я сегодня — спал и вдруг перед самым утром райскую песню услышал и в дремоте подумал, что восстал я из мертвых и слышу пение не иначе как райских птиц из небесного сада. Скоренько стряхнул с себя сон, протер глаза, выглянул в окно. Что же я увидел? Ворону. И услышал ее карканье. А это наверняка не к добру.

Говорят, что зимой, когда падает на землю снег, покрывает ее, он прячет землю от позора. С этим, конечно, можно согласиться. Но что же тогда получается весной, когда снег растает и земля опять становится как бы голой? В одном случае земля покрывается и спасается от позора, в другом — открывается и предстает как бы в своем бесстыдстве? В это трудно поверить. Да и не встречал я что-то охотников, которые бы по пришествии весны и таяния снегов, глядя на обнаженную землю, стыдливо потупляли глаза или раздраженно тыкали в нее пальцем — вон, мол, она, бесстыдница! А между тем мне приходилось видеть очень ярых сторонников цело-

мудрия. Но и они и пальцем не тыкали, и глаз не опускали. Случалось, конечно, и тыкали, и глаза опускали, но кто возьмет на себя смелость их осудить? Тыкали-то ведь не от прихоти и безделья, а по справедливости, полагая, что надо тыкать. Да и как тут не ткнуть, не отвернуть глаз, если лежит она перед тобой, полная греха и святости, соблазняет неокрепшую душу, не желая прикрыться. Я бы в таких случаях не только пальцем тыкал и глаза потуплял, я бы вообще выколол их, чтобы не смотреть на эту бесстыдницу,— да что же мне делать в лесу, став слепым, если и зрячий я плохо со всем управляюсь. Пальцем-то тычешь, а приходится смотреть.

Весенние облака взгромоздились на горизонте. Их так много и они так тяжелы на вид, что кажется, не падают они на землю оттого только, что, упади из них хоть одно, и расколет оно землю своей тяжестью — облака выше и тяжелее самых высоких гор. Земля против них кажется нежной, хрупкой, она страшится и трепещет угроз, и страхи ее вечны. Почему? Потому что грозные облака никогда не упадут на землю и тем более не расколют ее. А уж если упадут, то не тяжелые, а легкие, трепетные, добрые, оживят на земле каждую травинку, напоят поля и леса. Отчего же так получается: вид у них грозный, а сами они светлы и добры? Не светлы они и не добры, а злы и угрюмы. Блуждают они по небу, но не блуждать же им вечно. Вот и падают они вниз и из тяжелых превращаются в легкие, а расколи, растопчи они землю, куда им тогда падать?

Жду, когда соловей запоет у ручья. Что ж, прихожу к ручью, стою и прислушиваюсь, не подаст ли он голос? Нет, этим я не занимаюсь, да и в лесу еще кое-где лежит снег и природе не до соловьиного пения. Просто даром времени не теряю. И пока лес молчалив и не наполнен звуками перелетных птиц, я готовлю себя к встрече. Услышать щебет дрозда или скворца приятно и радостно, песнь соловья, как острый нож, ранит сердце, и не каждый способен ее выдержать. Для меня песнь соловья и высшая награда, и тяжелейшее наказание, и, когда он поет, заливаясь, сидя на ольховом

кусте, и звуками его песни оглашается окрест земля, нет для меня в мире ничего прекрасней и ужасней. Я боюсь не выдержать его песни и, как от сладкого яда, умереть.

Как же я себя от такой смерти охраняю? За месяц, за два до того, как запоет соловей и выдавит из себя свою первую ноту, я только и занимаюсь тем, что слушаю карканье ворон. Не скажу, что их арии мне приятны, больше того — я их терпеть не могу. Их звуки на меня действуют, как красная тряпка на быка. Находись я в самом прекрасном расположении духа, плавай в волнах небесной гармонии, стоит мне услышать легкий звук вороны — не карканье, а слабый намек на него, — и меня мигом бросает в ярость и дрожь. Я выбегаю из избы, грожу вороне кулаками и насылаю на нее страшные кары. Сказать по правде, ее не очень беспокоят мои угрозы, и это еще больше выводит меня из себя. Тогда я бегаю за вороной от одного дерева к другому, бессильный унять ее нежные переборы, и вороне, глядя на меня, наверное, кажется, что я от злобы слегка тронулся умом или вышел поразмяться от безделья. Теперь, в ожидании соловья, я становлюсь образцом терпения. Ори ворона во все горло, надрывайся, глотку свою луженую порви — я с места не сдвинусь, не шевельнусь, я злой мысли о ней не подумаю, не то что слово бранчливое скажу, я звуки ее буду воспринимать не как звуки ада и предвестие смерти, а как райскую песнь, несравнимую с песней соловья. И хоть мне, прямо скажем, дается нелегко принимать подобные признания, я терплю, выжидаю своего часа.

Чего я этим достигаю? Когда прилетает соловей, я готов к его песне. Я настолько привык к карканью вороны и даже убедил себя, что это божественная музыка, что никакие соловьи мне теперь не страшны. Принимал я худое, почему же мне теперь не принять и хорошее? Послушаешь соловья, и все опять становится на свои места: я любуюсь прекрасным и не принимаю плохого. Страдает тут только ворона, она озадачена, почему я вдруг меняю гнев на милость? Но это уже не моя забота.

Звезда отражалась в реке, а я стоял на берегу спиной к темному лесу и глядел в холодную воду, и путь мне предстоял домой по ночной дороге. Здесь были ре-

ка, бег воды, звезд отраженье и я, остановившийся у воды и не желающий уходить от реки. Там будет черная дорога и голые ветки над головой, выбоины, лужи, запах сырости у болота, мой разгоряченный бег и желание скорей прийти на кордон и завалиться спать. Ночная дорога редко сладка. За день шатаний по лесу ты устал и совершаешь последний бросок к плите, к постели, к родному порогу. И оттого эта дорога кажется тебе и длинной и короткой, и в то же время она для тебя не длинна и не коротка, потому что ты бежишь и забываешь ее и в памяти твоей она не остается, а в то же время никак добежать не можешь. Стояние же у реки и коротко и длинно, но на другой манер. Тут и мало стоишь, а кажется, что стоишь вечность. Бег реки и стояние ее на месте удлиняют время и укорачивают. К тому же, здесь я стою лицом к свету, а двинусь — пойду в темноту. Зачем я остановился, зачем задержался у реки и простоял здесь вечер? Что я выглядел, что обрел? Глухую ночь, и дальнюю дорогу, и расставание с рекой, с которой мне не хотелось расставаться, но не стоять же мне до утра точно километровому столбу, отмеряющему бег реки и течение звезд на небе. Это без меня измерят.

Поражает меня неизбежность, с которой приходит весна или лето. Кажется, чему тут поражаться? Было бы удивительней, если бы весна, заявив о своих правах, взяла бы и удалилась, не появившись больше совсем; или лето, пригрев и приласкав нас своим теплом, вдруг неожиданно исчезло, словно куда-то провалилось. Много провел я зим, весен и лет, и такого еще никогда не случалось. И вместе с тем каждый раз, когда приходит та или иная пора, ты в сомнении, в ожидании: придет или не придет? И когда все-таки приходит, то радуешься. Чем это объяснить? Я думаю, природа, как и человек, подвержена колебаниям, у нее есть сомнения. И, когда приходит та или иная пора, она, природа, сомневается — быть ей или не быть? Вопрос на поверхностный взгляд, может быть, не такой важный, а между тем имеет свою сложность и запутанность. Ведь давая добро «быть или не быть» той или иной поре, природа как бы обязуется дать ее во всей красе. Без всяких издержек и церемоний, а это не всегда получается. Вдруг где-то что-то забарахлит, что-то закапризничает, а то и во-

все выйдет из строя? Как тогда отвечать? Есть в природе, в лесу какая-то дотошливая пунктуальность, — назовем ее справедливостью, — какая-то узость, не широта взгляда. Уж если она, природа, сказала «да», то и гнет все время туда и не желает задерживаться, не то что остановиться. Скажем, идет весна и вдруг задержалась. Нам-то что до этого? Пусть хоть вовсе не приходит. Мы не очень загрустим. Не придет весна, придет зима, лето, осень на худой конец. Хоть что-нибудь да будет. Что же ей так стараться и быть, чтобы обязательно быть, упорствовать чрез меру своих сил? Мы без весны проживем. Значит, не для нас она старается, а для себя? Себя тешит, а получается — нас.

Трудно сосредоточиться и начинать эту жизнь сначала. Ты думаешь — ты в счастливых пеленках лежишь, с тебя и взятки гладки, тебе легко. Как бы не так. Главное только начинается. Счастливое детство, о котором вспоминают как о потерянном рае, оставим позади, начинаются самые обыкновенные будни, соль и пот и все прочее, что в таком случае прилагается, и мне трудно понять, почему это называется новым рождением, новой жизнью, если старого в ней хоть отбавляй. Вероятно, я бы хотел, чтобы ко мне явилась благодать и я бы как ухватил ее за хвост, так и не отпускал — всем бы она мне пришлась по душе. Но в том-то и дело, что благодать к тебе как бы пришла и ты ее вроде и держишь, и не отпускаешь, а глянешь порой — в руках ничего нет, пусты руки. Тут каждый раз приходится ее ловить и, не отпуская, оставаться с пустыми руками. И в самом деле — где она? Или ты можешь держать этот день, эту весну, не отпуская? День бы, пожалуй, и не отпустил, если бы было за что его удержать, волосы бы он какие имел, руки, ноги. А то ведь что делаешь? Станешь посреди поля, руки пошире расставишь, хочется тебе день удержать, а он мимо тебя, как вода сквозь пальцы, уходит. С утра стоишь, заряженный верой: мол, сумею удержать. И к полудню такая уверенность возрастает, а потом что-то происходит в этом непонятном для меня механизме, и, несмотря на то что ты держишь день, сумел ухватить, он от тебя уплывает, клонится к западу и исчезает во тьме.

Земля волнует всегда, но особенно когда лежит она голая, без зелени, без снега, где вспаханная, а где не тронутая плугом. Снег с нее только сошел, а зелень вырасти не успела. Прибились и поникли с зимы нескошенные желтые травы, тут найдешь все полевое разнотравье, не успевшее истлеть: полынь, зверобой, ромашку, тысячелистник. Трава сухая и от сухости пыльная, поднесешь к ней спичку — и она вспыхнет, загорается как порох. Снег и зелень воспринимаешь как одежду земли, а тут она обнажена. И неважно, что это не девушка, не женщина, волнение при виде такой земли ощущаешь все равно как при виде девушки: она стесняется, боится, стоит перед тобой, возбуждает в тебе живые чувства, доступна и свежа.

Вышел в поле, лег на землю, захотелось понежиться с ней. И на один бок лягу, и на другой перевернусь, а она никак меня не принимает: и холодна, и сыра, и могильным запахом отдает. Весь в земле испачкался, а удовольствия никакого не получил, наоборот, неловко, что валялся на земле, как конь перед дождем.

Если меня тяготит какой-то день и я мрачен хожу и неприкаян, то не потому я этот день не принимаю, что холоден он, сыр или ветрен, что грязь на дороге, дождь или еще что-нибудь в этом роде, а потому, что я его до конца не принимаю. Скажем, дождь, тучи, ветер принял, а вон ту маленькую тучку, что, не разразившись, ушла, не принимаю. Ругаю ее и кляну. Ей и жить-то в моих чувствованиях, может быть, минуту-другую, улетит она, скроется за край леса и исчезнет бесследно, и думать я о ней забуду, так что, кажется, какое мне до нее дело, есть она или нет, чтобы силиться принять ее или не принять, а я упорствую в своем желании ее принять, и, чем сильнее упорствую, тем хуже у меня это получается. Вот она уже наполовину за край леса ушла, вот и вторая половина умчалась и только маленький хвостик остался, вот и хвоста никакого нет, а ее место заняла другая туча, и больше и мрачней; и я должен бы ту тучку забыть, а об этой думать, а я все ту вспоминаю. И не потому вспоминаю, что забыть не могу — так она мне понравилась или не понравилась,— а потому, что до сих пор никак не принял. И час пройдет, и другой, кончится дождь, выглянет солнце, лес заулыбается,

заискрится на свету и на солнце, и тебе бы стоило, глядя на это, посветлеть, а ты в мрачном настроении пребываешь, и все из-за той самой тучки. И почему ее не принять? И так трудно ее принять! И не потому трудно, что оставила она тебе что-то особенное, в особый мрак загнала своим видом, а от малой твоей душевной расположенности, от несвободы, скованности, неумения этой тучке открыться, как открываешься ты всему другому. Слов нет, черную тучку трудней к себе допустить, чем светлый день, но и она вполне в тебя поместится, если ты сумеешь себя для нее открыть. Главное, впустить в себя тучку, чтобы она в тебя вошла, а не по небу сиротой болталась. Впустил и принял. И пришла к тебе вместе с ней благодать.

Все в этом мире перемешано — на дворе весна, а у меня лето. Все у меня есть, и ничего мне не надо. Надо мне утро? Оно рано проснулось и глядит в окно. Полдень? И он стоит у порога. Вечер? И он, усталый, есть. Чего у меня нет? Чем я недоволен? Солнце ли, хмарь, ночь ли, день — у меня на душе всегда солнце, а это и есть то, что я называю летом. И я тороплю задержавшуюся весну: ну беги, шепчу, беги скорей, мне пропустить тебя не жалко, я сам — лето и хочу слиться с летом. И оттого что я не слит с летом, что в лесу весна, а у меня лето, мне тягостно, досадно, торопливо. И я думаю: будет лето и я наконец заживу не торопясь и не запаздывая, в унисон с каждым днем, с каждой летней ночью. Вот только буду ли я тогда жить, не сольюсь ли с природой окончательно, останется ли от моего человеческого облика что: нос, глаза, рот, ноги, губы,— не истончусь, не исчезну, не прекращу ли свое земное существование, не испарюсь в невидимый дух? Как буду тогда витать над своими лесными угодьями, как есть, пить, разговаривать с соседями? Вопросы, конечно, и для меня несколько праздные, но и не праздные, ибо что-то должно же произойти, если оно произойдет, и почему эта перемена не должна меня интересовать? Но может, и не исчезну я, а произойдет некое чудо, не чудо, а нечто рядовое, обыденное, но такое, до чего ты никак додуматься не можешь и не додумаешься, хоть думай еще тысячу лет, до чего и другие не додумались, что лежит рядом, настолько рядом, что его никог-

да не взять. И духа никакого не будет, и все останется на своих местах, и с носом я своим не расстанусь, и с глазами (по правде сказать, зачем мне с ними расставаться, если они мне не надоели?), и будешь ходить такой, какой есть сейчас, и в то же время такой, каким себя не видишь. Вырастут ли у тебя крылья и ты будешь порхать над полями, как бабочка, или станешь червяком и начнешь ползать по земле — все это будет тебе не в тягость, а в радость, в счастье, в умиление, в доброе и стройное правило, в трезвость, в неяркость. Когда бы ты вписался в этот мир так, чтобы он тебя целиком принял, не притесняя ни малой малости и никого не обижая? Какая это будет жизнь, что я буду тогда собой представлять? Буду ли продолжать охранять свои леса или перейду на охрану других, сохраню ли любовь в своем сердце, страдание и сострадание, способность мыслить, чувствовать, ощущать, радоваться птицам — я не знаю.

Ушел к соседу Ивану в гости и сижу у него, досыта наговорившись. Гляжу в сторону своего любимого леса, и хоть я сейчас от него далеко — все равно близко. Это потому, что я гляжу в его сторону. Будь я рядом с ним, а гляди не на него, я был бы от него так далеко, как бывают далеки от нас, живых людей, покойники. Они вроде и рядом, можно потрогать их лоб, руки, уши и убедиться, что они тут и никуда еще не ушли, но кто может назвать то количество километров, которое их отделяет в данную минуту от нас? Сто, тысяча, миллион? Я думаю, такого смельчака не найти. Взгляд человека и, разумеется, зверя может приближать любой предмет, если ты на него смотришь с желанием, пусть хоть он очутится на краю земли, в тьмутаракани, в преисподней. Ты на него смотришь с любовью, и неважно, какое расстояние вас разделяет,— он к тебе приближается. Ты его не хочешь, ты на него не глядишь — и он от тебя удаляется до такой далены, что его не существует вовсе. Поэтому не понятны мне путешественники и изгнанники, болеющие ностальгией и рвущиеся на родину повидать клочок родной земли. Мне понятна их горечь разлуки с родиной, непонятны стенания. Погляди в ту сторону, где лежит милый твоему сердцу край, пожелай его хорошенько увидеть, и ты его увидишь. Только не очень

старайся при этом, чтобы от усердия не перенести свои желания в сон. Начнут они во сне появляться, картины родной природы,— бугорок над рекой, куст картошки в огороде, гнилое крыльцо,— и заказывай гроб — ты погиб. Тут тебе уже никакое глядение не поможет. Да и откуда спящему человеку знать, в какую сторону ему глядеть, где тут север, а где юг?

Весна разнежила меня, стал я ленив и лень свою оправдываю. Говорю: столько времени было холодно, снег, метель, стужа — и вот наступили прекрасные дни. Имею ли я право несколько дней пожить как трава, побездельничать? И голос мой при этом вопрошении крепнет, набирает требовательных тонов и слегка повышается, и сам я становлюсь серьезен и в свой вопрос вкладываю такую страсть, как будто я наконец добился аудиенции у самого бога и требую у него дать ответ: долго ли будет бедствовать и находиться в темноте бедное человечество? И чем меньше я имею права на подобное безделье, тем звучней и требовательней мой голос. Потому что кто же имеет право на безделье? Я говорю: пожить как трава. Но и трава трудится и вкалывает, бедняга, за свой рабочий день столько, сколько иной трудяга не вкалывает. Нет трав бездельниц, лежебок, лодырей, вертопрахов. Есть травы-работницы, травы-труженицы. И наша им хвала. Не трудись травы в поте лица, и человек бы не трудился, и существовал бы мир в том виде, в каком мы его сейчас имеем?

Весна совершенно меня влюбила в себя, дик я, необуздан, все спокойствие потерял, которое приобретал с таким трудом. А хвалился, что крепок и обрел крепость навечно. Где же она, твоя крепость? С первым легким дуновением ветерка разлетелась. Удивителен человек! Кроме напыщенности и тщеславия, что у него есть? Слабость одна и податливость к злому. Но как тогда быть, как жить, если отринуть эту весну и одновременно ее принять? Одной рукой отпихнуть, а другой прижать. Тут нужно и крепость иметь не мою, и особый образ жизни. Запереться в избе, в монастыре, стать монахом, послушником, а не лесником, умертвить свою плоть, поститься, дать обет целомудрия. Закрыть глаза, заткнуть уши,

чтобы ничего не видеть, не слышать, да только зачем они тогда, глаза? Почему я так говорю? Разрывает меня весна, волнует, тревожит, создает в душе разноголосицу, а я ее не хочу. Мне покой дай. Мне весну дайте такую, чтобы я глядел на нее и радость получал. А я вместо этого в страстях разрываюсь. Думал, придет весна, а я посмотрю на нее строгим оком, как бы со стороны, как бы даже и не посмотрю вовсе, а легкий взгляд кину: мол, кто это там ползет через мой луг? Принимать гостя или отказать? И если не очень приятный гость, то и отказаться от встречи, сбежать в лес, пока он меня не видел. Думал еще: придет она, а я на коне. Все ее страсти, борения — это ее удел, а меня это не касается, я чист, тверд, спокоен, я умер и в новую жизнь вступил, и добро и зло уже как бы не для меня существуют. Пошумит весна, пожурчит, поволнуется, а мы на нее свысока посмотрим.

Не получилось. Закрутила она меня, и хоть сопротивляюсь я отчаянно, ругаю себя и кляну, хоть не поддаюсь ей, но, чувствую, меня она занимает, перетягивает на свою сторону. И не удивляюсь, если совсем перетянет. И забуду я свои прежние заслуги, стану как весна, весной стану. И настолько мы будем с ней одинаковы, что сольемся в одно и будем в то же время как бы раздельно. И когда спросят: где весна? — я на нее покажу и на себя: тут она. А может, чтобы не смущать людей таким ответом, чтобы не путались они в нашем разнобое, я покажу им одну весну, а о себе умолчу, или скажу о себе, а о весне не скажу. Или, если очень дотошный найдется вопрошатель и потребует точного ответа — скажи ему и непременно объясни, почему это так, а это этак, где то, а где это,— я ничего ему не скажу, я просто исчезну с его глаз на день, на час или на пять минут, а то и на вечность, на сколько это понадобится, и тогда он увидит одну весну и успокоится.

Если бы человек родился зимой и зима бы длилась непрерывно, много лет подряд, то, глядя на голое дерево, человек бы никогда не догадался, что оно мертво до весны, что придет весна и оно оживет. Природа устроена так хитро, что, глядя на зимнее дерево, ни за что не подумаешь, что ему предстоит еще жить. Напротив, скорей придет мысль, что оно прожило свое и теперь высит-

ся в лесу мертвым трупом и только сильный мороз не дает ему разложиться.

Сегодня подошел к дубку, листьев на нем еще нет и почки не набухли, и тронул я дубок рукой, слегка нагнул, и он заупрямился, вздрогнул, качнулся стройно, как будто я человеческое тело тронул, полное жизни и сил. И отошел я от него давно, и к другим деревьям прикасался, а ощущал его неожиданную для себя упругость, как будто я и в самом деле, трогая его, хотел удостовериться, что он мертв, и, почувствовав жизнь, удивился, как чуду. Как будто я человека тронул, желая убедиться, жив ли он, и он ответил мне на вопрос удивлением.

Весной и осенью ты дышишь воздухом жизни и смерти, ты вместе с кислородом и разными лесными частицами вдыхаешь частицы жизни и смерти. Осенью ты больше вдыхаешь частиц смерти, а весной — частиц жизни. Вот отчего так сладок и удивителен воздух весной и осенью. Ты с наслаждением вдыхаешь и тот и этот, и если один тебя волнует и страшит, то другой волнует и радует. Летом ты пьешь только воздух жизни, зимой — только воздух смерти,— вот отчего ты их не замечаешь, при всей своей свежести и ароматах они все-таки кажутся обыденными, не горячат крови, не тревожат. Они скорей ублажают тебя и успокаивают, и ты к ним привыкаешь. Конечно, и тут есть свои достоинства: то вдруг почувствуешь запах медуницы и накатит на тебя сладкая истома, то запах молодого папоротника, разгоряченного солнцем, защекочет тебе ноздри, то малина обласкает тебя, как самая нежная девушка, но это, если посмотреть строго, будут не запахи лета, а медуницы, папоротника, малины, это они своим существованием напоминают нам о себе, о своей жизни, смерти, а не лето.

Весной же и первые листочки у деревьев, и набухшие почки, и оттаявшая на косогоре земля источают ароматы, и тающий снег, и ручей в овраге, и подснежник — все, как зимой, так и летом, заявляет о своем существовании, и мы бы вправе сказать, что и весна не имеет своего запаха, а состоит из запахов воды, земли, трав, но это будет неправда.

При всех весенних проявлениях отчетливо угадывается запах самой весны. Он состоит не из отдельных благоуханий, не из запахов травы или деревьев, а живет сам по себе, и, кто уловил этот запах, тот уловил истинное дыхание весны.

Лично я, когда вдыхаю его, теряю рассудок. И думаю: есть ли что-либо прекраснее, сильнее его? Ты вдыхаешь его, ты вдыхаешь свою смерть, жизнь, ты смерть и жизнь пьешь одновременно, ты пьешь напиток бессмертия, а это дано только богам.

Ветка рябины была мне на пути, я ее отвел в сторону, и она больно ударила меня по лицу. Я обиделся. Во-первых, отвел в сторону я ее нежно, уважительно, не грубо отстранил, а деликатно, а во-вторых, кто же бьет своих? Прочитал я ей небольшую мораль. Вернулся, опять прошел мимо, опять отвел ее в сторону. На этот раз она меня не ударила, но — упруга, дерзка, чувствуется, как в ней кипят страсти, и отчаянно сопротивляется моей руке. Не держи я ее так крепко, и ударила бы она меня, не раздумывая, второй раз, не считаясь с моей моралью, с доводами. Я еще ей кое-что сказал. И третий раз прошел. Упрямства и дерзости у нее не убавилось. Крепка она и стоит на своем, точно камень, хоть и слаба на вид, податлива. Я еще хотел постоять и сказать ей несколько умных слов, но тут пришла мне в голову мысль: не трачу ли я бесполезно время, смогу ли переубедить упрямицу? Потрать я на нее все самые умные мысли мира, и я ее не смогу переубедить, ибо она права, а я нет. Оставил ее и отступил.

Казалось бы, ну что стоит взять и согласиться с тем, что есть весна? Так нет, не принимаешь ее, кажется тебе, что этого мало, и оттого страдаешь. Страданием окрашена моя жизнь, а с какой стати, собственно? Что мне надо и зачем бы мне страдать? Горы золотые, реки молочные? Я совершенно спокойно удовлетворяюсь тем, что есть. Значит, не удовлетворяюсь, а обманываю себя, говоря, что удовлетворяюсь. Значит, что-то мне надо. А может, мне действительно надо золотые горы? Может, я без них жить не могу и только от стеснительности перед собой отказываюсь? Может, это тайная и

единственная моя мечта — заполучить золотые горы, а там хоть трава не расти? Но если хорошенько подумать, зачем мне горы, да еще золотые? Или мне места в лесу мало, чтобы размять свои ноги, или есть тяга посредством гор, поднявшись на них, возвыситься над окружающими, чтобы, достигнув снежных, недоступных, ослепительных вершин, приблизиться к небесам и с горной высоты обозреть этот грешный мир? Ну, горы принять можно, куда ни шло. Но зачем мне горы золотые? Что мне с золотом этим делать? Сидеть, как скупец, над сундуком, ощущая власть денег? Но во власть денег я не верю и ее не признаю. Телец златой не моя стихия. Спору нет, богатство хорошо, но благоприобретенное. Погоня же за драгоценным металлом есть суета и недостойна уважающего себя человека. Пусть занимаются этим люди, которым вечно чего-то недостает.

Мне не нравится мое страдание. Я хочу быть ровным, спокойным. Но может быть, это и есть самое прекрасное из того, что я могу предложить своей собственной персоне, мои горы золотые? Казалось бы, проще простого с этим согласиться. Кого страдание не украшало, не облагораживало? А я стыжусь его, своего золота, бегу от него и, какие мне горы нужны, не знаю.

Не знаю почему, но мне всегда приятно увидеть солнце в листике травы. Наверное, потому приятно это увидеть, что листком, пронизанным насквозь солнцем, ты сам видишь себя в это время, чувствуешь теплоту солнца и его свет. Наверное, в этот момент, когда ты смотришь на лист травы, просвеченный солнцем, ты действительно светел и чист.

Сколько раз замечал: стоит мне посмотреть на листок травы в солнце, и я, какой бы ни был хмурый, озабоченный, сразу веселею, умиляюсь, жизненные заботы покидают меня, я как будто в какую-то страну попал, в иную стихию погружаюсь — в море, в детство. Я не думаю, не страдаю, не переживаю, я, как травинка в поле, расту под этим небом, взрослый мужик, я и в самом деле, наверное, в это время становлюсь травой или листом, только это не видно ни мне, ни со стороны.

Есть в весне какое-то бесстыдство. Особенно я ощущаю это, когда придет теплый день, а я заберусь в лес,

подальше от случайных людских глаз, выберу поляну поглуше, разденусь и стою на солнце раздетый. Кажется мне тогда, что и лес стоит раздетый. Я стою и боюсь лишнего шороха: вдруг случайно какой прохожий забредет, увидит меня и испугается? И думается мне, что и лес, так же как я, прислушивается к шуму перезимовавшей листвы и травы: не идет ли кто, не заметил ли кто его голого тела? Но мне кажутся напрасными его страхи. Обнаженность леса, весны никто не замечает. Люди, одевшись в одежды, и весну одели и теперь, глядя на нее, не испытывают никаких неудобств. Оно и понятно. Ни зимой, ни осенью, ни летом я не разоблачаюсь и не стою в лесу нагишом. Это я позволяю себе только весной. Пока меня никто за этим странным занятием не застал, но сам-то я прекрасно вижу, что совершаю нечто неприличное, постыдное, а не каюсь, не стыжусь и продолжаю свое дело. Оттого мне кажется, что весна бесстыдна. Я, если пройдет человек, или птица какая пролетит, или бабочка, застесняюсь и скоренько одежду на себя напялю, чтоб позора моего не разнесли. А она и стесняется и не стесняется, и боится и не боится. И, увидев кого, одеваться не станет, так и будет стоять в своей красоте, выставит напоказ свою наготу, чтобы влюбить в себя, очаровать. И берегись тогда странник, подпавший под ее чары!

Желтые листья дуба висели всю зиму и только теперь опадают. Есть разница между падением листьев осенью и весной. Осенью лист падает, потому что умирает. Кончается его жизнь, и его клонит к земле. Он умирает сам, по своей воле, и никто его не заставляет. Весной листья падают, потому что их подпирают другие. Молодая жизнь рвется на волю и требует себе дороги. Какая смерть лучше, та или эта? Я думаю, обе они хороши, раз на смену старому приходит новое. Можно было бы, конечно, осудить листья дуба, что они упали не осенью, по своей воле, а задержались до весны и, как бы сознавая свою обреченность, не пожелали подчиниться судьбе, а воспротивились ей, решили продлить свою жизнь до тех пор, пока их не вытеснят новые. Но если смотреть с этой точки зрения, то так ли уж стоит их за это осуждать? Почему в этом нужно видеть только дурную сторону? А вдруг они остались не потому, что

захотели продлить свою жизнь за счет других, а не поверили до конца в приход новых, вот и висели до весны. Весна пришла, полезли из почек новые листья, и старые уразумели, что бояться им нечего, свет на них не кончился, жизнь продолжается, а значит, они могут спокойно отлетать. И они отлетают. И не останется на дубе ни одного желтого листа, как бы он ни хотел остаться. Да он и не хочет этого. Висеть на дереве или гнить в земле — ему уже, по-видимому, все равно.

Майский жук полз по стволу сосны, был он красив, крупен, и меня разобрало искушение взять его и засушить, чтобы при случае похвастать знакомым. Я держал его двумя пальцами за спинку, а он теребил ногами, пытаясь освободиться. Потом я отпустил его. Жук отполз от меня немного и остановился, чтобы отдышаться, оглядеться, успокоиться. И вдруг я услышал приятный, особенный запах леса, какого давно не слышал — потерял и искал. Я различал в этом запахе запах сосновой коры, на которой сидел майский жук, запах редкой травы у подножья этой сосны, запах вершины дерева, его хвои, обдутой ветром, запах сухого сучка, застрявшего в боку ствола; я задышал глубоко, как давно не дышал, я увидел перед собой картину леса, как если бы из человека превратился в жука или еще в кого,— новыми, обновленными глазами, как если бы томился сто лет в темнице и потом выпустили меня на волю. Я говорил себе: лови этот миг, скоро он опять убежит, и надолго. Мир был так прекрасен, что, еще немного, и он бы стал бестелесен, невоспринимаем органами чувств. Вот что мог наделать со мной один отпущенный на волю майский жук.

Спору нет, приятно прийти в лес и сорвать в нем цветок или ветку душистой черемухи. Зачем тогда и приходить в лесные угодья, если ничего не брать? Но еще приятней ничего не рвать, а с чем ты пришел, с тем и уйти, ничего не поломав, не попортив, не потревожив. Увидел душистый ландыш, понюхал его, поглядел, если он тебе очень нравится,— и шагай смело дальше — за то, что ты его не сорвал, не пнул ногой, не тронул, он на

тебя не будет в обиде. Увидишь в зарослях папоротника ежа с ежихой — можешь поздороваться с ними, если ты воспитанный и учтивый человек и считаешь, что с незнакомыми в лесу необходимо здороваться первым, как с соседями по квартире, можешь уступить им дорогу, а можешь не уступать, а идти своей, благо твоя дорога с их никогда не пересечется и тебе не придется усиленно работать локтями, чтобы отстоять свой путь. Услышав щебет дрозда на рассвете, можешь принимать это за добрый привет твоей особе, а можешь считать, и вполне справедливо, что твоя персона все-таки не имеет никакого отношения к дрозду и его песне, что дрозд поет, был бы ты тут или за тысячу верст отсюда, жил бы или давно умер, что старается он сам по себе и для себя или своей драгоценной супруги, что сидит рядышком на ветке, и тебе вовсе не обязательно на этот птичий эгоизм обижаться и в злобе палить в него из ружья.

Конечно, можно приходить в лес и уходить с охапкой ромашек, рвать цветы клевера, одуванчика, плести из них венки и короновать себя или своих подруг и друзей, как неких венценосных особ, ловить ежа и давить змею палкой. Но лучше ничего этого не делать. Но что же тогда делать, ведь делать-то что-то надо? И что унести из леса? Если ты вместо убитого дрозда унесешь с собой его песню, вместо охапки ландышей — их запах, вместо воза черемухи — ее запах, схватишь ее нетленную неуловимую красоту, которая не дается в руки, которую можно унести только в сердце, в памяти своей,— я думаю, ты возьмешь значительно больше, чем можно взять, сорвав все одуванчики на свете, убив всех дроздов. Вопрос только в том, как это неуносимое взять и унести в своем сердце.

Проснулся на рассвете, еще темно, а лес полон птичьих песен. И подумалось мне вдруг, что я умер и птицы отпевают меня. Потрогал себя, пощупал — вроде живой. И тут вспомнил, что весна пришла и птицы поют, ее приход оглашая, прославляя жизнь. И стыдно мне стало, что принял я восславление жизни за ее отпевание, птичью музыку весны на свой счет. Но потом мысль так повернулась: а что было бы, если бы ты или кто из твоих друзей на самом деле сегодня утром умер

и пели бы птицы? Ради чего они пели — приход жизни прославляя или уход ее оплакивая? Я думаю, ни один человек в мире не смог бы ответить мне на вопрос.

Почки уже раскрылись, но листьев нет, и черный лес позеленел без листьев. Трепетна эта зелень леса и непостоянна, с каждым днем она набирает свой темп, и оттого, что она непостоянна, она трепетна. Это еще не зелень, а тень зелени, ее робкое о себе напоминание, не голос, а шум, невнятное бормотание.

Тают бедные снега, сочатся, источаются влагой. Теперь редко, только где-нибудь в густом ельнике да в какой глубокой яме, набредешь на снег. Лес чист, сух и от сухости, когда идешь, трескуч. Вдоль дороги в канавах полно чистой, отстоявшейся воды, а на дне канав лежат прошлогодние, черные листья. Земля с зимы пропитана водой, вода будет держаться в ямах долго.

Кажется, ничего нет на свете чище весенней воды в луже и, думается мне, целебней. Если действительно есть на свете живая и мертвая вода и это не обман и не выдумка, не какая-нибудь дикая аллегория, смущающая современные скептические умы, то она есть только в этих лужах весной. И я бы рад набрать ее полную бочку и оживлять кого по усмотрению, да, не надеясь на себя, на свои знания, на то, правильно ли я сделаю или нет, не натворю ли где ошибок, оживлю не того, кого нужно, от мыслей своих отступаюсь.

Удивительный в эту пору получается оптический обман. Ты глядишь на дерево вблизи — ты зелени на нем не замечаешь. Ты глядишь на него издали — и зелень видна. Наверное, подобные необычности закономерны в природе, и, когда ты слышишь какой-нибудь парадокс, говорят тебе на черное — белое или малое называют большим, а далекое — близким, не кажется тебе все это нелепым вздором, чепухой, игрой ума, а кажется чем-то истинным и верным.

Вороне — верной моей спутнице зимы, весны, лета и осени,— вот кому хотелось бы мне спеть хвалебную песнь. Все остальные птицы хороши и достойны прославления, один в них недостаток вижу — непостоянны они. Полгода ведут они со мной дружбу, а полгода

прошло — глядишь, улетели, даже не знаешь куда. Что же касается вороны, то она как сидела на ветке сосны зимой, так и сейчас на ней сидит и сидеть будет, пока я жив буду, пока будет расти лес, и никакие душевные волнения, никакие земные бури ее не сгонят. Иной раз думается, что она от неподвижности окаменела — так терпеливо, так долго сидит она и в жару, и в метель. Имея такую верную спутницу жизни, жаловаться мне грех. Да я и не жалуюсь, а если когда и поплачусь немного, то кто этого не делает? Живому ли человеку не плакать, не говорить об отчаянии, о смерти, не пугаться ее, не страшиться и не радоваться жизни?

И хоть я ее не слишком люблю, ворону (на это есть много понятных и непонятных для меня причин), я думаю, что со временем вся моя любовь достанется ей. Верность должны мы поощрять, терпеливость и верность.

Ну а как же лес, как же распорядимся любовью к нему? Или на старости лет предпочтем ворону? Может, потому и сидит она на сосне, и выжидает, и ждет своего часа, когда придет ее срок и она прикоснется ко мне своим жарким, испепеляющим поцелуем?

Вчера ночью подошел к одной сосне, прижался к ней щекой, и вдруг волнение явилось в груди. Стоял, обняв дерево, и сердце сильно билось оттого, что сосну обнимаю. Обнимал бы какую девушку, такого не чувствовал, а то, что дерево обнимал, волновало меня необычайно. И так во всем. То, что с людьми говорю, с самым умным человеком беседу поведу, услышу его полезные советы, узелок тайны распутываемый,— это меня не тронет. А заговорю на речке с уткой, с одуванчиком, с бабочкой, с тетеркой — и беседа их для меня — сладкое занятие. Сплю с девушкой — сон с ней, как обычное времяпрепровождение. Сплю с днем, с ночью, с деревом, с луной, с облаком — и чувствую в душе жар и трепет, и унять их не могу. Встречусь в лесу с человеком — и встрече рад, но встречусь с рысью, с зайцем, с лисой — и рад вдвойне. Хочется мне от радости умиляться и плакать. Осуждаю себя за подобные порывы: как же так, говорю, зверя, растение возвеличиваешь, а человека принижаешь, не человек ты, а полчеловека. Осуждаю, а ничего поделать с собой не могу. И не хочу скрывать,

что чувствую, лицемерить. Пусть я буду не прав, пусть осудят меня за мое еретичество и легкомыслие. Я соглашусь с этим. Но пусть голову мне отсекут, я все равно буду твердить свое. Наверное, не следует быть ко мне слишком суровым. Возможно, я одичал, живя в лесу, в одиночестве, отвык от людей и оттого лес принимаю ближе к сердцу. Это не значит, что я против людей, что вероотступник, что готов предпочесть лес людям. И я могу общаться с людьми, веселиться на пирушке, но пир среди трав и цветов для меня веселее.

Глава третья

Почки на деревьях зашевелились, и ветки у деревьев слегка зазеленели. Но до зелени еще далеко, недели две пройдет, прежде чем деревья прикроются листьями, а может быть, наоборот, они разденутся и обнажат себя? Привычно сравнение: мол, деревья оденутся в платье. Но какое же это платье, если оно чувствительнее любого участка тела? Когда деревья одеваются в листья, мне кажется, что они кожу с себя сдирают, чтобы острей чувствовать этот мир, чтобы жить в нем, любя и ненавидя, а не стоять истуканами. Прикоснулся к молодому листу, тронул его и почувствовал, что ему больно. Наверное, без этой чувствительности невозможно ему связь держать ни с солнцем, ни с луной.

Синица тенькала с утра, но откуда она взялась, голубушка, если в лесах, в полях уже давно журчит жаворонок, в лесу поют дрозды, а в скворечнике на кордоне прочно обосновалась пара скворцов? Что ее запоздалое пенье, если весна пришла и прошла и, того гляди, вот-вот лето нагрянет? Зазевалась она, что ли, в своих ежедневных хлопотах и прозевала весну? Проспала, сидя на ветке? А может, глядела на нее и не верила в весны приход? Верить-то верила, что придет, без этого никак нельзя, да думала так: когда она придет — неизвестно, а пока ее нет. И дождалась, когда весна кончилась. И чтобы теперь подтвердить ее приход, выдавила из себя запоздалое слово, как будто, не подай она голоса, и весны не будет.

Проснулся и обнаружил на голове сосновую ветку и испугался. Боже мой, началось! Уж не стал ли я сосной, как предполагал раньше, не полезли из моей головы ветки? Смотрю: ноги, руки — все цело и на месте, но и ветка с хвоей тоже есть. То, что я остался человеком и не превратился в дерево, меня обрадовало. Но вот вопрос: а ветка зачем на голове? Конечно, ветка не рога, чтобы ходить отмеченным, но и она вроде бы мне не нужна. Я-то к ней могу отнестись спокойно, пусть хоть целый куст растет, да что люди скажут, увидев меня с веткой на голове? Что они подумают обо мне? Ведь, пожалуй, засмеют, а то поймают и посадят в клетку и будут показывать меня, как некое заморское чудо, рассматривать, изучать — словом, своим существованием я буду обогащать науку. Но если и не поймают, если оставят в покое, каково мне с этой веткой жить? Хорошо, если останется маленькая, а если начнет расти и разрастется в ширину и высоту, почему бы ей не расти,— и увязну я в ней, как в чаще, в буреломе, и не смогу выбраться оттуда? Конечно, с одной стороны, я не против: если хочется ей расти, пусть растет, я даже рад буду, если она вырастет,— все какую-то пользу людям принесу, свежего воздуха наработаю, а если посмотреть с другой стороны, то хлопотно и накладно таскать мне на голове дерево. Долго я перебирал свои мысли и в конце концов согласился — раз ветка есть, пусть она будет. И когда я с этим согласился, вспомнил, что ветку эту я вчера в лесу подобрал — кто-то сломал ее и бросил, — а когда ложился спать, у головы положил на кровати. А я уж подумал, что она из головы моей выросла. Обидно.

Почему мне нравится это утро? Конечно, оно мне и само по себе нравится, но я думаю и так: раз есть это утро, значит, есть еще и другие утра. И если мое утро не очень мне нравится, чем-то оно не вышло — то ли роса слишком холодна, то ли солнце запоздало, то ли ветер сильно задул и туч больше, чем надо, нагнал, и оттого в лесу сумрачно и неуютно,— мысль, что где-то есть другие утра, ясные, светлые, с приятной росой и точным восходом солнца, меня радует настолько, что и мое серенькое и неудачное утро кажется мне теперь намного лучше, а если говорить прямо — совсем прекрасным, так

что и холодную росу, и солнце, и разгулявшийся ветер, и тучи я теперь воспринимаю не как наказание на мою голову, а как драгоценный подарок.

Можно падать в нравственном отношении, лгать, тщеславиться, злиться, а можно просто глянуть в окно, увидеть солнце, дерево, улыбнуться ему — и ты уже пал. Или увидеть ромашку в поле, березку на ветру, колодец, ворону в полете, дятла, на свою руку обратить взор, сделать шаг. Любое движение, взмах руки, любой взгляд — это уже падение. И выходит поэтому, что каждый день я падаю, и нападываюсь за день в яму величиной с бездну. Когда же я тогда поднимаюсь, и поднимаюсь ли я вообще, падая весь день? Тогда же я и поднимаюсь, когда падаю, потому что глядение на солнце — разве это не подъем? Вид на лес, на поле — это ли не блаженство, не радость? Но если я, глядя на солнце, поднимаюсь, как же я тогда, глядя на него же, падаю? Утром, глядя на солнце, я поднимаюсь, вечером, вместе с ним, падаю.

Цветок, дерево, камень живут не день, не два, не сто лет и не тысячелетие, не от мига, когда они появились на свет, до полного своего уничтожения, а вечно. Скажем, я запомнил и полюбил одуванчик, что рос на опушке у куста малины. Могу ли я сказать, что прожил он одну весну? Он будет жить ровно столько, сколько буду жить я, и, кто знает, может, останется жить и дальше в памяти и в сердце моего сына, внуков, друзей, знакомых? Прошла весна, умер одуванчик, а я держал его в своей памяти — так он мне был мил — и забыл.

Как-то иду по опушке, гляжу, а он опять живой, цветет. Из памяти я одуванчик выбросил, а он опять на опушке зацвел.

Зеленый лист и голубое небо. Сколько раз приходилось мне видеть подобную картину, и никогда я не мог равнодушно на нее смотреть. Всегда это сочетание листьев дерева и дневного синего неба волновало меня необычайно. Причину своего волнения я вижу вот в чем. Каждый раз, когда я гляжу на лист и небо, я вижу не

отдельно зеленый лист и отдельно голубое небо и не сочетание их вместе: я вижу голубой лист и зеленое небо. Точней, в листе я вижу небо, а в небе — лист. Тогда кажется мне, что в каждом листе размещено небо, а небо есть один огромный лист, висящий на дереве. И чем голубей мне кажется лист и чем зеленей небо — тем радостней у меня на душе. Для большей точности можно даже сказать, что лист как был, так и остается для меня тогда зеленым, а небо голубым, но в то же время я вижу лист голубым небом, а небо зеленым листом. Как тут этому не радоваться! От такой картины, такой красоты вообще можно с ума сойти, от радости свихнуться и быть блаженным до конца своих дней. И если это со мной не случается, то только потому, что трезвость ума мне необходима для того, чтобы рассказать об этой красоте.

Сколько ни живешь на земле, а всегда бывает радостно ощущать, что что-то впереди тебя ожидает. Плохо, когда тебе кажется, что ничто не ждет тебя впереди. Но вот пришла весна, и сердце мое опять робко забилось, и я, как отрок, как младенец, жду, начал ждать. Чего я жду? Точного дать ответа на этот вопрос я не смогу. Могу сказать с полной уверенностью, что жду я не счастья, не любви, не богатства, не славы, даже не битв и не геройских дел, хотя что касается последнего, то я всегда их хотел, геройских дел, и желал для себя и сейчас желаю. Жду одного — чтобы жизнь продолжалась, потому что я верю, что вместе с ней придет и то, чего я захочу. Почему я сейчас не хочу счастья, славы, геройских дел? Потому что ожидание новизны жизни выше всех других ожиданий. Тут ничего не надо желать. Желания ушли, ты ими полностью насытился. Не удовлетворяя, ты их все удовлетворил. Самое трудное, на мой взгляд, пережить жизнь.

Меня тогда интересует работа и я ею загораюсь (понятно, что, при всей своей самой горячей любви к лесу, я не всегда работаю в охотку), когда, делая одно какое-то дело, я, по подобию, представляю, что делаю и другое. Сажаю я сегодня на гари семена сосны. Солнце, тепло, прекрасная погода. У меня в руке мешочек с се-

менами. Я стою на коленях перед взрыхленным квадратиком земли. Взял горстку семян из мешочка, кинул в землю, нежно прихлопнул ладонью — и дальше, к следующему квадрату. Весело ли мне эту работу делать? В общем-то, особой скуки я от этого занятия не ощущаю и не берусь утверждать, что оно хуже или лучше иного — рубки просеки или чистки гари. Песни в компании распевать, или анекдоты рассказывать, или лежать на печи и плевать в потолок иной раз, безусловно, приятней. Не скажу, что, кидая семена в землю, я слезы лью, не скажу, что и пляшу от радости. В один квадрат набросал семян — это даже забавно как-то, торжественность момента тебя забавляет и приподнимает, два десятка, три десятка квадратов ладонью пристукнул — куда ни шло. Но когда в твоем мешке миллион семян, а вырытых квадратов так много, что от них рябит в глазах, и солнце сверху дышит яро, а от непрогретой земли несет холодом, когда ладонь от прихлопываний как бесчувственная деревяшка, и колени истерты до крови, а спину, как ни старайся, не распрямить, и день огромный — от зари до зари сколько рабочих часов уместится в нем,— тогда, пусть не осудят меня строго, не очень-то веселит меня такая работа, если не проклинаешь ее почем зря. И это было бы так, и было бы очень грустно и несправедливо, не будь одного спасительного обстоятельства: если бы не моя способность представлять, что, делая одно, ты делаешь и другое.

Что же я представляю, когда сею по весне сосновые семена? Тот момент, когда я, отобедав, лежу на своем ложе, или, натрудив свои руки и ноги, отдыхаю, или, встретив давнего друга, веду душевную беседу? Ничего подобного. Я представляю, что, сея семена сосны на гари, я сею семена добра и любви в этом мире, и едва я себе такую картину представляю, как нудная и надоевшая мне работа не кажется уже такой нудной, в меня вливаются новые силы, мой дух крепнет. Я готов тогда ползать и обхлопывать своей ладонью весь мир. Больше того. Не знаю, отчего это происходит, но я тогда совсем не вижу себя лесником, сеющим сосны, хотя мне и хочется себя им видеть. И гари не вижу, и пустых квадратиков земли, и леса вокруг. Я представляю себя тогда эдаким великим сеятелем добра. И не смущает меня мысль, что я лесник, не беспокоит, что я нахожусь на гари, что предо мной пустой квадратик земли, а в руке

мешочек с семенами. Как будто это все не так, ничего этого нет: ни леса, ни квадратов, ни сосновых семян. А есть человечество, мир, семена добра и любви. Тебе дана способность сеять разумное, доброе, вечное. Будешь ли ты жаловаться на скуку и боль в пояснице?

Когда раскрываются на деревьях почки, я ловлю себя на мысли (или чувстве?), что мне каждый листик хочется поцеловать. И я бы делал это, если бы имел на это право. Но кто мне его дал, и почему, собственно, я должен осквернять своими устами эти нежные создания? Конечно, я худого им не хочу, и поцелуй мой, награди я им листья, ничего плохого не сделает. Но что я за властелин такой, отвоевавший себе право лобызать каждый листок? Или лес — мой гарем, где я распоряжаюсь, как мне хочется? Повторяю, будь моя воля, я бы целовал по весне каждый листок, так он свеж и юн и полон очарования, но я знаю, что кроме меня есть еще любители целовать листья: солнце, ветер, утренняя и вечерняя зори, ночь, день, туман, взгляд прохожего, звезды...

Я почему еще говорю о том, что по весне мне хочется целовать клейкие листочки? Мне кажется, что они меня хотят целовать и целуют, едва я пройдусь по лесу. И тут возникает, на мой взгляд, несправедливость. Если предположить, что я их хочу целовать все, то сделать это мне мешает сознание, что есть еще другие целовальщики. И мне отка́зано в этом. А если они хотят целовать, то им дозволено — целуй столько, сколько хочешь! И они целуют и зацеловывают меня так, что я начинаю сердиться на них, недоволен. Конечно, если бы каждый лист вздумал запечатлеть на мне свой поцелуй, то что бы от меня осталось? Одна дыра. К счастью, я не настолько прекрасен, чтобы они стремились ко мне с объятиями. Поцелует один листок, поцелует другой, и на том спасибо. А я уж раскричался — все хотят меня целовать.

Вечером глянул окрест — один куст зазеленел, второй, третий, радостно мне, что кусты расцвели, я о них забыл, я никакого участия в их судьбе не принимал — они сами о себе позаботились. Я понимаю, что мысли

мои вздорные, ничем помочь кустам все равно я бы не смог, но то, что они раззеленелись без моего участия, мне приятно и радостно. А вдруг случилось бы так, что все это зависело от меня: что им в сегодняшний день зазеленеть надо, а я о них в суете и спешке позабыл или о других кустах подумал — слава богу, их у меня в лесу не считано,— и, оставшись в сиротстве, не зная, что делать, что бы они делали? Терпеливо ждали своего часа, когда я обращу на них свой взор? Пусть бы я обладал волшебной властью, и глаз у меня был самый ангельский, и мой призыв к жизни сулил одно сплошное счастье, даже тогда самая маленькая забота о себе была бы для кустов полезнее и важнее, чем мой взор. Конечно, и он что-то делает, чему-то помогает, содействует или скорому росту, или медленному прозябанию, но деяние его чисто символическое. Потому что прозевай я, проспи весну хоть одного куста, не дай ему зазеленеть, а погибнуть в бесплодном ожидании, и как мне тогда уберечься от сурового суда природы?

Почему я говорю, что по весне родился? Потому что вижу в себе перемены, стал другой. Себя не тороплю и других тоже. Раньше что делал? Придет весна, пригреет солнце, явится в лес нега и благодать, а я сижу на завалинке и не вкушаю эту негу, не сосуществую с солнцем, с листьями, с ветром, а тороплю их — скорей да скорей. А почему тороплю? Хочу, чтобы они подольше задержались, остались. Открыто задерживать их мне стыдно, вот я и придумал уловку, говорю им: торопитесь, как бы насильно их выпроваживаю, назло гоню, чтобы они возмутились и назло мне остались. А выходило наоборот — я торопил весну, торопил цветы цвести, и они торопились. Я хотел на них злом подействовать, а они, простодушные, принимали мое гонение за чистую монету и уходили. Вот и получилось: не успеешь оглянуться, глаз на одуванчике подержать — а где весна, где лето? Отшумели, отскакали, унеслись, как табун диких необъезженных коней. Только горький привкус пыли остался.

Теперь сижу и не тороплю весну, и не задерживаю. Даю ей полную свободу. Пусть, как хочет, так сама собой распоряжается: хоть стремглав ко мне бежит, хоть, прильнув к плечу, на вечный миг остановится. Странно,

непонятно, необычно мне такое состояние, не улавливаю я, отчего оно и почему. Но и рад я ему. Выходит, весну, лето не нужно обманывать, они, как дети, воспринимают все буквально. Скажешь ты: торопитесь — и они поторопятся. Скажешь: останьтесь, задержитесь — и они задержатся. Скажешь: останьтесь навсегда — и они навсегда останутся.

Грустно мне не только весной, когда природа расцветает, все куда-то торопится, спешит, а ты стоишь на месте; или осенью, когда падают с деревьев листья и по самому естеству положено грустить; грустно мне не только тогда, когда встречу несправедливость, увижу срубленную сосну или раненого лося — тут, как ни береги свое сердце, сама душа требует грусти. Грустно мне не только от разлуки, несбывшихся надежд, прошедшей молодости, угасшего дня, наступившего лета или будущей зимы — вся эта грусть понятна, было бы скорей непонятно, не приди она ко мне. Но вот когда я прохожу мимо луга и вижу зеленый листок травы, отчего мне тогда, при виде него, становится грустно? И не веселые чувства этот зеленый и бодрый листок во мне вызывает, не радость, перемешанную со слезами, не дикий и буйный восторг, а грусть, и я, как старая и пожившая на этом свете кляча, глядя на листок травы, грущу. Почему я грущу, когда встречаю старого друга, когда исполняются мои мечты и надежды, когда я начинаю день и до вечера еще далеко? Я так сильно тогда грущу, что, кажется, ничего во мне, кроме моей грусти, не осталось и не будет уже никогда. Хорошо, что это проходит. Погляжу на траву, погрущу — и отойду, забуду, а забыв, развеселюсь. Обрадует меня вид сороки, сидящей на суку, сломанная ветка березы, сумерки уходящего дня.

Приглашаю к себе в гости солнце. Как я это делаю? Утром просыпаюсь, встаю, пока темно, и, выйдя на крыльцо, солнце на востоке встречаю. Приглашаю луну или месяц — тут все наоборот: рано спать не ложусь и жду, когда луна из-за леса выглянет. Приглашаю к себе одуванчик. Выхожу на луг и иду туда, где он цветет. И он предо мной появляется. Приглашаю речку, облако, ветер, тропинку, куст бузины или малины — и ни

разу не случалось, чтобы я хотел кого увидеть, а он меня нет. Приглашаю звезды: ночью не сплю, голову запрокину, в темное небо всматриваясь. Приглашаю лису или лося — с ними, конечно, нужно больше повозиться, поуговаривать, поупрашивать. Но и у них общительный и сговорчивый характер. Поупрямились — и согласились. Порыскаешь по лесу день-другой, глядишь — и на лису, на лося набрел. Приглашаю к себе зяблика, ворону, сосны, осень, речку, дроздов, вечерний закат, снег, туман, осеннюю рябину. Кто ко мне не приходил, кто отказывался?

Приглашал сегодня ночь, а она не шла. И свет вечерний стоял нестерпимо долго, и солнце за лес не садилось, и дрозды на верхушках сосен не умолкали, и я усталый от ожидания ночи, лежал в постели и вздрагивал от каждого шороха: не идет ли? Да так и заснул, ее не дождавшись.

Как у старика, ночью ноют ноги, и я уже знаю, будет непогода. Боль не сильная, но неприятная, и, потерпев немного, я говорю ногам: хватит, поныли и перестали. Но, пока они меня не измучают, не перестанут. Не соглашайся я с ними, что на смену придет плохая погода, доказывай, что все будет наоборот, тогда другое дело, пусть бы они меня совсем доконали, я бы слова им не сказал. Но я соглашаюсь с ними, и оттого, что, несмотря на мой покладистый характер, они меня допекают, мне обидно, досадно. А то вот возьму да и буду нарочно твердить, что будет вёдро, зная, что будет непогода,— как им тогда придется, что будут делать? А то и на самом деле усомнюсь, что будет непогода, и поверю, что будет вёдро,— что они на это скажут? Не век же им ныть, когда-нибудь и они устанут, и нудение костяное я перетерплю. А вдруг и в самом деле, страстно пожелав ясный день, я, назло своим больным ногам-профессорам, его призову, и он придет, как мне, а не им хочется. Прийти-то он придет, да только в природе ничего назло не делается. Вот если я от добра его пожелал бы, тогда другое дело.

Порвал брюки и хотел идти в лес в драных штанах, да взял иголку и основательно зашил дыру. Хоть и не в люди я иду, отправляясь в обход, а стесняюсь я леса

не меньше людей. Иной человек едва придет в лес, едва скроет его от людского взора густая чаща, тут же чувствует себя свободным от всяких цепей условности: сморкается, стреляя из ноздри в землю, чешется неприлично, раздевается догола, будто его никто не видит и лес не в счет, а уж перед собой что стесняться — весь я тут, какой есть. Я же на людях веду себя гораздо развязней, чем в лесу. На людях я и высморкаться могу, и почесать то, что чесать неприлично, и зевну, и хрюкну от удовольствия, если у меня такая возможность представится, и выругаюсь, ни к кому не обращаясь. В лесу же я тих и смирен, как овечка. Я на каждом шагу извиняюсь и кланяюсь: простите, извините, я вас не обидел, я на вас не наступил? Я здороваюсь с каждой былинкой, с людьми я никогда не здороваюсь первым, да и вторым здороваюсь неохотно и не всегда. Я предупредителен, учтив, вежлив, галантен, как кавалер. Я весь — внимание. Какое уж тут ходить в драных штанах! Это для меня все равно, что для другого прибыть к даме сердца в кальсонах. Собираясь в лес, я одеваюсь и принаряжаюсь, как девица на бал или перед свадьбой, и умоюсь, и волосы гребешком расчешу. И уж если, с кем того не бывает, случится нужда и дернет меня нелегкая где-нибудь в лесу высморкаться без платка или сказать вслух грубое слово, я краснею, как школьник, переживаю свой позор, и кажется мне тогда, что тяжка моя вина и нет мне оправданий.

Береза распустила листья и залепетала поутру. Стояла зиму без листьев и была мертва. Язык, слово, звук — вот что дает березе жизнь. Теперь стоит она, стоязыкая береза, и наговориться за долгую зиму не может. И утром слегка шумит, и в полдень перебирает листья, и ночью в своем разговоре не умолкает. Так и я, намолчусь, сидя на своем кордоне, а выйду на люди, и никому слова сказать не даю, захвачу нить разговора и стрекочу, как сорока, и пою, и шумлю не хуже березы. Кажется тогда, что у меня во рту вместо одного сто языков. Уж меня собеседник обрывать начнет, уж поглядывает искоса, уже все говорят, стараясь не слышать мою болтовню, я, пока не выговорюсь, не умолкну и, слушай они, не слушай, буду говорить. Чувствую, что

нехорошо поступаю, что и другим надо высказаться, да где тут удержаться, язык сам молотит, словно колеблет его какой-то сильный и протяжный ветер.

Как бы ты ни был близок к дереву, кусту малины, к траве, если ты живешь в избе за четырьмя бревенчатыми стенами, ты все равно от них далеко, как если бы ты находился за тысячу километров или вообще тебя не было. Видеть лес, сидя у окна, или, не видя, представлять в своем воображении — это равносильно тому, что ничего не видеть, хотя иногда такое вӣдение прозорливей и острей любого. Видеть лес вблизи, сидеть рядом с деревом на расстоянии протянутой руки, ощущать шептание трав, щекотание трав возле уха, слегка тронуть пальцем распустившийся колокольчик — вот близость, которая так близка, что приводит меня в волнение, в смущение. Только при близости с человеком испытываю я такое же волнение. Идешь по дороге, поглядишь на лес и задрожишь вдруг всем своим существом — так на тебя вид этого леса подействует, точно был он до этого лесом, а стал и лесом и человеком, живую душу обрел. Увидишь зверя, птицу, и с ними происходит такое же превращение, видишь в них не только зверя или птицу, но и человека. Поглядишь на небо, и оно открывает тебе свои новые черты,— человека в том небе нет, не видишь ты там ни руки, ни ноги, небом оно было, небом и останется, а в то же время есть в нем и человеческое — все человеческое: глаза, уши, нос, брови, но они или иные, чем у человека, или их не видно.

Приближение к дереву, к траве, к земле в этом отношении благостно и опасно. Прекрасно оно тем, что открывает для тебя много новых друзей, которых ты раньше не имел, а опасность заключена в вопросе: как к ним относиться? С тех пор как ты увидел в них человека, с тех пор и отношение к ним меняется. Ты теперь не можешь их не замечать, быть равнодушным или грубым, сказать, например, небу: мне на тебя начхать, обругать, быть с ним неучтивым,— ты должен к нему относиться, как относился бы к самому себе или к своему знакомому. А это на первый взгляд кажется диким и противоестественным. Что же, мне скажут в ответ, цело-

вать это небо, просить у него прощения, здороваться, объясняться в любви, спать с ним как с любимой женой, в жарких объятиях?

Утром проснулся. Где ж твое карканье, ворона? Молчание кругом, и тихое утро наступает. Что ты поведаешь мне сегодня нового? Может, задержалась где за каким занятием? Полежал, подождал — не слышу ее карканья. Уже все бока пролежал — не каркает ворона, а я от упрямства не встану, пока не каркнет. А потом думаю: что же получается, так весь день пролежу, из-за нее на работу не выйду. Негоже это. Надоело лежать. Встал. Оделся. А сам прислушиваюсь. Сороку слышу, щебетанье дроздов, а вороны нет. Или ничего нового на свете не произошло? Или не случилось ли с ней беды? Как я теперь без вороньей сигнализации проживу? Вышел. Глянул по сторонам — все в лесу новое: и цветы, и облака на небе. А там и ворона сидит на суку целехонька и молчит. Что же ты не кричишь? — обратился к ней с упреком. Посмотрела она на меня с презрением.

Люблю весну, и так ее люблю, что боюсь себе и другим признаться и вслух произнести это слово. Вдруг скажешь — и любовь превратится в свою противоположность, в ненависть? Люблю весну и от любви к ней — как истукан. Всего она меня испепеляет, остается одна головешка.

Прекрасны все времена года, но весна из них самая прекрасная. Хороши осень, зима, лето, и лучше их нет ничего, но весна еще лучше. Впрочем, так, кажется, не бывает. Не люблю весну, ненавижу ее и ненависть к ней высказываю вслух, хотя никто меня за язык не тянет,— пусть она превращается в свою противоположность, в любовь. Но бывало ли когда так, что ненависть превращалась в любовь? Не люблю весну, и ненависть испепеляет меня, как головешку, и нет у меня никаких к ней чувств, и весь я внутри опален, обожжен, сожжен. Я мог бы сказать вдобавок, что весна самая отвратительная пора года, и я клянусь своей головой, что это так, что она безобразна, грязна, лжива, подла, но, сколько бы я этого ни говорил, все равно она будет прекрасна.

Сидеть среди трав и деревьев, глядеть на зелень, видеть туман над рекой, быть непосредственным свидетелем бега облаков по небу,— что может быть прекраснее для тебя, человек, и что есть на свете прекраснее? Я бы цепями себя приковал, чтобы глядеть на это каждодневно, и эти цепи, эта неволя были бы для меня самым сладким наслаждением. И кажется, что сложного, иди и смотри, кто тебе мешает, кто не дает, запрещает? Слава богу, пока еще за гляденье на лес ни денег не берут, как в кино или театре, ни в тюрьмы не сажают. Гляди в свое удовольствие. А между тем далеко это не так. Денег, правда, не берут и в тюрьмы не сажают, но постепенно человек отрывается от своего любимого занятия и скоро забудет, что есть лес, и потеряет его в своей памяти. Кто же это делает, кто отрывает его, где живут и прячутся эти разбойники и злодеи? А нигде не живут и не прячутся. В самом человеке живут, в нем и прячутся. Человек стремится к природе, он сам себя от нее отрывает. И если сейчас он стремится к ней слегка, то отрывается от нее слишком сильно, и я не удивлюсь, если лет через сто найдется ребенок, который не будет знать, что такое одуванчик или гора, небо. Не знать, на мой невежественный и слишком субъективный взгляд, что дважды два — четыре, — это еще не беда, не знать, что такое гора или одуванчик,— это беда пострашнее. Но не буду вороной каркающей. Буду верить, что будут знать и что такое одуванчик, и что такое гора. Потому что если ребенок не будет знать, что такое одуванчик или гора, или то и другое, что же, в конце концов, он будет знать?

Люблю, когда за зеленью листьев, за стволами деревьев, за пышной шапкой кустов что-нибудь да виднеется, синеет или голубеет: небо, море, небольшая поляна или далекий горизонт. Что там — ты не знаешь, да тебе и не важно знать. Важно то, что что-то виднеется, синеет. И ты знаешь, что в любую минуту ты сможешь направиться туда и дойти до конца. Впрочем, что это я говорю — до поляны, до моря дойти можно, но разве можно дойти до края горизонта и, тем более, до края неба, которое чаще всего ты и видишь в лесу? Но почему и нельзя? Или когда ты дошел до края леса и перед тобой открыт горизонт, разве не до края горизонта ты

дошел? Или ты дошел до края поля, а перед тобой небо,— не до края неба ты дошел? Ты дошел до края не леса, ты дошел до края неба — так я понимаю и принимаю синеющий кусочек неба в зелени дерев. И думаю, что не ошибаюсь. Небо, оказывается, гораздо ближе, чем мы предполагаем. Оно рядом с нами, оно у самого края земли, и мы частенько затрагиваем его головой, особенно когда подпрыгиваем вверх, чтобы сорвать ветку, или выходим на поляну.

Чем опасно раздеваться в лесу? Кажется, что когда ты раздеваешься, то и деревья и травы, прежде бывши одеты, раздеваются вместе с тобой, на тебя глядя, и, раздевшись, набросятся они на тебя с неутоленной страстью и погубят. И тут, чтобы спасти себя от неминуемой гибели, важно одно — приходить к ним с чистой душой, с чистыми мыслями. Если ты пришел в лес с чистой душой, если ты светел в своих желаниях, как луч солнца, и чист, как лесной ручей, ты можешь спокойно разоблачаться до последней части своих одежд, не заботясь о последствиях. Никто тебя не тронет, и сам ты не наскочишь ни на кого, не побежишь закусив удила, словно тебя укусила бешеная собака. Тебя хоть на раскаленную сковородку клади, хоть пытай, хоть миллион давай, ты останешься чист и спокоен. Ты пришел в лесные чащи чистым и смиренным, помышляя о высоком,— кто тебя испачкает? Кто в грязи изваляет? Вот если ты пришел туда с грязными мыслями, с желанием, с которым приходят только к падшим, тогда не ропщи на лес, не обвиняй его, тогда ты получишь то, что хотел, но в грязи ты пришел, в грязи и останешься. И не ругай, что лес, мол, тебя соблазнил, а как это случилось, не понимаешь. И уж тем более не обвиняй его в низких поступках, в разврате, в измене, а то и в легкомыслии, да и не требуй чего-то сверх меры, того, что тебе самому не дано. Получай то, что хотел, и умолкни. И, уходя, благодари его за то, что получил.

Я заметил, у дерева, у цветка есть дни особого расположения и особенных неудач. Цветет одуванчик, и за все лето нет в нем ничего заметного, как на него ни глянешь, он всегда одинаков: строен, жёлт, пушист.

И только в один день прекраснее, чем в иные дни: и пушистее и желтее, и стройнее. Глянешь на него, случайно идя по лугу, и не одуванчик перед тобой, а огненный шар — столько в нем мощи, красоты, что кажется не цветком нежным, а великим светилом, дающим жизнь всему живому на свете. Угадать этот день, а точнее, миг, невозможно, тут нет какой-то известной периодичности, когда это случится — сегодня или завтра. Для человека этот цикл неведом, но он есть, и я готов головой поручиться, что подобный расцвет, взрыв, вспышка происходят не просто от случая к случаю, а имеют свои причины и срок. Таким же образом есть день или миг для цветка, когда он выглядит так плохо, что, мне кажется, еще немного — и он умрет. Я бы даже сказал, если бы мне поверили, что, по мне, он тогда хуже, чем мертвый,— так скорбен и невзрачен он на вид и так на самом деле дела его плохи. Самое в этом удивительное, что день на цветок никак не влияет. День может быть мрачный, холодный, ветреный, дождливый и навевать нам уныние и скорбь, а одуванчик будет наперекор ему веселый и жизнерадостный. И наоборот, день может быть солнечный, полный тепла, а одуванчик скукоженный, чахлый. Люблю дни, когда вижу одуванчики в их праздничной мгновенной красоте, когда сияние исходит от них. Не люблю дни, когда встречаю одуванчики в их несчастье. Мне хочется тогда им помочь, но как это сделать? (Правда, миг этот быстр, ты глядишь на цветок — и он бледен, ты глянул — и он расцвел). И тогда я хожу по полям и подмигиваю им, и улыбаюсь, и подбадриваю, и кажется мне, что от моих подмигиваний и подбадриваний им становится легче, веселей.

Дойдешь до границ обхода, выглянешь из окон своего леса, а там лес чужой. И ходить ты в нем можешь, и клюкву рвать, песни петь — никто тебя не разругает, не выбранит, да сам ты стесняешься. Стоишь и думаешь: входить или не входить без разрешения? Но где тут дверь, в которую нужно стучаться? И кто, бегая по лесу, спрашивает лесника, можно ему войти в лес или нельзя? Раз есть лес, значит, есть право войти в него. Отними это право, и лес для человека исчезнет навсегда. Так-то оно так, да только какой ты младенец — за-

перли тебя в клетушке-обходе и других рассовали по соседству, ты и сидишь, и стесняешься нос высунуть, а для истинного леса где граница, где лес чужой, свой? Значит, ты не в истинном лесу живешь.

Потрогал ствол сосны, истинный он или нет? Вроде истинный: холодный, шершавый, отломил кусочек, попробовал на зуб, тут и запах смолы почувствовал, и свежего дождя, и запахи лесных трав, зацепившихся за ствол дерева, кажется мне, что и лисой тут слегка пахнет, и спящим вереском, не раз и ты проходил мимо этой сосны, и частичку тебя она на себе оставила, дыхнул, и дыхание твое есть, хоть и эфирно, невесомо, да прилипло, не отдерешь,— все как есть на этой сосне реально. И к другой сосне подошел, и ее потрогал и понюхал, лбом постучался для верности, как какой баран,— есть она или нет? Но и легких боданий мне хватило, чтобы убедиться, что лес реальный, все тут стоит без подвоха.

Увидел молоденькую сосну, и захотелось мне перед ней покрасоваться, показать, какой я прекрасный. Сделал умное лицо, опустил голову ниц, стал разглядывать подснежник. Сколько в цветке лепестков, какого строения, как будто его ни разу не видел; смотрел на подснежники, и неловко самому было: ведь не из интереса я на него смотрел и не от добрых чувств, а чтобы сосне понравиться, показать, какой я прекрасный, умный, внимательный, озабоченный делом лесник, на каждый подснежник обращаю внимание. И грустно было, и смешно от такого старания. Ну, понятно, перед девушкой какой себя показать, перед отцом, матерью, перед начальством, перед ребенком. На худой конец можно даже перед вороной покривляться. Ей все равно, она тебя лучше видит. Но притворяться перед сосной — бессмысленное занятие. И если она и впрямь поверит в мою хорошесть, не будет ли мне совестно?

Когда я плох, расстроен, разбит, мысли тяжелые меня беспокоят, не худо, чтобы избавиться от них, занять чистоты и ясности у дня, у утра. Что я временами и делаю. Но вот что меня смущает. Имею ли я на это право? Не много ли отнимаю? Есть ли у этой чистоты предел? Поскольку если допустить, что беру этой чисто-

ты не только я (не один я такой умный!), а многие, то не разберут ли все, не растащат ли утро на куски, как вкусный пирог? И что другим тогда останется?

С одной стороны, можно подумать, что чистоты этой полно и никогда ее не убудет. Но я склонен думать, что если и нет ей предела, то суть не только в том, что ее не исчерпать, а в том, что люди, взяв чистоту, тут же ее и возвращают, удвоенной или утроенной. Так происходит и со мной. Если я занял у дня или утра хорошего настроения, то что я с ним делаю? Прячу в сундуке, коплю, как скупец, хмурю лицо, хожу недовольный? Я улыбаюсь солнцу, траве, букашке, если они рядом со мной, улыбаюсь тому же утру, и трудно предположить, что они относятся к моей улыбке настороженно или с пренебрежением — мол, мы ему дали, а нам не надо. Они, как и я, берут от меня, хоть и заняты своим делом, хоть у них и своего хватает. Иногда мне кажется в зряшной своей фантазии, что мое веселое настроение им тоже помогает, что они, как и я, могут быть и грустными, и расстроенными, и недовольными собой, и неоткуда им взять бодрости, кроме как от меня. Но я понимаю, что это не так, что это только моя распустившаяся фантазия так говорит.

Бабочка сидела на одуванчике, а потом полетела. Я протянул к ней руку: ну-ка, лети ко мне! Она в сторону, за кустики, за деревцо, и скрылась в одно мгновение. Догонять я ее, разумеется, не стал, и обида за невнимание меня не разобрала, а подумал я, что есть, значит, у нее поинтереснее дела, субъект, к которому можно спешить. И она к нему спешит. Я ее за это не осуждаю. Но могла бы и ко мне прилететь. Не часто я обращаю внимание на бабочек, не часто и мысль приходит их к себе пригласить, и уж если пригласил я ее, так чего кочевряжиться, не жизни же я от нее требую, а лишь со мной побыть немного без ущерба для тех, кто ее ждет и к кому она стремится.

Когда ты живешь в лесу один, и каждую весну при тебе рождаются листья, и каждую осень опадают, и ты замечаешь это чередование с убийственной точностью, нет ничего удивительного в том, что рождение и смерть

ты готов приписать не природе, не дереву, не лесу, не перемене времен года, а себе, поставить себе в заслугу. Случись так, что в какой-нибудь год не народится новый лист весной или в какую осень не упадет с дерева, и тогда можно было бы допустить, что не твоя тут вина, а природы. Но где, когда случались подобные весны, чтобы не рождались на березе новые листья или старые не падали по осени? Я что-то такого не припомню. Напротив, каждый год и то, и это совершается регулярно, без промедлений. Конечно, времена года делают великую работу, вынуждая листья и травы нарождаться или умирать, но и твое присутствие здесь не бесполезно. Никто никогда не видел, да и вряд ли увидит, чтобы человек по осени ходил по лесу и отрывал от веток листья, равно как весной тянул молодые листочки за уши, вытаскивая их из почек. Но, думается мне, вовсе не обязательно тянуть и рвать листья. Это труд грубый, и его можно предоставить природе. Труд более возвышенный — любить и желать жизни этим невинным существам, листьям, или презирать их и тем самым насылать на них смерть. Ты мог бы сказать, что нет здесь твоего участия, но ты-то есть, ты ходишь по тропам, касаешься глазом голых веток, думаешь о лесе, вечером уходишь от него в избу, утром приходишь, ты его любишь, ты желаешь ему жизни, ты его от себя не отпускаешь, ты намертво с ним связан. Отсюда я вывожу, что ты есть причина и весны и осени в лесу.

Отцветает рябина, еще вчера белые ее цветы пожухли, потускнели, повяли, мелкие, с крупяное зерно, лепестки устилают под рябиной землю. Угасает жизнь в рябиновых цветах, умирает. Кажется, нужно бы рыдать и плакать, но никогда я не видел ни одного плачущего по падающим рябиновым лепесткам. Цветению их радуются, к смерти безразличны или относятся так, словно врут цветы, обманывают, требуют соучастия, а сами в нем не нуждаются. И тем самым вводят людей в заблуждение. Глядя на них, люди как бы говорят им: нет у вас смерти, не умираете вы, и мы не будем о вас плакать. Ошибочное заблуждение — есть она, смерть, и цветы рябины, отживая свой век, уходят. И мы не оплакиваем их уход по равнодушию своему, от черствости сердца. Что же, так и не оплакивает их никто и уходят

они от нас без проводов, никем не отмеченные? Не бывает так в мире, чтобы кто-то ушел бесследно. Кто же тогда их оплакивает? Дожди, туманы, росы.

Ночью шел дождь, и я, лежа в избе, слышал его. Ворчал он за бревенчатой стеной и рыдал по рябиновым цветам, как плакальщица. Такую тоску он на меня навел своим искусством плакать, что и меня под конец разжалобил, и я, вдруг охваченный каким-то смутным жалостливым порывом к умирающим рябиновым цветам, рыдал, уткнувшись в подушку, не спал. И только к утру успокоился.

Когда приходит ночь, я не в ночи себя ощущаю, хоть и окружают меня и лес, и тьма, и бледный месяц вылазит на небо, я не в ночь, как в воду, погружаюсь, я нахожусь с ней как бы рядом: вот ночь, а вот я — стою, или сижу, или лежу напротив нее. И такое странное тогда у меня чувство рождается, будто она, ночь,— это только то, что передо мной, а что сзади, того я не вижу, не знаю — ночь ли там, или день, или еще что. Тогда мне кажется, что ночь приходит и уходит, как человек, есть у нее, как у человека, ноги, руки, и я могу, здороваясь с ней, протянуть ей руку, а могу обе, могу по-дружески похлопать ее по плечу, а могу погладить по волосам, могу обнять, лаская, а могу и заупрямиться. Я прекрасно понимаю, что ночь — не человек и тем более не девушка, и я не обманываю себя, принимая ночь за девушку, я просто тогда не вижу разницы между ночью и девушкой, для меня они едины, и стань они рядом — ночь и девушка — я их не различу. Ничего удивительного в том, что, видя в ночи девушку, я в иное время вижу все наоборот, в девушке — ночь, и, когда какая девушка заявится ко мне на кордон в гости, вглядываюсь в нее, словно в тьму египетскую вглядываюсь, пытаясь определить, где месяц, где звезды.

Гляжу на лес, и кажется мне, что нет у меня ни ног, ни рук, ни головы, ушей, носа, рта, а есть глаза, верней, один только глаз. Вперился он в зеленую стену и оторваться не может. Да и зачем мне руки-ноги, если стоит мне глянуть на лес, на что-то зеленое, дерево или куст, и я конченый человек, я готов глядеть на них хоть день,

хоть год, в этом глядении себя забывая. Нет у меня тогда сил ни есть, ни идти, ни стоять, ни думать, ни переживать сердцем, а хватает меня на одно глядение. И чем больше я гляжу, тем больше хочется. Не заставляй я себя по долгу службы бегать по кварталам, не держи в руках топора и лопаты, не вари еды для поддержания боевого духа, не отваживай сердца для битв с порубщиками, и, кто знает, не отвалились бы тогда у меня все органы за ненадобностью, не исчез бы рот, не отпали бы, как осенние листья, уши и нос, не убежали бы сердце и легкие, не ушли руки, ноги и не превратился бы я в один огромный глаз, глядящий в этот мир? Да, может, так уже оно и случилось.

Жду свидания с утром. Сижу на кровати, босые ноги свесил, руками голову охватил и ожидаю. Время вроде бы и быть утру, но я четко знаю, что и рановато немного. Точней, оно могло бы и сейчас прийти, могло бы и запоздать — на то и на другое у него есть свои причины. Не двигаюсь, не шелохнусь и шума ни в лесу, ни в избе не слышу, лишь тяжело вздыхает от моей тяжести кровать да шуршит слежавшаяся солома в матрасе. Будь утро пораньше, будь ночь поглубже, я бы мог сказать, что ничего я не жду, а сижу просто так, страдая от бессонницы. Будь чуть позже, наступи утро, и я бы тоже не говорил, что я жду утро, даже если бы оно пришло. Сказал бы, что оно явилось. Но на таком перепутье, когда и ночь кончилась, и утро не наступило, тем и занимаешься, что ждешь его, как бы ты себя ни уговаривал, ни убеждал, что сидишь просто так, от нечего делать. Твердо знаешь, придет утро, грянет рассвет, поднимется солнце — и ты стряхнешь свою дремоту, расслабленность, оживишься, задвигаешься, засуетишься, пойдешь к колодцу за водой, начнешь колоть дрова, захочется тебе выйти на крыльцо посмотреть на просыпающийся лес, услышать пение птиц, понежиться под лучами встающего солнца, ступить на землю, на росистую траву, пройтись, пробежаться по ней отдохнувшими за ночь ногами. А сейчас ты сидишь недвижно, даже глазами не ворочаешь, даже языком лень тебе пошевелить. В окне летняя ночь. И сквозь толстые стекла ярко светит звезда. Я весь напрягаюсь, я еще в дремоте, но и где-то внутри меня оживает движение. Я, как

бабочка, распрямляю крылья и готовлюсь к полету. В левой части моего тела, как полноводная река, течет дремота. В правой — движение. Утро наступает.

На порожистом месте, на перекате речка течет быстро, возбужденно. Это, наверно, потому, что она рада, что есть у нее выход в море, в залив. Ну а если бы у нее не было выхода в море, неужели бы она не бежала на перекатах быстро? Если, скажем, был бы у нее выход в озеро, в болото, уходила бы она в земную твердь? И тогда бы она, наверное, неслась стремглав. Даже если бы никуда у нее выхода не было, и тогда бы она торопилась. Куда? Хоть в небо упала бы и пролила туда свои холодные воды. Хоть в мою глотку.

Нет теперь для меня ни смерти, ни рождения. То есть они есть, я умираю и рождаюсь, и без этих изменений жить, существовать никак невозможно, но и не умираю я, и не рождаюсь, а остаюсь неизменяемым. Как это получается? А так: я родился один раз, я один раз умер. И если после своей смерти я продолжаю жить, если я ем, сплю, охраняю лес, пишу, говорю, то где я сейчас нахожусь — при жизни или при смерти? Я думаю, при жизни. Но не при такой жизни, за которой идет смерть и от жизни этой не остается ничего, а только гниль и прах. А при такой жизни, которая никогда не умирает. Умирать-то она, конечно, умирает, как без этого. Но умирает уже не серьезно, а как бы шутя, как умирают актеры, изображающие смерть на сцене. Умер перед зрителями во всем натуралистическом блеске, вызвав в зале слезы и вздохи, а кончился спектакль, опустили занавес, встал он, отряхнулся от пыли и жив как ни в чем не бывало, отправился домой к жене чай пить. Есть ли тут смерть? Конечно, есть. И даже страшней, чем является в жизни. Но может быть, потому что она страшней, чем в жизни, ее нет. Или легче она, и не страшна, и не существует на свете. Я бы даже сказал, что эта смерть уже есть не смерть, а жизнь, и я был бы рад, если бы кто поверил мне в том, что я говорю.

Лес стоит, не шелохнется. Лес тих, он шумит, но шумит неслышно, внутренним шумом. Почему так? Потому что лес никогда не бывает тих. Он может только стре-

миться к тихости и покою. Дай лесу покой, и он тотчас же исчезнет, умрет, сойдет на нет. Хоть он и стоит на месте, он все время идет, движется каждый час, каждую минуту, каждой травинкой, каждым листиком своим совершает колебания. Он задумчив, он грозен, он рассержен, мрачен, угрюм, он ликует от радости — он всегда шумит: слышно, чуть слышно, слышно и не слышно одновременно. Как так? А так: он и шумит, он и помалкивает, он и сам речь ведет, и собеседника слушает. Пришел ты в его кущи, высказал ему свои печали, боли, или он тебя не выслушает, не ободрит, не приласкает, не развеселит, не поднимет твой упавший дух? Или после твоего посещения перестанет он шуметь листьями, умолкнет навсегда, пораженный и опечаленный твоими невзгодами, и век ему теперь молчать в немоте? Будет он шуметь, как шумел до тебя, будет и в речь твою вслушиваться. Иной бы раз он был и рад отделиться от тебя какой каменной стеной, чтобы не слышать твои бесконечные вопли, да как ему это сделать? Отгородиться от людей ему не судьба, как, думается мне, не судьба человеку отгородиться от леса. Иного и рад бы он не слушать, и надоел тот своей глупостью, а терпит, а слушает, внимает каждому вздоху и отзывается на него сочувственно. Впрочем, то, что надоедает ему слушать,— это мои догадки, не подкрепленные наблюдениями. Скорей он все-таки терпелив сверх меры. Это нам терпения не хватает, а ему куда его девать? Или поразишь его какими ужасами? Или удивишь буйством фантазии? Все-то он видел, все слышал, всему внимал — и речи человека, и крику перелетных птиц, и шороху трав на рассвете. И оттого что его теперь ничем не удивишь, что все он слышал и видел, от этого терпение у него безызбывное, радушие к каждой твари и привет.

И вот я иду и безмолвному шепоту леса внимаю. И чем больше я втягиваюсь слышать этот безмолвный шум, тем явственней доносится до моих ушей шум молвленый. Я приближаюсь к березе, что стоит на опушке. Дует западный ветер с залива, и еще издалека я различаю шум березы. Чем ближе я, тем шум сильнее. Я вижу, как трепещут на ветру листья, как раскачиваются на ветру гибкие ветки, как вся эта огромная тьмаязыкая, тьмалиственная купа яро, с напором терзается вет-

ром и гасится временами. Тут не только услышишь шум, тут ты и увидишь его: вот он родился, вот вырос, окреп, возмужал, полетел, вот одряхлел, состарился и умер,— ты как бы видишь перед собой жизнь этого шума, как можешь наблюдать жизнь человека или какой-нибудь козявки. Ты можешь взять его и попробовать на вкус, поздороваться с ним, посидеть, помолчать, обнять, поговорить, потрогать руками, поковырять пальцем, если тебе этого очень хочется (хотя последнего я не одобряю, ковыряй свое, а зачем в чужое лезть?), и все будет крепко, сбито, сколочено на совесть, а не на страх,— так что большая есть возможность при неосторожном обращении уколоться, ушибиться, получить синяк, а то и рану посерьезней. И так это будет явно и зримо, словно шум этот составлен из одних колющих, рубящих, сверлящих, стругающих и ломающих частей.

Днем проснулся. Встал обалделый от дневного сна. Что делать — не знаю. И сразу за кастрюлькой потянулся. А в кастрюльке гречневая каша. Столовой ложки под рукой не оказалось, взял чайную и прямо из кастрюльки стал есть кашу. Рот раскрыл, челюстями задвигал. Думал, съем ложку-другую — и хватит, ан нет, с каждым нырком в чрево кастрюльки аппетит разыгрывается все сильнее. Уж я полкастрюльки каши съел, уж со дна остатки подчищаю и, только когда всю кашу умял, успокоился. Не знал, что делать, а тут дело нашлось — теперь кастрюльку помыть нужно. Полдня до сна мучался мыслью, как бы не прокисла каша на летней жаре, полдня томился, жалко мне было кашу выкидывать. А в себя вместил, кастрюльку чистую на полку поставил, и опять я как солдат, хоть сейчас в бой иди,— нет во мне ни сомнений, ни жалостливых чувств, ничто меня не томит, не беспокоит. А тут вспомнил, что идти в обход надо, засобирался торопливо, заохал ложно, завздыхал, как старик: ох, тяжка моя доля! А перед кем завздыхал, перед кем заохал? Перед чистой кастрюлькой? Перед самим собой. Надо же как-то поддержать, утвердить свое внезапно разыгравшееся обжорство. С серьезным видом вышел на крыльцо и зашагал в лес. Теперь бродить мне по нему едва ли не сутки. Вышел из дома сытый, бодрый, вернусь голодный, усталый. Ничто за это время на кордоне не изменится, и я как ступил

правой ногой с крыльца, так же правой ногой с тропинки на крыльцо взойду, вернувшись.

Сосны меня обступили, березки задвигались. Пока я стоял, и деревья стояли, но стоило мне двинуться, и весь мир колесом покатился, и, чем быстрее я мчусь, тем мир быстрее катится. Посмотрел налево: есть ли левая сторона, не пропала, оглядел до самого края, до горизонта — здесь она; поглядел направо: а правая на месте ли? И правая тут. Глянул мельком на небо: не исчезло ли оно за время сна, не упало ли куда, не испарилось? И небо на месте. И облака. И ветер верхушки сосен тревожит. С запозданием посмотрел себе под ноги: а как дела с землей? Хоть и иду я по земле, а все нелишне глазами в этом убедиться, руками потрогать. Вдруг по пустому месту иду? Наконец все нашел на месте, во всем обнаружил целесообразность, левая половина мира для того, чтобы слева стояла, правая — ей в противоположность — справа, небо для прикрытия нас — сверху, земля для поддержания — снизу.

Ну, а если бы спросили меня: посмотрел ты в левую сторону и ее не обнаружил, что бы тогда делал? Или посмотрел в правую и ничего не нашел? А ничего. Если кто думает, что по этому поводу я бы забил тревогу, бросился оповещать всех людей о случившемся, стал строить нелепые догадки: отчего и почему и не к концу ли это света? — тот глубоко ошибается. Я бы пальцем не двинул, случись такое происшествие. Почему? Да потому, что мое дело деревья охранять, а не стороны света караулить, и если одна из них куда пропала, то и пускай себе пропадает, нечего мне голову пустыми вопросами занимать и тем более ее, сторону, искать, убивая ноги. Или у меня своих дел неотложных нет? Или ноги не живые? Пропала — вернется. Может, ей надоело в одной стороне стоять и она в другую подалась? Вот если случится так, что я вместо левой стороны правую увижу, а вместо правой — левую, тогда я, наверное, обращу на это внимание, да и то для того, чтобы не заблудиться в лесу и вернуться благополучно на кордон. Мне бы в себе суметь разобраться, в лесу своем. А стороны пусть сами свою судьбу решают.

Так я иду, то налево, то направо поглядывая, то сосну с кривым суком приметив, то рябину меж стволов сосны, то сорвав на ходу травинку, то крутя в пальцах березовый листок. С каждым новым шагом лес впереди

расступается передо мной и с каждым новым шагом смыкается за мной. Я как в театре нахожусь: спереди меня занавес вечно поднят и я вижу бесконечное действие, сзади — вечно опущен. Свист соловья, вой метели, трубный клич лося, осенние сумерки, поля под дождем, хвойные леса под снегом, заячий след, зимнее небо, град, сраженная молнией ель, выдра на берегу реки, одуванчик у дороги, солнце в окне просеки, ягодка малины — все зрит, все видит мой глаз, все для него оживает, живет, и тут же все пропадает.

По небу летят белые облака, гонимые ветром. То скроют они солнце, то откроют его. То мрачен лес, то весел. Неожиданна эта перемена от тьмы к свету и тревогу в душе рождает. Настолько этот механизм перехода из одного состояния в другое четок и закономерен, что, кажется, придет такой момент, и ты бросишь улыбаться и тотчас заплачешь. Пока я живу, я отвечаю за то, что есть сейчас, а что будет со мной после, если это даже меня и интересует, то оно мне неведомо, и стоит ли превращаться в гадалку?

...Нет, такая участь меня не привлекает. Но быть человеком, есть, пить, вести разговоры, работать, охранять лес, писать, читать книги, а потом, не умерев, превратиться в сосну и расти где-нибудь в темном лесу, вдали от людей, не имея возможности ни глянуть на них, ни перекинуться словом, стоять ночи под снегом, под дождем, под открытым небом, без рук, без ног, без глаз, без языка, кудрей, кожи — ночи и дни, а потом опять превратиться в человека,— это немножко страшновато. А вдруг, простояв и превратившись из сосны в человека, вдруг я потеряю какую-нибудь часть тела, глаза, например, или нос, а может, даже и голову? И явлюсь в мир перед людьми эдаким уродом? Каково мне тогда будет? Или при перевоплощении из человека в сосну у меня останутся язык или голова, и, увидев подобную сосну с человечьей головой, способную говорить и даже рассуждать внятно, что подумают, что скажут, что предпримут с этой сосной люди? Хорошо еще, если откроют как некое чудо, будут глядеть в немом удивлении. А то обнесут забором, поставят охрану, начнут экспериментировать, рубить и колоть, жечь, стругать. Какие-нибудь мальчишки из озорства, ничего более, на-

чнут кидать в меня камни, какая-нибудь вездесущая ворона после долгого голодного дня сядет на мою макушку и начнет долбить своим толстым клювом в темечко. Женщины на моих глазах, не зная, что я способен видеть и слышать, начнут переодеваться, лежать нагишом, будут сплетничать, осуждать мужчин, рассказывать свои истории в самых натуральных подробностях. Какой-нибудь охотник, приняв мою голову за сорочье гнездо, пальнет по нему ради пробы, ничего более, из ружья или, расположившись на ночлег, разожжет под сосной костер и будет всю ночь коптить меня, как щуку или окуня. Поистине, в подобных обстоятельствах, куда бы ни кинул я свой взор, я вижу одну худую сторону. И нужно ли после всего этого говорить, что подобных превращений я никак не хочу.

Уж если судьба и тебе написано вместо человека стать сосной, то я за то, чтобы превращения происходили как бы чистыми и ты из одного состояния точно переходил в другое, становясь не каким-нибудь уродом, человеком с песьей головой или женщиной с телом быка, а лапами льва или с рыбьим хвостом, а целиком и полностью сосной, бабочкой, волком. Хотя, по правде сказать, разницы между женщиной с человечьими ногами и женщиной с рыбьим хвостом я не вижу. Пугает меня не само соединение несоединимого, не некий чудесный и загадочный гибрид, а отношение к нему людей, мира. Вовсе мне неохота, оттого что я стану сосной с человеческой головой, становиться объектом опытов для тщедушных аспирантов и кандидатов наук. Я люблю одиночество, уединение, покой, свободу. Я готов послужить науке, пострадать за нее, пожертвовать, понести лишения, пусть бы только все шло на благо людей, общества, но не подобной ценой.

Боязнь превратиться в кентавра или в сосну с человечьей головой есть, но не слишком ли я иногда перегибаю, преувеличиваю? Преувеличиваю не в том смысле, что, мол, фантазия слишком смела — ничего нового, оригинального, смелого я тут не придумываю, не открываю,— а в том, что страхи напрасные нагоняю, что думаю, как бы мне не стать сосной с человечьей головой или кентавром, а я давно такой уже есть.

И в самом деле. Когда я иду по лесу, гляжу рассеянно по сторонам, а потом вдруг встану, задумавшись, истуканом или, прислушавшись к шуму сосны, стою на

одном месте час, два, не шелохнувшись, греясь под солнцем или нежась под ветерком, забывая про лес, про людей, про себя и свое существование, не становлюсь ли я тогда сосной? Я хорошо тогда чувствую солнце, и ветер мне родной брат, я стою окаменев, и любая птица может смело гнездиться на моей верхушке, я ее не потревожу. Я слышу тогда неведомые мне запахи, вижу невиданные ранее оттенки трав и цветов, я вроде и человек и не человек, а сосна или зверь. Мне близок тогда лес, деревья, земля, травы, как будто меня родили, я чувствую тогда с ними родственную связь, соседнее дерево мне кажется братом, а речка поистине сестрой. И я мог бы себя убедить, что я сосна и произошел от сосны, не помни я других своих родителей — мать, отца, не знай я, что у меня есть брат, человек по плоти и крови, не помня, что и я человек. Именно это заставляет меня думать, что я не человек, потому что считать своими родителями отца и мать, которые вскормили меня, и одновременно сосну, которая не притронулась ко мне, когда я был маленьким, одновременно вряд ли можно. Обязанности, работа, нежелание своим чудным видом удивлять людей заставляют меня быть в открытую человеком, а втайне — сосной.

Когда я говорю, что мне нравятся день, ночь, вечер, когда я любуюсь их красотой, отмечаю какие-то достоинства: непрозрачную синеву ночного неба, золотистость весеннего дня, легкое дыхание летних сумерек, уютный пейзаж с полем, с рекой, с заливными лугами, с прибитыми дождем травами и березкой на косогоре — я не красоту дня или ночи отмечаю, мне не сама синева неба нравится или едва светящиеся звезды на нем, не парная от теплого дождя река, не утро в тумане, хотя сказать, что они мне не нравятся, я не берусь. Я люблю их не за то, что они красивы, что ночь темна, а день светел, что река или озеро серебрятся при луне, а дорога уходит за горизонт, маня потоптаться на ее жестком ложе; мне дорого не только золото ручья и трепет листьев на березе, а то, что они есть — день, ночь, береза, лес, ручей, поле. Мысль, что они все прекрасны, приходит ко мне после мысли, что они есть и сомневаться в этом не приходится. Можно сомневаться в своих словах, мыслях, в правильности своих или чужих поступ-

ков, в этих сомнениях можно дойти до таких пределов, что голову навсегда потеряешь, размышляя, так это или иначе, есть это или только кажется. Можно сказать слово самое твердое и прекрасное и отречься от него, забыть его как надоедный сон. Но вот пришло утро, явился день, длится вечер, пала на землю ночь, вот приблизился ты к речке, вот у твоих ног поле, лес, куст можжевельника, бабочка полетела в утреннем полете,— как ты засомневаешься в этом, скажешь, что их нет? Ты хоть сто раз тверди, что их нет, а они есть и всегда будут. И оттого что они есть и, вероятно, оттого что всегда будут (я думаю, именно от этого), рождается в душе какое-то сладкое, блаженное, божественное чувство, радость светит. И там набрасываешься на этот день, вечер, ночь, на этот факт, что они есть, как голодный волк на добычу, и говоришь себе: раз они есть, значит, и ты есть. А до этого времени, пока ты не сказал этого, не увидел утра или дня, тебя нет, ты весь как бы в печную трубу вылетел, как вода из кипевшего чайника испарился. И летаешь бесплотно, как дух, над лесами, мучаешься отсутствием своего существования. Деревья, лес, кусты есть, а тебя нет.

Вот почему иногда мне кажется, что красота для человека вещь вторичная, а первое всегда и везде — что ты или мир есть. Радость, что ты есть, гораздо сильней радости увидеть что-то красивое, пусть самое распрекрасное чудо на свете. В этом смысле можно сказать, что самая прекрасная красота это то, что есть: ты, день, речка, солнце, море, трава, муравей, люди.

Глава четвертая

Как и в лесу, так и у меня то день наступает, то ночь. И живу я не одновременно с днем и ночью, а попеременно. То одна сторона у меня румянится и золотится — это утро, значит, наступает. То другая темнеет, мрачнеет, и зажигаются на небе звезды. То в полдень весь я светел. То в полночь темен. В иную глухую ночь даже звезд не различишь. Вот на эти две части я и делюсь, становясь попеременно то одним, то другим. И нет для меня ни весны тогда, ни осени, ни лета, а есть только день и ночь. Верней сказать, есть и они, времена года, но их существование для

меня как-то несерьезно и незаметно, и не имеет значения, есть они или их нет, а имеет значение одно: день или ночь наступили? Признавая день, признавая в себе ночь, мы и покатимся дальше.

Я иду по речке. Я вижу — коряги, ветки и стволы поваленных деревьев сделали на реке запруду и мешают воде и рыбам. Я разбираю эту запруду и речку освобождаю раз, другой, третий. В первый раз речка меня за это благодарит, во второй, в третий. Но сколько можно благодарить — это одно. И второе — как благодарить в четвертый раз? Ну, один раз понежила в холодной воде, когда я купался. Во второй — пожурчала весело на перекатах. В третий — заблестела на солнце. А в четвертый что ей делать, если она все виды благодарности исчерпала? Обнять меня за шею на манер девицы, чмокнуть в щеку? Отрыть в песке кусок золота или сундук со старинными монетами? А если я этого не хочу, мне даром этого не надо? Можно обняться, можно и чмокнуться в жаркий день, и я не против этого. А осенью, а зимой? Тут от дождя, от снега мокр, а еще холодную речку принимай? И рад бы, да не согласишься. Вот и набираются подобные долги от речки, от озера, от дороги. Иной раз глядишь, а речка, прежде веселая, забурлила после дождей, почернела, озлобилась... Идешь, а она ворчит, к ногам твоим подбирается, недовольна, бушует. А отчего бушует, почему тобой недовольна? Только потому, что ласки в ней много к тебе накопилось, а ты эту ласку не успел принять, не взял. И чем больше в ней нежности и ласки, тем грознее она и опасней. Весной или осенью, особенно в период затяжных дождей, так разойдется, что не подходи — зальет все пляжики, все приречные луга, обрушит берега, сбросит с себя мосты и клади. То была мелкая — воробью по колено, теперь рвется и рычит, словно злобный зверь, и не усмирить ее ни силой, ни лаской. И, только наделав вреда, повалив деревья, размыв берега, усовестившись своих черных дел, утихает.

Первая половина дня окончилась, а вторая еще не начиналась. Что же, разорвался день на две половины и сияет между ними щель? Никакой щели не видно.

Даже того, что день на две половины разделен, не видно. И тем не менее кое-что видать. Утром одна сторона дня светлела, левая, теперь правая светит. Утром день набирал силу, теперь ее теряет. Зачем, спрашивается, столько усилий? Только для того, чтобы что-то пришло и ушло? Вроде неразумно все это, да так ли? В природе ничего не бывает неразумного, пусть даже случится самая глупая глупость, и она будет нужна и исполнена смысла. Посмотреть на день как на неразумный? Но кто на него так смотрит? Говорят: прекрасный день, славный, удивительный, ты пришел, ты счастье принес. А не говорят: зачем приходил, если уходишь? И приход его славят, и уход, ибо и в том и в другом он прекрасен. Хотя, если смотреть поверхностно, ничего, кроме суеты, в нем нет. Но какая суета? Вовсе не суета, а одно великое стояние.

Когда трепещет на дереве осиновый лист, кажется, что и душа твоя трепещет, но только непонятно отчего, от страха или от любви. А то, что она от страха или от любви трепещет, и ни от чего другого,— это точно. Потому что, во-первых, больше душа ни от чего трепетать не может, а во-вторых, больше и не надо ей ничего, отчего бы она могла трепетать. Конечно, иной раз важно разобраться, отчего она трепещет, от страха или от любви, чтобы понять причину трепета. А посмотреть с другой стороны: не все ли равно? Любя, она страшится, страшась — любит. Это ведь не та любовь, которой все позволено — что творить, что разрушать. И не тот страх, что рождает одну ненависть и боль. Нет, трепет листа на дереве, трепет души говорит, что порой и страх может порождать любовь, а любовь — страх. Но тогда это уже и не любовь и не страх, а что-то другое, непередаваемое, а если точней — любовь.

Можно находить удовольствие даже в том, в чем его невозможно найти. Например, ты не хочешь, чтобы шел дождь, но он идет, и ты не сердишься на него, что он идет против твоей воли, а получаешь от этого удовольствие. Конечно, ты можешь сердиться и никакого удовольствия не получать, да так скорей всего и есть, ты только сердишься и получаешь неудовольствие, ты бранишь и

дождь, и лес, и погоду, и весь мир в придачу, ты чувствуешь себя несчастным существом, которому все досаждают и не дают житья, и временами от чрезвычайной злости впадаешь в такой мрак, в такое уныние и отчаяние, что впору, не откладывая дела в долгий ящик, идти и вешаться, и каждое промедление, каждая просроченная секунда есть только признак твоего малодушия, ничего больше. Но можешь и не отчаиваться, не сердиться — никто тебя не заставляет. Если ты будешь принимать дождь как враждебное тебе существо, которое только и мечтает, чтобы наделать тебе неприятностей, то как же иначе на него смотреть, если не как на врага? Но если ты видишь в нем друга или просто принимаешь как случайного прохожего, забредшего к тебе в гости, то есть ли резон видеть в нем врага? Пусть он хоть день льет, хоть месяц, хоть год без перерыва, затопит лес и горы сильнее самого страшного потопа, смоет тебя и твой кордон,— если ты будешь смотреть на него как на доброго друга, он тебе и в самом деле будет друг.

Лил дождь и день, и два, и три. Был я в лесу и промокал до костей, сушил свою одежду над плитой и снова лез под дождь, гонимый заботой о лесе, и к концу недели так привык и пристрастился к дождю, к водяным его струям, что в какой-то миг усомнился, человек ли я или рыба, плавающая в воде? И был близок к тому, чтобы признать, что рыба. Дороги налиты водой, лес плавает в воде, границ речки не видно, кажется, река в берегах сама себя потеряла и ей теперь уже не найтись. Рот раскроешь, чтобы воздуха глотнуть, а глотаешь водяные брызги, и руками, как плавниками, воздух сечешь, дорогу себе прокладывая. Святая земля! Благословенный дождь! Лей ты теперь до скончания века, и я буду тебе рад. И если слегка рассержусь, не оттого, что тебя много, а мало.

Не так я хочу ставить вопрос: враг он мне или друг? А так: друг я ему или враг? Если ему нравится литься, а я пожелаю ему перестать идти, то хорошо ли я поступлю? Пусть он сечет и хлещет, родимый, мне ему хочется пожелать только добра. Вместо того чтобы ругать и поносить твою сырость, грязь, холод, угрюмость, бойкость, веселость, дробный перестук капель по листьям, прославлю чистоту и настырность, прославлю даже грязь и сырость, если ничего не останется прославить

и все я уже напрославлял — уныние и скуку, которые ты навеваешь,— но от тебя не отступлюсь никогда.

Утром выглянуло солнце и ударило колоколом — бом! В стекла окон, в стену избы, в стволы сосен, в изгородь зеленого ельника, и так стучит весь день — бом, бом, бом! Точно удары собственного сердца считаю. Забылся в дневных заботах, и вдруг как бомкнуло у меня под ухом, и я от страха и от неожиданности чуть не упал: что это там гудит тревожно, не светопреставление ли началось? В другой раз ударило, а я уже от радости шарахаюсь: не праздник ли какой наступил? Целый день гудит надо мной этот набат, не переставая. Но нельзя же слушать его вечно. Потому одни удары я пропускаю, другие воспринимаю как часы, которые идут круглые сутки, но стук их то слышишь, то нет. Тут поневоле задумаешься: к чему такой трезвон: может, и в самом деле светопреставление? Может, в самом деле праздник? Может, то или другое уже давно наступило и нужно или бежать спасаться и других спасать, или идти радоваться, в кругу плясать, а я, поскольку живу в лесу, вдали от людей, об этом не знаю. Если это светопреставление и нужно спасаться, то куда бежать? Все равно не спасешься, полетишь вместе со всеми в тартарары. А вот если какой великий праздник на земле пропускаю, пляску, пир — это жаль.

В колебании веток березы угадываю какое-то постоянство. Какое? В отсутствии движения. Стоит огромное дерево. Рост его незаметен для глаз. Я утром на него посмотрел, вечером кинул взгляд, ночью мимо него прошел, возвращаясь усталым с обхода,— мне видны одни и те же знакомые ветки, ни одна не прибавилась новая, ни одна не убежала. С годами, конечно, дерево растет, и я, знающий его когда-то в человеческий рост, теперь гляжу на его верхушку, задираю голову, но и эта перемена не очень склоняет меня к мысли о движении дерева. Вымахает дерево величиной в девятиэтажный дом, а оно все для меня мало. Но вот подул ветер, ветки пришли в движение, упруго и неохотно раскачивается ствол. И оттого, что я причисляю дерево к чему-то неподвижному, оно кажется особенно подвижным. Не до то-

го, чтобы бегать и прыгать, но чтобы родить в моей голове мысль о его движении. Тогда дерево кажется мне речкой, текущей оттуда и туда... И если, глядя на обычную речку, я не могу увидеть одновременно ее начала и конца, а вижу только краткий миг, одну мимолетность — сейчас она тут и вот унеслась, каждый миг ее нов и непостоянен,— то, созерцая дерево — березу, сосну, ольху,— я вижу эту речку, что называется, со всеми ее потрохами, от устья до истока, я могу стоять и часами разглядывать ее, не боясь, что она от меня убежит, могу возвращаться назад и заглядывать в будущее, я окидываю ее взором и справа и слева, трогаю руками, я, можно сказать, держу ее всю на руках. И не смущает меня тогда прилет на дерево синицы или вороны, сидение последней на толстом суку, что, мол, дерево это, а не речка, не может ворона сидеть на речке, как на суку. Я даже больше скажу. Я настолько явственно вижу в дереве речку, ее чистые и быстрые струи, тихие заводи и опасные круговерти, ее ропот на перекатах слышу, что, не будь сейчас холодов, а я будь позакаленней, наподобие тех моржей, что купаются в любую погоду у Петропавловки в городе, и я бы бросился в эту речку, не с тем, разумеется, чтобы доказать, что речка есть речка, а с тем, чтобы убедить других, как она нежна, ласкова и добра.

Проснулся и не понимаю, день на дворе или ночь? В одно окно глянул — вроде бы светло. В другое глянул — темно. Вышел на крыльцо, чтобы определиться, но и тут ясности никакой не нахожу. На юге солнце светит, на севере луна. Слышу пение дроздов — значит, день, говорю. А тут сова заухала. Тогда ночь, думаю. Сбегал на луг. Один одуванчик раскрыт. Это день, говорю. Посмотрел на другой. А он закрыт, спит еще. Это ночь. Что мне делать, идти в избу досыпать или собираться в лес на работу? — думаю. А в голове никакой определенной мысли. То подумаю, что день, то подумаю, что ночь. И в самом деле, как тут определиться? Стою на лугу, одну ногу к избе направил, другую в лес. Хоть располовинься и одну половину в лес отправляй, а другую в избу веди отсыпаться. И отправил бы, да жалко, одна будет трудиться, а другая лентяйничать. Уж пусть лучше обе трудятся (говорят, труд еще никогда не де-

лал человеку вреда). Машу топором на просеке, распрямлюсь — ночь надо мной, еще распрямлюсь — день вижу. И так каждый раз. Не переработать бы, размышляю. Но вот и мышцы устали, и вялость пришла. Глянул я в последний раз — черная ночь меня обступает, обняла. Зашагал я домой. Тут уж точно ночь вижу. Слышу лягушек отдаленное кваканье в болоте, травы притихли, присмирели, листья дремлют. Не качает их ветерок. Не волнуется поле. Дрозды спят. Солнца не видно (впрочем, и луны нет), и ты целен как есть, и ноги не разноголосят, а согласованно домой бредут. Не тянет ни правую, ни левую на просеку. Один одуванчик как был раскрыт, так и сейчас не закрылся. Что же ты, милый, не засыпаешь? — говорю. И чудно мне, и непонятно, что хочу спать я, а одуванчик не засыпает, бодрствует.

Когда очень длинна ночь, мне очень важно знать, что она сменяется днем. Иначе на душе у меня плохо. Я сижу, или лежу, или стою в избе в ночи, жду утра, оно не приходит, и вполне естественно, потому что до утра еще далеко, и мысли у меня тогда такие, что день совсем не придет. Или что он придет когда-то, но какое мне дело, что он придет тогда,— мне его сейчас подавай! Не знаю почему, но в такие затяжные ночи особенно страдаешь. И не оттого в душе мука, что у тебя неприятность какая — на работе, сосед обидел, подвел. Все вроде обстоит с тобой благополучно. Ты страдаешь, что ночь затянулась, от темноты страдаешь. И тогда, чтобы хоть немного снять с души страдания, я говорю себе, что день есть и в этой ночи, только ты его не замечаешь. Неважно, какой он, вчерашний, или позавчерашний, или завтрашний, он всюду оставил свои незримые следы — на стволе дерева, на листьях травы, на бревне, что лежит посредине двора, на земле, в грустном ночном воздухе. И тебе, чтобы убедиться в этом, взять его, стоит только, как корове, слизнуть языком. Наклониться к бревну, погладить его, посидеть на нем, и ты ощутил свет и тепло дня. Стал на землю босыми ногами, пробежался по росистой траве, и ты ощутил присутствие наступающего дня. Сорвал травинку, понюхал ее, и она пахнет днем. Ткни пальцем в небо, в сучок и наткнешься на день. Дня, как такового, нет, стоит черная ночь, но частицы дня всегда имеются, оста-

ются. Проведи ладонью по воздуху, как по лицу, и ты ощутишь присутствие дня. Он словно специально остался в бревне, в листьях, в небе, чтобы ты имел возможность его погладить, поласкать. Но иногда подобное глажение не помогает. Гладишь воздух, ерзаешь ладонью по бревну, а дня не ощущаешь. Понимаешь, что вообще-то он есть, но не для тебя. Тогда в листьях, в бревне, в росте, в каждом предмете день и ночь замечаешь, не один только день, но и ночь. И к тебе тогда приходит день.

Чем дольше сидит на суку ворона, чем больше вглядываюсь я в нее, как она переминается, как ищет удобней местечко, как чистит свой клюв, перья, как воровато оглядывается назад, стреляя в меня своим глазом, тем сильнее замечаю, что люблю ее. В душе какой-то непонятный прилив нежности находит к вороне. Кажется, допусти она, и я, в приливе этой нежности, стал бы ее целовать. Все в ней тогда нравится, и угрюмость ее не угрюмость, и коварство прощаешь, знакома она тебе, понятна, мила. И оттого, что молчит, что сумрачна и угрюма,— еще милее. Кажется, что полюбил бы ее, такую уродину, крепче отца и матери, друзей, весны, леса. Почему же не любишь? Потому что не сидит она долго на суку, на виду у меня, улетает. И когда слышишь хлопанье ее крыльев, когда видишь ее в полете, вместе с вороной улетает из твоего сердца и любовь к ней. Да и хорошо. С какой стати мне влюбляться в ворону, или другого какого, более подходящего объекта не найти?

Днем, вечером солнце для меня становится таким прекрасным, что мне жаль с ним расставаться. А по утрам солнце для меня не сияет, а светит черным светом (если такой свет есть в природе). И оттого получается, что по утрам, проснувшись, я вял, зол, рассержен, в сомнениях, я про свои неудачи и поражения вспоминаю, про ссору с соседом, которая была и которой еще не было, но возможна в будущем, пусть даже в самом отдаленном, или никогда не случится. Все дурное со мной, что есть или будет и чего не будет, тревожит меня и беспокоит. Я думаю о смерти, о несчастье, о горе,— самые мрачные мысли плодятся в моей голове. И это-то проис-

ходит в самое чистое, светлое время дня, в румяное и росистое утро! Уходит утро, поднимается вверх солнце, и мысли мои светлеют, чернота пропадает, я забываю про то, чем недавно мучался, на меня такой прилив бодрости и счастья находит, что я временами боюсь за себя, как бы мне не посчитать это за вершину всех земных благ и не пожелать умереть, вкусив их. И даже потом, когда солнце, поднявшись вверх и остановившись в зените, постояв некоторое время в нерешительности, куда ему дальше идти, влево или вправо, вдруг вниз, на закат, качнется и побежит вначале неторопливо, а потом все убыстряя свой бег на запад и наконец совсем исчезнет за горизонтом,— даже тогда, когда лес и травы утонут во мраке и наступит ночь, чувства мои не мрачнеют, я остаюсь таким же веселым и бодрым, нет во мне тогда ни сомнений, ни тревог, хотя, казалось бы, сейчас только и делать, что печалиться и плакать. Тут и сердце мое, и ум работают не в унисон с природой, а даже как бы вразнобой, и я, может быть, единственный раз рад этому разнобою. Именно оттого, что я рад и светел, ночь мне не кажется темной и не душит меня отчаяние. Я с любовью смотрю на поля, на леса, я любуюсь ночными красотами. Ночь для меня начинается утром, а когда на лес опускается ночь — это продолжение дня. Отчего же это происходит? — задаю я себе вопрос. Почему утром я мрачен, а вечером полон света? Почему утром мне светит черное солнце, а вечером из чистого золота? Для всего леса утро есть радость, для одного меня нет. Я это объясняю своим несовершенством. Уподобляться я лесу уподобляюсь, но не совсем, не полностью, не всегда. Оттого-то еще и существую, есть я. Начну полностью уподобляться листу, сосне, утру, и где, кем тогда буду я? Не стану ли листом, сосной, утром? Возможно. Дело идет к этому, но зачем торопиться?

Распрямился, оторвался от стола, от бумаги, глянул в окно и подумал: увижу ли утро? И не увидел его. Что же увидел? Ничего не увидел. Увидел солнце, встающее из-за леса. Увидел красную зарю. Увидел просыпающиеся травы на лугу, когда шел к колодцу за водой. Увидел светлеющие дали. Волненье листьев у ольхи, бабочку на стебельке сурепки, облака побежали по небу, во-

рона уселась на вершине сосны. Все это и еще многое я увидел. Лужу на ранней дороге увидел, мертвого крота, сломанную вчерашней молнией ель, росу в низине у реки, случайного путника. Уж я и на горе побывал, и в долину спустился. А где же ты, утро? Прошло оно, пролетело мимо меня так тихо, так незаметно, что я, старавшийся его разглядеть и сторожащий его в оба глаза, не заметил. Каким же нужно обладать зрением, чтобы его не пропустить? Как легок и неслышен его бег! Непостижимо!

Уводит меня лес все дальше и дальше. Нет, не в кущи и рощи свои уводит. Увел бы в них, я бы не так этого страшился. Не в дебри и глушь. Что для меня глушь моего леса, если я знаю в нем каждую тропку? А в зелень и шепот листьев, в сумрак бора, в алость утренней зари. Как тут не заплутать, сохранить спокойствие и бодрость духа, найти ориентиры? Как не устрашиться этой манящей неизвестности? Временами я сопротивляюсь, не иду, я говорю: все это грозит бедой, гибелью, и куда мне, как уходить, да и зачем, если я уже давно ушел и все у меня рядом? Но едва так скажешь, едва услышишь шепот листьев и ропот ветра, и не удержаться тебе на месте, уносишься ты с ветром все дальше и дальше, и с каждым разом возврат все трудней.

День, который я встречаю и провожаю, день, который я переживаю, проживаю и отбрасываю в прошлое, я сравниваю с деревом. И потому мне кажется, что не в лесу я живу, где много деревьев,— там осиновая рощица, там сосновый бор, а там темный ельник. Я представляю себе, что я живу в таком лесу, где растет одно-единственное дерево. С утра растет, а к вечеру умирает. И как бы ни был ты капризен, нельзя сказать: я встал, а его нет. Или наоборот: их много, они мне свет заслоняют. Каждый раз ты видишь одно-единственное дерево. Умерло оно, на смену ему приходит другое, и то же самое. Раннее утро, полдень, вечер с багровым закатом — это все воспринимается мной, как рост, как развитие дерева. И совсем неважно, зимой это происходит или летом. Для меня дерево растет круглый год.

В освещенном солнцем пространстве между деревьями видны какие-то летающие козявки. Оттого что они освещены, как и пространство, солнцем, от этого они видны. В другой раз их при самом внимательном взгляде не заметишь. Сколько этих тварей пляшет и танцует в воздухе! И все от солнца золотые, как лист золотой или освещенная веточка рябины. Так и я — выйди сейчас во двор, подставь под солнце голову, и покажусь кому-нибудь золотым. Представил себя со стороны таким золотым, и радостно мне стало. Как эти твари летающие меня радуют и веселят, ничего мне специально для этого не делая, так, может, и я веселю их. И они или кто другой, глядя на меня, думают, что и они золотые под солнцем. Они через меня себя золотыми видят. И от этого им радостно.

Увидел себя в огрызке зеркала, когда брился, увидел березу у дороги, речку, небо, кустик полыни у ограды, кажется, нечего больше видеть. А он опять у себя что-то увидел, и не старое, новое, значительное: то волос поседел, то припухлость под глазами обнаружил, то ногти на руках отросли и волосы не в порядке,— и опять занят собой. Собой отзанимался, занялся березой. И она не истукан, что-то в ней всегда движется, изменяется. Иной раз глядишь на нее: ничем она не изменилась, а знаешь, какие-то перемены в ней произошли, только они недоступны твоему взгляду. И река каждый день новая. Такое впечатление, что каждый раз, когда ты к ней подходишь, ты не к ней подходишь, а к иной, незнакомой тебе реке. И в лесу ты идешь не по старым, знакомым тропинкам, не по исхоженным тобой дорогам, а по новым, все дальше и дальше от кордона удаляясь. И если он, кордон, не остается где-то позади, а всякий раз находится рядом, это происходит не потому, что ты никогда от него не уходишь, а потому, что он бежит за тобой, как верная собака. Ты за день прошел двадцать километров, и он сорвался с места и вместе с оградой, с колодцем, с огородом, с рощей и прочим умчался вслед за тобой. Отправляясь каждый день в дорогу, невозможно не представить себе, что ты идешь и идешь вперед, в неизвестность и новые страны тебя ожидают, а не топчешься на месте. Конечно, все у тебя остается как было, окружение твое не меняется, ты как жил на

опушке леса, так и остался жить, и никуда она от тебя не убежала. Как топорщился у ограды кустик полыни, так и остался он торчать из-под снега. И в то же время ты каждый раз уходишь от избы, от кустика полыни, от березы. Ты не от них уходишь, ты вместе с ними идешь и куда-то уходишь. Ты как пастух бредешь со своим стадом-лесом по бесконечной дороге. И тут изба движется, тут береза, тут сосна, тут огромный камень,— вот почему мы идем и никогда друг от друга не убегаем. Убегать-то убегаем, как без этого. Ты идешь и кустик полыни не видишь, и должен он быть где-то рядом, а его нет. То березу вдруг потерял, день ее нет, другой, а в третий раз поглядел — вот она, голубушка. Отлучилась в сторону и опять пришла. Иной раз и ты от избы, от колодца ускользаешь и не появляешься им на глаза день-два. Но это не значит, что ты от них совсем уходишь, а временно. Я иду — они движутся со мной, я остановился — они остановились. Я прилег переночевать, и они улеглись. А не улеглись, строптивничают, хочется им идти без меня дальше, я их успокаиваю, убаюкиваю, утешаю. Скажешь и немного, а с лаской, и они послушались, прилегли. Утром, чуть свет, ты в дорогу, и они уже поднялись, ждут тебя нетерпеливо. Странное, веселое, живое это перемещенье мое с лесом. Движемся мы куда всем огромным табором? Бог знает куда. И солнце рядом бежит, и звезды текут. Такое впечатление, что даже руки и ноги у тебя вечно перемещаются, и не на одном месте. То на голове, то на животе, то на боку. Уши, нос, глаза — все органы в тебе перемещаются. Глянул, а уши твои на щиколотках пристроились. Слушают, наслаждаясь, голос земли и стрекот кузнечиков.

В иной раз мне иначе все кажется: что не иду я никуда и лес не идет, а стоим мы на месте. Топчемся. И в этом не вижу я ничего худого. Да и куда идти? Или туристы мы какие землю топтать да вздыхать по романтическим далям? Орать как оглашенные песни про костры и рюкзаки? Боже, навиделись мы этих далей, нажгли костров, насмотрелись лесов столько, что на несколько жизней вперед хватит. Да и не глупцы какие, понимаем, не все то хорошо, что движется. Белка в колесе тоже бегает, да толк в этом какой? Одна насмешка. И если мы подходим к своей реке и каждый раз другую замечаем, то это вовсе не значит, что мы идем и видим новые реки, мы видим старую речку, но она на

наших глазах меняется. То веселой прикинется, то грустной, то озорной. Почему? Да потому, что не мертвец она, а живая и жизнью своей живет. А раз живет под боком со мной, почему бы ей не хотелось мне нравиться? Почему бы кустику полыни, даже если он заморожен зимой, не жить, пока он есть на этом свете, не исчез совсем, не испытать тех чувств, которыми наградила его природа? Почему избе и колодцу стоять истуканами и не доверять своему естеству?

Не собираюсь я утверждать и не утверждаю, что обязательно меняются, чтобы нравиться мне. Живут сами по себе. Но если ты проходишь мимо речки, почему бы ей не порадоваться, глядя на тебя, не шепнуть слово привета, не вздохнуть легко, не созорничать, не пококетничать? Перед кем же ей тогда красоваться? Я и сам готов пококетничать, туману напустить, влюбить в себя, понравиться, зная, что трагедий тут никаких не будет. Оба мы не дети, знаем цену и кокетству и шуткам. Но весной, когда тепло, и апрель горячит в жилах кровь, и лес полон любовных токов, когда из всех пор земли рвутся травы и пухнут на деревьях нежные почки, когда начинают зеленеть берега, а в тени, в низинах белеют подснежники,— в эти дни видишь кокетство речки, сам кокетничаешь с ней, да нет-нет и застрашишься: а вдруг все это не игра, вдруг все всерьез обернется и ты влюбишься в речку или она в тебя? Хорошо, если взаимной любовью, а если нет? Если ты ее будешь любить, а она тебя нет, или она тебя полюбит, а ты ее отвергнешь? Как тогда жить, что делать? Свою безответную любовь мы как-нибудь переживем. А не переживем, не справимся с ней, так сами за себя в ответе. А если ее в себя влюбим? И случится в мире трагедия безутешной любви речки к человеку. Пока она девственна, чиста, ей только и делать, что бежать весело по лесу, отражать в своих водах весенние облака, держать на своих упругих струях уток. А загорится любовью, что с ней станет? Будет ли она так же течь? Не остановится, не потечет вспять? И не отринет ли от себя и уток, и тень деревьев, и облака? Не заугрюмеет, не почернеет душой, не зачерствеет ли сердцем? Станет бранчлива, мрачна, холодна. Ты в ней не покупаешься летом, у перекатов не посидишь. Затоскует, зачахнет и пропадет навсегда. Больше всего меня эта мысль волнует. Вот почему, когда я иду мимо речки и вижу ее кокетство, я не поддаюсь ему, я

как бы недоволен, не отвечаю на ее заигрывание. Мне тогда кажется, что самая опасная сила в мире не зло, не ненависть, а любовь. Только она одна и может наделать вреда. Такие мысли приходят ко мне весной, а весной я всегда прав.

Двигался налегке, заходящее солнце светило мне в бок, и я глядел на него боковым зрением: глядел вперед, а в то же время видел в стороне солнце. И показалось мне, что солнце глядит на меня боком. Как иногда корова глядит на лугу. Парадокс какой-то получается: я на солнце боком гляжу, как корова, а мне представляется, будто солнце на меня боком смотрит.

Кажется мне, когда я проснусь в ночи и прислушиваюсь невольно к тишине и ничего не слышу, ни в избе, ни в лесу за стеной, а слышу одну только звенящую тишину — ни шума ветра, ни шороха листьев,— кажется мне тогда, что зеленые листья у деревьев взяли и улетели, как гуси, как перелетные птицы, куда-нибудь в южную или северную страну; что летят они в тесном небе, вдали от своих мест, от меня, а утром возвращаются назад. Верить в подобное я, конечно, не верю. Листья не птицы, с чего бы им лететь? Но тишина, которая окружает меня в ночи, так глубока, так устойчива, так ненарушима, что поневоле начинаешь думать такое или подобное этому. В лесу миллион листьев, не может быть так, чтобы из этого миллиона листьев ни один за всю ночь не вздрогнул, не пошевелился, не может быть так, чтобы за долгую ночь ни одному из них не было плохо, не кашлянул он, не чихнул, не выругался, не вскрикнул от боли, не заохал от старости. Но если этого не может быть и если перелет листьев в ночи, наподобие птиц, фантазия, тогда остается одно — ты глух, оттого и не слышишь вздохов, охов, жалоб, шепота, мольбы, стенаний, а это уже утрата невосполнимая.

Если каждый раз, проходя мимо куста малины у дороги, смотреть на него с любовью, с нежностью, с теплотой чувств, да еще, вдобавок ко всему, с добрыми мыслями, с прекрасными и светлыми мечтами, что совсем

для куста небезразлично, если его своей любовью к себе приближать, располагать, думать о нем с замиранием в сердце, а то и бросить когда на ходу ласковое слово, например: «Здравствуй, дружок», или «Прощай, милый!» — интересно, будет ли куст, глядя на тебя и веря твоим, разумеется, чистосердечным побуждениям, склоняться к тебе с той же любовью или останется нем и глух?

Я думаю, что не будет. Несколько раз я намеревался проверить это на опыте и отступал. То ли совестно мне было, то ли просто не решался. Хорошо, рассуждал я, когда куст, обольстившись твоими ласками и поверив в твои добрые слова, ответит взаимностью. А если он увидит в твоих притязаниях одну корысть, если придет ему мысль, что ты что-то вымогаешь у него, и он обидится на тебя, рассердится, оскорбится?

Почему он, собственно говоря, тебя одного должен любить? Может, у него кем другим сердце занято и он, занятый любовью к другому, к утренней заре или вечернему небу, знать о тебе не желает? Ну, а если не занято? Тогда почему обязательно ты ему должен прийтись по душе? Что ты за неотразимый такой красавец, чтобы в тебя влюблялись все кусты? Может, ему нос твой не нравится, цвет глаз не подходит? (Не говорю о характере, он у меня далеко не ангельский.)

Да и мне, если подумать, так ли уж нужна его любовь? Не ненавидит, не презирает, не желает тебе увечья или смерти, а относится ровно, спокойно, терпеливо, как к малому дитяти, — и на этом спасибо.

Солнце еще не встало. Темно. Не алеет на востоке заря. Не волнует листья ветерок. Не слышно пения птиц. У меня бессонница. Я проснулся глубокой ночью, лежать мне надоело, я оделся и сел у окна. Я жду восхода солнца. И вот занялась заря. Вначале небо светлеет, потом краснеет, полоска зари толщиной в палец, затем в ладонь, а потом озаряется светом весь небосвод. Выкатывается из-за леса солнце — кусочек диска, полдиска, целый диск. Светом наполнено небо, лес, земля, светом наполнен и я. Почему же не поют в роще дрозды? Почему не блестит роса на травах? Почему темно кругом и на небе вместо солнца сияют звезды? Потому что глухая ночь и до восхода солнца еще

далеко. Это не за лесом солнце встало и осветило мир. Это, перед тем как ему прийти, оно в моей душе поднялось, от мысли, что близок его срок появления; пройдет час-полтора, и появится на небе дневное светило. А пока я сижу в избе, плавлю лбом оконное стекло, радуюсь восходу солнца в моей душе, предвкушаю его восход над лесом.

Пролетают облака надо мной, и ни одно не хочет остановиться. Пролетит мимо, заденет за вершину сосны на опушке леса, кинет на меня свой прощальный взгляд, и нет его, улетело.

Но вот одно облако остановилось, опустилось низко и легло у моих ног. Как понимать мне этот знак? Что, мол, те облака, которые улетели, знать меня не хотят, а это души во мне не чает? И если это так, а иначе понимать это невозможно, то что мне теперь с этим облаком делать? Идти в избу чай с ним пить, приятными беседами друг друга улещать, нежиться в сладких объятиях? И рад бы, да с облаками я дел до сих пор никаких не имел. И потом, к чему такое самоуничижение? Если остановилось, выбрало тебя, так непременно у ног твоих лечь надо, словно оно недостойно наравне с тобой быть и видит свой смысл только в уничижении? Слов нет, уничижение не самая худшая черта, и нет в том плохого, что кто-то иной раз унизится. Но и не такое это занятие, чтобы им особенно гордиться. Сегодня унизился и пал ниже травы, завтра восстал и поднялся выше неба? Как бы не так! Неловко мне, когда передо мной кто-то уничижается. Не понимаю я природы этого душевного движения. Не принимаю. Не хочу, находясь в дружеских, приятельских отношениях, терпеть над собой насилие и поощрять к нему другого. И хоть жалко мне было расставаться с облаком, не хотелось его обижать, махнул я ему рукой — мол, лети, дорогое! И оно, по-видимому обиженное на меня, сдвинулось с места, поднялось и улетело восвояси.

Встретил на дороге ветер и спрятался от него в кустах. И он меня там настигал и душил в сладких объятиях. И я, удивленный его неожиданным напором, сопротивлялся, хоть и слабо, но с достоинством, желая

показать свою силу. И в глазах, и в памяти у меня остались пухлые почки берез, дикий запах весенней земли, пыль на старых травах.

Долго я с ним боролся и уже готов был уступить, но он сжалился надо мной и улетел и оставил меня в кустах сидящим. И когда он улетел, я его за край одежды успел ухватить, из озорства — не больше, и он, не понимая, кто его держит, сердился и силился вырваться. Край одежды у него затрещал, и он вырвался, а в руках у меня остался кусок его ткани — как вещественное доказательство, что я с ветром спорил.

Сделал я себе из этого куска косынку и стал повязывать на шею, когда выходил в лес, как это делают испанцы или итальянцы — право, не знаю, в кино видел, вот и увлекся модой,— и носил эту косыночку эдаким французистым героем до тех пор, пока не отнял ее у меня ветер: узелок развязался и ветер сдунул ее с моего плеча. Но и этому я был рад — все-таки несколько дней удалось мне поносить на шее косыночку.

От ложного чувства неловкости, стыда боишься иной раз задеть куст, ступить на камень. К чему такая щепетильность? Ведь и они при случае не слишком будут тебя оберегать, и, когда ты будешь проходить мимо, куст заденет тебя так сильно, что клок мяса из тела вырвет, а камень, выскользнув на шоссе из-под колеса идущей машины, ударит. Им вроде бы все равно — бить тебя или не бить. Достоин ты их привечания или нет.

Но потому ты и человек и отличаешься от камня и куста, что они делают тебе злое, а ты им нет. Пусть они хоть голову тебе оторвут, хоть насиловать будут: сделай нам плохо,— ты не причинишь им вреда. Они за себя отвечают, а ты за себя. Значит, могут они для себя безнаказанно делать зло, раз делают. Ты же этого делать не можешь. И не будешь. И если ты, идя по лесу, все-таки наступил на какой-нибудь камень, задел куст, ты не по злобе своей его задел, не потому, что худа ему желаешь, и даже не по необходимости, а по доброте, и твое прикосновение к кусту, к камню, как улыбка, которой ты их одарил, и они от этой улыбки счастливы.

Вышел в открытое поле, остановился и сказал утру: «Здравствуй!» Негромко сказал и прислушался. Жду. Никакого ответа не получаю. Смотрю на травы, на небо, кругом оглядываюсь. Должна же быть какая-то реакция! Небо чисто, травы от безветрия не шелохнутся. Хотел второй раз сказать, да постеснялся — с чего бы мне навязчивым быть? Не пожелало ответить на мое приветствие, значит, так надо. Убеждаю себя, что так надо, а недоволен, смутное раздражение в себе замечаю: что же это получается, я к нему с открытой душой, а оно от меня прячется? Сказать, что б занято кем другим было или не заметило, не решусь: не букашка я какая махонькая, да и стою на видном месте. Видеть-то оно меня видит, да не признает? Зазналось? Постоял немного и пошел, озадаченный, своей дорогой и до вечера думал об утре, что оно меня не признало. И грустно мне, и дерзостно, хоть дерись с ним и обругай. И уж гневом распаляюсь, придумываю разные сцены мщения. Берегись, мол, утро, найду я на тебя управу. И только к самой ночи, когда увидел вечерней зари угасание на небе, вдруг почудилось мне, что кто-то меня трогает, обадривает, за вихры ласково лохматит. И сказал бы, что ветер — дул он и вправду не сильно, но плотно,— да понял, что это утро меня приветствует. С тем и успокоился.

Сесть на землю, поджать к груди ноги, обнять их руками пониже коленок, пригнуть голову, сгруппироваться, как говорят спортсмены, раз-другой перевернуться через голову и, перевернувшись раз-другой, покатиться по траве, убыстряя свой ход, и, разогнавшись до известных пределов, оторваться от земли и катиться уже не по земле, а по небу, все так же обхватив руками ноги и пригнув голову, не ощущая острых толчков, не испытывая на себе ухабов, а потом, устав от долгого пребывания в неудобной позе, расслабиться, поднять голову, распрямить ноги, встать и, продолжая лететь по небу, уже не катиться эдаким шаром, ничего вокруг себя не замечая, а как бы открыто шагать вперед, поворачивая голову направо, налево, вверх, вниз, оглядывая проносящиеся окрестности. От озорства и веселья духа стоять на руках, ползти на четвереньках, лечь и полежать, подсунув под голову зазевавшееся облако, бе-

жать взапуски, догоняя вчерашний вечер или упавшую ночную звезду, а потом, набегавшись, належавшись, накувыркавшись на земле и на небе до одури, до пустого звона в теле, тихо опуститься к себе на родной кордон и с мыслью, что славно провел день, не думая ни о лесе, ни о порубках, ни об упреках начальства, ни о не сделанной сегодня работе, ни о прочих болезненных и навязчивых мелочах жизни, засыпать в постели,— может ли позволить себе такое человек хоть один раз в жизни? Я думаю, что может.

К животным, зверям, птицам отношусь с каким-то весьма неприятным превосходством. Не в том выражается превосходство, что я себя над ними выставляю — мол, я вас выше и лучше и вы моей подметки не стоите. Такого примитивного превосходства я себе не позволяю. И если когда оно из меня начнет выпирать, я его мигом одерну. Превосходство выражается в том, что, завидев в лесу ворону или лису, я первый обращаюсь к ним с вопросом: ну как, мол, делишки, куда бежишь-летишь? Сам не говорю им, куда я иду, о своих делах умалчиваю. Не жалуюсь на судьбу, хоть у меня в этот день худое настроение, не спрашиваю совета, как лучше поступить в мудреном деле, не болтаю о пустяках, как с равными собеседниками, о погоде или о видах на урожай, не сплетничаю о дурных сторонах характера своих знакомых, что я обычно не без успеха делаю с другими встречными, не жажду совместного поиска истины с какой-нибудь уткой или совой, не поучаю и сам не учусь, — я только строго вопрошаю, с такой уверенностью, не терпящей возражений и уверток, что мне становится стыдно и неловко за себя, за свой вопрос.

В самом деле, имею ли я право так спрашивать? Ну, спросил бы о делах одну утку, один одуванчик, одну лису,— в этом нет ничего предосудительного. Иной раз почему бы и не спросить, если спрашивается и ничего, кроме вопроса, за душой нет? Но не каждый же раз ставить себя в положение испытующего? Что я за отец суровый, что за судья? Вопрос не в том состоит, что, встретив в лесу сову или утку, не поинтересоваться их здоровьем. Пройти мимо, проявив безразличие, не обратив на утку никакого внимания, словно она не живет на этом свете, было бы еще хуже. Я не о том. А о своем

постоянном вопрошении, о непоколебимом праве спрашивать, будто они, звери, по самой природе обязаны мне отвечать и ответствовать. Конечно, это не так. Не случайно диалоги наши не очень удаются. Вопрошать я вопрошаю, а где ответ? В лучшем случае, какая-нибудь ворона наградит меня своим карканьем, а лиса — острым взглядом. Вот и весь их ответ. Куда уж красноречивей! Мне бы изменить свою манеру, и я бы, глядишь, большего добился, но упрямство мое выше меня.

Говорю: день — и как будто что-то меня отпускает внутри. Легко на душе становится. Заботы и боли точно по волшебству проходят. Там зуб болит, там спина ноет, там веки от недавней боли кажутся все еще тяжелы, не утихла память о долгах (и никогда она не утихнет), там тебя обманули, там унизили — всеми этими передрягами, связавшими тебя и лес, ты живешь. Но вместе с тем они от меня и уходят, едва я говорю: день. Не говори я «день», и жил бы со своими бедами и заботами всю жизнь. Да ну их! К черту эту канитель! Сказал: день. Избавился от болей и счастлив. Почти счастлив. Не говорю: счастлив, чтобы до предела не дойти и не ринуться снова в пучину несчастий. А говорю: почти счастлив. Это значит, и счастлив я, и несчастлив, и еще есть место расти моему счастью вверх. Самое прекрасное состояние, когда ты почти счастлив.

Пока не увижусь с речкой, весь день хожу мрачный. Далась мне эта речка! Или я рек не видел никогда, или эту не знаю, не обходил ее черемуховые берега, не перебирался через шаткие клади и мостки, не измерял брод на перекатах? И другие реки видать приходилось, и эта не чужа. Почему же она значит так много в моем настроении? И не будь ее, как мне тогда жить? Хорошо, когда есть речка, пришел к ней, посидел на бережке, поглядел в воды, камушек на дне разглядел, уклейку, а то и вообще ничего не увидел, а тяжести на тебе нет, как не бывало. Я думаю, потому мрачное настроение от меня уходит, когда я прихожу на речку, что она его, мрачное настроение, к себе берет и вместе с водой уносит.

Не скажу, что только речка обладает такими целительными качествами. Бегут облака, посмотрел на них, и они взяли твои уныние и заботу и с собой унесли. Что взяли — не беда. Да куда дели — вот что меня интересует. Хорошо, если будут носить по безбрежному океану, никому не предлагая, никого моими душевными хворями не одаривая. А то возьмут и выльют на какого-нибудь беднягу вместе с дождем ушат забот. И он, отягощенный своими, неси еще и мои. Справедливо это или несправедливо? Думаю, что справедливости тут нет никакой. Или река, унося мои стенания, прибьет их к чужому берегу, а там и своих хоть отбавляй. Утешает меня в моем эгоистичном и жестоком порыве (утешает слабо) мысль, что кроме своего уныния и забот я и веселие, и радость от себя отпускаю, отправляю вдаль, и они уплывают, улетают от меня и приносят радость нуждающимся в ней.

Вот почему, когда ко мне приходит грусть, тоска, я не очень об этом переживаю. Я думаю, что это не моя грусть, которую я заслужил, чтобы ею маяться, а кого-то другого, ромашки или бабочки, кто-то мне ее по реке или по воздуху послал. И когда приходит ко мне радость — а бывает и она, как без этого,— я не слишком себе в заслугу ставлю ее появление, я понимаю, что кто-то мне радость в подарок принес.

Бывает так. Встретил день, и он для тебя разрастается, разрастается. Ты утром его на крылечке нашел, когда из избы вышел, маленьким, едва родившимся, едва пришедшим в этот мир. Да так ли это важно? Мал он или большой, он все равно для тебя одинаково есть, и от него никуда не денешься. И вот он растет и растет и перерастает все положенные для него размеры. Давно пройден полдень, вечер опустился, ночь пришла, а ты никак со своим днем расстаться не можешь, все его баюкаешь и ласкаешь. Неделя, месяц прошумели, как весна, а для тебя все один и тот же день длится. И надоел он, и хочется расстаться, и совестно одним днем заниматься, остальные кинув, и все равно сил нет кинуть. Кинул. А через секунду руки опять к нему тянутся. И снова его вбираешь. Ну что можно вобрать от одного дня? Один день есть один день. Его уже весь с ног до головы знаешь, обмерил, осмотрел, ощупал. А глядишь,

выискиваешь, вдруг что пропустил? Конечно, что-то пропустить в спешке, в суете всегда можно. Там не заметил, как одуванчик сгорел, там не увидел вечерней звезды появление, там вздох ветра чуть ли не случайно обнаружил за углом, который и обнаруживать-то не обязательно, и от внезапной и неожиданной находки рад. Да много ли это, есть ли всему этому великая цена? Я думаю, нет. Если день прошел, что его опять тревожить и продлевать? Пусть в небытие катится. Да не твоя в этом воля. Ты бы и рад отказаться, он от тебя отказаться не в состоянии. Такое у тебя ощущение, будто ты все время воздух в себя вдыхаешь, легкие твои раздуваются, и нет уже в них места воздуху, а ты его все равно глотаешь. Как бы не лопнуть, не разорваться! Но что тогда делаешь? Ртом вроде что-то ловишь, а внутрь, в себя, новый воздух не впускаешь, ибо внутри старого полно. И живешь, пользуясь старым, замедляя жизнь, как замороженный, только потому, что сил нет на то, чтобы спертый воздух выдохнуть. Поистине, как для кого, а для меня дыхание — это великий труд, и я от вдоха до выхода не всегда им судья и хозяин. Так и думается, что в один прекрасный день я не справлюсь с этой трудной, непосильной для меня задачей и умру, не сумев вовремя вдох переключить на выдох.

Круглое солнце встало. Я вздрогнул. Его появление было для меня неожиданным. Что мне придется с ним встретиться не сегодня, так завтра, я знал, но хотелось отложить наше свидание подальше, чтобы успеть отойти от предыдущего. Не скажу, что то свидание было неудачным, плохим, но оставило в душе какую-то смутную тревогу, стыд и неловкость. И не понять, за что стыд и неловкость? За себя? Но я ничего плохого ему не сделал. Разве что жил, существовал под его лучами. Но за это люди не могут, не должны ощущать стыд. За него? Но оно тем более ни в чем не виновато. Или его грех, что оно посылало на землю свет и тепло и пробуждало меня и таких, как я, к жизни? За что же тревога и стыд? За то, что, когда оно вышло и сияло на небосклоне, я в избу влез и сидел в ней до вечера, не выходя во двор, избегая с ним встретиться, не желая ни его видеть, ни жариться под его лучами. Свое сидение в избе при солнце я посчитал неестественным, и оттого ко

мне пришла тревога. И вот теперь я его избегаю, опускаю глаза долу, делаю вид, что солнца нет или что я его не замечаю, и, чем больше стараюсь не замечать, тем чаще бросается оно мне в глаза. Но что интересно? И оно ведет себя так, словно меня не видит. А я бы хотел, чтобы солнце глянуло на меня, мы бы улыбнулись и простили друг другу неловкость. Казнись я, терзайся, все равно я знаю, что мой стыд и тревога временны, и не принимаю я близко к сердцу эти угрызения. Хотелось мне сидеть в избе — значит, сидел. И никто меня не заставит лезть на солнце. Но, чтобы утвердить себя, время надо.

Есть в лесу у меня места, где я останавливаюсь, как конь перед развилкой, соображая, куда идти — влево или вправо? На самом деле развилки в этих местах никакой нет, иной раз даже дороги нет: это или граница поля с лесом, или край болота, или сосняк на бугре. Добираясь до этих мест, я надолго останавливаюсь, словно впадаю в сон, и мысль моя в нерешительности, и чувства неясны. Шел бы я по дороге, по незнакомой местности, встретил бы развилку, мое замешательство было бы понятно — не каждому хочется плестись по ложной дороге, которая ведет в лучшем случае в никуда. Но дорога мне известна и выбирать ее не надо. Чем же объяснить тогда мое стояние, мой столбняк?

Я объясняю это одной причиной. Каждое дерево, пень, бор, поле, река, луг обладают свойством притягивать людей. Только мы этого не замечаем. Ты почему подошел к сосне? От нечего делать? Или опереться тебе на ее ствол захотелось? Или полюбоваться ее красотой? Как бы не так. Это она тебя к себе притягивает. Но, притянув, и отпустила. Ты к ромашке подошел. Она тебя притянула. Ты у реки — река тебя словно магнитом удерживает. Так ты и переходишь от одного к другому, то одно, то другое тебя притягивает, перетягивает — ландыш, куст малины, озеро, еловый лес.

Ну, а если ты на полдороге очутился? От куста малины не отошел и в то же время на речку залюбовался, что тогда тебя привлекает? Тогда и куст малины тебя привлекает, и речка одновременно и с одинаковой силой, и ты стоишь, пораженный видом реки, глядя на нее, не смея кинуть ягоды малины в рот, ты ждешь, кто из

них окажется сильнее, кто тебя переборет, к себе возьмет. Переборет речка — ты отойдешь от куста малины и будешь смотреть на речку. Одолеет куст малины — отвернешься от речки и займешься малиной. Миг этот, когда тебя выбирают, борются за тебя, он так томителен и сладок,— ты стоишь словно в оцепенении, желая продлить это мгновение. На что ты решишься, куда устремишь свой путь, двинешься ли к речке или к кусту малины?

Бывает, конечно, и так, что ты и на речку смотришь, и в то же время куст обираешь, и никакой нерешительности, оцепенения не испытываешь, и в носу можешь поковырять, ухо почесать, еще десяток дел разных сделать, но это будет уже не то.

С утра, со сна, с первого своего мига бодрствования невмоготу мне, тяжко, неловко. Словно муку какую на себе несу. Я уж и так пытался развеселить себя и этак: и пел, и спал, и еду готовил, и по лесу пробежался, а не помогает. В уме, в воспоминаниях все перебрал: кого бы я мог обидеть, за что кару несу? В обход хожу исправно, порубок у меня нет, квартальную просеку чищу, месячный план выполнил, крышу починил, посуда помыта, долг соседу отдал. Какие еще у меня могут быть несделанные дела? В лампу керосин налил. Пожарный щит по приказу директора лесхоза сбил и повесил на стену сарая. Весна не жаркая, не сухая, цветы цветут, речка бежит, солнце каждое утро встает и каждый вечер ложится, птицы поют, ветер с залива дует. Все, кажется, у меня с миром в согласии, отчего же душа не в мире? Тут вспомнил, что шел вчера речкой и на ходу нечаянно сорвал купаву, и устыдился, что сорвал — мне она ни к чему. Поглядеть? Я и на корню мог бы на нее любоваться. Домой отнести? Мне она дома ни к чему. Покрутил ее в руках да бросил. Неужто оттого, что купаву сорвал, у меня плохое настроение? Я их сотнями раньше рвал, и ничего, был весел и беспечен. Опять перебрал все. Ну, зевал, когда солнце садилось. Ворону шуганул палкой. Не расточал восторженных слов перед пением соловья. Бежали по небу красивые облака, а я, занятый рубкой просеки, на них не смотрел. Скинул с руки бесцеремонно божью коровку. Топтал на лугу травы и цветы. Сколько деревьев срубил? Десять, двадцать, сто?

И ничего, никакого угрызения совести, вроде так и нужно было. А вот купавку сорвал, и плохо мне. То-то воитель!

Когда мне приходится по долгу службы ночевать в поле или в лесу и я, разбуженный утренней прохладой, лежу в росистой траве и гляжу на светлеющее небо, я думаю иногда, что ближе ко мне и что дальше: звезды, исчезающие в свете дня, или какая-нибудь желтая бабочка-капустница, сидящая на упругой травинке и ждущая теплых лучей солнца, чтобы вспорхнуть и улететь? Казалось бы, ответ ясен. Ближе бабочка. Протяни к ней руку, и достал. Но звезды придут к тебе снова и снова, и завтра, и послезавтра, и ты их любовью к себе приближаешь. А бабочка улетит, и когда она снова к тебе вернется? Я думаю, никогда. Вот и выходит, что звезды к тебе ближе, ты живешь с ними, любишь какую-нибудь особенно яркую звезду. А бабочку полюбить тебе не дано. Ты захотел ее полюбить, ты поймал ее, взял за крылья. Долго ли ты будешь ее мучать и терзать, несчастный? Может, секунду, какое-то мгновение, и то, если сердце у тебя слишком жестокое. А скорей, не возьмешь ее в руки никогда. Ты будешь любоваться ею только издали, да и то краткий миг. Вот она вспорхнула мимо твоего носа и улетела, и с каждым мгновением все дальше и дальше друг от друга твой и ее путь, и вас уже не могут свести никакие счастливые обстоятельства.

Живу и не различаю, где сон, где явь. И не пугает меня это, не тяготит, не беспокоит. Я в сон из яви, как в речку, вступаю, я в явь из сна так же выхожу. Я в две реки вступаю, но они до того похожи, что кажутся мне одной рекой. Увижу белку в лесу, и во сне белку вижу. Там она прыгала по ветке, сердито цокая на меня. И во сне прыгает и цокает. И никакого отличия между той белкой, что вижу в лесу, и той, что снится во сне, я не замечаю. Вижу лес, и он ничем не отличен, ну хоть бы в какой малости была перемена. Найду срубленный пень, и во сне он мне такой же приснится. И никаких вольностей, никакой фантазии сон не допускает. Если я расстался в лесу с белкой в хорошем настроении, то

и во сне я с ней так же хорошо расстаюсь. Может быть, как-то немножко и не так, может быть, более печален я бываю или задумчив, но эта разница в настроении настолько мала, что не противоречит мне бодрствующему. Случается, конечно, и так, что и во сне меняются события, обогащаются новыми деталями, которых не было в яви, но эти события или детали опять же не беспокоят меня, а в ладу со мной, мне не противоречат. Если я в яви легок, спокоен, уверен в себе, я и во сне такой же. Если я ловлю браконьеров в яви, и во сне их ловлю так же. Не бываю я во сне в страхе, не бегу ни от кого, не глядят на меня из-за угла свиные рыла, не происходит никаких фантасмагорий, когда говорят, что снится, мол, всякая дурь: черти, ведьмы, хвостатые чудовища и прочая нечисть. Я вижу во сне мир таким же, каким вижу его наяву. И потому можно сказать, что я как бы все время бодрствую. И когда я сплю, я только глаза закрываю, не уходя от этого мира, его от себя не отпуская. И он от меня не уходит. Снилась мне сегодня белая ромашка в поле, что видел вчера. Был ветер, и шумела трава под ветром, и ромашка гнулась у дороги, а я, пока проходил мимо, смотрел на нее.

Ты встал, ты думаешь, что ты такой, какой ты есть — и как ты о себе думаешь, и как смотришь, как говоришь, как кружку с чаем держишь, к колодцу за водой идешь, чему радуешься и огорчаешься. А ты оказываешься вовсе не такой. Ты считал, что ты весел, раз весело с постели встал, а на самом деле ты печален, даже расстроен. Чем? А тем, что тебя веселило. Солнце тебя веселило. Значит, грустен, что солнце есть? Сомнительно, но предположить можно. Я бодрым себя считал, а это тоже ложь. Усталый я. Какой же усталый, если всю ночь в постели валялся? А разве люди ночами не устают, невидимые грузы ворочая? Подержи на себе часок свод небесный, и ты узнаешь, что такое усталость. Может, я этот свод не час, а все семь часов держал, пока солнце не поднялось, пока воздух не нагрелся и не подпер его жаром. Или такое предположить невозможно? Я шел с ведром воды и ругался, что колодец расположен далеко. А выходит, я радовался этому. И в самом деле, если подумать, сколько я выиграл оттого, что колодец мой в трехстах метрах от избы, а не в двух-трех!

Сколько из-за этого мне удалось увидеть рассветов, закатов; гусей однажды видел, как они опустились на поле возле колодца, где рос горох, и ели его, и гоготали в ночи. А я с пустым ведром стоял, прислушавшись, боясь пошевелиться. Я, может быть, землю эту, леса, поля, небо полюбил только из-за того, что у меня была возможность каждый день топать с ведром к колодцу и обратно, а я о любви к лесу толкую. Был недоволен соседом Иваном, ворчал на него, что подвел, не пришел вчера столбы квартальные ставить, как обещал. А я рад — сам поставил.

День, проснувшись, увидел хороший, солнце, небо чистое — и радостный встал. Во второй день встал — и опять день чистый, и опять я радостный. Третий день — все так же. На четвертый это меня уже начало раздражать. Сколько же можно радоваться, пора и погрустить! А грусть, как назло, ко мне не идет. Пора бы хоть облачку на небе появиться. И облачка нет.

Думал о будущем леса и стращал себя страшными пророчествами — мол, погибнет все и ничего не останется на земле. И не скажу, что от этой мысли прыгал от счастья, но и в дремучую тоску не впадал. Сознавал, что мои пророчества, мои страхи не имеют силы, построены на песке и цена им грош.

Оглядывал свою жизнь и опасался за свою судьбу — все, мол, пока идет гладко, а вдруг что-нибудь забарахлит. Везло, а перестанет везти. И эта мысль не давила меня, не корчила. И к ней я отнесся спокойно. Откажет в удаче, в счастье? Во-первых, это еще неизвестно, а во-вторых, и без удачи проживем — стоит ли из-за этого расстраиваться, — или все на свете люди живут со счастьем и удачей? Не живут они, перебиваются, и мы как-нибудь перебьемся. Чувствуя, что не берут меня опасения ни за мою судьбу, ни за судьбу человечества, задумался о сосне, что растет у дороги. Мол, не услежу я за ней, срубят ее порубщики. А хороша, красива, век бы ей еще жить. Кажется, вполне грустная мысль, от которой можно прийти в уныние, но и она не взволновала, не тронула. Тут тоже, если поглядеть строже, не все просто обстоит, или я уже калека, за ней не могу приглядеть?

И пока я об этом думал, пришли на небо тучи, обло-

жили его до краев, скрылось солнце, полил дождь. Природа померкла, пригорюнилась. И я вслед за ней в сердце грусть впустил. Но впустил только тогда, когда природа сдалась. А не приди на небо дождливые тучи, сияй каждый день солнце, я бы век жил с радостью на душе.

Можно себя до такой степени разволновать, что, глядя на желтый цветок лютика обыкновенного или ромашки, в диком волнении, в сумятице чувств, подступивших к тебе, в беспамятстве позабыть, что ты видел, на что глядел, на девушку или на цветок лютика,— так они оба, и цветок лютика, и девушка, для тебя хороши, друг на друга чем-то похожи. Ладно еще, если, побезумствовав, помечтав, поволновавшись немного, возьмешь и успокоишься. Подумаешь, глядя на цветок, что это девушка, и забудешь. Станешь опять думать, что это цветок, вновь вернется к тебе спокойствие, так необходимое нам для жизни, ясность взгляда. А если не уляжется волнение и ты будешь продолжать думать о цветке лютика как о девушке, что тогда будет, что произойдет? Мировой катастрофы, пожара, войны, конечно, не случится, но и приятного не очень-то много. Ходить мимо этого цветка и видеть в нем девушку, здороваться с ней, пытаться заговорить? Задуматься, например, почему она (цветок лютика) на одном месте стоит, почему каждый раз, когда я прохожу мимо, мне на глаза попадается? Нет ли в этом какого-то особого знака, намека? Начнешь поглубже в это дело вникать, и опять недоумение: как его ответ понимать — согласен ли цветок на знакомство или тебя отвергает? Есть ли встреча с ним уже знакомство (посмотрел и познакомился) и никаких дальнейших усилий для знакомства от тебя не требуется, или еще что надо? Никакие книги в мире ответа на этот вопрос не дают. Как понимать их поклон под ветром — знаком одобрения или отказом? Что значит их неслышимый лепет, произносимый в ночи? Есть ли это признание тебе в любви или самый обыкновенный сонный вздох? Да и вообще не очень понятно, признают они тебя, эти невинные создания, или отвергают? Оттого что оно на тебя смотрит, когда ты к нему наклонился, это еще ни о чем не говорит. Может, с любовью смотрит, а может, просто от любопытства разглядывает, как козявку. Не легко ответить и на такие вопросы: что де-

лать, чтобы понравиться ему? С девушками тут дело понятное, тут мы опыт кое-какой имеем, тут нам, как говорится, палец в рот не клади, тут мы не самые большие мастера, но и не бездарные ремесленники. А вот как понравиться цветку, нам не совсем ясно. Говорить ли ему одни только нежные слова, изъясняться ли только стихами Пушкина или прямо брякнуть с порога — мол, люблю и дело с концом? Все вроде бы и просто, да много ли мы имеем сведений о лютике обыкновенном? Сколько у него тычинок, пестиков? По правде сказать, невелики знания.

Тысячи самых разных сомнений, мыслей у меня в этот миг возникают. Ну, знаю я, положим, что под ручку с ним по лугу не пойдешь, танцевать вальс не будешь. Но утреннюю зарю встретить можно, день прожить, под дождем постоять, под ветром, под солнцем. Много это или мало?

Хорошо еще, что подобные мысли, сомнения ко мне в редкие минуты волнения приходят и не живу я ими каждый день, других занятий хватает. Ну а если заполнят эти мысли меня целиком и не смогу я дня прожить, чтобы не думать о цветке лютика, так я в него влюблюсь, что мне тогда делать, как быть?

Вот почему, гуляя по лугам, не очень занимаюсь я разглядыванием цветков лютика да и других цветков. Поглядел немного — и хватит, не вперяю в них свой взор, не насильничаю, а иду тихо, мирно, скромно опустив глаза долу, боясь влезть в какую-нибудь страшную историю. Влюбиться в цветок нетрудно — так он мил и прекрасен. Как любовь эту перенести, не умерев,— вот вопрос.

Встречаю в лесу зверя и, если встреча эта неожиданна, отношусь к зверю с повышенной добротой и отзывчивостью. Я тогда себя ни во что не ставлю, а живу заботами зверя, и скажи он мне: надо достать с неба звезду или прыгнуть в огненную реку, и я сделаю это без промедления. Я совсем не думаю о себе. Я отношусь к себе так, как будто меня нет, а есть зверь, а я если и есть, то для того, чтобы услужить зверю.

И вот в этом услужении я иной раз до того дойду, что потом только головой качаю: что делал, зачем решил? И в самом деле, с какой стати мне выполнять

капризы какой-нибудь лисы или волка? Лезть в огонь или доставать звезду? Во-первых, пользы в этом ни для лисы, ни для волка нет никакой (зачем им звезда?), а во-вторых, и мне-то ни к чему подобное ухарство. Лезть я могу, да достану ли?

И оттого, что уступчив бываю сверх меры, появляется у меня в дальнейшем такой перелом, что, проси они меня о малой малости, и я не пошевелюсь. Ругаюсь про себя, бранюсь. Ах, говорю, раз вы такие, то и малого для вас делать не буду. И не уступаю им тогда даже дороги, и хожу по лесу словно слон, словно живу здесь один и, кроме меня, никого нет. Нос задеру кверху, каблуками гремлю, руками машу, независимый, гордый, строптивый.

Ливневые грозы вчера отошли, и сегодня в лесу благодать. Не стреляют молнии, не вонзают свои шпоры земле в бок, не грохочет гром, не льются струи. Стихия превозмогла себя и успокоилась. Наступили покой и умиротворение. Бабочки-капустницы летают в огороде. Дрозды и скворцы остервенело поют возле кордона. Чибисы вылетели в небо и кружат над полем. Примятая и прибитая дождем трава, мокрая, подсыхает и выпрямляется, земля полна луж, и, когда идешь по траве, брызги от луж разлетаются в стороны. Солнце сверху греет этот уютный мирок, и он неслышно шумит, волнуется. А вчера, когда гремел и громыхал, напротив, казалось, тишина стояла. И лес был нерушим. Сегодня в благолепии этом его можно скорей порушить. Но от вчерашней грозы остались в лесу несколько сломанных и обгорелых елей. А сегодня что сломается, кому предстоит умирать? Умрет солнце, скрывшись из глаз, да и то до предстоящего утра. А народятся на поле новые цветы. Вот они появились — желтые, синие, голубые. Словно тучи теснятся на лугу стада лютиков, колокольчиков, анютиных глазок.

Столкнулся с лосем в бору на тропе и так испугался его, как осиновый лист затрепетал. Отпрыгнул в страхе, за увесистый дрын ухватился, сердце колотится, дрожь пронимает. Бежать от него или стороной обойти? Вроде знаю, лоси на человека не нападают, и не было еще

такого со мной случая, чтобы обидел когда меня лось, копытом лягнул или рогами задел, и все я повадки лесных зверей изучил, тысячи раз на себе проверял, лез здороваться с волком, пытался в нежных чувствах обнять рысь, а все равно страх меня берет: а вдруг что случится? Те не трогали по снисходительности, по доброте своей, а этот тронет. И вид у лося недоверчивый, и глаз сердитый, и какие в его рогатой башке мысли бродят — неведомо.

Странную вещь я заметил: чем больше обретаю веры в своем служении лесу, чем выше поднимаюсь в своем понимании леса и любви к нему, тем ниже иногда падаю. И часто так крепко брякаюсь оземь, что трудно подняться, все ноет и болит — и кости, и сердце, и прочие органы. Кажется, укрепился ты в своей вере, взял, как говорится, быка за рога. Поглядел, а ты лежишь поверженный. Жалко, что так происходит, обидно и жалко. Ты стараешься, из кожи лезешь, как бы лесу было лучше, а он вместо веры дает тебе неверие и страх. Прочь его! Устал я от этого страха. Знаю, верю, что есть в лесу только добро, любовь. Пройдет минута сомнений, соберусь с силами, и такая вера ко мне придет, что грызть ее всем волкам мира и не сгрызть. А то муравей усом пятку пощекочет, а ты бежишь от него в страхе. Как это все понять и как привести в согласие?

Намучавшись от мгновенного страха, оттого, что впустил в себя страх, обрел опять уверенность и, бросив палку, остановился около лося и по холке его потрепал — как, мол, дела, милый, а он меня теплыми губами в лоб чмокнул, словно в дружбе отметил. Да потом, когда я отходил от него, слегка лягнул на прощание.

С тем и разошлись.

Утром долго не могу разогнаться, в жизнь прихожу медленно, вяло, с ворчанием, с недовольством, то мне не нравится, это не так. Сосед в прошлом году со сна не поздоровался с тобой, и ты его за этот невольный поступок казнишь. Незнакомый человек внезапным появлением напугал, и ты его вспоминаешь. Мать отшлепала в детстве за проказы, когда ты под стол пешком ходил, ты и к этому случаю придираешься, мысленно бичуешь несправедливость.

Утром для меня все нехорошо. Уж как лес ни ста-

райся, как ни притихни ветер — листья, проснувшись, немеют, переговариваются между собой негромко, словно деликатные соседи, и ворона до времени заткнет свою глотку, и заяц лишний раз на опушке не скакнет, боясь потревожить тебя своим резвым ходом, и солнце затуманится, стыдясь своей красоты, спрячется за тучку, не решаясь своим появлением испортить тебе настроение, паук сидит в уголке, не плетет свою паутину, дождь не льет, роса с листа на лист не падает, червь в земле не ворохнется — все в мире являет предо мной картину немоты и предупредительности, а я недоволен. Ворона молчит, зато пение скворцов слышу, а зачем мне их слышать в такую рань? Заяц не скачет, зато барсук в норе ворочается. Солнце туманится, ветер молчит, роса с листа на лист не падает, зато бабочка от цветка к цветку перелетает и своим полетом меня из себя выводит. Умолкни скворцы, замри на цветке бабочка, и что же, обрадуюсь я, улыбнусь этому утру? Как бы не так. Зачем, скажу, речка журчит, трава в поле колышется? Не даю я жизни в этот миг ни траве, ни зверю, ни птицам. Пусть их лучше не будет, но пусть будет мне тихо. Гневные речи про себя готовлю, страстные обвинения сочиняю. Тут и о праве человека речь веду, и о справедливости, этом вечном и неразрешимом предмете, и цитаты привожу из книг великих предков, и вопросами строго вопрошаю: до каких пор? почему? не стыдно ли? не совестно? И только изойдясь в своих обвинениях, навоевавшись с мнимыми врагами вволю, успокаиваюсь.

И в самом деле, какие они мне враги! И как им вести себя, если они своим шумом мне мешают? Но вот я отвоевался и уже доволен и травой, и вороной, и поднявшимся ветром. Я даже наслаждаюсь их шумом и возней, и, не будь этой возни, мне было бы худо. Я умиляюсь шепоту листьев, пускаю слезу при виде квакающей лягушки, восторгаюсь ревом лося в чаще, ворошением дождевого червя в земле. Живите, пойте, веселитесь, говорю я великодушно всем земным тварям, словно я бог, вдохнувший в них жизнь, прославляйте себя и этот мир, растите и рождайтесь на счастье. Для меня наступает тогда такая пора, что, молчи кто-нибудь от стеснения или от нежелания причинить кому обиду, и я бы очень был недоволен подобным поступком. И в самом деле, говорю я себе, для чего мы тогда рождены, явлены на этот божественный свет, если мнемся, стесня-

емся, если думаем, как бы нам не чихнуть громко, не сказать слово? Для немоты, для жалкого прозябания? Как нам тогда выразить себя, стесненным, как сказать свое слово? Пусть головы нам секут, а не хотим мы молчать, мы будем петь, и кому мы своей песней мешаем?

Но приходит срок, и я забываю о них, как будто их нет, не существует. Утром бранился, что лист нечаянно зашуршал, теперь, к вечеру, греми он во всю силу, мне грома его мало. То на немую ворону поклеп держал, теперь она ори, разрывайся во все горло, я на нее взгляда не кину. То застеснявшимся солнцем, спрятавшимся за тучу, был недоволен, теперь, сияй оно самым ярким светом, мне его недостаточно. Лев рычи над моим ухом, разинув пасть, я его не услышу.

И вот, прожив свой день и укладываясь спать, я невольно задумываюсь, что же ты есть, человек, и что же тебе надо? А верней даже не задумываюсь над этим вопросом, я над ним уже раньше думал и безрезультатно. Я думаю: как странен и удивителен ты, человек, и как много ты хочешь. То не дыхни на тебя, так ты капризен и нежен, лист заколышется, а тебе уже плохо, то бурю подавай, и ее тебе мало. И как мало тебе надо, если шум листа, удар росинки о землю для тебя великое событие.

Мысли, подобные этим, не так-то просто переварить, свести к одному концу и началу, и терзайся я ими еще долго, а может, вечно, так они жгучи и неразрешимы, не будь подо мной жесткой лежанки, не маячь впереди для меня долгая ночь. Но ночь приходит, она меня к себе забирает, успокаивает, утишает, она погружает меня в свой легкий, золотой сон для нового завтрашнего пробуждения.

Вчера поздно ночью возвращался из леса домой и встретил лису. Было светло от луны, и я с ней чуть нос к носу не столкнулся и успел разглядеть ее мордочку, хвост, живое движение глаз. И она меня увидела. Я от неожиданности вздрогнул, а она застеснялась и, застеснявшись, тут же свернула с тропы и ушла в кусты, словно я ей дорогу не уступил. Но, во-первых, места на тропе на двоих бы хватило, во-вторых, уступил, если бы дело на принцип пошло,— не так часто мы лис на тро-

пах встречаем, чтобы дорогу им не уступать,— а в-третьих, не уступил бы, так что случилось?

Бывает, конечно, что идешь и ничего перед собой не видишь, что называется прешь напрямик. Но если говорить откровенно, такой путь только для новичка. Многого подобным нахрапом не одолеешь. От частого хождения по лесу рождается в тебе такая способность обтекать встречные предметы, не сталкиваясь с ними, что диву даешься. Иной раз так мимо куста проскользнешь, что листочек на нем не шевельнется, росинка не уронится. Скачешь по лесу, как заяц, и от всех встречных уклоняешься. В густом сосновом бору в такую щелку между двух сосен просунешься, что, отойдя несколько, остановишься, вернешься и удивишься, как это ты сумел здесь прошмыгнуть, щель настолько узка, что муравью не продраться.

Понятно, что подобные обтекания вызывают определенные трудности: с чего мне стараться, думаешь, пусть они стараются, а я не хочу,— но не будешь же из-за своего упрямства проверять прочность своего лба прочностью какой-нибудь ели? И потом, не только ты уклоняешься, уклоняются и они. И когда очень спешишь по делу или зазевался случайно, а у тебя сосна на пути и ты не успеваешь от нее увернуться, что же тебе, врезаться в нее со всего хода, набивая шишку на лоб, выкалывать глаз суком? Ничего подобного. Ты не успел от нее увернуться, она успела и дала тебе дорогу, потому что не враг она тебе и не желает твоего увечья, кстати как и ты ей.

Встречались мне такие дни, которые я любил, встречались, которые и меня любили. Реже, но случались и такие: мы любили друг друга. Бывало и так, что сталкивались нелюбимые. Конечно, самая прекрасная встреча, когда любовь взаимна и оба пьют из источника счастья, но не вижу ничего худого в любви невзаимной, и какая из них лучше, взаимная или невзаимная,— это еще надо посмотреть. Допускаю даже встречи нелюбящих, и они бывают хороши, не так хороши, что после них ничего хорошего уже не бывает, но и не настолько плохи, что дальше некуда. На меня самое сильное впечатление произвела любовь невзаимная. Хотя я до сих пор не уверен, была ли она невзаимна. Я думаю, что все-таки она была взаимна. И если срок чьей-то любви прошел

скорее, чем у другого, винить в том, что любовь была невзаимна, по-моему, нельзя. Или так прославить эту невзаимность, что она станет на голову выше взаимной. Опасаться, что после этой похвалы все начнут любить невзаимно и пренебрегут взаимной любовью, не нужно. Такого, думаю, да и верю, не случится. Даже, больше того, знаю, что, как я ни хвалил невзаимную любовь, даже сам себя вряд ли смогу убедить в этом. Что уж говорить о других! И тем не менее мне хочется ее прославить. Горька она и так нестерпима, что не все без урона несут ее бремя. И плакать хочется, звать обратно, хоть и прошло с тех пор немало лет. И печалью наполняется твое сердце. И полнится оно, как сосуд. И благо, если ему есть куда и на что вылиться.

Может ли быть для человека что-нибудь приятнее, чем солнечный свет? Конечно, может. Ночь, например, с ее звездами, речка, травы. Разве они не стоят нашего внимания, разве не радуешься при виде их, в первый или в последний раз открывая их для себя? Конечно, стоят и радуют. И все-таки приятнее солнечного света может быть только солнечный свет.

Можно превратиться в ворону, в сороку, в сосну, в ромашку и во многое другое. Тут тайны или особого секрета нет. И семь пядей иметь во лбу не обязательно. Вполне достаточно средних способностей. Вы хотите превратиться в ворону. Как вы это совершаете? Берете и становитесь вороной. Все очень просто, без хитростей и обмана. Но как стать ею? — скажут мне. Я вот хочу, а не становлюсь. Отвечу: не буду утверждать, что не очень сильно хотите, оттого и не становитесь. Может, и сильно. Скажу: неумело. Чтобы превратиться в ворону или уподобиться ей (а это почти одно и то же), важно не только самому стать вороной, важно, чтобы и весь мир для вас стал таким, какой он есть для вороны,— вороньим. Чтобы леса, поля, горы были для вас, человека, не такими, какими они были до этого, человеческими, а вороньими. Что видит ворона, глядя на сосну? Сосну? Как бы не так. Сосну в сосне видим мы, люди, а ворона видит в ней нечто иное. Что видит она в солнце, в месяце, речке, облаке? Солнце, месяц, облако? И тут ответ будет иным. Может, она видит в солнце

сосну, а в речке девушку? Может, вообще она не видит ни солнца, ни реки? Глядит на них и не замечает. Что она, ворона, видит в тебе, человек? Что ты для нее: человек или какое дикое животное? На это сразу не так-то просто ответить. Что для вороны звезды, земной шар, океан, беспредельность, как понимает она любовь, добро? Ответьте на эти вопросы — и вы уже стали вороной. Вот у вас вместо рук выросли крылья, вместо ног — лапы, вот вы обросли перьями, вот вытянулся и ороговел клюв (нос), вот глаз у вас стал вороньим, взгляд, поскок, вот вместо привычного человеческого слова несется из вашего горла воронье клокотанье. Нетрудно из вороны превратиться в слона, в крокодила, в волка, в черепаху. Повторяю, для этого нужно увидеть мир таким, каким они его видят. Нет в этом мире ничего, во что нельзя было бы превратиться. Не худо к этому добавить одну маленькую деталь. Зная, понимая, что́ есть для вороны или кого иного то или это, хорошо, будучи человеком, знать, что́ есть для себя ты сам, человек, что́ есть для тебя, человека, этот мир.

Если придет день и я обрадуюсь ему утром, вечером я обязательно буду им недоволен. Так уж устроена моя душа — ей непременно движение надо, переход из одного состояния в другое, иначе ей скучно. Когда день начинаешь с веселых песен, за здравие, а кончаешь за упокой — это куда ни шло. Сознание не омрачает твоего духа, ты повеселился, взял свое, умей и попечалиться втихомолку. Хуже, когда день я мрачным начинаю и расхожусь в веселии только к вечеру, а еще когда вовсе не расхожусь. Тоска меня тогда гложет и укоряешь себя: зачем утро прозевал, зачем в то время, когда вся природа радуется, ты омрачался? Какие-то не зависящие от меня силы угнетают меня. Умом ты вроде спокоен — мол, ничего страшного, всякое бывает, придет другое утро и будешь веселиться. А сердцем эти рассуждения не принимаешь. Ты готов руку свою отдать, чтобы прошедшее утро опять вернулось и ты бы его провел как должно. Прошедшее утро, конечно, не является, не возвращается, и ты коришь себя на чем свет стоит, и сулишь себе всякие беды, обвиняешь во всех грехах, и кажется, для тебя уже жизни нет — так все вокруг и внутри тебя почернело от твоих мыслей. Но пришло но-

вое утро, ты проснулся. Боже, сколько радости в твоей душе! Был ли ты вчера недоволен? Разве ты это помнишь? Какое тебе дело, что было вчера! Будешь ли вечером недоволен? Какое тебе дело, что будет завтра! Главное, есть хороший день сегодня. И ты его пьешь, бездумный!

Рубил просеку, валил деревья и так лихо я с ними расправлялся, что самому нравилось. Давно так яро не трудился, с удовольствием, с радостью, в охотку. Топором взмахну — и взмах мой красив, нет ничего в нем неверного, лишнего, торопливого, судорожного. Ударю лезвием по стволу дерева — и тоже получается все в лад: в точное место угодил, и удар сильный, и щепа ядреная, словно золото, отлетает. Валится дерево — и тут все идет хорошо: нужно мне его влево положить — оно влево ложится, нужно вправо — вправо кренится. Упадет на место, которое я ему облюбовал, шмякнется об землю, подпрыгнет, задрожав, и замрет лежа, словно век ему тут лежать. И просека от моей работы получается чистая, ровная, как стрела. Век бы работал с таким настроением.

Но едва разошелся, спину распрямил для нового взмаха, синица на глаза попала. Стукнул я топором по дереву, и удар получился неказистый и куда-то вбок ушел, дыхание прервалось. Потюкал, поковырял топориком. Синица не улетает. Сел отдохнуть. С минуту она возле меня повертелась и улетела. А я весь жар работы потерял. Не хочется больше мне рубить. Ушел с просеки. И так было жалко хорошее настроение терять. Да что поделать! Не могу я работать, когда кто возле меня находится. Тружусь один и все делаю споро. Чуть кто ко мне в гости заявится, я уже весь для гостя открыт в ущерб работе.

Что синица! Облако иной раз мимо пролетит, а я засмотрюсь на него и уже не работник.

Иду дальше. А что там? А все то же: лес да лес. Где едва заметная тропинка проглянет к водопою, где опушка с высокими зарослями иван-чая до плеч, ступаешь в заросли, как в воду погружаешься,— дна не видать (иной раз и в самом деле летишь на дно ямы, не види-

мой для глаз), где редкий березнячок с чистой, шелковой травой, где свободный от высоты сосновый бор, где густой еловый чапыжник. Здесь земля, расстелившись, взбугрилась холмами, и у каждого холма ложбина такая уютная и аккуратная, что хочется в ней полежать; здесь топи болотные, хляби непролазные, бредешь по колено в воде, пружинишь на мху, и желание у тебя поскорей выбраться на сушу — страшно, опасно, неприятно; здесь речка, ручей с затаенным бережком, не берег, а приют уединения, царственное место для тебя одного — сиди хоть сто лет, думай не думай, гляди не гляди, вспоминай не вспоминай — все тебе мило и хорошо: и прямо сидеть приятно, и, слегка облокотившись на локоть, хорошо наблюдать закат уходящего солнца, и, уткнувшись лицом в траву, сладко дремать, вкушая дремучие запахи земли.

Идешь и времени счет теряешь: какой день, год ты уже в дороге? А ты только что из кордона вышел. Глядишь направо, налево — и все твой взгляд занимает, кажется лес каким-то неутомимым обворожителем, обольстителем, прелестником — подсовывает он и подсовывает тебе занятные прелести, и глаз не устает ими любоваться. Нет, устал. К вечеру, к середине дня так устанешь, что укрыться от всего этого яркого разнообразия хочешь, в избу к себе на кордон прийти, и если нет для тебя такой возможности, если час хоть и поздний, а тебе нужно вышагивать не к кордону, а от кордона, и тебе приходится, помимо твоего желания, лицезреть лес, ты прикрываешь свои глаза от невозможности больше вмещать в себя это богатство и бредешь через силу, нагруженный и пресыщенный.

Вошел в лес голодный, а бредешь наевшись до отвала. В сон тебя клонит, мысли, некогда жаркие, гаснут, вянут, ноги заплетаются. Куда они идут? — задаешь себе вопрос. И найти ответа не можешь. Знаешь, что идут они в дальний двадцать второй квартал посмотреть, нет ли там порубок. И не знаешь этого. И думаешь, что набрались они дерзкого желания дойти до края света, вселенной и только потом назад прийти.

Чудно́ видеть себя решившимся дойти до края вселенной, и не только решившимся, но и идущим. Никакой ты не великан, не богатырь, обыкновенный смертный, а великанскую работу выполняешь. Жаль, что поблизости фотографа нет, который запечатлел бы этот исто-

рический момент: тебя в сапогах, в старых штанах, полуозабоченное, полусерьезное лицо, уверенный шаг, сутулость.

Где он, край света? А вот он. Дошел до конца квартала, до заветного столба, посмотрел, все ли в порядке, убедился, что ничего худого не случилось, и, не отдыхая, повернул обратно. Опять опушка с иван-чаем тебе попадается на пути, березнячок с чистой травой, ельник. Но если ты раньше их в себя принимал, сейчас назад отрыгиваешь. То думал, что на край света спешишь, сейчас, по мере приближения на кордон, соображаешь, что ходил в двадцать второй квартал. Какое-то время в дороге борьба продолжается, сомнения тебя одолевают: а так ли, в двадцать второй квартал ли ты ходил? И, ступив на крыльцо, точно для себя определяешь, что был в двадцать втором квартале, а не на конце света.

Хотя как знать, кто этому свидетель? Видела ворона, что сидела на сосне, как я из избы вышел, как в путь собрался. А где был, где весь день пропадал? Об этом я и сам не знаю, ибо давно ощущение реальности потерял и, кроме зарослей иван-чая, да трав, да деревьев, нет ничего ни в моей голове, ни в сердце, и, кажется, весь я внутри составлен из одних сплошных лесных зарослей. Впрочем, и их нет. Чем больше шагов прошел, чем дольше бродил, тем ощутимее для меня останавливается движение. И вот в какой-то момент совсем остановилось. Где я был? И был ли я на том конце света или в двадцать втором квартале? Я как бы перестал существовать и почувствовал себя живым человеком, только когда ступил на крыльцо своей избы.

Я у дверей сбрасываю с ног сапоги, снимаю штаны, рубашку и ложусь в кровать. Я даже не готовлю для себя еду, я не хочу есть. И мне кажется, что, возвращаясь назад, отдавая все назад лесу, не отдал ли я случайно и себя со всеми своими потрохами, не переборщил ли в своей щедрости — так я устал, не чувствую ни ног, ни рук, ни головы, ни сердца.

Чтобы ощутить, что ты жив, что живешь на этой земле, необязательно каждый день видеть лес, речку, зелень травы, жить в сосновом бору, рыбачить на озере. Достаточно проснуться, открыть глаза, сделать движение рукой, подняться, сесть на край кровати, пройтись

по избе, комнате. Ты сразу ощутишь присутствие леса, травы, реки. Ты не их ощутишь, а присутствие утра, дня, которые и заменят тебе лес, речку.

Вот почему, когда я утром просыпаюсь, я часто сижу на краю кровати, свесив на пол босые ноги, не бегаю, не хожу, а нахожусь недвижимый, в оцепенении, час, другой. Я слишком сильно ощущаю присутствие утра, леса, речки, они для меня есть такие реальные, что встань я резко, неосторожно, сделай быстрый шаг по избе, заходи, запрыгай, и я задену это утро плечом и зашибу себя или его, чего мне делать, разумеется, не хочется.

Шел по дороге, вялый, сонный, недовольный собой, но вот заметил, что утро, и уподобился ему, и стало мне весело. Захотелось, как жеребчику, бегать по полю, и я побежал, а куда? В том-то и дело, что бежать было некуда. Но разве предосудительно пробежаться просто так, в никуда? Если тебя никто на помощь не зовет, если ты в гости никому не нужен, дела в лесу сделаны и ты лесу больше, чем дал, ничего не можешь, то неужто нельзя от веселья и бодрого духа пробежаться? Думаю, что можно. Прошло утро. Остыл я от утреннего возбуждения. Набегался так, что ногами не двинуть. Полдень явился. Опять я в сонном состоянии нахожусь? Ничего подобного. Память, что утром я жил вместе с утром, меня в добром духе поддерживает. А если не поддерживает? Тогда я живу с полднем, с вечером, с ночью. Я одуванчик на поле нахожу, сосну у дороги, травинку в поле. Но к вечеру, к ночи устаю я от совместного житья-бытия, мучаю себя, опять с кем-нибудь быть заставляю. Тогда я раскладываю постель и, как после хорошего рабочего дня, в котором многое, если не все, удалось, крепко и счастливо засыпаю. И вижу во сне сны, и они светлые, не тревожные, или совсем никакие, вижу сны яркие, легкие, радостные. Луг во сне увижу, и ничего в нем особенного не разглядел, даже цветов вроде не увидел, а так увидел, как издали его видишь,— одну траву, а он, луг, радует своим видением, любовь его к себе чувствуешь и сам его любишь. Речку увидел, и речка любит и любима. И не навязчива ни моя любовь, ни ее. И даже не то радует, что любишь и любим,— любовью ли мы обойдены и любили ли мало? — а то, что речку во сне видишь и она радует. Про-

стой куст малины увидел, а рад, словно чудо природы какое встретил, рад, что ему радуешься.

Такое чувство у меня смутное, тревожное (со страхом), будто кто-то меня ругает. Раньше такого чувства не было. Или, точней, давно не было. И я думаю: значит, жил все эти дни тихо, как мышь, и не беспокоил никого (что люди тебя только хвалят, в это поверить трудно), а нынче кого-то побеспокоил, и он тебя почем зря клеймит.

Стал вспоминать, кого бы я мог обидеть, задеть. А тут и вспоминать нечего — все, как это произошло, у меня в голове сидит. Шел я мимо куста можжевельника, что растет у поворота дороги. Каждый раз, проходя мимо, я на него глядел и любовался — очень он мне нравился. И пышный куст, и так удобно стоит, что, как идешь в этом месте, обязательно на него смотришь, потому что на все другое смотреть неинтересно. На что смотреть? На горбатую ель, сломанную молнией? На молодой сосняк, что едва поднялся от земли? На синий просвет неба между двух сосен? На него в другом месте посмотреть можно, чуть зайдя за поворот, он там даже интересней, что я и делаю всегда с большим удовольствием. Все тут казалось мне, кроме куста можжевельника, невзрачным. И только куст можжевельника царственно великолепен.

А тут возвращался домой и такая меня мысль взяла: так ли уж я прав и только ли один этот куст достоин внимания, а другие нет, и я на него смотреть должен? И посмотрел я на елку. И она мне показалась нарядной и по-своему примечательной — крива, суковата, ранена молнией, да зелена, да живет! Глядя на елку, я и прошел мимо куста можжевельника. Понимаю, что прохожу в первый раз не глядя на него, нехорошее дело делаю, а ничего с собой поделать не могу. Почему я должен на куст глядеть, а елью пренебрегать? Понимаю, что не прав, надо бы мне хоть разок, хоть мимолетный взгляд на куст кинуть, а делаю все наоборот. И стыдно мне, и совестно, и страшно отчего-то, и весело,— но веселье ушло, а волнение и страх остались.

Сижу и думаю, что мне делать? Идти к кусту и смотреть на него, заглаживать вчерашнюю обиду? Но протест во мне поднимается — почему я должен это де-

лать? Почему вообще из-за какого-то куста можжевельника я должен терпеть страх, переживать? Ну переживал бы по поводу леса, человечества, тогда было бы понятно. Думаю так, и оттого, что так думаю, еще хуже мне становится и страшнее. Предателя в себе вижу. Раз раньше кустом любовался, то и теперь не смеешь его бросать.

Переживал я таким образом полдня, потом забыл. Ушли в суете переживания, ушел и страх. И я подумал: ушел страх не оттого, что я в суете дневной про куст забыл, а оттого, что куст на меня сердился, а насердившись вволю, простил мне обиду и, как бы ни было ему горько, принял мысль, что не один он есть на свете красавец, а и другие достойны внимания. Он плохо обо мне перестал думать и от страха меня освободил, а иначе бы жить мне еще сколько дней в страхе!

Встал и, что было со мной, ничего не помню, из такого глубокого сна встал, что забыл, где я, что было со мной вчера и позавчера, кто были мои отец и мать, есть ли у меня друзья, товарищи, где и как я жил.

Что же помню? Помню, знаю только то, что есть сейчас, что перед своими глазами вижу, себя сиюминутного ощущаю, а вчерашнее от меня ушло, словно умерло и отлетело прочь. Говорят, в таком забвении будто бы душа, освободившись от прошедших забот и не обремененная завтрашними, веселится и радуется. Будто бы то, что прошло, для тебя уже исчезло невозвратно и нечего о нем плакать и страдать, а уж тем более удерживать. Будто бы в настоящем, если ты убежишь от вчерашних забот и треволнений, и есть истинная жизнь,— все остальное лишь подражание ей. Когда ты как бы расстаешься с тем, что было, с тобой происходят странные вещи: то вчерашнее и позавчерашнее, которое, ты думаешь, от тебя ушло, на самом деле никуда от тебя не ушло, а, напротив, именно сейчас только по-настоящему и присутствует, а до этого где-то без тебя гуляло: и детство, и отец с матерью.

Возможно, что все это и так, и мне бы от этого радоваться, но мне грустно. Потому что каждое утро, просыпаясь от такого глубокого сна, приходится начинать свою жизнь как бы сначала: не было у тебя былых заслуг, ошибок, опыта, ты есть чистый лист бумаги, на

котором сегодня начертываешь слова, а завтра чья-то рука их сотрет. Жить, умирать, имея опыт, знать, что к чему и почем фунт лиха,— это одно дело, тут все становится настолько понятным и обоснованным, таким непреложным, что, наполучав в жизни тычков и наслушавшись охул, набрав и хорошего, и плохого, ты спокойно живешь дальше или отправляешься к праотцам. А как жить, если ни опыта, ни знаний нет, если о тычках и наградах нет никакой памяти и логическая связь между прошлым и будущим оборвана? Не страшна ли такая жизнь, не трудна? Трудна ли, страшна жизнь для младенца? Она и страшна, и трудна, но кто когда скажет, что она только страшна и трудна? Она и легка и прекрасна.

Вот и я, хоть и страшусь таких снов, которые приносят забвение, жду их и к себе призываю. И когда они приходят, эти утра пробуждения, не то что радуюсь им, а хорошими про себя считаю, чувствую, что пришло именно то, что нужно. И хоть зовет меня к себе старое, я его от себя отрываю. Оставаясь таким, какой я есть, каким я был, я каждое утро новым нарождаюсь и потому свои годы подсчитываю не с той даты, когда я родился, не только с нее, но и с каждого нового утра. И если в году триста шестьдесят пять дней, а я, скажем, прожил двадцать лет или сто, значит, не двадцать и не сто лет я прожил, а триста шестьдесят пять дней помножить на эти цифры, не одну жизнь прожил, а тысячи. Конечно, жизни эти короткие и по времени не наберут двадцати четырех часов, но разве количеством лет измеряется человеческая жизнь?

Не мудрено, что за одну свою жизнь ты проживаешь бесчисленное множество жизней. Ты проживаешь жизнь бабочки и жизнь муравья, жизнь мудреца и злодея, красавца и урода, женщины и мужчины. Ты проживаешь жизнь камня, вороны, травы, речки, сосны, больного ребенка, солдата, доктора, коня, любимого и любящего, страдающего и приносящего страдания, поднимающегося вверх и падающего вниз, сыплющего песок и золото. Ты выбираешь эти жизни, эти состояния по своему усмотрению или по велению тех, кем ты становишься. Труден только первый шаг, все остальные легки. Вот почему мне кажется, что, когда мать рожает дитя, не только ей трудно рожать, но и ему рождаться.

Оба они испытывают труд. Но потом — облегчение и радость.

Кем же я родился сегодня, в это утро, кем проживаю жизнь? Сосной, травой, солнцем, смотрящим на землю, человеком, задумавшимся над рождением себя в каждом новом дне?

Один этот лес, и так он один-одинешенек, так он жалок в своем сиротстве, что хочется ему что-либо в пару подобрать. Но что подобрать, если пары ему никакой нет? Но не верю я в то, что нет. Что-то да есть, только я не вижу. Вот потому и говорю, что нет. А он видит, он чувствует, он знает — и молчит. Он молчун, о своей паре не заикается, боясь, как бы ты его пару не отбил по злой воле или ухарству. Тебе его пара вряд ли нужна, а подурачиться, дурную кровь разогнать — на это мы мастера. Тут нам и простора подавать не надо, мы его сами найдем. Вот потому, боясь наших злодеяний, он и скрывает, и не говорит о своей паре. И правильно делает. Это только по молодости лет орут на весь божий свет, как прекрасна их любовь и как они любят и любимы. По глупости кричат. Словно до них никто не любил и не было ее, любви, а они пришли и любовь открыли. Невежество, хоть и прекрасное, и для чего оно лесу? Он-то знает, что любовь никто не открывал и не находил и что она вечна. Вот и молчит, и молча радуется, любит, и его молчание нам передается. Особенно ночью, когда погружается во тьму и на ночном небе зажигаются звезды. И такая тогда в лес тишина приходит, такая громкая тишина, что от силы этого молчания на всю жизнь оглохнуть можно. Послушаешь ее одну ночь, вкусишь сладость и после никакие звуки уже слушать не будешь, не достигнут твоих ушей ни звуки оркестра в концерте, ни рев машин на автостраде, ни шепот любимой девушки, ни тонкий звук комара. Море, гроза, ветер, рык зверей, гул толпы, оклик ребенка, стон матери, журчание ручья — все для тебя, проклятого, станет неслышно, и не в блаженство ты тогда впадешь, а в жуткую муку, выхода из которой нигде нет. Обольстительна эта тишина, сладка и обольстительна, и кто изведал ее, и сохранил, и сберег,— не потерял ни умения любить, ни жажды помогать страждущим, кто опять, после глухоты, услышал и треск по весне веселого дят-

ла, и писк мыши, и слабое дыхание ближнего — тот, можно сказать, поистине кое-что видел и слышал и ему есть что сказать. И если он к тому же еще обрел утраченный дар речи и говорит, не обращая внимания на то, внимают ему или нет, если некоторые слова его доходят до чьих-то ушей и остаются там навсегда, и зреет этот урожай другим на счастье,— что еще можно желать? Ничего больше.

Набрел на воронье гнездо. Мало того, потоптался у подножия сосны под гнездом. А когда вороны, заметив меня, загалдели, высунул вперед указательный палец и как бы из пистолета в них стрельнул: бабах! Бог мой, какой шум, какой хай они подняли! Уж давно я от сосны удалился, уж и на дорогу выбрался, и речку перебрел, и думать забыл о воронах, зато они меня не забыли. Как схватили, так и понесли. И не отпускали до самого дома. Одна, старая, особенно меня допекла. Крылья у нее, когда она пролетает надо мной, редкие, просвечивают. Она орет, злющая. Уж я перед ней оправдывался: мол, случайно это у меня получилось, не буду больше; успокаивал: не трону ваших воронят, пошутил; грозился: вот я тебе сейчас, если не утихнешь, — не утихала, а каркала, кажется, на весь белый свет. Я и сам стал не рад своей шутке. Ради озорства-то подкрался и прицелился, а сколько шума. И только наоравшись вволю, прочистив свои глотки, но не успокоенные, отстали. Я еще долго слышал в лесной чаще их негодование.

Понимаю, поступил легкомысленно, но и они хороши. Что же человека из-за его опрометчивого шага так строго казнить! Или не хозяин я в своем лесу и не могу подойти к сосне, постоять у нее, пальцем ткнуть в какую-нибудь птицу или куст? Худого-то им от этого не сделается. Или куст завянет и пропадет навсегда? А если и не завянет, и не пропадет, то с какой стати, спрашивается, тыкать в него пальцем, да еще и бабахать при этом? А если бы кто в тебя, когда ты шел в лесу, ткнул пальцем и бабахнул, понравилось бы тебе? Точно знаю, не понравилось бы, терпеть не могу, когда надо мной кто шутки такие устраивает, пальцем в меня тычет. За дурака, за идиота такого шутника бы принял, если бы не обозлился всерьез и не поколотил.

Смотрю на травы, на лес. Они зеленые. Осы гулом досаждают. Шум ветра. Сколько можно взять от этой земли, от этих лесов, неба, полей, цветущих одуванчиков, реки, осени, солнца, зимы? Можно взять мало — это знает каждый, — не увидеть утренней зари, не смотреть на звездное небо, пропустить весну, не встретить зиму. Можно получить много: увидеть и то и другое, и все схоронить, запечатлеть в своей душе. А можно ли получить больше многого? Увидеть какой-нибудь захудалый кустик клевера, и он покажется тебе прекрасней и родней неба и земли, поймать один весенний миг, и он будет милее и краше всех весен и зим.

Не люблю намеков, мучаюсь от них и страдаю. Лист зашумел, а я думаю: что бы это значило? Ветер стучится в окно: не ко мне ли? Птица в избу залетит: не по мою ли душу? Тягостны мне эти недомолвки, это вечное незнание. Знал бы и пошел, куда зовут, сделал, что надо, а так сиди терзайся. Может, в гости зовут на пир, а может, пришли по мою душу. А я не готов. Может, плиту растопить надо, чай вскипятить, а я сиднем сижу у окна, сто раз виденные мной картины мира разглядываю. Или я совсем нелюдим, что поприветить никого не могу? Не люблю в себе этакую толстокожесть, но и их не одобряю. Зачем намекать? Почему не сказать прямо: так, мол, и так, хочу того или этого. Ругаюсь, но и понимаю, что в этой тонкости, в этой деликатности чувств есть какая-то правда. Не к лицу осиновому листу или летнему утреннему ветру высказывать себя напрямую: чуть намекнуть, чуть шепнуть, чуть себя обнаружить, едва позвать,— а там уж делай, как слышал, как душа подскажет.

Гляжу на день мрачно, и все в нем мне не нравится, все тесно, сжато, сковано, мешает мне жить, все против меня: и солнце жарит, и небо открыто, нет на нем ни одного живого облачка, и ветер стих, и травы пали, и остервенело носятся слепни, и речка лениво течет под склоном. Куда ни кину свой взор — все нехорошо. Сосны не дают тени, земля суха, слепни жалят, гусеница ползает по ветке, никому не мешая, и она не нравится, в стороне ворон пролетел, и он меня не радует. Что же меня радует, что веселит в этот жаркий день? И солнце, и не-

бо открытое, и безветрие, и тишина, и легкий бег реки, даже гусеница на ветке, даже вóрона полет — все меня радует и призывает к жизни, все веселит, и я, ослепленный этим днем, никакой другой не хочу.

Когда я, усталый после долгого жаркого дня, сижу в избе и смотрю в окно, почему мне вечер, темнеющее небо, звезды на нем не кажутся усталыми? Почему мне они кажутся молодыми: звезда, которой не миллион лет, а она едва родилась, вечер, точно дитя, чист, светел, ясен, речка полна сил? Наполняю ли я их молодостью, или они в самом деле молоды? Почему и я, глядя на их молодость, свежесть, становлюсь молодым, исчезает усталость, выпрямляется спина, перестают ныть ноги? Вливается ли эта свежесть в меня, или я, видя молодую звезду на небе, сам в себе нахожу молодость? И тогда молодости, свежести во мне не какое-то определенное количество, имеющее предел — использовал и расставайся, — а бездна, и ты можешь черпать ее (при умении) до конца своих дней?

Ходил по берегу реки, смотрел на нее и объелся ее видами. Угнетает она меня: речка в глазах, речка в ушах, речка в голове, в сердце. То блеск ее струй вижу, то шепот вод слышу, и думаю о ней, и люблю ее. Кажется мне, вот-вот сам речкой стану, до того я ею пропитался. Не нравится мне такое состояние. Я, кроме речки, хотел бы увидеть и услышать солнце, например, поле, луг, жаворонков. Я лесом хочу любоваться, пение птиц послушать, мне от одного стрекотания сороки сразу легче станет. И пока не становится легче, я жду, когда виденная мной речка от меня уйдет. И уходит она от меня, и пуст я становлюсь, и наполняюсь потихоньку и солнцем, и травами, и всем другим на свете.

Уже ночь, уже на нижнем лугу пасется туман, сыро, холодно, потемнела дорога, не только дальняя ее половина, но и ближняя скрыта во тьме, не просматривается березовая роща, смылись очертания кустов бузины у забора, робко загорелись на небе звезды, не видно далей, не слышно шума ветра в листьях ольхи, солнце село, тьма обволокла и тебя, и весь мир, вот уже и под ногами ничего не видишь, — то ли на камень наступил, то ли уго-

дил в лужу, то ли куст впереди тебя, то ли зверь, то ли человек... А ты, прожив день, насмотревшись и надышавшись им, все еще днем живешь, — и луг для тебя еще не в тумане, а весь просвечен, и сухо, и тепло, и дорога просматривается до самых дальних очертаний, и березовая роща как на ладони, и куст бузины разглядывается не купно, а с такой резкой отчетливостью, что видишь, как по листу бежит божья коровка, и яркое дневное солнце освещает тебя и мир, указывая дорогу, и ты ясно видишь и осознаешь: это куст, это камень, это цветок тысячелистника, это ворона. Пройдет еще много времени, а может, на это понадобится целая ночь, чтобы глаза мои перестали видеть тот дивный свет, что виделся днем, а может, на это не хватит и одной ночи и много их пройдет, прежде чем померкнет свет и угаснет в глазах увиденное.

Лежу в траве вялый, сонный, ни руками пошевелить не хочу, ни ногами двинуть. Лень меня одолела. И потому, что вялый лежу, как-то особенно чувствую жизнь вокруг: как травы растут, набирая силу, ручеек за головой в распадке журчит, ласточки размеренно в небе летают, — и чем больше меня вялость одолевает, тем ощутимее движение, бодрость этого мира чувствую, и наоборот, чем ощутимее бодрость этого мира чувствую, тем больше сонливость и лень. Встрепенуться бы, да куда там, разве этот мир одолеешь? К счастью, в своем движении он к скорости не стремится, а не то лежать бы мне сейчас на земле начисто лишенным сил жить, думать, чувствовать, — так бы он своим бодрым движением пригвоздил меня к земле. Лежу, гляжу в пустынное небо (если не считать солнца), грызу сорванную травинку, жду миг, когда этот мир замедлит свой бег, и встану с земли полный сил.

Мир велик, жизнь продолжительна, а ты ограничиваешь себя какой-то малостью, останавливаешь, направляешь свою любовь на что-то одно, и это хорошо. Но справедливо ли это? Любить небо, землю, вселенную — вот та любовь, которая достойна человека, и только о ней одной и стоит мечтать и к ней стремиться. Но любить куст крапивы в своем огороде, сосну, цветок клевера,

проходя мимо которого ты не всегда его видишь, испытывать нежное влечение к весеннему ручью, которому и жить-то неделю, к камню у дороги, к сломанной и упавшей ветке, к туману, который утром взял и улетел, к ветру в поле, к лету (и оно не вечно!), — не кажется ли эта любовь обманом, ошибкой, если не пагубным заблуждением? Может, и кажется. А между тем мы только и делаем, что этот туман, этот ветер, этот цветок клевера любим, а о вселенной, о небе думать не желаем. И это хорошо. Ибо, думая о тумане, о цветке клевера, мы разве только о них думаем? Мы думаем о небе, о мире, о звездах, нам тогда всю вселенную, весь мир подавай любить. Любя цветок, мы испытываем потребность любить мир, но, любя вселенную, предпочтение мы все-таки отдаем цветку клевера. Впрочем, что цветок клевера, что мир — для нас тогда все равно.

Когда я смотрю на небо, на бегущие по небу облака и на уходящий на запад вечер, когда замечаю угасание дня, приближение сумерек, мне кажется, что это не облака проносятся мимо меня, а дни моей жизни от меня отлетают, не день или вечер от меня уходят и приближаются сумерки, а уходит моя жизнь. И мне становится так грустно. Не от мысли, что жизнь моя кончается, а что глядение на облака порождает во мне мысли о моей жизни. Но и радость во мне тогда рождается. И тоже от этого. Я вижу в том какое-то дивное чудо. Глядя на убегающие облака, я чувствую, что это не облака, а мои дни.

День и ночь, утро и вечер, кто знает, где их границы, когда одно переходит в другое? Когда я встречаю утро и гляжу на светлеющее небо, разве я вижу только утро? Я вижу и отрывки вчерашнего вечера, и кусочки завтрашнего дня, того, который еще не наступил. Я вижу, как стоят друг другу в затылок и иные вечера и ночи, срок которых исчисляется годами и тысячелетиями. Тесно прижавшись друг к другу, так что они почти неразличимы, они сразу явятся, те, которых ты особенно хочешь. И так явятся, что заслонят собой сегодняшнее утро. Ты по наивности скажешь: сегодняшнее утро наступило. А для тебя это будет вечер третьего дня или

года. Не имеет значения, солнце встало или легло, сам ты укладываешься спать или встаешь. Разве по внешним признакам определяют утро? И не бывает вечеров в ту пору, когда приходит утро? Бывает. Но тогда-то мы от этого несоответствия и страдаем. И если ты сумел, встретив утро, жить этим утром, а не искать прошедший или будущий вечер, если, дождавшись вечера, ты принимаешь и благословляешь этот вечер, а не призываешь к себе утро,— считай, что ты счастлив и больше тебе ничего не надо.

Отчего получаю удовольствие? Оттого что каждый раз приходит новый день. А если бы стоял один день неизменный, как вечность, получал бы я от него удовольствие? Думаю, что нет. С утра я бы его как-нибудь и поприветствовал, а к полудню совсем бы скис. Дни уходят и приходят, дни чередуются, семенят своими ножками, спешат мне навстречу, убегают. За одним днем гонишься, как гончая за зайцем. Другой день тебя нагоняет. Третий не торопится и не отстает, а идет ровным ходом. Тот присел отдохнуть, тот улегся ночевать на макушке стога, тот разделся догола и плещется в речке, тот, озабоченный, куда-то спешит — то ли на свидание с девушкой, то ли на встречу с другом; пролетел так скоро, так мимолетно, даже разглядеть его не успел — только запах от него остался и устойчиво держится. Тот, труженик, пыхтит, словно взбирается в гору. Тот, гуляка беспечный, баклуши бьет. Этот, безнадежно влюбленный, по предмету своей любви тоскует. А тот — женоненавистник, на всех красавиц мира ему плевать.

Пришел, посидел, поговорил о разном, посмеялся, погрустил, выпил чашечку чая и ушел. И не оставил после себя ни вздохов, ни сожалений. Может, один вздох и оставил, может, одно сомнение и вылетело из него. Да где они сейчас, где их искать? Были и нет их, растаяли, как облака в летнем небе. И только на том месте, где упал один вздох, одуванчик на лугу появился, а на том, где сожаление,— анютины глазки.

Боязно мне от моего такого холодного отношения к их уходу. Почему не зову, почему не останавливаю? И зову, и останавливаю, да разве их удержать? Да и пусть катятся своей дорогой!

Дни печальные, дни холодные, дни, изъеденные мукой и хандрой, как молью, дни — очарованье, блеск и шелест в кустах, дни весенние, полные томления и счастья, дни осени и весны.

Ах эта ночь! Вот она движется, вот отдалилась от дня, отскочила, как мяч, и сама по себе стала. Вначале никакой ночи не было. Был день, сияло солнце, дул ветерок, пели птицы. Но угомонился день, притихли птицы. Склонил он голову и уснул. И на смену ему ночь вышла. И темная, и черная, и страшная. Насколько день был прекрасен, настолько ночь нехороша. Уйти, убежать бы от нее, да куда денешься? А чем неприятна? Неопределенность какая-то, чернота, глухота, стеснение. Не принимая ночь, все за день хватаешься, его красоты вспоминаешь и ценишь. В страхе, в сомнении маешься. А потом вдруг взглянешь на небо, звезды увидишь. Или в темноту вглядишься, и она темнотой тебе не покажется и неприятной не будет. А в звезды на небе непременно влюбишься. Что же это за такое страшилище — ночь? Если нам темнота ее прекрасна и звезды ее мы любим? Не страшилище она, а красавица, без которой мы жить не можем. И любим мы эту ночь, и лелеем, и такую нежность она нам в душу вливает, такие заветные словечки нашептывает, такую тонкость чувств в нас обнаруживает, мягкость, покорность, смирение, что хватаемся мы за нее и кричим: не отпустим никогда! Нам день не нужен! Что тоже глупо. Почему? Потому что придет день, вместо темноты принесет свет, вместо луны взойдет солнце, станем мы подвижны, нетерпеливы, настойчивы. И день благословим.

Утром проснулся и услышал чьи-то шаги, как будто человек или лось пробежал мимо избы. Кто бы это бегал? Вышел на крыльцо. Нет никого. Вошел в избу — опять шаги слышу. Прислушался внимательней и подумал: почему мне обязательно кажется, что человек или лось пробежал, может, это лето торопится, бежит, а я его за человека или лося принимаю? И, выйдя на крыльцо второй раз и увидев бегущего лося, так и решил — это не лось бежит, а лето. Как избавление мое, как спасение оно ко мне приходит. Страдал я осенью,

умирая, страдал и весной, рождаясь вновь, и до того настрадался, что уже сил нет ни на радость, ни на боль. Тут бы мне и кончиться совсем, но приходит лето. Вот оно распахивает предо мной свои ворота — зеленые травы, свежестью веет от реки, шепчутся листья. Жизнь тут не умирает и не рождается, она есть, она как бы за этими пределами или, можно сказать, она вмещает их в себя.

Благословенная пора! Раннее утро, свет от зари мягок. Я иду по берегу реки, ни жизнь, ни смерть не касаются меня, я не обременен страстями и желаниями и в то же время полон сил и чувств. Золотое лето ждет меня впереди — в это я верю, надеюсь. Идет, приближается лето.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Николаевич Сергуненков

МОЙ ЛЕС

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1981, 400 стр. План выпуска 1981 г. № 127. Редактор И. С. Кузьмичев. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор З. Г. Игнатова. Корректор Е. Я. Лапинь.

ИБ № 2805

Сдано в набор 19.01.81. Подписано к печати 29.07.81. М 12963. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Высокая печать. Литературная гарнитура. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 21,42. Тираж 100 000 экз. Заказ № 108. Цена 1 р. 60 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

3

73

7.
н.

р.
ч.
к.
36,
д-
те
0,






Борис
Сергуненков
МОЙ ЛЕС